

Н О В Ы Й
М И Р

Н О В Ы Й
М И Р

1974

11

1974

Н О В Ы Й М И Р

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й
Л И Т Е Р А Т У Р Н О - Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й
И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К И Й Ж У Р Н А Л

Год издания I

№ 11

Ноябрь, 1974 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
ЗИНОВИЙ ВАЛЬШОНОК — В Музее революции, стихи	3
В. БОГОМОЛОВ — В августе сорок четвертого... Роман. Продолжение	5
ИЗ МОНГОЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ: Лхамсурэнгийн Чойжилсурэн — Осчастливил нас мудростью Ленин; Цэвэгмидвийн Гайтав — Сухэ-Батор; Далантайн Гарва — Мой отец; Базарын Ширендыб — По Хангайской земле; Дамдинцоогийн Содномдорж — Цветок; Пурэвийн Хорло — На рассвете; Лувсандамбын Хуушаан — Ночью в пути. Перевели Александр Големба, Геннадий Ярославцев	96
ГАБРИЭЛЬ ГАРСИА МАРКЕС — Недобрый час, роман. Перевел с испанского Ростислав Рыбкин	106

О Ч Е Р К И Н А Ш И Х Д Н Е Й

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ	
В. РОСЛЯКОВ — Вторая встреча	191
ВАЛ. РУШКИС — Деталь	209
ЕКАТЕРИНА ЛОПАТИНА — По знакомым адресам	221

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я К Р И Т И К А

В. ПЕРЦОВСКИЙ — Испытание бытом. Poleмические заметки	236
Б. БРАЙНИНА — Герой Константина Федина	252

К Н И Ж Н О Е О Б О З Р Е Н И Е

<i>Литература и искусство</i>	260
Г. Трефилова. «Там, среди солнца и печали...».— Дм. Молдавский. Путешествие в монгольскую степь.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	269
Ю. Соколов. Концентрированный опыт партии.— Вал. Гольцев. «...выше всякой похвалы».— С. Троицкий. Рассекреченные документы.	
КОРОТКО О КНИГАХ — Александр Крон. — М. Галлай. Третье издание. ♦ Р. Бикмухаметов. — Сурен Гайсарьян. В стране поэзии. Очерки. Портреты. ♦ И. Кудрова. — Игорь Ефимов. Лаборантка. Повесть. ♦ Д. Захаров. — Томас Мор. Эпиграммы. История Ричарда III. ♦ Н. Яновский. — Юрий Оклянский. Рождение книги. Жизнь. Писатель. Творческий процесс. ♦ А. Вулис. — Вильям Александров. Альфа Центавра. Повести	262
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

ЗИНОВИЙ ВАЛЬШОНОК

★

В МУЗЕЕ РЕВОЛЮЦИИ

Где бесшумны времени страницы,
между старых ружей и гранат
под стеклом буденовка хранится,
дорогой музейный экспонат.

Нехитер покрой ее суконный,
но военный головной убор
от бессмертных рейдов Первой Конной
сберегает время до сих пор.

Ты, как будто к раковине, ухо
приложи к буденовке, и в ней
сабельные всплески дрогнут глухо,
боевое ржание коней...

И увидишь, как под ветром шалым,
где кружит багровая листва,
в ней в пылу гражданской утопала
до бровей мальчишья голова.

Краснозвездный шлем в закатной краске
в дымные свалился ковыли...
Может, все пилотки наши, каски
все от той буденовки пошли.

Латкой аккуратную и тонкой
круглый след затянут пулевой.
И звезда над козырьком к потомкам
негасимый свет доносит свой.

Я склоняюсь празднично и немо
над простой реликвией тех дней,
очертанья космонавтских шлемов
исподволь угадывая в ней.

КУРСКИЙ СОЛОВЕЙ

Здесь, у шоссе,
среди раздольной шири,
над мирной и духмяною землей
на постаменте «Т-34»
темнеет обожженной броней.

Изытое осколочною оспой,
стоит орудье в зелени густой.
И меркнут пирамиды всех хеопсов
пред здешней пирамидою простой.

Как памятник войне
с орудьем рядом,
храня ребят умолкших имена,
из гильз разнокалиберных снарядов
та пирамида сооружена.

Стою пред ней,
и ворот давит шею,
и голоса травинки под ногой.
Здесь содрогался фронт от напряженья
и изгибался жаркою дугой.

Мне слышатся надсадные команды
и дымные мерещатся столбы,
в чадугу которых чванным «фердинандам»
«тридцатьчетверки» расшибали лбы.

Меня пронзает каждый взрыв и сполох,
тупую болью душу распоров:
и Прохоровки беспощадный порох,
и мужество Крапивенских дворов.

А над степным зелено-желтым шелком,
вблизи от танка — в сумраке ветвей —
вдруг зычно и пронзительно защелкал
невидимый меж листьев соловей.

И этот щелк,
то яростен,
то ласков,
казался оглушительней стократ
и бешеного танкового лязга,
и гулко-го дыханья канонад.

Где прежде камни плавилась и тлели,
горели избы,
рушились мосты,
расплескивал певец пернатый трели
во славу неизменной красоты.

И, заглушая боль о давнем горе,
над молчаливой памятью солдат
он пел про жизнь,
раскатывая в горле
торжественность
заливистых
рулад...

Харьков.



В. БОГОМОЛОВ

★

В АВГУСТЕ СОРОК ЧЕТВЕРТОГО...*

Роман

48. ГВАРДИИ ЛЕЙТЕНАНТ БЛИНОВ

Старшина из взвода охраны разбудил его в половине шестого утра и передал приказание Алехина: немедленно явиться к подполковнику Полякову.

В кабинете начальника отдела контрразведки авиакорпуса Поляков был один. Судя по отсутствию полуторки на площадке перед зданием, капитан куда-то уже уехал.

Андрей дважды видел мельком Полякова, знал его в лицо, но разговаривать с подполковником ему еще не приходилось. Однако он немало слышал о Полякове, в основном от Таманцева, и подполковник рисовался ему человеком во многих отношениях необыкновенным.

— Голова номер один, — не раз говорил о Полякове Таманцев. — Если и не бог, то, несомненно, его заместитель по розыску!

И Андрей ожидал теперь чего-то премудрого, сверхпроницательного, полагал услышать в основном специальную терминологию вроде «треугольник ошибок», «тональная манипуляция», «органолептика» и тому подобное, опасался даже, сумеет ли понять хотя бы главное из того, что выскажет подполковник.

Поляков же оказался до удивления простым и свойским. С первой минуты своим обращением и мягкой, слегка картавой речью он напомнил юноше старого доктора, лечившего Андрея в детстве.

Он произносил обыденные, понятные каждому слова. И задание, которое он сообщил Андрею, тоже было довольно простым: взяв роту из дивизии, стягиваемой к Лиде для погрузки в эшелоны, выехать в район Заболотья (Поляков показал на карте) и до сумерек тщательно обыскать рощу к северо-западу от деревни — там позавчера найдена угнанная автомашина «дожд». Цель поисков — обнаружение малой саперной лопатки с вырезанными на черенке буквами Н. и Г. И еще следовало поговорить с людьми, первыми пришедшими в рощу к машине.

Поляков заканчивал инструктаж, когда в кабинет, за спиной Андрея, вошел Егоров.

Подойдя, генерал внезапно вырос перед Андреем — тот вытянулся и вскинул руку к пилотке:

— З-з-драв-в...

— Здравствуйте. Откуда вы? — отрывисто спросил Егоров.

— Т-т-т-ов-варищ г-ге-н-ер...

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 10 с. г.

— Лейтенант Блинов из группы Алехина,— поспешил на помощь Андрею Поляков.— У нас третий месяц. Самый молодой офицер в отделе. Прибыл к нам после ранения и тяжелой контузии. В прошлом— командир взвода. Боевой офицер. Москвич. Посылаю его за лопаткой.

Он все знал и помнил, Поляков. И про ранение, и про Москву, и про контузию. Откуда?.. В замешательстве от неожиданного появления генерала Андрей даже не подумал, что все эти сведения имелись в его личном офицерском деле. И конечно же, он не сообразил, что про контузию и ранение и про то, что он новичок и самый молодой, было сообщено в эту минуту генералу, потерявшему в боях под Москвой близнецов-сыновей, курсантов военного училища, не без умысла.

— Боевой офицер,— неулыбчиво повторил Егоров и впился взглядом в лицо Андрея.— Это у вас человек ушел из-под наблюдения?!

— Темной ночью, в дождь,— не дав и рта Андрею раскрыть, вставил Поляков.— Так это не только у него, это у любого могло случиться. Старшим группы лейтенант характеризуется только положительно. А оперативной хватки маловато, что ж, это дело наживное.

— Наживное, так наживайте, не медлите! Мы на войне, а не на учениях,— недовольно сказал Егоров и обратился к Андрею: — Найдите лопатку, лейтенант! Это очень важно. Постарайтесь обязательно ее найти... Вам дадут людей. Необходимо довести до сознания каждого, насколько ответственное это задание. Чтобы каждый осознал и проникся... У них ночью погрузка, так что в любом случае к двадцати двум часам надо всех возвратить на станцию.

— Это я ему уже объяснял,— сказал Поляков.

— Тогда с богом.— Егоров протянул Андрею свою здоровенную, поросшую рыжеватыми волосами руку.— Я надеюсь на вас и жду результаты!

До этого только раз в жизни, прошлой зимой, Андрею довелось пожимать руку и отвечать генералу, командиру корпуса, вручавшему ему орден. Тот генерал был старенький, седой, с хрупкой дряблой ладошкой, и, хотя держался весьма бодро и даже лазал по заснеженным окопам, всех награжденных заранее строго предупредили: силу свою не показывать и руку высокому начальству— когда станет поздравлять— не сжимать. Егоров же сам так стиснул, что Андрей чуть не присел.

Окрыленный, гордый невероятно столь ответственным поручением, полный энергии и жажды выполнить задание, ехал Андрей на станцию. Во взводе охраны он взял для наглядности саперную лопатку, но так торопился, что в горячности упустил позавтракать. Он явственно ощущал сильное рукопожатие Егорова и вспоминал весь разговор: «Боевой офицер! Характеризуется только положительно... Москвич!.. Найдите лопатку, лейтенант! Это очень важно... Я надеюсь на вас и жду!»

И правильно делают, что надеются, он не подведет. Алехину и Полякову не придется за него краснеть — он оправдает доверие. Роща там невелика, а малая саперная лопатка, в конце концов, не огурок и не огурец — с черенком добрых полметра. Он найдет ее, привезет и выложит прямо на стол...

Согласно договоренности, ему выделили разведроту, неполного, к сожалению, состава — сорок девять человек вместе с командиром. Народ в роте был видавший виды, щеголеватый: почти все с наградами, многие с нашивками за ранения; ни одного в обмотках, как в стрелковых подразделениях, причем сапоги не только кирзовые, но и кожаные; большинство с финками и чубами. Командир— коренастый старший лейтенант, выглядел тоже приметно и фасонисто: хромовые сапожки «джимми», собранные у циклоток в гармошку; заправлен-

ные в них с напуском пятнистые брюки от маскхалата, польский офицерский стек, усики и пышные бакенбарды. Ловкий, сбитый, он то и дело улыбался и двигался, словно на шарнирах, какой-то танцующей, несерьезной походкой; однако Андрей тут же отметил, что слушаются его подчиненные тотчас и с удовольствием. Сборы были минутными, все в роте делалось быстро и весело.

Андрей сел в головную машину рядом с водителем и приказал ему держать предельную скорость. Часа два спустя они были на месте. Андрей на расстоянии узнал нужную им рощу; вблизи она оказалась не такой уж маленькой, как представлялась ему в Лиде.

Андрей предложил старшему лейтенанту построить людей в два ряда на обочине и, когда это было сделано, с лопаткой в руке встал перед ними.

— Т-товарищи б-бойцы и сержанты...— начал он, обдумывая и для вескости раздельно произнося каждую фразу.— К-командованием п-поставлена перед нами весьма ответственная з-задача...— Он прилагал великие усилия, чтобы не заикаться.— Вот т-точно такую,— он поднял и показал лопатку,— нам приказано отыскать в этой роще...— Андрей вытянул руку, и все посмотрели в ту сторону.— Т-только у т-той, которую мы должны найти, здесь, на черенке, в-вырезаны д-две буквы Н и Г, повторяю — Н и Г, Николай и Григорий... Б-будем осматривать р-рощу, прочесывать ч-частой цепью... Ни на минуту не отвлекаться и дистанцию не нарушать... П-посторонних разговоров не вести... П-перекуры т-только на опушках с разрешения командира р-роты... Нас интересуют и другие п-предметы, которые могут быть найдены в этой р-роще... А также т-тайники и даже п-просто нарушенный... в-взрезанный д-дерн... Но г-главное — это лопатка... Б-будьте п-предельно внимательны... Обнюхайте к-каждый к-кустик, к-каждую травинку...— словами Полякова сказал Андрей.

— Найдем лопатку — поднимем,— раздался на правом фланге негромкий рассудительный голос.— Траву-то зачем обнюхивать?

В рядах заулыбались.

— Вы бы нам на станции сказали,— послышался на том же фланге другой веселый голос.— Я бы вам десяток таких лопаток принес... В соседней бы роте взял!

— И буквы бы вырезали! — крикнул кто-то.

Послышался смех.

— Разговоры! — сделав строгое лицо, негромко произнес старший лейтенант; как заметил Андрей, ему тоже было весело, и, чтобы скрыть улыбку, он старательно приглаживал пальцами усики.

До контрразведки, на передовой, Андрей свыше года командовал взводом автоматчиков, одно время даже исполнял обязанности ротного. И сейчас, хотя заикание мешало ему, чувствовал он себя вполне в своей тарелке, весьма уверенно. Правда, эти разведчики вели себя свободней и развязнее, чем бойцы в его полку, впрочем, Андрей хорошо их понимал.

Сегодня ночью они погрузятся в эшелон, будут вскоре где-то далеко и с боями двинутся на Запад. И это странное задание — поиски какой-то лопатки здесь, в тылах фронта, — если и сохранится у кого в памяти, то лишь как незначительный и непонятный эпизод.

Они уедут, а он останется, и лопатка, если ее не найти, будет висеть на нем, как передатчик и разыскиваемые — на группе. И никто этот груз не снимет.

«Это наш хлеб, только наш,— не раз говорил ему Алехин.— И если мы не найдем и не поймаем, никто за нас это не сделает». Таманцев же Андрею как-то сказал: «Никогда не рассчитывай на при-

командированных. Даже если это оперативный состав. Надейся только на себя».

Но одному ему с этой рощей за день никак не справиться. Он должен мобилизовать на тщательные поиски всю роту, чтобы они «прониклись», «осознали», как велел генерал.

Андрей переждал какое-то время и, когда наступила тишина, скинув взглядом строй, медленно и невозмутимо, со всей внушительностью, на какую он был способен, продолжал:

— В-вы разведчики, и не мне вас учить, к-как искать... Я хочу только, чтобы в-вы осознали всю ответственность этого... не совсем обычного з-задания... Д-должен вам с-сказать, что это п-приказ Д-даже не дивизионного, а вышестоящего командования... П-представьте себе на минуту, как неловко будет вашему комдиву, п-полковнику Гурееву... Как неприятно и с-стыдно ему будет, если вечером он узнает, что его разведрота в такой маленькой р-рощице не смогла найти саперную лопатку...

Андрей сделал паузу и при этом подумал, что дивизию перебраывают на другой фронт и полковник Гуреев наверняка всеми своими мыслями находится уже где-то там, в районе выгрузки, и едва ли станет печалиться по поводу какой-то лопатки, а найти ее надо во что бы то ни стало.

И погода Андрей сказал то, что Поляков посоветовал ему объявить в самом конце инструктажа:

— От имени к-командования довожу до вашего с-сведения, что тот, кто найдет лопатку, будет незамедлительно награжден медалью «З-за боевые з-заслуги».

— Она что, золотая, эта лопатка? — вполне серьезно спросил тихим голосом стоявший в центре, прямо против Андрея, сержант с двумя орденами Славы на гимнастерке.

— Разговоры! — уже строго и со злинкой крикнул старший лейтенант; упоминания о полковнике Гурееве, вышестоящем командовании и о медали явно на него подействовали. — Есть приказ, и мы обязаны его выполнить! И никаких разговоров!

Андрей с минуту стоял перед строем, всматриваясь в лица разведчиков, — так всегда, отправляя людей на задание, делал капитан Филяшкин, его погибший командир батальона.

— Ведите роту за мной, — велел он затем старшему лейтенанту и не оглядываясь зашагал к роще.

Он сам определил и обозначил участки, установил дистанцию между людьми — полтора-два метра, не более, — показал, как смотреть в высокой траве и под кустами. Лишь только рота, рассыпавшись стометровой цепью, скрылась за деревьями, Андрей поспешил в деревню.

Поляков назвал ему двух мальчишек, наткнувшихся в роще на «додж», родных братьев — Петра и Олеса Павленок. Первым взрослым, пришедшим к машине, был их отец.

Олесю оказалось девять, а Петру одиннадцать лет. Андрей побеседовал с ними отдельно с каждым, подробно расспросил. Не исключалось, что они могли взять лопатку, — поиграли и спрятали. Мальчики порознь рассказали ему одно и то же: как пошли по ягоды, как увидели машину и сначала испугались, а потом подошли, и никого там не оказалось, и как старший залез на сиденье, а младшего послал в деревню сказать отцу.

Потом Андрей долго и обстоятельно разговаривал с их отцом, немолодым бородатым крестьянином, потерявшим ногу еще в первую мировую войну. Тот перечислил Андрею все, что обнаружилось в машине, когда он приковылял в рощу, и клятвенно заявил, что боль-

шая лопата лежала в кузове, а маленькой ни в машине, ни рядом с ней не было.

Он резонно заметил Андрею, что в хозяйстве стодилась бы большая лопата, а малая совсем ни к чему. Он божился, что ничего в машине не трогал и лопатки там не было, и все же Андрей вместе с подпиской о неразглашении их разговора взял у него подписку, что малой саперной лопатки в «додже» не было, что ни сам Павленок, ни его дети лопатку не видели и не брали.

Затем Андрей вернулся к роще. Он без труда нашел еще сохранившиеся места отпечатки шин «доджа» и по ним—место, где в чаще была оставлена угнанная машина. Установив весь ее путь в роще, принялся старательно искать в траве по обе стороны от следа.

Вскоре он увидел, как бойцы разведроты частой цепью скользили между деревьев невдалеке от него. Они двигались без шума, сосредоточенно; не слышалось ни разговора, ни единого слова, и Андрей с удовлетворением подумал, что они прониклись важностью задания, «осознали».

Он подошел к ним только после полудня, когда, расположась вдоль берега ручья, они обедали, точнее перекусывали, немецкими мясными консервами с хлебом, огурцами и зеленоватыми помидорами.

— Садитесь с нами,—предложил ему старший лейтенант и тут же сообщил: — Почти все осмотрели, а лопатки нет.

— Да, может, ее здесь и не было,—с набитым ртом проговорил за спиной ротного кто-то из разведчиков.

— Разговоры! — отрезал старший лейтенант.—Пока не будет лопатки, отсюда не уедем!

От еды Андрей отказался, хотя со вчерашнего ужина кусочка в рот не брал и был по-настоящему голоден. Что ж, сам виноват, а теперь не позорься, терпи. Представителю вышестоящего командования несолидно кормиться чужим пайком, тем более за счет подчиненных. Несolidно и совестно.

Чтобы заглушить чувство голода, он в два приема до отвала напился из ручья и вытер рот рукавом. Черт с ней, со жратвой! Его всерьез заботило и удручало, что осмотрена почти вся роща, а лопатки нет. Как же так?

Он задумался, но, заметив, что бойцы смотрят на него, поспешил улыбнуться. «Как бы худо ни шло дело,—наставлял его Таманцев,—никогда не подавай виду. Особенно посторонним. Держись бодро-весело. Тебе волком выть хочется, а ты: ля-ля, ля-ля—мол, жизнь прекрасна и удивительна!»

Бойцы, поев, курили. Андрей тем временем отозвал старшего лейтенанта в сторону.

— В-в нашем р-распоряжении еще ш-шесть, от силы семь часов,—сказал Андрей.—Лопатку надо найти в-во что бы то ни стало!.. В-вернуться без нее мы не можем, не имеем п-права! Вы это п-понимаете?

— Понимаю!

— З-закончите край рощи и начинайте по новой,—Андрей показал рукой,—п-поперек... Главное—никаких п-пропусков... Д-дистанция полтора метра, не более. Боюсь, что в-ваши люди не осознали всю в-важность, ответственность...

— Осознали,—заверил командир роты; он оглянулся и негромко спросил: — А она точно должна здесь быть?

Соображая, как лучше ответить, Андрей строго, неодобрительно посмотрел на него.

— И почему ей придается такое значение?..— продолжал старший лейтенант.— Непонятно!

— В-вы меня удивляете,— огорченно заметил Андрей и взглянул на командира роты с жалостью, как на неполноценного: он припомнил, что точно так в подобной ситуации ответил одному прикомандированному офицеру Таманцев.

Впрочем, ничего иного Андрей и не мог сказать. Он и сам понятия не имел, для чего нужна, для чего так необходима Полякову и генералу эта злосчастная лопатка.

49. ТАМАНЦЕВ

Когда начало светать, мы снова укрылись на чердаке; я приказал Лужнову до двенадцати наблюдать, а затем разбудить меня.

В который уж раз мне снилась мать.

Я не знал, где ее могила и вообще похоронена ли она по-человечески. Фотографии ее у меня не было, и наяву я почему-то никак не мог представить ее себе отчетливо. Во сне же она являлась мне довольно часто, я видел ее явственно, со всеми морщинками и крохотным шрамом на верхней губе. Более всего мне хотелось, чтобы она улыбнулась, но она только плакала. Маленькая, худенькая, беспомощно всхлипывая, вытирала слезы платком и снова плакала. Совсем как в порту, когда еще мальчишкой, салагой я уходил надолго в плавание, или в последний раз на вокзале, перед войной, когда, отгуляв отпуск, я возвращался на границу.

От нашей хибары в Новороссийске не уцелело и фундамента, от матери — страшно подумать — не осталось ни могилы, ни фотокарточки, ничего... Жизнь у нее была безрадостная, одинокая, и со мной она хлебнула... Как я теперь ее жалел, и как мне ее не хватало...

Со снами мне чертовски не везло. Мать, выматывая из меня душу, непременно плакала, а Лешку Басоса — он снился мне последние недели не раз — обязательно пытали. Его истязали у меня на глазах, я видел и не мог ничего поделать, даже пальцем пошевелить не мог, будто был парализован или вообще не существовал.

Мать и Лешка представлялись мне отчетливо, а вот тех, кто его мучал, я, как ни старался, не мог разглядеть: одни расплывчатые фигуры, словно без лиц и в неопределенном обмундировании. Сколько ни напрягаешься, а зацепиться не за что: ни словесного портрета, ни примет и вообще ничего отчетливого, конкретного... Тяжелые, кошмарные это сны — просыпаешься измученный, будто тебя выпотрошили.

После двенадцати я сменил Лужнова. Как он доложил, ничего, представляющего интерес, за утро не произошло.

Его доклад следовало выразить одной лишь фразой: «За время наблюдения объект никуда не отлучался и в контакты ни с кем не вступал». И, если бы он был опытнее, я бы этим удовлетворился. Но я заставил его последовательно, с мельчайшими подробностями изложить все, что он видел. С самого начала я приучал его и Фомченко смотреть квалифицированно, ничего не упуская, и на каждом шагу внушал им сознание важности нашего задания. С прикомандированными всегда следует вести себя так, будто от операции, в которой они с тобой участвуют, зависит чуть ли не исход войны.

В полдень я около часа рассматривал в бинокль Свирида. Он сидел на завалинке, починал хомут, сшивал крышку, а потом какие-то сыромятные ремни.

Выражение лица все время злое, недовольное. Жена, появлявшаяся не раз из хаты, явно его боялась. Он не сказал ей ни слова и

даже не смотрел в ее сторону, но проходила она мимо вроде бы с опаской.

В движениях Свирида чувствовалась сноровка, и времени даром он не терял. Хозяйственный мужик, загребистый. Возле хаты — два здоровенных стога сена; огород тянется без малого на сотню метров; весь хлеб убран в аккуратные копешки, небось еще бесхозного у старика Павловского прихватит. И дров в поленницах запасено не на одну зиму.

Со слов Паши я знал: как и многие хугоряне, всю свою скотину Свирид держит у родственников, в деревне. Чтобы не отобрали, не увели аковцы или остаточные немцы. И там тоже немало: корова с телкой, пара годовалых кабанов, полтора десятка овец, да еще гуси.

Странное дело: Свирид, можно сказать, вывел нас на Казимира Павловского, считай, помог, а у меня к нему — ни признательности, ни элементарного уважения. Не нравился мне этот горбун с самого начала.

В третьем часу, взяв грабли, он ушел в сторону Каменки, и тотчас его жена с крынкой и маленьким лукошком проследовала к сестре. Теперь я уже не сомневался, что делает она это тайком от мужа. Спустя минуты девочка с жадностью ела кусок хлеба — очевидно, своего у них не было.

Я подолгу рассматривал ее в бинокль. Не знаю, кто был ее отцом — какой-нибудь фриц, Павловский или еще кто, — но малышка мне нравилась; собственно, чем она виновата?.. Ее все интересовало, она непрерывно двигалась, старалась все потрогать руками. Удивительно, что в свои два года она уже обладала женственностью, была занимательна, забавна, и когда, играя у крыльца, заснула на траве, мне стало скучно и одиноко.

И тут меня как в голову ударило — ведь мне сегодня двадцать пять лет!

Веселенький день рождения, нечего сказать... Сидишь в пыли на верхотуре, блохи тебя жрут, как бобика, а тебе и покусать в охотку нечего. И не зря ли сидишь, вот главное...

Да, четверть века — не семечки, можно сказать, половина жизни. Тут время и бабки подбить — кто ты есть и чего стоишь?..

Говорят, люди обычно довольны собой, но недовольны своим положением. А у меня наоборот. Мне нравится мое дело и должность вполне устраивает. И риск по душе: тут кто кого упредил, тот и жив... Ценят меня, и награда не меньше, чем у офицера на передовой, чего же мне не хватает, чего?!

Сам понимаю: чердак слабо мебелирован — извилины мелковаты... Культуры не хватает, знаний кое-каких... Что ж, как говорит Эн Фэ, это дело наживное...

50. ДОКЛАД ПОЛЯКОВА, ВОПРОСЫ ПРИБЫВШИХ И ОБСУЖДЕНИЕ

Вылетевшей из Москвы в Лиду группе оперсостава, возглавляемой генералом Моховым, не повезло: в районе Орши их транспортный самолет был внезапно атакован двумя «мессершмиттами», получил повреждения и совершил вынужденную посадку прямо на поле.

Москва требовала подтвердить их прибытие, а где они находятся, никто не знал. Наконец поступила радиограмма, что они ремонтируются своими силами и просят содействия. Пока Егоров связался с командующим ВВС фронта и за ними послали самолет, прошло еще время — они прибыли в Лиду с опозданием на пять часов.

Егоров был доволен, что прибывших возглавляет Мохов, спокойный, рассудительный генерал-майор, с которым он служил когда-то

на Дальнем Востоке (они даже дружили семьями) и впоследствии не раз сталкивался по работе во время войны.

Они встретились у самолета как старые товарищи, обнялись сердечно, и Егоров прежде всего предложил пообедать, но Мохов отказался.

— Пусть покормят оперативный состав,— сказал он, кивнув головой в сторону спускавшихся по трапу офицеров.— А мы давайте сначала поговорим о деле.

По дороге от самолета к отделу контрразведки он рассказывал Егорову, как их внезапно обстреляли, как летчик насилию перетянул теряющую высоту машину через лес и как потом уже, после трудной аварийной посадки, «мессершмитты» несколько раз проходили над ними и поливали из пулеметов, стараясь поджечь.

Вместе с Егоровым и Поляковым в кабинет начальника отдела, кроме Мохова, из прибывших прошли еще двое: назначенный ответственным за радиотехническое обеспечение розыска инженер-полковник Никольский и новый «направленец», офицер, осуществлявший общее наблюдение за контрразведкой фронта, майор Кирилюк.

Занимавший до Кирилюка долгое время эту должность подполковник, месяц тому назад прибыв в командировку к Егорову, пожелал участвовать в захвате разведывательных документов противника в окруженном Вильнюсе, был в бою тяжело ранен и спустя трое суток похоронен в освобожденном городе. Кирилюка, подтянутого длиннорылого офицера, белокурого, с высоким прямым лбом и васильковыми глазами, Егоров и Поляков увидели впервые.

В кабинете расселись двумя группами: Егоров и Поляков за письменным столом, а прибывшие — в конце длинного приставного, куда Поляков сейчас же предупредительно положил розыскное дело, карандаши и несколько листов чистой бумаги.

— Как девочки? — усаживаясь, спросил Егоров у Мохова.

— Спасибо, хорошо! — улыбнулся тот.— Учатся, дежурят, помогают матери... Ну и, конечно, погрузки, разгрузки, уборка урожая, лесозаготовки — все как положено,— с заметным удовлетворением сообщил он.— Ольга через год кончает, совсем взрослая... Да и Катя уже невеста!..

Он осекся, вспомнив о сыновьях Егорова, вспомнив, что старшую, Ольгу, и одного из егоровских близнецов дразнили в детстве женихом и невестой. И, ощутив неловкость, предложил:

— Начнем.

— Николай Федорович...— Егоров повернулся к Полякову.

— Мы знакомимся с делом в Москве, так что в курсе...— предупредил Мохов.— Нас интересуют сведения, поступившие уже после ночи, и, разумеется, более всего конкретные соображения по реализации... Вкратце!

Поляков поднялся и, взяв карандаш, подошел к карте.

— Нами разыскивается сильная квалифицированная разведгруппа противника, действующая с заданием оперативной разведки в тылах нашего и соседних фронтов. Несомненно связь разыскиваемых с агентурой или же одиночным весьма осведомленным агентом в тылах Первого Прибалтийского фронта, также несомненно стационарное наблюдение на железной дороге в Гродно или Белостоке и маршруты с визуальным наблюдением на рокадных коммуникациях Шауляй — Вильнюс — Гродно — Белосток.

Называя районы действия разыскиваемых, Поляков показывал их карандашом на карте.

— Случай сложный,— продолжал он,— кочующая рация с использованием автомобильного транспорта и, очевидно, сменных номеров.

Мы имеем дело с очень опытными и осторожными людьми... Коль вы просите «вкратце», я не стану излагать подробно ход наших рассуждений и мотивировки деталей, а перейду сразу к нашим соображениям... После анализа всех розыскных данных, произведенного сегодня ночью, у нас имеется твердое предположение о наличии тайника, в котором находится передатчик разыскиваемых где-нибудь в северной части Шиловичского леса.

— Площадь этой северной части? — справился Мохов.

— Пятнадцать-семнадцать квадратных километров...

— Генерал Колыбанов высказал опасение, не замыкаетесь ли вы на Шиловичском массиве, не уделяете ли ему чрезмерное внимание?

— Давайте посмотрим вместе.

Поляков быстро разложил на приставном столе квадратные листы среднемасштабной карты Южной Литвы и Западной Белоруссии. Прибывшие из Москвы и Егоров подошли и встали возле него.

— Седьмого августа разыскиваемые нами лица в районе Озер, вот здесь, завладели «доджем» сержанта Гусева, затем проехали за Столбцы... сюда, где, очевидно, находилась рация, осуществили выход в эфир, после чего вернулись на запад, вот... сюда, примерно в тот же район. Заметьте, дорога от Озер к Столбцам и обратная к Заболотью, где обнаружили «додж», проходит мимо Шиловичского леса. Тринадцатого августа они выходили в эфир из северной части этого леса... Шестнадцатого августа КАО выходила в эфир в тридцати-сорока километрах к востоку от Шиловичского леса. Передача велась с движения, вероятно из автомашины с тентом, двигавшейся по грунтовой дороге. Я посылаю туда людей, и там обшарили большой участок, но шестнадцатого вечером лил сильнейший дождь и следы протектора, естественно, не сохранились. Весьма маловероятно, чтобы при ведении передачи с движения рацию затем увозили в том же направлении. Как показывает наш немалый опыт, ее обычно возвращают в прямо противоположном направлении или же назад и несколько в сторону. Мы полагаем, что шестнадцатого вечером искомая рация была возвращена в тайник в северной части Шиловичского леса... Обратите внимание: хотя действия разыскиваемых затрагивают и соседние фронты, передачи ведутся из полосы нашего фронта в силу его срединного положения... Разумеется, они не возят с собой рацию без необходимости — это рискованно... Очевиден определенный цикл, совершаемый ядром группы скорее всего порознь: они получают сведения от своей агентуры в тылах Первого Прибалтийского, в районах Гродно и Белостока, собирают сведения визуальным наблюдением на рокадных коммуникациях, возвращаются в полосу нашего фронта, встречаются в обусловленном месте и радируют немцам.

Поляков сделал небольшую паузу и, указывая затем карандашом на карту севернее Шиловичей, продолжал:

— Выходя отсюда в эфир вечером или под вечер, разыскиваемые имеют двух надежных союзников: огромный густой лес и ночь. Расчет у них верный: если даже и запеленгуют, то пока соберутся и приедут за десятки километров, уже начнет смеркаться, а искать в темноте бесполезно. К тому же для надежных поисков в таком массиве нужны сотни и сотни людей, добыть их тоже вопрос не одного часа... Прошу вас припомнить тексты перехватов и обстоятельства дела — географически!.. Шауляй, Вильнюс, Гродно, Белосток, Лида, дважды — Шиловичи, ну и раньше, до того, как наступление приостановилось, Столбцы и Яшуны... Теперь поставим себя на место старшего разыскиваемой группы и посмотрим внимательно: какой район является оптимальным для расположения тайника с передатчиком при известных нам обстоятельствах дела и нынешней конфигурации линии

фронта?.. Мы анализировали тщательно и пришли к выводу — Шиловичский лесной массив!

— А пуща Рудницкого? — после некоторого молчания спросил Мохов; он, другие прибывшие и Егоров стояли рядом с Поляковым и сосредоточенно рассматривали листы карты.

— Во-первых, Шиловичский лес со всех сторон обтекается шоссейными дорогами если и не с оживленным, то, во всяком случае, с достаточным движением, дающим возможность в любом месте максимум в километре от опушки сесть на проходящую попутную машину и без промедления покинуть этот район... Рядом же с пущей Рудницкого проходит всего одна шоссейная дорога, причем это «рядом» — более четырех километров... Во-вторых, что тоже немаловажно, в Шиловичском лесу лазают малочисленные группки, а пуща Рудницкого — район деятельности крупнейшей банды аковцев... Замечу, что возможная принадлежность Павловского к «Неману», безусловно, также подкрепляет это наше предположение: перед войной он полтора года работал у отца в Шиловичском лесничестве, знает там каждую тропинку, все ходы и выходы. И, с точки зрения разыскиваемых, не использовать в своих действиях такое знание им местности было бы просто неразумно... Надо также заметить, что Шиловичский массив по своему расположению, густоте и наличию нескольких полян представляется нам оптимальным местом и для приемки груза, который они должны получить в субботу завтра или в воскресенье послезавтра.

— Так... — Мохов, сев на место, взял свой большой служебный блокнот и переворачивал исписанные листы. — Что нового по Николаеву и Сенцову?

— У нас серьезные сомнения относительно этой версии, — сказал Поляков. — К разговору о Николаеве и Сенцове целесообразно вернуться несколько позже: мы с минуты на минуту ожидаем ответы на срочные запросы... А сейчас я бы хотел закончить с соображениями по реализации.

— Пожалуйста. — Мохов согласно кивнул головой.

— У разыскиваемых есть что передавать, и добытая информация подпирала и будет их подпирать, заставляя при всей очевидной осторожности дважды в неделю выходить в эфир. В то же время у них на исходе питание для рации, им срочно требуется новое. При двух последних пеленгациях зафиксировано нарастающее ослабление сигналов передатчика. Как явствует из текста последнего перехвата, в субботу, то есть завтра, или же в воскресенье — послезавтра — они ждут груз. За несколько часов до этого они должны получить подтверждение о предстоящей выброске. Каковы же будут или могут быть их действия?.. Если рация, как мы убеждены, в предполагаемом тайнике, то в субботу, то есть завтра, во второй половине дня им необходимо появиться там, в лесу, извлечь рацию, чтобы отойдя по соображениям конспирации для маскировки на несколько километров в сторону — наверняка в пределах массива, — осуществить радиобмен и получить подтверждение. В этом случае, даже если подтверждение будет на воскресенье, что маловероятно — немцам невыгодно держать их в лесу, в бездействии, целые сутки, — у нас реальный шанс взять их в субботу, то есть завтра. Если же они появятся в Шиловичском массиве в воскресенье, послезавтра, реальная возможность их поимки там, естественно, отдалается на сутки... В любом случае они должны появиться предположительно от пятнадцати до семнадцати часов, чтобы, получив подтверждение, успеть засветло осмотреть место приемки и подготовить хворост для сигнальных костров... Безусловно, оптимально: взять их с поличным, с рацией, в начальный

период их пребывания в лесу — до выхода в эфир. Безусловно, оптимально перед задержанием прокачать их на засаде с подстраховкой, попытаться заставить проявить свою суть — это уже залог или вероятная предпосылка незамедлительного получения момента истины!.. — заключил Поляков и улыбнулся. — Был бы момент истины¹, а костры мы и сами разложим!

— Ставить себя на место разыскиваемых — это разумно, — заметил Мохов. — А вы не думаете, что и они, в свою очередь, ставят себя на ваше место и стараются предусмотреть ваши действия и рассчитывают соответствующие контрходы?

— Думаем! Мы сегодня с начальником управления часа полтора только этим и занимались, — с улыбкой сказал Поляков. — Проигрывали все возможные варианты. Естественно, игнорируя, вернее исключая, свое преимущество. Ведь они не знают, что их четырежды пленговали, что у нас есть дешифровка перехватов и место выхода в эфир, что найден «додж» и жив Гусев. Они не знают, что мы располагаем о них определенными сведениями, а если и допускают такую возможность, то не в состоянии установить, какими именно.

— У меня вопрос... — проговорил инженер-полковник Никольский. — Вы убеждены и утверждаете, что шестнадцатого вечером после передачи с движения рация была возвращена в предполагаемый тайник в Шиловичском лесу. А вы не допускаете, что за эти двое суток ее могли взять оттуда, ее могли переправить в другое место?

— Мы исследовали и такую возможность. И пришли к выводу, что если это и произойдет, то наверняка только после приемки груза. Следовательно, рацию могут переместить — забрать оттуда совсем — не раньше чем завтра.

— Разрешите... — Майор Кирилук перевел взгляд с Полякова на Мохова и обратно. — Вопрос о проведении войсковой операции в Шиловичском массиве вами не рассматривался?

— Нет. — Поляков нервно потянул носом. — В ближайшие двое суток, по крайней мере, он и не должен рассматриваться, даже возникать не должен!

— Это почему же?

— А что нам даст войсковая операция? — живо вступился Егоров.

— Хотя бы тайник, в котором, как вы полагаете, находится рация.

— Сомневаюсь! — Егоров недовольно насупился. — Отыскать тайник в таком лесу, как Шиловичский, очень и очень не просто!.. И потом, тайник сам по себе еще мало что значит. Нам нужны люди, нужен момент истины — от тайника с рацией его не получишь! Мы хотим при помощи тайника — на подходах к нему — взять ядро группы, и у нас есть реальный шанс завтра или послезавтра сделать это. Нам необходим момент истины, а войсковая операция, к вашему сведению, чаще всего дает трупы! И говорить о ней сейчас, сегодня просто нелепо! Оставьте эту свою ненужную мысль, майор, — посоветовал Кирилuku Егоров, с властным нахмуренным видом откинувшись на спинку кресла и барабаня массивными пальцами по краю стола, — я не желаю ее не то что обсуждать, даже выслушивать, извините, не желаю!

— А это не только моя мысль, — невозмутимо сообщил Кирилук, уставясь в лицо Егорова большими светло-синими глазами, — О войсковой операции говорил генерал Колыбанов.

— Что говорил?! Конкретно!

¹ Момент истины — момент получения от захваченного агента сведений, способствующих поимке всей разыскиваемой группы и полной реализации дела.

— Алексей Николаевич,— вмешался Мохов,— не горячись... Колыбанов и генерал-полковник, когда я был у него перед вылетом, предложили по прибытии к вам изучить вопрос о возможности и целесообразности войсковой операции. Скорее всего эта мысль у них появилась после того, как им стало известно ваше предположение о наличии тайника в Шиловичском лесу.

— Не надо путать! Проводить войсковую операцию или изучать вопрос о ее целесообразности — это разные вещи! — Отодвинув кресло, Егоров стремительно поднял свое большое грузное тело и, выйдя из-за стола, двинулся по кабинету.— Могу вам сказать, чего мы достигнем войсковой операцией наверняка: создания перед Ставкой видимости нашей активности!.. Если докладывают, что розыском занимаются десятки человек, это по масштабам высокого начальства выглядит незначительно и может даже быть воспринято как недооценка или хуже того — халатность! Если же доложить, что только в одном месте привлечено несколько тысяч, это, конечно, впечатляет! Но впечатлять это может только людей некомпетентных, а мы-то с вами профессионалы! Так давайте определимся, давайте уясним, что для нас важнее: момент истины и «все концы» или же создание видимости нашей активности?.. Кстати, Николай Федорович,— Егоров повернулся к Полякову,— скажи, пожалуйста, чего и сколько нам потребовалось бы для войсковой операции?

— Для хорошей, качественной гребенки в Шиловичском лесу... с предварительным созданием надежного оперативного кольца... даже всего с одной цепью прочесывания нужно не менее четырех тысяч человек...— медленно, негромко и картавя сильнее обычного проговорил Поляков; от разговора о войсковой операции он нервничал и совсем по-кроличьи часто подергивал носом.— Чтобы блокировать массив синхронно, необходимо всех обеспечить автотранспортом. Это свыше двухсот грузовых машин... Потребуется также сотни две с половиной служебно-розыскных собак и сто пятьдесят — сто семьдесят минеров.

— Одной обычной цепи прочесывания недостаточно,— проходя мимо сидевших за столом, убежденно сказал Егоров.— Учтите, что лес — с чащобными участками, где видимость весьма ограничена. А отыскать надо не человека, а незаметный даже вблизи тайник.

— Какова площадь всего массива? — справился Мохов.

— Примерно шестьдесят квадратных километров.

— А периметр, протяженность опушек?

— Около сорока.

— Да-а, шутка сказать! — поморщился Мохов, делая заметки в своем блокноте.

— Вы слышали, сколько людей требуется для войсковой операции? — останавливаясь напротив Кирилюка, спросил Егоров.— А вы их нам привезли?

— Товарищ генерал,— понимающе улыбнулся Кирилюк.— Дело взято на контроль Ставкой. Вы только скажите — все забегают как посланные! Да вам дивизию с передовой снимут!

— Ах, майор, майор... — покачал головой Егоров, подходя к окну.— Как для вас все просто!.. Завидую...

Несколько секунд он смотрел поверх занавески вдаль, на поле аэродрома, затем быстро обернулся и, с нескрываемой неприязнью глядя на Кирилюка, повыся голос, заявил:

— Я не то что дивизии — роты с передовой не хочу! И не возьму! Если вы, майор, подзабыли, могу напомнить: обязанность армии — воевать!.. А ловить шпионов — это моя обязанность! И моих подчиненных! И ваша тоже!!! — возбужденно вскричал Егоров, вы-

брасывая руку в сторону Кирилюка.—Хочу спросить, почему мы, профессионалы, будем перекладывать свою, сугубо свою ношу на плечи армии? По какому праву?!

Он снова зашагал по кабинету и уже более спокойным тоном, как бы в раздумье продолжал:

— Тут есть еще весьма существенный моральный аспект, о котором одни просто не знают, а другие обычно забывают... А следовало бы знать и помнить... В случае войсковой операции каждого из этих тысяч привлекаемых необходимо предупредить: это тебе не на передовой; даже если в тебя будут стрелять, даже если тебя будут убивать, ты должен взять их живыми!.. А ведь такое предупреждение фактически является приказом. Можно ли это требовать от армейских военнослужащих или даже от пограничников из частей по охране тыла фронта? — оборачиваясь к сидевшим за столом, спросил Егоров.— Я лично считаю, что нет, нельзя... Требовать это можно только от умеющих качать маятник, от чистильщиков! Это их привилегия, их удел...

Какое-то время он молчал, стоя вполборота у окна и провожая взглядом взлетевший над дальней частью аэродрома истребитель.

— Я знаю немало войсковых операций и по опыту могу сказать: чаще всего привозят трупы. И концов не найдешь: клянутся, что стреляли только по конечностям, а привозят трупы... Извините, но я не патологоанатом! И вы, надеюсь, тоже?..— посмотрев на Кирилюка, язвительно осведомился Егоров и, обращаясь к Мохову, продолжал: — Причем на каждого убитого агента обычно приходится несколько убитых и раненых наших военнослужащих... Хочу быть правильно понятым... Конечно, бывают обстоятельства, когда без войсковой операции не обойтись, когда она просто необходима. Но в данном случае по крайней мере ближайшие двое суток она всего-навсего нецелесообразна!.. Мы убеждены, что разыскиваемые связаны с этим лесом и должны там появиться. Войсковая операция может их вспугнуть, и поэтому мы против нее... Даже если они окажутся внутри оперативного кольца, наши шансы на получение момента истины уменьшаются до минимума... Скажу вам прямо: без официального письменного приказа мы не то что проводить, но и подготавливать войсковую операцию не станем!

Сделав это заявление, Егоров подошел к своему креслу и сел.

— Что ж, позиция контрразведки фронта ясна и достаточно обоснована...— после недолгой паузы произнес Мохов.— Только зарекайтесь, пожалуй, не стоит...— усмехнулся он и, посмотрев в свой блокнот, быстро спросил: — Сколько там площадок, годных для приемки груза?

— Если учесть большую осторожность разыскиваемых,— отвечал Поляков,— с их точки зрения, удобными для приемки груза представляются всего четыре площадки внутри массива.

— Все подступы к ним можно надежно перекрыть девятью засадами,— заметил Егоров.— Для этого нам потребуется не больше тридцати розыскников, десятков офицеров комендатуры, человек восемьдесят для визуального наблюдения на опушках и полсотни радистов с рациями «Север». В отличие от потребного для войсковой операции все это у нас есть, все это в наших силах!

— У вас все разложено как по полочкам! — с улыбкой сказал Мохов.— Ваша убежденность мне нравится. А гарантировать вы можете, что завтра, максимум послезавтра, мы их возьмем?

— Товарищ генерал, какие же тут могут быть гарантии? — в свою очередь улыбнулся Поляков.— Мало ли что может произойти! Их мо-

гут взять раньше нас прибалтийцы или территориалы², они могут напороться в лесу на бандгруппу или на мину. Да мало ли что еще может случиться!.. Нет, никаких гарантий тут, разумеется, нет и быть не может...

— Я тоже думаю, что никаких гарантий нет...— перестав улыбаться, сказал Мохов.— Именно поэтому вопрос о войсковой операции не может быть исключен. Вы не учитываете один очень важный момент: возможно, имеются обстоятельства более значительные и более веские, чем все ваши доводы...— С невеселым лицом он закрыл свой блокнот и, давая понять, что разговор окончен, поднялся.— Вопрос о войсковой операции остается открытым, решать его придется в ближайшие часы и, очевидно, не нам...

51. ОПЕРАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ШИФРОТЕЛЕГРАММА

«Весьма срочно!»

Егорову

Военнослужащие в/ч 31518 капитан Николаев Алексей Иванович и лейтенант Сенцов Василий Петрович по стабильным и функциональным признакам словесного портрета полностью идентифицируются с проверяемыми Вами лицами.

Николаев и Сенцов сегодня в 11 часов прибыли в Старосельцы, к месту прежней дислокации части, на «студебеккере» А 3-16-34, в кузове которого находилось 22 овцы, 6 свиней и 420 кг муки-крупчатки.

Будучи порознь допрошены, Николаев и Сенцов одинаково показали:

1) Три стограммовые порции немецкого сала в целлофановой упаковке получены ими официально со склада при выезде в командировку. Такое трофейное сало в количестве примерно тридцать килограммов было захвачено их частью в холодильнике на Белостокском аэродроме.

2) 7 августа сего года в течение всего дня они безвыездно находились в местечке Старосельцы (5 км западнее Белостока). В районе Столбцов как Николаев, так и Сенцов никогда не были.

3) В гор. Лига они квартировали согласно направлению комендантуры по адресу ул. Вызволенья, 6, где ночевали четыре ночи. Пятую ночь провели в Скрибовцах в квартире начальника станции Петрицкого Витольда, у которого при освобождении Лигского района несколько суток находились на постое. 14 августа Петрицкий был случайно встречен ими в Лиге, а 16 августа вечером посетил их в доме 6 по ул. Вызволенья, чтобы договориться с ними насчет обмена поросенка на соль и керосин.

4) 15 августа вечером они оставили в погребке на хуторе севернее Шиловичей вещмешок, в котором находился копченый окорок, вымоченный ими перед тем на соль.

5) Обмен трофейного имущества на живность и продукты производства ими по заданию командования части в соответствии с устным неофициальным разрешением начальника тыла в/ч 70244 гвардии полковника Самородова.

² Территориальные органы государственной безопасности и внутренних дел.

Показания Николаева и Сенцова не вызывают сомнения в достоверности. Их личность удостоверена оставленным в Старосельцах представителем в/ч 31518 капитаном Купченко, служащим вместе с ними пять месяцев.

После идентификации и выяснения интересующих Вас вопросов Николаев и Сенцов были отпущены и убыли на машине дальше к новому месту дислокации части на 1-й Белорусский фронт, в район города Рагзымин (20 км северо-восточнее Варшавы). Протоколы идентификации и допроса высылаются в Ваш адрес.

Горбунов».

ЗАПИСКА ПО «ВЧ»

«Весьма срочно!

Егорову

Сообщаем, что проверяемые Вами нач. ПФС в/ч 31518 капитан Николаев Алексей Иванович 1908 г. р. урож. гор. Томска, русский, беспартийный, образование незакончен. высшее, и командир взвода той же части лейтенант Сенцов Василий Петрович 1921 г. р. урож. гор. Загонска, русский, член ВЛКСМ, образование среднее, действительно с 12 по 18 августа сего года находились в командировке в районе города Луга с целью децентрализованной заготовки и приобретения сельхозпродуктов, для чего ими использовалось трофейное имущество, как то керосин, соль и немецкое обмундирование.

Как нами установлено, 7 августа с. г. Николаев и Сенцов из расположения части никуда не отлучались и находиться в этот день в районе Столбцов никак не могли.

Немецкое сало в стограммовой расфасовке с маркировкой на целлофановых обертках: «VI. 44» и «№ 396» общим весом 32 кг. 700 гр. было обнаружено при освобождении Белостока в немецком военном складе-холодильнике на аэродроме и после оприходования использовалось для питания личного состава части. 300 гр. такого сала было выдано при убытии в командировку Николаеву и Сенцову по накладной № 2684 от 11 августа сего года.

Капитан Николаев и лейтенант Синцов³ в Красной Армии с 1941 года; на оккупированной территории не проживали, в плену и окружении не были. Командованием характеризуются только положительно.

По имеющимся у нас данным, сестра Николаева, Гольбингер (по мужу) Елизавета Ивановна 1906 г. р. урож. г. Томска в 1936 году, работая бухгалтером Красноярского горпищеторга, была осуждена за растрату по ст. 116 УК РСФСР ч. I к двум годам лишения свободы. Срок наказания отбыла полностью. В настоящее время проживает в Красноярске, заведует хлебным ларьком.

Другими компрометирующими сведениями на проверяемых Вами лиц и их родственников не располагаем.

Одновременно сообщаем, что являющаяся незаконной децентрализованная заготовка сельхозпродуктов в обмен на трофейное имущество производилась Николаевым и Сенцовым согласно устного разрешения нач. тыла в/ч 70244 гвардии полковника Саморогова, о чем целесообразно информировать командование по принадлежности.

Тютюгин».

³ Так в документе. Несомненная описка, следовало — Сенцов.

52. АЛЕХИН

Это как болезненная потеря, как похороны чего-то дорогого: работаешь по версии с полной отдачей и все вроде выстраивается и уже пахнет реальным результатом, и вдруг эта самая основная версия лопается, как мыльный пузырь. И ты — у разбитого корыта.

Что мы, возможно, тянем пұстышку, я почувствовал еще вчера после разговора с Окуlichem, и все же, когда сегодня под вечер позвонил из Белостока в Лиду и Поляков сообщил мне результаты проверки, я был совершенно обескуражен.

Почти трое суток мы упорно шли по ложному, как теперь выяснилось, следу. Дело оказалось столь важным, что его взяла на контроль Ставка, а спустя несколько часов обнаружилось, что у нас, по существу, ничего нет.

«Вы занимались ими за неимением лучшего, — сказал мне генерал, когда вечером я вернулся в Лиду, — за неимением более перспективного...»

Это звучало явным укором, впрочем, он даже не повысил голоса; сказал устало и огорченно.

Теперь с Николаевым и Сенцовым все было ясно. Однако даже за несколько секунд до получения ответа на запрос ни один человек, в том числе и генерал, не решился бы поставить на этой версии крест: слишком уж велико было стечение весьма подозрительных обстоятельств.

Весь этот день я провел в Гродно и в Белостоке. С утра в моем распоряжении был самолет связи, на аэродромах меня ожидали автомобили и большие оперативные группы. Если вчера «Неманом» занимались только мы трое да еще Поляков, если вчера я с великим трудом мог бы выпросить себе в помощь хотя бы стажера, то сегодня делалось буквально все — машина чрезвычайного розыска была запущена и стремительно набирала скорость.

Причем и в Гродно и в Белостоке меня ожидали не новички вроде Фомченко и Лужнова, а розыскники из отделов контрразведки пяти армий нашего и соседнего фронтов, толковые, ухватистые ребята, понимавшие все с полуслова. Их не надо было инструктировать, от меня требовалось лишь направлять и координировать их действия.

Судя по тексту дешифрованного перехвата, наблюдение за эшелонами осуществлялось не со стороны и не на перегонах во время движения, а на станциях.

Поляков, как и обычно, оказался прав: 473-й батальон автомобилей-амфибий не следовал через Гродно или Белосток, то есть наблюдение было комбинированным — стационарное на одной из этих станций дополнялось сведениями фланеров или маршрутчиков, очевидно, действующих в форме военнослужащих Красной Армии.

Для оперативных тылов фронта это, по сути дела, наиболее распространенная и очень трудно уловимая разновидность вражеской агентуры: располагая безупречными экипировкой, легендой и воинскими документами, они умудряются подчас неделями находиться на важнейших железнодорожных коммуникациях. При этом их продовольственные аттестаты со временем заменяются новыми, подлинными, а командировочные предписания обрастают отметками этапно-заградительных комендатур, и эти отметки, и подлинные аттестаты, и безукоризненно сработанные удостоверения личности вводят в заблуждение большинство людей, проверяющих документы.

Военная форма, безусловно, отличное прикрытие для разведки в оперативных тылах, впрочем, на том же железнодорожном транспорте встречались и более сложные, оригинальные маски.

В моей памяти очень свеж еще был случай весной в Смоленске. Мы прибыли туда по тревоге, рано утром: дешифрованная ночью радиограмма свидетельствовала о наличии на станции весьма квалифицированного наблюдателя, фиксировавшего передвижение войск и прибытие резервов — людей и техники.

В первый же день мы обратили внимание на бродившую около эшелонов пожилую женщину. Разбитые в кровь босые ноги — в начале апреля, — лицо тронутого умом человека, выбивающиеся из-под платка седоватые волосы, потухший, ни на чем не останавливающийся взгляд и повторяемое, как в полусознании, охриплым голосом:

— Сыночек родимый!.. Володинька... Кроvinочка моя...

Ее уже знали на станции и не раз проверяли: и милиция, и комендатура, и транспортный отдел госбезопасности. Подошел к ней в тот вечер и я.

— Мамаша!..

Она не остановилась и даже не обернулась, и я, догнав, взял ее за локоть.

— Что вы здесь делаете?.. Документы какие-нибудь у вас есть?..

Лишь когда я достал из кармана и подержал перед ее глазами армейское офицерское удостоверение личности, она наконец прореагировала: вытащила из-за пазухи грязный, замасленный мешочек и, доверчиво отдав его мне, пошла дальше вдоль путей. Я вновь догнал ее и остановил.

В мешочке, кроме паспорта на имя Ивашевой Анны Кузьминичны, выданного перед войной в Орше, справки об эвакуации из этого города и профсоюзного билета, находились две похоронные на старших сыновей, измятые солдатские письма-треугольнички от младшего — Владимира (его-то она и звала, бродя по станции) со штампами полевой почты и военной цензуры, выписка из истории болезни и справки двух психиатрических больниц, где она лечилась. Ни один документ не вызывал подозрений.

Она уже прижилась на станции; ее охотно подкармливали в воинском продпункте и откровенно жалели.

Ночью, подробно докладывая по «ВЧ» Полякову обстановку на станции, я упомянул и об Ивашевой.

— Ее надо в больницу, — заметил он. — Подскажи коменданту или начальнику милиции. На станции, во всяком случае, ей делать нечего.

На другой день в комендатуру пригласили городского психиатра — благообразного старикана с круглыми очками в металлической оправе на отечном усталом лице.

Он ознакомился с медицинскими документами Ивашевой и около часа осматривал ее, пытаясь разговорить и ласково называя голубушкой и милушей. Все положенные при ее диагнозе симптомы, рефлексы и синдромы оказались налицо.

Я тем временем в соседней комнате, еще раз проверив ее документы, прочитал и письма. Это были трогательные своей искренностью и любовью послания молоденького сержанта-фронтовика своей психически больной матери. Осмотрел я и заплечную торбочку Ивашевой: куски хлеба, грязный до черноты носовой платок, такие же грязные, жалкие тряпки — белье, немножко сахара. Все это держалось вперемешку, нормальный человек никогда бы так не положил.

— Случай ясный, — сказал мне доктор после ухода Ивашевой. — Место ей в колонии для хроников, но таковой, увы, не имеется: сожжена немцами... В больницу же взять ее не можем: на всю область у нас шестьдесят коек, — сняв и протирая носовым платком очки, сообщил он. — На очереди сотни больных, и мест не хватает даже для буйных... А она совершенно безвредна... Ко всему, при ее бредовом

восприятию действительности, при ее постоянной надежде встретить сына, изолировать ее было бы просто, знаете ли, бесчеловечно... Пережить такое... Потерять двух сыновей... Что это для матери, нам, мужчинам, невозможно даже себе представить.

Бедный доктор... Тут оказался бессильным и его сорокалетний опыт врача-психиатра. Он так и не узнал, да если бы ему и сказать, он едва ли поверил бы, что все симптомы, рефлексы и синдромы были отработаны и «поставлены» Ивашевой в кенигсбергской клинике профессора Гасселя.

Заподозрил ее Таманцев.

Любопытно, что, увидев Ивашеву впервые, он отдал ей свой пайковый сахар и, как он сам мне потом признался, «чуть не проследился».

Когда же она попала к нему на глаза в четвертый или пятый раз, он уловил, что, проходя мимо теплушек с людьми и зовя, как и всегда, сына, она время от времени поглядывала на платформы с техникой, словно считала. Под вечер он последовал за ней в город и там на разрушенной улице еле успел юркнуть в развалины, вовремя заметив, как она подняла руку на уровень глаз, чтобы при помощи зеркальца, зажатого в кулаке, на ходу, не оборачиваясь, проверить, не ведется ли за ней наблюдение. Спустя полчаса она вывела его на окраину к старенькому домишку, где потом мы взяли в подвале радиста и передатчик, но уже в ту минуту, когда, заметив зеркальце, Таманцев юркнул в развалины, участь «Анны Ивашевой» (настоящую ее фамилию, имя и личность установить не удалось), квалифицированного агента абвера, судя по всему, обрусевшей немки, была решена.

Я видел ее через неделю на следствии: абсолютно осмысленный, холодный взгляд, поджатые губы, гордая осанка, во всем облике — презрение и ненависть. Она категорически отказалась отвечать на вопросы, молчала до самого конца, однако, уличенная показаниями радиста и вещественными доказательствами, была осуждена и расстреляна.

Женщина, помешавшаяся после гибели на фронте двух сыновей, — это была отличная оригинальная маска с использованием и эксплуатацией великого, присущего всем нормальным людям чувства — любви к матери.

«Ивашева» действовала на узловых станциях в наших оперативных тылах ровно четыре недели. Страшно даже подумать, сколькими жизнями заплатила армия за этот месяц ее шпионской деятельности...

Перед вылетом из Лиды мы с Поляковым все обсудили и оговорили. Наши выводы вкратце выглядели так:

наблюдение за движением эшелонов ведется в Белостоке или, что вероятнее, в Гродно. Это стационарное слежение: маршрутникам или фланерам продержаться сутки и более непосредственно на железнодорожном узле со строгим охранительным режимом практически невозможно;

наблюдение ведется не одиночкой, а как минимум двумя агентами.

При перевозке реактивной артиллерии — «катюш» — на каждую платформу положен часовой, установки наглухо задраиваются брезентами, под которые подкладываются дощатые каркасы и кипы сена, изменяющие конфигурацию груза. Так что определить, что это «катюши», а тем более отличить в эшелоне «М-13» от «М-31», может только квалифицированный специалист с зорким глазом, человек, имеющий отличную военную и агентурную подготовку, причем полученную в последние полтора-два года, то есть знающий новую боевую технику.

И в Гродно и в Белостоке мы начали с выяснения режима на железнодорожных узлах. Оказалось, что никто из посторонних не смог бы находиться сколько-нибудь длительное время на путях, в депо и служебных помещениях, оставаясь незамеченным. Парные патрули военной комендатуры были ретивы и по-настоящему бдительны; стоило нам потолкаться у эшелонов, как на нас обратили внимание и предложили предъявить документы. Места ожидания для гражданских пассажиров, перроны и пристанционные территории находились под круглосуточным наблюдением транспортной милиции и отделений госбезопасности. Такой строгий порядок и в Гродно и в Белостоке соблюдался с момента освобождения.

На обеих станциях меня не оставляло неприятное чувство какой-то виноватости, особенно сильно я ощущал его в Гродно. На путях там находилось около десяти воинских эшелонов; одни прибывали, другие отправлялись, такой круговорот не затихал уже второй месяц. Войска и боевая техника двигались к фронту, но раньше, чем они туда прибывали, районы выгрузки и сосредоточения становились известны противнику.

Глядя на бойцов и офицеров, ничего не подозревая бегавших у эшелонов, я то и дело вспоминал, что разыскиваемые действуют у нас в тылах уже около месяца, и мурашки ползали у меня по коже.

После ознакомления с охранительными режимами на обеих станциях я утвердился в мысли, что слежение ведется не только маршрутниками или фланерами, но и стационарными наблюдателями, причем скорее всего железнодорожниками.

Я знал по опыту, что при восстановлении советской власти на освобожденной территории вражеские агенты стараются проникнуть в систему железнодорожного транспорта, причем отнюдь не на какие-либо начальнические должности. Они охотно идут на низовую работу — составителями поездов, смазчиками, стрелочниками, что дает возможность постоянного свободного пребывания на станциях и общения с большим числом железнодорожников и проезжающих пассажиров, в основном военнотружеников.

Разумеется, устроиться на железную дорогу стремится не только вражеская агентура, но и те, кто хочет получить бронь, а также повышенный по сравнению с нормами для городских рабочих паек и топливо на зиму.

В Гродно и в Белостоке оказалось более шестисот человек, имеющих отношение ко всякому обслуживанию, техническому осмотру, профилактике ходовой части и переформированию проходящих эшелонов.

Из этих сотен людей к вечеру мы выявили тринадцать человек, чьи биографии последних лет представлялись туманными. Все они находились на оккупированной немцами территории и проживали тогда не по месту настоящего жительства; никаких достоверных данных, где именно они были эти годы и чем занимались, не имелось. В анкетах у двоих обнаружили противоречивые записи, непонятно, как или почему не замеченные работниками отдела кадров.

Из тринадцати человек наибольший интерес, на мой взгляд, представляли четверо:

1. Игнаций Тарновский — составитель поездов станции Белосток. По профессии — оружейный механик. Осенью 1941 года с группой инженеров и техников был вывезен немцами в Германию, где якобы работал на авиационном заводе в Бремене. В июне 1944 года отпущен домой, как указано в автобиографии, по состоянию здоровья. Однако при медицинском освидетельствовании две недели назад признан годным для работы на железной дороге без ограничений — никаких

болезней у него не обнаружено. Ни один из вывезенных вместе с Тарновским в Белосток не вернулся, и никаких известий от них за все три года не поступало.

2. Чеслав Комарницкий — составитель поездов станции Гродно. В прошлом офицер польской армии, получивший перед войной высшее военное образование. В сентябре 1939 года был пленен немцами, но бежал из лагеря, пробрался в Южную Польшу, где якобы участвовал в движении сопротивления, был взводным, а затем командиром роты в отряде Гвардии Людовой «Гром».

3. Его брат Винцент Комарницкий — смазчик. В 1937—1942 годах, если верить анкете, дорожный мастер, затем бежал в Южную Польшу и будто бы находился в одном партизанском отряде с Чеславом.

В письме же, полученном позавчера на станции, утверждалось, что Винцент Комарницкий перед войной и в первые годы оккупации занимался вовсе не ремонтом шоссежных дорог, а служил в дорожной полиции, в так называемой роте движения. За усердное пособничество оккупантам якобы получил две бронзовые боевые медали и личную благодарность самого Кучеры, шефа немецкой полиции всей Польши, известного карателя и палача, убитого позже партизанами. Весной 1943 года Винцент Комарницкий будто бы был направлен из Варшавы в Берлин на учебу.

Письмо, адресованное начальнику станции, оказалось анонимным, но состояло не из общих обличительных фраз, а из конкретных фактов, изобиловало такими точными деталями, что игнорировать его, отмахнуться и не проверить тщательно было бы опрометчиво.

В Гродно, где у них не имелось ни жилья, ни близких родственников, Винцент и Чеслав появились спустя неделю после освобождения. У меня сразу возникло два основных вопроса: почему их отпустили из партизанского отряда, действующего по сей день в тылу у немцев южнее Кракова, и при каких обстоятельствах они оказались по эту сторону фронта?

4. Николай Станкевич — стрелочник станции Гродно. В июле 1941 года, будучи бойцом Красной Армии, пленен немцами. Использовался ими как разнорабочий, а затем как водитель грузовой автомашины. Летом 1942 года был арестован якобы за связь с партизанами и отправлен в лагерь смерти Треблинка. В апреле 1944 года будто бы умудрился оттуда бежать, лесами два месяца пробирался на восток и в конце июня оказался в Гродно, где у самой станции его родители имеют домик с участком; отец работает машинистом.

Почему мы обратили внимание на Станкевича?.. Дело в том, что Треблинка была даже не лагерем для заключения, а комбинатом смерти, где привозимые не только из Польши, но и со всей Европы уничтожались в течение нескольких часов после прибытия. Тех же немногих, кого оставляли на различных работах и убивали спустя недели или даже месяцы, обязательно метили. К вечеру нам удалось установить, что у Станкевича, пробывшего в Треблинке необычайно долгий срок — почти два года, — нет на руке обязательной в таких случаях татуировки — личного знака.

При поступлении на работу заподозренные нами в большинстве своем предъявляли документы, относящиеся и к периоду оккупации, — различные аусвайсы, кенкарты и справки. Все эти бумаги, выданные немецкими учреждениями, естественно, не внушали доверия; следовало выяснить достоверно, где их владельцы находились и чем занимались в последние два-три года.

На восьмерых человек из тринадцати мы в этот же день составили полные словесные портреты для проверки по розыску и почти на всех сделали большую часть необходимых запросов по местам жи-

тельства и пребывания в интересующий нас период. К сожалению, две трети польской территории еще находились под властью немцев, что крайне затрудняло нашу задачу.

В Лиду я вернулся затемно. Четыре взлета и четыре посадки в один день, к тому же ужасная болтанка на обратном пути — для наземного офицера это многовато. Меня мутило, а когда самолет внезапно проваливался, казалось, на сотни метров, все внутри обрывалось. С чувством облегчения я вылез на лидском аэродроме, ступил на твердую землю и направился к отделу контрразведки авиакорпуса; меня шатало, как пьяного, и более всего хотелось лечь или же стать на четвереньки и ухватиться за траву руками.

Возле здания отдела, патрулируемого на расстоянии автоматчиками, стоял десяток автомашин и два разгонных мотоцикла с колясками; дежурили водители.

У самого крыльца полупшепотом разговаривали трое в плащ-накидках; при моем приближении они умолкли. Когда я поднялся по ступенькам, дверь открылась, и мне навстречу из здания быстро вышел, скорее даже выбежал, военный с темной окладистой бородой, в кожаном пальто и форменной фуражке.

— Товарищ генерал, мы здесь! — сообщил ему один из ожидавших.

Я догадался, что это начальник управления по охране тыла фронта генерал Лобов.

Большое помещение при входе направо было полно прибывшими офицерами; они сидели на скамьях, негромко разговаривали, пили чай, здесь же, на столах, чистили автоматы, брились, некоторые спали прямо на полу.

В коридоре стояли двое военных в плащ-палатках и пограничных фуражках, один записывал что-то в служебном блокноте, а второй, когда я поравнялся с ними, говорил ему:

— И еще выясните, где размещать собак и кто выделяет для них полевую кухню. И распространяется ли на них приказ об усиленном питании.

Егоров и Поляков находились в кабинете начальника отдела — генерал как раз докладывал по «ВЧ» в Москву о розыскных мероприятиях по делу «Неман».

Я хотел сразу же прикрыть дверь, но подполковник — он говорил по местному полевому телефону, — увидев меня, подозвал энергичным жестом и указал на стул.

— Ничем не могу помочь, — продолжал он в трубку. — Товарищ гвардии полковник, это приказ начальника штаба фронта... Чем прибывшие бойцы лучше ваших летчиков, вы можете поинтересоваться непосредственно у него... Что?.. Оставьте своих дневальных, дежурных офицеров, но обе казармы должны быть освобождены немедленно, подчеркиваю — немедленно!.. У меня все!..

По разговору Егорова, по его возбужденному лицу и голосу я понял окончательно, в каком напряжении они здесь пребывают. Генерала, видимо, в чем-то упрекали или задавали неприятные вопросы; он отвечал твердо, уверенно, но проскальзывали оправдательные интонации.

В заключение, приблизив мембрану к губам, он убежденно сказал:

— Заверьте генерал-полковника и Ставку, что делается все возможное, и я надеюсь, что завтра, в крайнем случае послезавтра мы их возьмем.

Положив трубку, он поднялся, пошел к двери и, должно быть только теперь увидев меня, по своему обыкновению в упор спросил:

— Что у вас?.. Есть что-нибудь существенное?

Я не успел ответить, поднявшись, только еще формулировал ответ, как он, поняв, что ничего существенного у меня нет, толкнув дверь, шагнул через порог, потом внезапно обернулся и тут-то сказал мне, что мы занимались Николаевым и Сенцовым «за неимением лучшего, за неимением более перспективного», что надо было прояснить все раньше, не тратя на них трое суток. Потом, словно вспомнив, быстро спросил:

— Лопатку нашли?

— Он только вернулся из Гродно и Белостока и не в курсе...— невозмутимо заметил подполковник.— Поисками лопатки занимается лейтенант Блинов.

Генерал рывком захлопнул за собой дверь.

Я доложил Полякову о результатах работы в Гродно и Белостоке, рассказал о лицах, заслуживающих нашего внимания,— наибольший интерес он проявил к братьям Комарницким.

С его слов я понял, что никаких облегчительных новостей по делу нет. Москва предложила провести войсковую операцию, генерал и он, Поляков, полагая это нецелесообразным, преждевременным, высказались отрицательно. Тем не менее проводятся самые интенсивные приготовления. В Лиду и в Вильнюс перебрасываются маневренные группы девяти пограничных полков и саперные подразделения. Всего к исходу ночи в обоих районах должно быть сосредоточено четыре с половиной тысячи человек, до двухсот грузовых автомашин и как минимум сто восемьдесят служебно-розыскных собак.

Поляков собирался ехать на предварительный инструктаж командиров прибывающих подразделений. Он придавал большое значение тщательному наставлению всех привлекаемых, особенно армейских офицеров, и предложил мне отправиться с ним.

— Где же Блинов? — посмотрев на часы, сказал он и потянул носом.— Должен бы уже вернуться. Давайждемся его и поедем...

53. ГВАРДИИ ЛЕЙТЕНАНТ БЛИНОВ

Он вернулся в Лиду на аэродром затемно.

В отделе контрразведки авиакорпуса за наглухо зашторенными окнами что-то происходило.

Снаружи здание, как всегда, патрулировалось на расстоянии автоматчиками, но против крыльца стояло не две-три автомашины, как обычно, а семь, среди них полуторка и два «доджа», в том числе генеральский — Андрей, подойдя, узнал его по пробоинам в лобовом стекле. В большинстве машин сидели наготове шофера.

Андрей притаился в темноте неподалеку от крыльца, ожидая, когда выйдет Алехин, чтобы доложить ему о бесплодности поисков, о том, что рощу обшарили дважды — вдоль и поперек,— но лопатки там не оказалось...

Зайти в здание он не решался. Более всего он боялся встретиться с Егоровым. Он не без ужаса представлял себе, как сталкивается с генералом, как тот в упор спрашивает его о лопатке и, узнав, что она не обнаружена, презрительно говорит Полякову: «Лопатку не сумел найти... Какой же это боевой офицер?! Детский сад, да и только!»

Медлить с докладом, однако, было нельзя. Хижняк, как и ожидал Андрей, находился в помещении взвода охраны, с тыльной стороны здания. Сидя возле кухни, он пил чай и беседовал с пожилым бойцом-поваром, своим земляком. Андрей, поманив его рукой, попросил сходить и вызвать капитана.

Алехин появился на крыльце тотчас — ждал. Андрей окликнул его и, волнуясь, доложил.

— А хорошо искали, тщательно? — спросил капитан.

— З-землю носом р-рыли!..— для большей убедительности словами Таманцева сказал Андрей.— Д-дважды прошли... в-вдоль и п-поперек.

— А с теми, кто машину нашел, кто первыми в роще был, с Павленками, разговаривал?

— Т-так т-точно! Лопатки в м-машине не было. Я в-взял р-расписку.

— Расписка распиской... Ты-то сам как считаешь? Твое мнение?

— Н-не было ее в м-машине... И в р-роще нет...— упавшим голосом сказал Андрей.

В темноте Андрей не мог разглядеть выражение лица капитана, а говорил Алехин, как всегда, ровно и вроде спокойно, и все же Андрей уловил в его вопросах нетерпение, если не взволнованность.

— Поужинай во взводе,— велел капитан.— Потом придешь сюда и в последнем кабинете налево напишешь подробный рапорт. На имя подполковника. Что конкретно сделано, с кем разговаривал и свое заключение. Рапорт оставишь у секретаря. И до утра можешь спать... Да... квартира занята и во взводе люди. Ложись-ка в машину!..

И Алехин скрылся за дверь — пошел докладывать...

Во взводе повар под нашептывание Хижняка налил до краев литровый котелок густых тепловатых щей с кусками мяса, нарезал большими ломтями полбуханки хлеба. Андрей, сутки не державший и крошки во рту, с жадностью набросился на еду, не замечая ни вкуса, ни своего громкого чавканья.

Дверь в соседнюю комнату была открыта, и там на двухъярусных нарах не раздеваясь спало несколько офицеров с погонами разных родов войск на гимнастерках; двое старших лейтенантов, молодые и сильные ребята, сидели и чистили автоматы.

— Из Москвы...— успел шепнуть Андрею Хижняк,— целый самолет...

И квартиру, где не раз ночевала группа, тоже заняли...

Все прибывшие были примерно одного определенного возраста (двадцать пять—тридцать лет), как на подбор крепкие, мускулистые; кроме пистолетов, они имели перебинтованные в дорогу обмотками личные автоматы. И Андрея осенило: «Чистильщики!»; скорее всего не просто чистильщики, а, как выражался Таманцев, «волкодавы».

Целый самолет — такого за два месяца службы Андрея в контрразведке еще не случалось. Алехин ничего ему не сказал, и Андрею в голову не могло прийти, что приезд генерала, и лопатка, которую он не нашел, и прибытие этих людей — все имело прямое отношение к разыскиваемому их группой уже двенадцатые сутки передатчику.

Он понял одно: происходило что-то необычное, чрезвычайное...

А за стеной, в отделе, Алехин уже доложил, что лопатка не найдена. Реакцию генерала, да и Полякова, Андрею страшно было даже представить. Чтобы отвлечься, он заставил себя обдумывать рапорт.

Он с радостью написал бы его здесь, в помещении взвода, но Алехин велел сделать это в отделе, а там каждое мгновение можно было столкнуться с генералом или Поляковым.

Андрей доел все до дна, от второго отказался и с тяжелым сердцем вышел на улицу. При одной мысли о встрече с генералом его бросало в жар.

Миновав при входе в отдел сержанта-автоматчика, он поспешно шмыгнул в последний налево пустой кабинет. Бумага лежала на столе, и чернила с ручкой здесь тоже были.

Он сидел и писал, а в коридоре время от времени раздавались шаги, и каждый раз он с волнением ожидал, что дверь откроется и появится генерал...

На рапорт ему потребовалось более часа. Написав, проверил и отнес секретарю, неприветливому, угрюмому лейтенанту, тот взял и, не взглянув, сунул в одну из папок.

Проходя по коридору, Андрей расслышал в кабинете начальника отдела невнятный разговор, приглушенный стеной и обитой дверью. Слов нельзя было разобрать, но ему показалось, что он различил возбужденный голос Егорова.

Потом Андрей лежал в кузове полуторки, мучился и не мог заснуть.

Он с ужасом представил себе, как завтра туда, в рощу, отправят кого-нибудь из этих московских розыскников и лопатка, возможно, будет найдена. Или пошлют Таманцева, тот не только лопатку, а спичку или окурок из-под земли выкопает.

Воображение рисовало Андрею самые тягостные картины. Генерал, потрясая его рапортом, бежал по кабинету и окающим басом ругался: «Лопатку найти не сумели! Позор!» Славный молчаливый Алехин и подполковник, этот необыкновенный человек — он подвел их обоих! — пытались его защитить, но генерала это только раздражило, и он разгневанно кричал: «Мне нужны не оправдания, а лопатка!.. Где она?.. Послали какого-то мальчишку! Ему дали роту, а толку — шиш да кумыш! На что он способен?! Как он к нам попал?.. Отправьте его в полк! Немедленно! Кулема! Лопух! Детский сад, да и только!»

Расстроенный буквально до слез, Андрей не замечал, что Егоров в его воображении ругался словами Таманцева.

Пусть откомандируют. Он не «волкодав», а строевой офицер. Только бы попасть в свой полк, а не в резервный. Впрочем, в любой фронтальной части он будет человеком. Во всяком случае, не хуже других, а то и лучше. Там, если случится, он погибнет с честью, и о нем напишут, как он сам писал о многих своих бойцах и сержантах: «...верный воинской присяге, проявив мужество и героизм, был убит...». А здесь ты хоть наизнанку вывернись; пять раз погибни, но если нет результата, ты все равно плох и винсват.

...В эти напряженные часы всем начальникам Блинова было не до него. Чтобы поиски велись тщательно, усердно и настойчиво, ему утром и не наметнули, что лопатки в роще может не оказаться. Даже Алехин, обычно разъяснявший Андрею что к чему, второпях ничего ему не сказал, не растолковал. Андрей и не подозревал, что отсутствие лопатки в роще на месте обнаружения угнанного «доджа» работало на версию, возникшую у Полякова после вчерашнего разговора в госпитале с Гусевым. Ему и в голову не могло прийти, что сообщение Алехина: «Роща обыскана дважды, качественно; лопатка не найдена», было для подполковника и генерала самой радостной вестью в эти тяжелые сутки.

54. ТАМАНЦЕВ

Вечером Юлия принялась рубить валежины, а я опять занялся с Фомченко и Лужновым.

За эти двое суток я к ним решительно подобрел. Какой с них мог быть спрос: Фомченко попал в контрразведку весной, перед маем, а Лужнов и того позже, в июне — два месяца назад. Стажа у них, как говорится, без году неделя, не удивительно, что даже Малыш против них — профессор. Я подумал еще: не дай бог доведется нам

здесь просидеть не одну неделю, так я их поднатаскаю — людьми сделаю.

Речь опять пошла об агентах-парашютистах: откуда они берутся, вернее, из кого вербуются, как их готовят, как мы их разыскиваем и берем.

Контрразведка — это не загадочные красотки, рестораны, джаз и всезнающие фраера, как показывают в фильмах и романах. Военная контрразведка — это огромная тяжелая работа... четвертый год по пятнадцать—восемнадцать часов каждые сутки — от передовой и на всем протяжении оперативных тылов... Огромная соленая работа и кровь... Только за последние месяцы погибли десятки отличных чистильщиков, а вот в ресторане я за всю войну ни разу не был.

Просвещая Фомченко и Лужнова, я для пользы дела, по воспитательным соображениям, естественно, о трудностях не говорил — если бы рассказать им все как есть, они наверняка бы скисли.

Условия и работа у нас такие, что любой бывалый шерлок, даже из столичной уголовки, от отчаяния повесился бы на первом же суку.

В любом уголовном розыске — дактилоскопия, оперативные учеты, лаборатории и научно-технические отделы; там на каждом шагу постовой или дворник, годовые помочь и словом и делом. А у нас?..

Ширина полосы фронта — свыше трехсот километров, глубина тылового района — шестьсот с лишним. На этой огромной территории сотни городов, сотни узловых и линейных станций; ежедневно — тысячи передвигающихся к фронту и по рокадам бойцов, сержантов и офицеров, повсюду леса, большие чащобные массивы. А жители, например, здесь, в западных областях, запуганные, молчаливые, из них слова дельного, как ни старайся, не вытянешь. И вся наша техника, кроме личного оружия, — трофейный Пашин фотоаппарат.

Причем уголовка имеет дело с самостоятельностью отдельных лиц, а мы — с преступниками, за которыми сильнейшее государство, которых готовят не полуграмотные паханы, а изощренные агентуристы, готовят в специальных школах, снабжают легендами, экипировкой и документами опытнейшие профессионалы.

Что мы лично можем этому противопоставить?.. Прimitив полевого контршпионажа: осмотры леса, визуальное наблюдение, беседы с местными жителями и засады. Убийственный примитив! И хоть яловая, а телись! Возьми их всех! Возьми их теплыми! Умри, но сделай! Вернее, как говорит начальство: сделай и не умирай!

Разумеется, о трудностях я не калякал, наоборот, умалчивал: я должен был поддерживать в Фомченко и Лужнове высокий боевой дух плюс постоянную готовность.

Что там у Юлии произошло, я упустил, то ли ее ударило отлетевшим дрючком, то ли просто измучилась или подумала о своей незавидной жизни, не знаю, но только, уронив вдруг топор, она заплакала навзрыд, к ней подскочила пацанка, ухватилась за подол и тоже заревела.

Они стояли вдвоем и ревели не стесняясь, уверенные, что их никто не видит, и я опустил бинокль — не нужно и неловко, вроде подсматриваешь.

Еще за глаза, не видя Юлии, я настроился к ней враждебно, неприязненно, как к немецкой овчарке, обыкновенной фрицевской подстилке, но, понаблюдав, переменился.

Девчонка... Сирота-недоумок. Мне ее даже стало жаль. Дура девка, сама себе жизнь покалечила.

По виду она представлялась мне с характером, волевой, и вот так быстренько сломалась. А ведь это только цветочки. Я подумал,

каково ей будет с малышкой здесь, на хуторе, зимой. Когда все заметет и ни хлеба, ни молока — картошка и одиночество. И еще страх.

Конечно, по стране жили трудно, одиноко миллионы наших честных солдаток, но мне и эту непутевую деваху было жаль. Скорей даже не ее, а пацанку — чем она виновата?

Свирида я уже понял. Жлоб, скотина безрогая — у такого снега зимой не выпросишь. Собственники они все здесь, гады, кто кого сможет, тот того и гложет, но этого горбуна я особенно невзлюбил.

Впрочем, эмоции эмоциями, а мне следует быть объективным. Не затем я сюда приехал, чтобы кого-то жалеть или ненавидеть.

Мое дело маленькое. Мое дело — взять Павловского и тех, кто с ним, если, понятно, они здесь появятся. Причем старшего группы и радиста — живьем, это как минимум. Знать бы еще, кто из них радист, а кто старший группы, — третьего можно и не беречь. Функельшпиль, главное — функельшпиль ⁴!

Если появятся — в том-то и загвоздка! За время наблюдения мои сомнения нисколько не уменьшились. Зачем Павловскому приходиться сюда — что он здесь оставил?.. Пашины предположения основывались на чистой лирике. Кстати, когда мы с Фомченко и Лужновым приехали сюда, я спросил Пашу, прокачал ли он объект засады с Эн Фэ. Он не ответил, и я понял, что нет, это его единоличное решение.

За прошедшие двое суток мы ознакомились с образом жизни Юлии и Свиридов, точнее сказать, с их суточным рабочим циклом.

Как только светало, жена Свирида и его мать отправлялись в деревню, доили там корову и, надо думать, убирали, ухаживали за своей скотиной. Часа полтора спустя они возвращались с ведром молока и приводили лошадь — даже ее на всякий случай, чтобы не отобрали, не увели заскочившие аковцы или немцы, на ночь не решались оставлять на хуторе.

Свирид с самого рассвета возился по хозяйству, и Юлия около своей хатенки тоже возилась. Работали все трое Свиридов и Юлия с крестьянской жадностью, почти без отдыха, до поздних сумерек. Вечером лошадь отводили в деревню и опять приносили в ведре надоенное молоко. В отсутствие Свирида его мать или жена подбрасывали Юлии что-нибудь из продуктов, но в хате у нее или даже поблизости лишней минуты не задерживались — боялись горбуна. И Юлия тоже его боялась и наверняка недолюбливала, скорее даже ненавидела.

Итак, двое суток наблюдения не дали нам ничего, кроме ознобления с образом жизни Юлии и семейства Свиридов и уяснения отношений между ними. Никто из посторонних не появлялся, ничего представляющего для нас интерес не происходило, и сама Юлия из поля зрения никуда не отлучалась.

Интуиция — великая вещь, а чутье мне подсказывало: зря здесь время теряем. Я определенно чувствовал — пустышку тянем. Понятно, чтобы не размагничивать Фомченко и Лужнова, я виду не подавал, наоборот, держался все время «бодро-весело» и на каждом шагу демонстрировал абсолютную веру в перспективность и успех нашей засады. Я поддерживал их не только морально, но и физически: спать разрешал дольше, чем себе, да и еды подсовывал побольше.

Когда стемнело, я еще раз обговорил с ними все возможные случаи и сигналы взаимодействия, мы спустились с чердака и опять расположились в кустах по обе стороны Юлиной хатенки. Ночь наступала холодная, росистая, небо вызвездило ярко, как на Юге, и, оглядывая Млечный Путь, я решил, что если завтра приедет Паша — он

⁴ Функельшпиль (арготизм от Funkspiele) — радиоигра.

собирался сам привезти нам продукты,—выскажу ему без утайки то, что думаю, свои сомнения и несогласие и потребую, чтобы он немедленно доложил все Эн Фэ. Он доложит: дружба дружбой, а дело есть дело, и я не мальчик — пусть с моим мнением тоже считаются!

Фомченко почему-то прибыл сюда без шинели, и я навязал ему свою, старенькую, без погон — Паша называл ее «инвалидской». Дорого бы я сейчас дал за эту изношенную старушку или за любую другую! Поверх гимнастерки на мне была только плащ-палатка, а холодало с каждым часом совсем не по-летнему, и уже к полуночи я дрожал как цуцик.

И тут я подумал, что мы здесь можем — за здорово живешь! — просидеть понапрасну до белых мух, и такая тоска ухватила меня за душу, просто выть захотелось...

Нет, я не мальчик и молчать не буду. Даже перед генералом!.. А Эн Фэ при случае обязательно спрошу: «Зачем меня запытали в эту засаду — блох задаром кормить?.. Или гемморрой отращивать?.. А на большее я что — неспособный?..»

Я молчать не стану, я ему прямо скажу: «Некачественно вы ко мне относитесь! Что я вам — троюродный?! Это же всего-навсего тренировка на бездействие, на усидчивость! Зачем она мне?.. Это задание для прикомандированных, для стажеров!..»

55. ПЕРЕГОВОРЫ ПО «ВЧ»

Ночь кончалась, было без двадцати минут пять, когда в кабинете, где находились Егоров, Мохов и Поляков, в очередной раз зазвонил телефон «ВЧ», и Егоров взял трубку.

— Генерал Егоров? — раздался в сильной мембране слышный и в нескольких метрах от аппарата голос Колыбанова.

— Я вас слушаю.

— Где вы находитесь?

— Не понимаю,— невольно усмехнулся Егоров.—Вы звоните мне сюда и спрашиваете — где?.. В отделе контрразведки авиакорпуса.

— Они работают у вас под носом!!! — возбужденно закричал Колыбанов; обычно невозмутимый, он задыхался от волнения. — Вот... передо мной текст последнего перехвата по делу «Неман»... Слушайте внимательно!.. «Личным наблюдением... на аэродроме в Лиде обнаружено самолетов... «ИЛ-2» пятьдесят три, «ЛА-5» сорок восемь, «ПЕ-2» тридцать шесть, «ЯК-9» пятьдесят один, «ЛИ-2» семь, «ПО-2» четырнадцать... Вы слышите?! Они работают у вас под носом!!!

Егоров налился кровью и, тяжело дыша, молчал. Сидевший в метре от него Мохов пробормотал: «Этого еще не хватало!» — и огорченно покачал головой. Поляков, только что прилетевший из Вильнюса, сидя за приставным столиком, продолжал быстро писать, он не поднял головы, только часто пошмыгал носом.

В чувствительной мембране аппарата «ВЧ» голос Колыбанова звучал так интонационно отчетливо, будто он говорил не из далекой Москвы, а из соседней комнаты. И Егоров явственно представлял себе его, невысокого, худощавого, со спокойным смугловатым лицом, в генеральском кителе с орденскими планками и в брюках навыпуск. Выдержанный и корректный Колыбанов еще ни разу не был так резок с Егоровым, ни разу не был в таком возбуждении, и Егоров почувствовал, что дело тут не только в последнем перехвате и наблюдении за аэродромом; это наверняка не все.

Мохов помог Егорову открыть портсигар и, как только тот взял папиросу, зажег спичку.

— Генерал-полковник только что звонил из Ставки,— после недолгого молчания уже обычным спокойным тоном продолжал Колыбанов.— Он выезжает и приказал, чтобы вы ожидали у аппарата его звонка.

— Слушаюсь,— глухо проговорил Егоров; вид у него был довольно подавленный.

— Полагаю, предстоят серьезнейшие объяснения, и более того — неприятности! Делом «Неман» занимается сам... Вы меня понимаете?

— Да...

Колыбанов помедлил и неожиданно сказал:

— Алексей Николаевич, я не буду докладывать о последнем перехвате генерал-полковнику до его разговора с вами. Так, наверно, будет лучше.

Егоров сделался багровым.

— Товарищ генерал,— не принимая предложенного ему неофициального тона, строго произнес он.— Я не слабонервный и не нуждаюсь в одолжениях! Перехват по делу, взятому на контроль Ставкой, вы обязаны доложить генерал-полковнику немедленно!

— Ну смотрите,— примирительно сказал Колыбанов.— Я думал прежде всего о вас.

— Я это понял! Благодарю!

Егоров положил трубку, и буквально в следующее мгновение телефон «ВЧ» зазвонил опять.

— Егоров?.. Что нового? — послышался в трубке голос начальника Главного управления контрразведки.

— Результативного, товарищ генерал, к сожалению, ничего. Мы делаем все возможное...

— Я буду у вас днем. Какая еще помощь вам может быть экстренно оказана?

— Экстренно?.. Оперативный состав контрразведки и прежде всего чистильщики. Очень желательны опознаватели! В первую очередь по Варшавской и Кенигсбергской разведшколам, особенно по радиоотделениям.

— Обещаю! В ближайшие часы на других фронтах будут собраны и доставлены на аэродромы Вильнюса и Лиды до трехсот офицеров контрразведки... И не менее пятидесяти чистильщиков... Опознавателей много не обещаю, но всех, кого сможем безотложно собрать, немедленно доставим... Все прибывающие должны быть задействованы с ходу, без малейшего промедления! Офицеров контрразведки используйте только в качестве старших оперативно-розыскных групп смешанного состава.

— Мы так и делаем.

— До их прибытия все привлекаемые в состав этих оперативных групп должны быть собраны в Вильнюсе и Лиде на аэродромах и тщательно проинструктированы.

— Слушаюсь.

— Чем еще вам можно помочь?

— Очень желательны подвижные пеленгаторные установки. Хотя бы еще десяток.

— Обещаю! Какова готовность войсковой операции?

— Плюс два с половиной.

— Не позже утра сделайте — час, максимум полтора.

— Товарищ генерал, я должен еще раз заявить: мы против войсковой операции в течение ближайших двух суток. Мы настоятельно...

— Не надо мне это повторять! — В голосе генерал-полковника почувствовалось раздражение.— Я и сам не склонен ее форсировать... Но

обстоятельства могут вынудить... Ваши соображения по «Неману» в настоящий момент? Что думает Поляков? Согласен ли с вами Мохов?

— У нас мнение единое, и за последние три часа оно не изменилось. Мы полагаем, что возьмем их сегодня или завтра.

— Завтра — исключается! В нашем распоряжении сутки, и не часом больше!

— То есть как исключается?! Это уменьшает наши даже ограниченные предположительные шансы вдвое! Товарищ генерал-полковник, мы категорически возражаем!

— Срок установлен не мною. Понимаете?

— Не могу! — после короткой паузы заявил Егоров. — Даже если мы возьмем к вечеру ядро — старшего группы и радиста; а Матильда, а Нотариус? Тут не может быть дилеммы — «хватать» или «все концы»! Тут единственное решение: «все концы»! Отдавать завтрашние сутки невозможно! Если это указание Ставки, то, извините, там могут непонимать специфику розыска и деталей дела, но мы-то с вами профессионалы! И я прошу... считаю необходимым немедленно обратиться туда и разъяснить...

— Кому разъяснить, кому?! — оглушающе загремел в трубке грубоватый голос генерал-полковника. — Заткните им глотку!!! Выберите хотя бы ядро группы, возьмите рацию! Сегодня же!!! «Все концы»!.. Не до жиру! Вы не представляете всей серьезности ситуации!.. Это личное приказание, понимаете, личное! И категорическое! Речь идет о судьбе операции стратегического значения. Никакие отсрочки невозможны! Если мы их в течение суток не возьмем, то завтра вас на этой должности не будет и меня здесь не будет! Мы обязаны принять все возможные и невозможные меры, подчеркиваю — невозможные! — и взять их сегодня! Не удастся — ничем не смогу помочь: завтрашних суток у нас не будет!..

— Понял...

— Раньше меня, очевидно, прибудет начальство... первые заместители из обоих наркоматов. Обеспечьте их всем необходимым. Но времени с ними не теряйте, а делайте спокойно свое дело! И никаких споров, никаких пререканий! Что бы вам ни говорили — «Да, товарищ комиссар!», «Хорошо, товарищ комиссар!», «Слушаюсь, товарищ комиссар!..». Однако любые действия, с которыми не согласны вы или Поляков, категорически запрещаю!.. Чьим бы именем ни оказывалось на вас давление!.. Полякову создайте оптимальные условия! И прежде всего оградите от ненужных дискуссий и всякой говорильни с кем бы то ни было. Вы меня поняли?

— Так точно!

— Что бы ни делалось у прибалтийцев, более всего мы надеемся на вас! Передайте это Полякову... Вы оба и ваши подчиненные должны сегодня показать, на что способны... У меня все! Вопросы?

— Нет.

— Я буду у вас не позже... четырнадцати часов. Держите постоянный контакт с Колыбановым. И действуйте самым активным и решительным образом! Все!

Егоров положил трубку и, еще осмысливая и переживая закончившийся разговор, невидящими глазами посмотрел на Мохова.

— Нервничать, — сказал тот понимающе. — На них тоже жмут...

— Нервничать — это привилегия начальства, — подняв голову от документа, заметил Поляков. — А мы должны работать без нервов и без малейшего шума!.. Главное сейчас — не устраивать соревнования эмоций!.. Главное для нас — работать спокойно и в полном убеждении, что сегодня, завтра или позднее... но если мы не поймем, никто за нас это не сделает...

56. В СТАВКЕ ВГК

В Москве действительно беспокоились и нервничали.

В ежесуточной сводке военной контрразведки за 18 августа, поступившей в Ставку после полуночи и занимавшей всего полторы страницы, делу «Неман» было уделено девять строчек: кратко сообщалось, что в тылах 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов действует и активно разыскивается сильная, квалифицированная резидентура противника.

В этом не было ничего чрезвычайного: Ставку надлежало информировать обо всех представляющих значительную угрозу разведгруппах противника и даже об отдельных наиболее опасных агентах.

Но поскольку речь шла о фронте, где менее чем через месяц должна была проводиться ответственная стратегическая операция, Верховный Главнокомандующий, читая сводку, сделал на полях пометку синим карандашом, означавшую одновременно: «обратить внимание» и «доложить подробнее».

Эта пометка явилась основанием для взятия дела на контроль Ставкой, а днем Верховному была доставлена развернутая справка по делу «Неман», занимавшая почти две страницы. Ознакомившись с ней уже ночью и обнаружив, что действия разыскиваемых ставят под угрозу скрытность сосредоточения войск и ударной группировки в тылах 1-го Прибалтийского фронта и речь, таким образом, идет о судьбе важной стратегической операции, Верховный был крайне обеспокоен и возбужден.

Уже многие месяцы он ни разу не был в столь дурном расположении духа, как в этот час.

Чудовищно обманутый собственной интуицией в июне сорок первого года, он придавал огромное значение введению противника в заблуждение, особенно при подготовке кампаний и крупнейших операций.

В первые же недели войны, в период невероятного напряжения, урывками выкраивая время, он умудрился внимательно просмотреть труды виднейших полководцев и военных теоретиков, особо интересуясь проблемами скрытности и обеспечения ею внезапности. Эти вопросы он не раз анализировал и обсуждал с высшим генералитетом.

Троякий результат внезапности можно было бы сформулировать так:

Внезапность застигает противника неподготовленным к удару: его войска и военные средства расположены не лучшим образом для отражения этого удара.

Внезапность вынуждает противника поспешно принимать новый план: противник теряет инициативу и должен приспособлять свои действия к действиям нападающего.

И наконец, достигнутая внезапность подрывает веру войск противной стороны в свое командование и веру командующего и его штаба в самих себя.

Отсюда следовало, что успех любой операции в значительной степени зависит от секретности и обманных действий. Отсюда следовало, что победа, достигнутая без внезапности, за счет численного превосходства, не носит на себе отпечатка полководческого таланта и обходится несравненно дороже. Отсюда следовало, что необходимо любыми усилиями скрывать свои намерения, создавать угрозу одновременно в нескольких местах, заставляя тем самым противника рассредоточивать силы. Отсюда следовало, что нужно демонстративно готовить наступление в одном месте, а тайно в другом, стараясь во всех случаях застигнуть противника врасплох.

Из страшного урока начала войны были сделаны незамедлительные выводы, и уже с первого полугодия военных действий Красная Армия использовала факторы скрытности и внезапности с не меньшим умением, чем противник.

Так, при наступлении под Москвой втайне были подтянуты и в решающий час введены в бой свежие резервы, в частности две новые армии, сосредоточенные севернее столицы, что явилось для немцев полной неожиданностью.

Успех Сталинградской операции и битвы на Курской дуге также был во многом предопределен тайным сосредоточением войск и сложнейшим комплексом мероприятий по дезинформации, обману противника.

Оперативной внезапности удалось достигнуть и в крупнейшей за войну Белорусской операции. Правда, обеспечить полную скрытность концентрации в тылах четырех смежных фронтов полуторамиллионной армии, 6500 танков и самоходных установок, около 25 тысяч орудий и более 6 тысяч самолетов практически невозможно, и, как показали пленные немецкие генералы, незадолго до начала наступления в разведорганах и в штабах группы армий «Центр» заподозрили неладное. Однако мнения разделились, а подозрения остались подозрениями. Усилия советских войск по соблюдению секретности были столь значительны, а продуманная до мелочей дезинформация, проводимая согласованно на всех двенадцати фронтах, столь совершенна, что эти крупнейшие приготовления были приняты противником всего лишь за имитацию с целью обмана. Генеральный штаб германских сухопутных сил и ставка Гитлера до последнего пребывали в убеждении, что летом 1944 года главные удары Красной Армии будут нанесены не в Белоруссии, а значительно южнее — на Украине. И тут немцев удалось ввести в заблуждение относительно истинных намерений советского командования, в результате чего была наголову разгромлена группа армий «Центр».

Верховный весьма гордился искусством обманывать противника и в Тегеране охотно рассказывал Рузвельту и Черчиллю, как это делается, на что последний одобрительно заметил, что «правду приходится охранять путем неправды».

Теперь, даже не дочитав до конца справку по делу «Неман», Сталин оценил, какую угрозу представляют действия разыскиваемых для подготавливаемого в Прибалтике стратегического удара.

Ставкой и лично Верховным Прибалтике уделялось повышенное внимание. На сентябрь планировалась стратегическая операция, в результате которой должна была быть освобождена значительная часть Эстонии и Латвии с важнейшими портами, столицами союзных республик Таллином и Ригой, а немецкая группировка «Север», насчитывавшая в своем составе более семисот тысяч солдат, офицеров и генералов, оказалась бы отрезанной от остальных сил противника, отсеченной от Германии, точнее от Восточной Пруссии, и наглухо блокированной в Курляндии, на Земландском полуострове.

Правда, в последний день июля механизированные части 1-го Прибалтийского фронта небольшими силами вырвались к Балтийскому морю в районе Клапкалнс и перерезали все сухопутные коммуникации, ведущие из Прибалтики в Восточную Пруссию. Инициативу и мужество войск по указанию Верховного отметили боевыми наградами, однако командованию фронта было рекомендовано при вероятной попытке немцев деблокировать окруженную группировку оттянуть войска с минимальными потерями на линию Йелгзава (Митава) — Добеле.

Дело в том, что для усиления и расширения вбитого клина в настоящий момент не имелось достаточных резервов; к тому же было бы на-

много заманчивее отрезать группу вражеских армий «Север» значительно западнее — при этом в огромном прибалтийском котле оказалось бы на десяток больше немецких дивизий, а линия внешнего фронта окружения прошла бы до устья Немана по границе с Восточной Пруссией.

Таков был замысел Верховного Главнокомандования. И хотя сейчас, в середине августа, наступали и получали подкрепления главным образом Украинские фронты, в тылах 1-го Прибалтийского фронта, которому отводилась ведущая роль в осуществлении планируемой операции, с соблюдением всех мер предосторожности понемногу сосредоточивались войска; причем прошлой ночью в район севернее Шауляя начали прибывать части 5-й гвардейской танковой армии — основной ударной силы предстоящих боевых действий в Прибалтике.

Ознакомясь со справкой по делу «Неман», Верховный распорядился немедленно вызвать начальника Главного управления контрразведки, а также наркомов госбезопасности и внутренних дел. Находившемуся у него в эту минуту на докладе генералу армии, исполнявшему уже не первый год обязанности начальника Генерального штаба, он предложил задержаться, вполне допуская, что, возможно, потребуются радикальные изменения стратегического плана или отсрочка всей будущей операции.

Затем он соединился по «ВЧ» с 1-м Прибалтийским фронтом. Командующий генерал армии Баграмян в этот предрассветный час находился в войсках; у аппарата оказался начальник штаба генерал-полковник Курасов, и Верховный приказал ему доложить о мероприятиях по обеспечению секретности и маскировки подготавливаемой операции, и в частности при проведении рокировки.

Планом Генерального штаба намечалось в начале сентября наступление трех Прибалтийских фронтов по сходящимся направлениям на Ригу. Считалось несомненным, что немцы сделают решительно все, чтобы удержать этот крупнейший город и порт, и стянут к нему значительные силы. Тогда-то предполагалось, продолжая оказывать неослабное давление на участках 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов, произвести редкую по замыслу и масштабам рокадную рокировку: скрытно и в сжатые сроки перебросить основные силы 1-го Прибалтийского фронта с правого на левый фланг и отсюда из района Шауляя неожиданно для противника нанести массированный рассекающий удар в направлении Мемеля (Клайпеды) с выходом к морю на участке Мемель (Клайпеда) — Паланга, отчего подготавливаемая операция и получила в наметках название Мемельской.

Из лежавшей перед ним на столе справки Генштаба Сталин знал, что для осуществления подготовки Мемельской операции необходимо сосредоточить в районе Шауляя и к северу от него как минимум четыре общевойсковые армии, одну танковую, а также несколько отдельных соединений, большое количество артиллерии и других средств усиления. Таким образом, в ходе рокировки, производимой вдоль фронта на сравнительно небольшом удалении от противника следовало скрытно и спешно переместить на расстояние от шестидесяти до двухсот-сорока километров около 500 тысяч человек, свыше 9 тысяч орудий и тяжелых минометов, почти полторы тысячи танков и самоходно-артиллерийских установок. Взглянув на эти цифры, Сталин еще раз подумал, что чем больше масштаб операции, тем труднее сохранить ее в секрете и тем более тщательными должны быть меры по обеспечению ее полной скрытности.

Неожиданный звонок и вопрос Верховного не застали начальника штаба фронта врасплох. Курасов, известный своей вдумчивостью и высокой культурой мышления, отвечал спокойно, лаконично и так толко-

во и ладно, будто ожидал этого звонка и заранее специально подготовился. При всем раздражении, какое испытывал в этот час Сталин, у него не оказалось и малейшего повода высказать своё недовольство.

Курасов доложил:

Переброска частей и соединений, их сосредоточение в новых районах, занятия исходных рубежей будут проводиться только в ночное время, с мерами строжайшей маскировки и дисциплины. Все леса как маскировочные емкости распределяются между дивизиями и полками. Хвосты войсковых колонн, не успевших до рассвета полностью выйти в назначенные им районы дневок, будут «отсекаться» и укрываться в других лесных массивах с соблюдением всех необходимых предосторожностей.

Маршруты передвижения войск и техники обеспечиваются надежной комендантской службой и на всем протяжении по обеим сторонам окаймляются круглосуточными парными дозорами, так называемыми «патрулями бдительности». Следы гусеничных и колесных машин на дорогах будут до рассвета заметаться волокушами.

Скрытность перегруппировки обеспечивается также большим количеством маршрутов для движения войск (свыше двадцати пяти) и нашим господством в воздухе.

Над местами выгрузки и передвижения танков и самоходных установок — чтобы заглушить шум моторов — будут во всех случаях барражировать специально выделяемые самолеты. Из районов сосредоточения механизированных частей — ударной подвижной группы фронта — отселается все гражданское население.

«Танковая техника россыпью!»⁵ — вспомнил Сталин, когда Курасов сказал о барражировании над местами выгрузки и передвижения танков и самоходок. Держа телефонную трубку левой рукой и продолжая слушать, он безошибочно нашел и вытащил из вороха лежавших на краю стола папок одну с надписью на обложке: «Важнейшие перевозки. Литерные эшелоны серии «К». Положил перед собой, раскрыл и стал смотреть документы последних трех суток.

Так и есть. Вчера по распоряжению Генштаба началась массивная отгрузка с заводов 530 танков и 280 самоходно-артиллерийских установок 1-му Прибалтийскому фронту, и прежде всего для пополнения 5-й гвардейской танковой армии, потерявшей сотни машин в тяжелых боях предыдущих двух месяцев.

Между тем Курасов продолжал докладывать:

В целях дезинформации противника на значительном расстоянии (более чем в ста километрах от истинного операционного направления) в армейском тылу имитируется концентрация восьми-девяти стрелковых дивизий, большого количества танков и артиллерии. Точно такие же обманные мероприятия будут осуществлены и в полосе соседнего фронта.

В лесах этих обоих ложных районов сосредоточения сооружаются около тысячи макетов танков и до четырехсот макетов самолетов, создаются фальшивые аэродромы. По мере изготовления часть макетов с помощью системы тросов, лебедок и воротов будет приводиться в движение днем, в часы полетов разведывательной авиации противника; в это же время звукоустановки большой мощности станут воспроизводить шум работающих моторов. Видимость и правдоподобность всех ложных объектов будет систематически проверяться контрольным наблюдением и фотографированием с воздуха.

⁵ Танковая техника россыпью — танки и самоходно-артиллерийские установки, не входящие в состав подразделений, а следующие без экипажей с заводов и ремонтно-восстановительных баз.

В эти же ложные районы постепенно, партиями будут направлены свыше двухсот армейских радиостанций, которые должны имитировать текущий тактический радиообмен частей и соединений, якобы переброшенных сюда с других участков фронта. В то же время в местах истинного сосредоточения до последнего часа перед наступлением будет соблюдаться относительное радиомолчание: все передатчики прибывающих частей заранее опечатываются.

В населенные пункты ложных районов сосредоточения за неделю перед наступлением будут посланы мнимые квартирьеры, которые инсценируют распределение домов для размещения частей и штабов: на большинстве строений и на воротах, как это обычно принято, будет произведена шифрованная разметка мелом, а хозяевам предложат подготовить помещения для постоя. Также за неделю до наступления специально подобранные офицеры и женщины-военнослужащие по единому согласованному плану займутся распространением среди местного населения ложных слухов о сосредоточении войск и предстоящих действиях.

Другие элементы оперативной маскировки: в войсках проводятся работы по совершенствованию обороны и подготовке ее к условиям зимы. Армейские и дивизионные газеты в районах намечаемого сосредоточения публикуют материалы исключительно по оборонительной тематике. Вся устная агитация нацелена на прочное удержание занимаемых позиций.

Чисто охранные меры: в оперативных тылах фронта усилена проверочно-пропускная и караульная служба; районы расположения воинских частей предварительно оцепляются и прочесываются; железнодорожные станции и населенные пункты круглые сутки патрулируются; все подозрительные задерживаются до выяснения личности.

Что касается политико-воспитательных мероприятий, то со всем личным составом каждую неделю проводятся беседы о коварных методах вражеской разведки и о необходимости самой высокой бдительности. Общение военнослужащих с местным населением сокращено до минимума. Вся частная корреспонденция из районов сосредоточения будет задержана отправкой до момента начала наступления.

В заключение Курасов, несомненно почувствовав обеспокоенность Верховного, заверил, что замысел предстоящей операции известен во фронте, кроме него, только двум лицам — командующему и первому члену Военного совета, и убежденно сказал:

— Мероприятия по оперативной маскировке настолько тщательны и всеобъемлющи, что немцы смогут увидеть только то, что мы им захотим показать.

Какое-то время Сталин продолжал молчать.

Ни Курасов, ни командующий фронтом ничего не знали о группе «Неман», так же как не знало о ней и командование соседнего 3-го Белорусского фронта, где рация выходила в эфир. И к армейским генералам не могло быть претензий: борьба со шпионажем не являлась их прямой обязанностью. Но военная контрразведка и территориальные органы — с них следовало спросить со всей строгостью!..

Верховный не мог не отметить толковости Курасова, отвечавшего без какой-либо подготовки и вроде ничего не упустившего.

Оценил он и то, что начальник штаба фронта ни разу не упомянул Ригу или Мемель — города, определяющие направления главных ударов, ни словом не обмолвился и о том, где именно будут районы сосредоточения. Верховный относился недоверчиво даже к высокочастотной связи, хотя неоднократно получал устные и письменные заверения ответственных специалистов, что подслушать или перехватить разговор по «ВЧ» невозможно.

Сталину было известно и то, чего также не знали ни начальник штаба, ни командующий фронтом: скрытность и внезапность предстоящей в сентябре стратегической операции обеспечивалась по линии контрразведки и органов госбезопасности согласованной радиоигрой, проводимой не только в Прибалтике, но и в Белоруссии и на Украине.

Доклад Курасова его нисколько не успокоил, и настроение у него ничуть не улучшилось. «Рассчитали на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить!» — с раздражением заметил он самому себе и, сухо попросившись, положил трубку.

Танковая техника россыпью особенно беспокоила Верховного. Если в каждой части имелось командование и представитель контрразведки, в равной степени отвечающие за скрытность и секретность при передислокации, имелся личный состав — сотни рядовых, сержантов и офицеров, способных немедленно осуществить любые необходимые действия по маскировке, то в эшелонах находилась только сопровождающая охрана — и все! По опыту трех военных лет Сталин знал, что танковая техника рассыпью в первую очередь уязвима и легче всего обнаруживается агентурой и воздушной разведкой противника на станциях выгрузки еще до прибытия на исходные выжидательные позиции. А концентрация танков в каком-либо районе, как известно, наиболее характерный и несомненный признак подготавливаемого на этом участке или направлении наступления...

Он представил себе литерные эшелоны, вышедшие из Челябинска, Свердловска и Горького или находящиеся там под погрузкой на заводах. Литерные эшелоны серии «К», подлежащие особому контролю отдела оперативных перевозок Генерального штаба. Им будут давать «зеленую улицу» от Урала и до Прибалтики, будут гнать безостановочно, «на проход» даже через большие станции, а на узловых для них обязаны держать наготове под парами лучшие, самые мощные локомотивы. Конечный пункт назначения этих эшелонов не положено знать даже военным комендантам и начальникам передвижения войск на дорогах, не говоря уже о сопровождающих. Для чего же все это? Для чего все эти предосторожности?.. Неужели для того, чтобы какой-нибудь Кравцов или Матильда сейчас же сообщили немцам о их прибытии в определенное место, раскрыв тем самым известные в Ставке и на фронте только считанным лицам, только двум маршалам, пяти генералам и ему, Верховному Главнокомандующему, замыслы?

«Задержать!..»

Задержать, остановить эшелоны можно, конечно, без труда... войну-то не остановишь!.. Что же, какие конкретные меры следовало немедленно предпринять?

Намеченные и подготавливаемые, тщательно продуманные усилия многих тысяч людей по обеспечению скрытности и внезапности могли легко пойти насмарку. С привычным чувством своего превосходства над окружающими он отметил, что первым понял и, наверно, единственный в эту минуту до конца осознал, какую угрозу представляют действия группы «Неман» для подготавливаемой операции.

* * *

Вызванные экстренно начальник военной контрразведки и наркомы внутренних дел и госбезопасности приехали почти одновременно. После доклада об их прибытии они вошли все трое, негромко почтиительно поздоровались. Сталин ответил им едва заметным кивком, не предложил пройти, и они остались стоять при входе в нескольких шагах от дверей просторного кабинета, настороженные, нисколько не представляя, зачем они так срочно понадобились, и не ожидая от этого вызова для себя ничего хорошего.

Оставленный Верховным после доклада генерал армии, исполнявший обязанности начальника Генерального штаба, работал, сидя со своими картами и документами посреди длинного, покрытого темно-зеленым сукном стола для заседаний. Сталин в голубовато-сером маршальском мундире, заложив руки за спину и неслышно ступая по красной ковровой дорожке, расхаживал быстрее обычного, что было у него признаком сильного недовольства и раздражения.

Пока он удалялся в другой конец кабинета, где помещался заваленный бумагами, книгами и папками его личный письменный стол с несколькими телефонными аппаратами на приставной этажерке, трое стоящих возле входа держали взглядами его чуть сутулую старческую спину и седоватый наклоненный затылок. Когда же, достигнув там, в глубине, противоположной стены, обшитой в рост человека панелью из светлого дуба, он поворачивался и возвращался, они смотрели ему в лицо, но глаз не было видно — как и обычно, расхаживая в раздумье, Сталин не поднимал головы.

Все трое вызванными пользовались доверием и расположением Верховного, и все трое хорошо знали, сколь зыбко, непостоянно это расположение.

Возвращаясь, Сталин посмотрел на угол длинного стола, где на зеленом сукне белела справка по делу «Неман», и нервно покрутил шейю. Стоячий воротник мундира, не жесткий, как у других маршалов, а специально сделанный мягким, в эту минуту мешал, раздражал его.

Военную форму он надевал уже второе полугодие, с Тегеранской конференции, но никак не мог к ней привыкнуть. В который уж раз с теплом и сожалением он вспомнил легкий серый френч с отложным воротником, брюки, заправленные в шевровые кавказские сапожки, — свой неизменный костюм, известный, наверно, всему человечеству. И подумал, как трудно в его немолодом, шестидесятипятилетнем возрасте менять прочно устоявшийся чуть ли не за половину века порядок. Мундир был намного тяжелее и мешал ему, особенно когда он находился в дурном настроении.

Он не терпел украшений в одежде, не носил наград, как не носили их и окружающие его лица, исключая военных; даже легкие золотые погоны, ощущаемые все же чуть-чуть на плечах, и маршальские брюки с красными лампасами раздражали его. Не мог он привыкнуть и к надеваемым с мундиром искусно пошитым шевровым ботинкам, которые в усмешку именовал по-дореволюционному — штиблеты.

Ни разу не взглянув на стоявших возле дверей, он не сомневался, что они не спускают с него глаз, как не сомневался и в том, что они с нетерпением и опаской, если даже не со страхом, ожидают, когда он заговорит.

Их тревога или даже страх представлялись ему закономерными, естественными и, более того, полезными для дела, поскольку он был убежден, что руководитель, как, впрочем, и любого начальника, подчиненные должны не только уважать, но и бояться: при этом старательнее, быстрее и тщательнее — так не без оснований он полагал — выполняются любые распоряжения.

Минут за пять до прибытия вызванных Сталину вспомнилось его ставшее историческим, еще довоенное высказывание: для того чтобы выиграть сражение во время войны, могут понадобиться сотни тысяч красноармейцев; а для того чтобы провалить этот выигрыш на фронте, достаточно подрывных действий всего нескольких шпионов.

Следовательно, опасность подобной ситуации он предвидел и предсказывал еще до войны. Сколько раз он призывал к осторожности и требовал от всех бдительности, но должных выводов так и не сделал!.. А если и сделали, то не претворили их в жизнь.

К моменту появления в кабинете наркомов и начальника военной контрразведки Верховный уже подавил в себе вспышку негодования, охватившую его при мысли об этом довоенном предупреждении, и, расхаживая по кабинету, размышлял о предстоящих боевых действиях в Прибалтике.

Предлагать докладывать по делу «Неман» не следовало, и не потому, что он уже ознакомился со справкой и держал все в своей превосходной памяти. Послушать исполнителей — получается, что происходит необходимый положенный процесс, предпринимается все возможное, а результата пока нет, так на то имеются объективные причины и обстоятельства. При этом сыплют специальной терминологией, а разведка и контрразведка — это весьма специфичный сплав науки и искусства, сложнейшее соединение, во всех тонкостях которого свободно разбираются лишь опытные, квалифицированные профессионалы. И если в военных, например, вопросах Верховный легко вникал и в отдельные детали, то здесь полагал целесообразным ограничиваться постановкой основных общих задач и целей. С чувством острого стыда и недовольства самим собой он вспоминал, как не оценил поначалу всего могущества радиоигры и как еще несколько раз «плавал», попадая впросак. Таких вещей Сталин не прощал не только другим, но и самому себе. В то же время он нисколько не сомневался, что любую проблему в целом он схватывает быстрее и понимает значительно глубже, чем какой угодно ответственный исполнитель.

— Почему дело называется «Неман»? — неожиданно останавливаясь перед тремя стоящими возле дверей, своим глуховатым голосом, с выраженным грузинским акцентом спросил Верховный.

При этом он поднял голову и пронзительным взглядом небольших, цепких, с желтыми белками глаз, уже тронутых первичной глаукомой, посмотрел в зрачки начальнику контрразведки.

И оба наркома ощутили мгновенное облегчение: дело касалось в первую очередь военной контрразведки, а не их ведомств.

— Название условное, товарищ Сталин, — сказал начальник Главного управления контрразведки, еще сравнительно молодой генерал-полковник, любимец Верховного, выдвинутый по его инициативе на этот высокий ответственный пост. Дужий, светловолосый, с открытым, чуть простоватым, очень русским лицом, он стоял прямо перед Сталиным и смело смотрел ему в глаза.

— Условное?.. — недоверчиво переспросил Верховный. — Оно что, связано с рекой Неман?

— Нет, — чуть помедлив, сказал генерал-полковник и в ту же секунду вспомнил и сообразил, что разыскиваемая рация однажды пеленговалась в районе Столбцов, недалеко от верховья Немана, и, очевидно, отсюда возникло название дела. Однако высказывать опоздалую догадку он не стал, поправляться не следовало: Верховный не терпел, когда подчиненные не знали точно или не помнили чего-либо, относящегося к их непосредственной деятельности.

— Вы что же, выходит, названия с потолка берете? — как бы удивляясь, строго спросил Сталин, быть может, интуитивно уловив некоторую неуверенность в ответе или в лице генерала.

— Это всего-навсего кодовое наименование, — твердо сказал начальник контрразведки, — и для дела, для розыска не имеет значения, «Неман» оно, «Дон» или, допустим, «Висла».

— А Матильда — это что, женщина? — после короткого молчания осведомился Верховный.

— Матильда?.. Это агентурная кличка.

— Рабочее имя,— понимающе сказал Верховный и, как бы для себя уяснив, отвел глаза и, поворачиваясь, мягкими неторопливыми шагами ступил влево.— Что ж, неплохо они работают!

Спустя секунды он уже шел в противоположный конец кабинета, и все трое держали взглядами его небольшую ладную фигуру, вернее — неширокую спину и седоватый затылок. У самой панели он повернулся и, в молчании возвратясь на середину кабинета, негромко продолжал:

— Вы сознаете, что речь идет о судьбе важнейшей стратегической операции, о судьбе более чем полумиллионной группировки немцев в Прибалтике?

— Да, сознаю,— отвечал начальник контрразведки.

Сталин, подойдя, стал перед ним и жестким, пристальным взглядом посмотрел ему в глаза.

— Вы понимаете, что в условиях подготовки и проведения стратегической операции любая утечка секретных сведений, любые разведывательные каналы противника должны перекрываться немедленно?

— Да, понимаю.

Сталин сделал несколько шагов, удаляясь, и неожиданно обернулся.

— Сколько их всего? — указывая на угол стола, где лежала справка по делу «Неман», спросил он.

— О численности всей резидентуры трудно говорить определенно,— глядя ему в лицо, сказал начальник контрразведки,— ядро группы предположительно три или четыре человека.

В это мгновение Сталину снова пришло на ум его пронизательное историческое предупреждение, что подрывных действий всего нескольких шпионов достаточно для того, чтобы проиграть крупнейшее сражение.

Усилием воли сдерживая гнев, он отвернулся и подошел к тому месту посреди кабинета, где по другую сторону длинного стола сидел начальник Генштаба. Остановился и, посмотрев на него, как бы рассуждая вслух, раздумчиво сказал:

— Столько у нас органов, а трех человек поймать не могут. В чем дело?

Это «В чем дело?» для стоявших возле дверей прозвучало зловеще. В этом вопросе двум из них, по крайней мере, послышалось: «Не могут поймать или не хотят?»

Сидевший же над картами генерал поднял голову и понимающе посмотрел на Верховного. Взгляд его, очевидно, должен был сказать: «Вы, как всегда, правы, товарищ Сталин. Мы заставляем отступить многомиллионную армию немцев, а тут не могут поймать трех человек. Я полностью разделяю ваше недовольство и недоумение. Но это вопрос не моей компетенции, к сожалению, я ничем тут не могу помочь и, с вашего позволения, лучше займусь своим непосредственным делом».

И Верховный, словно прочитав все, что должен был выразить взгляд начальника Генерального штаба, снова зашагал по кабинету.

Массивная дверь неслышно отворилась, и вошедший личный секретарь Сталина тихо, бесстрастно доложил:

— Маршал Рокоссовский...

Верховный не обернулся и никак не прореагировал на это сообщение, и секретарь, видимо приняв молчание за знак согласия, так же бесшумно, как и появился, вышел из кабинета.

— Около месяца у вас под носом безнаказанно орудует опаснейший враг,— удаляясь от стоявших у дверей, продолжал Верховный.— Естественно спросить: действует наша контрразведка или бездействи-

ет?! Что это — медлительность по недомыслию или преступная халатность?.. И в любом случае — безответственность!..

Обвинения, высказываемые Верховным, были, по существу, несправедливыми: военной контрразведкой с самого начала делалось все необходимое. Однако оправдываться, а тем более возражать не следовало, и за спиной Сталина, в другом конце кабинета, убито молчали.

Бледный от негодования, он повернулся, увидел телефон «ВЧ» на специальной приставной этажерке у своего письменного стола, и сразу мысли о восставшей Варшаве и о польском вопросе, пожалуй самом сложном среди других, возникли в его голове. Подойдя к столу, он приподнял трубку, услышал тотчас в сильной мембране оттуда, из Польши, голос командующего 1-м Белорусским фронтом Рокоссовского и почувствовал, что говорить с ним в эту минуту по-хорошему, без недовольства и раздраженности не сможет, просто не в состоянии. Рокоссовский же, блестяще проявивший себя в Белорусской операции и получивший в ходе ее недавно, на протяжении месяца, по его, Сталина, инициативе звание Маршала и Героя, никак не заслуживал сейчас подобного обращения, и, подержав трубку несколько секунд в руке, Верховный опустил ее на аппарат. И снова двинулся по кабинету.

— Территориальные органы участвуют в розыске? — приблизясь к стоящим возле дверей и переводя взгляд с начальника контрразведки на обоих наркомов и обратно, осведомился он.

Органы внутренних дел и госбезопасности были только ориентированы и участвовали в розыске лишь постольку поскольку, да и возможностей для этого у них в оперативных тылах фронтов, где действовала группа «Неман», было несравненно меньше, чем у военной контрразведки. Но Верховный не терпел многословия и не стал бы в подобной ситуации выслушивать подробные объяснения, а подводить своих влиятельных коллег начальник контрразведки никак не желал.

— Да... Участвуют, — потому сказал он, хотя этот положительный ответ, несомненно, усугублял его и без того нелегкое положение.

— Помощь армии вам нужна?

— Генеральным штабом директива войскам уже отдана. — Начальник контрразведки позволил себе отвести глаза: взглядом указал на генерала армии; при словах «Генеральным штабом» тот поднял голову от документов.

— Извините, товарищ Сталин, — сказал он за спиной Верховного, и Сталин, выказывая свое уважение и расположение к этому человеку, тут же повернулся к нему лицом. — Если речь идет о Первом Прибалтийском и Третьем Белорусском фронтах, то командующим еще прошлой ночью предложено оказывать органам контрразведки всякую помощь людьми и техникой.

Заложив руки за спину, Сталин уже шел назад по кабинету. Не доходя до того места, где за длинным столом сидел генерал армии, он, как бы сам себя спрашивая, недовольно произнес:

— Что же получается?.. Все участвуют и помогают, все вроде бы действуют, а опаснейшие шпионы целый месяц спокойно разгуливают в тылах фронта!.. Безответственность! — внезапно раздражаясь, воскликнул он. — Мы этого не потерпим!

Оправдываться не следовало, однако начальник контрразведки не удержался:

— Товарищ Сталин, поверьте, делается все возможное.

— Не уверен! — Остановясь, Верховный быстро обернулся, не поднимая, однако, взгляда от ковровой дорожки. — И потом, что значит — делается?.. Нас не интересует процесс розыска сам по себе, нам необходим результат!.. Замечу также: мы вас не ограничиваем — делайте и невозможное!..

Помедля несколько секунд, он с неприязнью посмотрел на стоявших возле дверей и строго спросил:

— Сколько времени вам требуется, чтобы покончить с ними?

И пошел дальше, в глубь кабинета.

Воцарилась напряженная тишина. Начальник контрразведки посмотрел на своих коллег, те, в свою очередь, на него.

— Я спрашиваю, сколько времени вам требуется, чтобы покончить с ними?! — поворачиваясь у противоположной стены и повысив голос, нетерпеливо повторил Верховный. — Минимально!.. Они должны быть обезврежены до сосредоточения в тылах фронта танковых и механизированных частей, которые туда уже начинают прибывать!

— Минимально?.. Сутки, товарищ Сталин, — после некоторой паузы сказал Нарком внутренних дел.

Из троих вызванных он был наиболее авторитетен для Верховного, причем не нес прямой ответственности за дело «Неман». Он понимал, что Сталина еще более устроил бы срок покороче, например «несколько часов». Но «несколько часов» был бы нереальный срок, а Верховный не терпел ничего нереального.

«Сутки» представлялись Наркому оптимальным ответом, но назвав этот срок, он напряженно, не без опаски ожидал реакции Верховного, зная, что она, как и повороты в мышлении Сталина, нередко оказывалась весьма неожиданный. Так случилось и на сей раз.

— Почти месяц не могли поймать, а теперь за сутки поймаете... — с язвительной усмешкой и как бы сам удивляясь заметил Сталин. — Ну, ну...

И не будучи профессионалом, как трое вызванных, он понимал, сколь малореален названный срок: с не меньшей вероятностью, что разыскиваемые окажутся пойманными в ближайшие сутки, их могли не поймать и через недели. Однако малореальные «сутки» Верховного вполне устраивали; этот срок соответствовал интересам дела, интересам успешной подготовки важнейшей стратегической операции, и потому все остальные соображения были второстепенными.

Он вернулся из дальнего конца кабинета и, остановившись перед начальником военной контрразведки и глядя ему в глаза жестким, тяжелым, пронзительным взглядом, тем самым взглядом, от которого покрывались испариной, цепенели и теряли дар речи даже выдавшие виды, презиравшие смерть маршалы и генералы, холодно осведомился:

— Вы всё поняли?

— Так точно...

— Посмотрите и запомните... — Сталин повел глазами в сторону больших настенных часов. — В вашем распоряжении сутки... Если в этот срок с ними не будет покончено, — он указал рукой на покрытый зеленым сукном угол длинного стола, где лежала справка по делу «Неман», — если в течение суток не будет пресечена утечка особо секретных сведений... все виновные — вместе с вами! — понесут заслуженное наказание!

Он перевел свой впечатляющий взгляд на обоих наркомов — мол, вас это тоже касается! Их подавленные лица и даже фигуры выражали виноватость и максимальную преданность. Они знали, что «понести заслуженное наказание» в устах Верховного означало не только отстранение от должности... Правда, иногда эти слова оказывались всего-навсего угрозой, но кто мог заранее точно предугадать, чем они окажутся в данном конкретном случае?

Между тем Сталин, уже не видя наркомов, опять снизу вверх в упор смотрел в зрачки начальнику контрразведки.

— Вам будет оказана любая потребная помощь, но личная ответственность за вами!.. Идите.

Это «Идите» и предупреждение о личной ответственности относилось непосредственно к начальнику военной контрразведки, но и оба наркома вслед за ним торопливо вышли из кабинета. Они хорошо знали, что Верховный любит, чтобы все его распоряжения, указания и даже советы претворялись в жизнь сейчас же, выполнялись без малейшего промедления.

Впрочем, иной образ действий и не допускался.

57. ПИСЬМА АВГУСТА 1944 ГОДА

«Дорогая мамочка!

Извини, что не писал целый месяц — совсем не было времени. Зато уж сейчас постараюсь.

Мы ушли далеко на Запад и находимся сейчас на территории бывшей Польши. Таким образом, я попал за границу.

Население здесь поляки и белорусы, но все они так называемые «западники», люди забитые, отсталые, не по-нашему односторонние. За месяц ни в одной деревне не встретили человека, который бы окончил больше трех-четырёх классов. Наш русский народ куда культурнее.

А внешне: одеваются в основном лучше нас. В хатах обстановка городская, вместо лавок обычно стулья. Девушки щеголяют в шелковых платьях по колено и в цветастых, из хорошей материи блузках. Мужчины, даже крестьяне, носят шевиотовые костюмы, сорочки с отложными воротничками и «гапки», что по-польски означает фуражки. На груди обязательно крестик, возле каждой деревни — огромное распятие с Иисусом Христом, а в хатах — блохи, клопы, тараканы. Стараясь там не ночевать.

Неравенство. Один дом — двухэтажная каменная вилла с остекленными террасами, мягкой мебелью, коврами, паркетом и картинами в позолоченных рамах. И тут же рядом — жалкая хатенка, выбитый земляной пол, низкий потолок, затянутый паутиной, голые стены. В деревянном корытце — люльке — грязный, чахлый ребенок. Полно мух, не говоря уже о других насекомых.

Люди здесь в основном прижимистые, как и все, наверно, советские. На все один ответ: «Вот если бы вы приехали на три дня раньше, мы бы вас угостили!» Самое ходовое слово — «кепско», что означает «плохо».

Леса здесь красивые, густые, так называемые пущи, много птиц. А поля забавные — узкими полосками, наверно, как у нас до революции. В садах полно яблок и груш, но поесть просто нет времени, да и просить неохота.

Середина августа, а жара будто в июле. Здесь не бывает морозов, как у нас. Говорят, зимой тоже слякоть. Так что и люди, и природа, и климат любопытные, но какие-то чужие. У нас лучше. Вы себе даже не представляете, как хочется чего-нибудь нашего, московского, доверенного: гречневой каши с маслом, или окрошки с квасом, или мороженого «эскимо». Не хватает даже трамвайной ругани.

В новой части я немного освоился, и настроение стало лучше. Правда, спать удается очень мало, и подчиненных поубавилось, так что приходится много бегать самому. Зато люди меня окружают замечательные, а командир наш вообще необыкновенный человек.

Зря ты, мама, волнуешься. Чувствую я себя превосходно, о ранении и контузии вспоминаю, только когда получаю твои письма.

Хорошо было бы, если бы прислали пару книг или какие-нибудь журналы. Выпадет свободная минута, а почитать абсолютно нечего.

Привет всем. Будьте здоровы.
 Целую тебя и бабушку.
 Направление нашего движения — Восточная Пруссия!

Ваш Андрей.

Если цела коробочка с леденцами, о которой ты раньше писала, тоже пришли».

* * *

«Дорогой сыночек, Андрюшенька!

Пишем тебе с бабушкой каждую неделю и как камушки в море бросаем — ни привета, ни ответа. Почему ты молчишь, почему так редко отвечаешь? Когда у тебя будут свои дети, ты поймешь, что это просто жестоко.

Каждый вечер отмечаем на карте продвижение наших войск и стараемся угадать, где же ты сейчас.

В пятый, наверно, раз просим тебя сообщить о состоянии твоего здоровья. Как, сынок, себя чувствуешь? Не мучают ли тебя головные боли, меньше ли теперь заикаешься, как пораненная нога?

Кормят ли вас регулярно? Анна Петровна сказала, что, когда идет наступление, кухни отстают и бойцам приходится туго. Так ли это? Может, нужно срочно собрать тебе посылочку с продуктами? У нас сейчас достаточно овощей, и мы вполне можем обойтись без того, что получаем по карточкам. Напиши обязательно, не стесняйся.

Затмение еще не сняли, но настроение у всех приподнятое: ведь вы вышли на границу, до Германии — рукой подать. В Москве каждый день салюты, на днях было три, а как-то еще раньше — целых пять.

И рядом горе... Вчера встретила у Белорусского вокзала Машу Терехову, стояли с ней на площади и плакали. В вашем классе еще две похоронные: под Севастополем погиб Сережа Кузнецов, а в Белоруссии убили Милочку Панину.

Сережу я знала мало, а Милочку помню еще первоклашкой, когда она жаловалась мне, что ты дергаешь ее за косички и вообще обижаешь. Я еще тогда посмеялась, что ты к ней равнодушен, и попросила вас рассадить. А когда тебя пересадили, ты страшно расстроился, и я поняла, что мое шутовское предположение небезосновательно. Оказывается, она была на одном с тобой фронте. Это девятая по счету смерть в вашем классе — бедные ребята, несчастные матери!

Бабушка связала тебе длинные теплые чулки специально на раненую ножку. И вот забота — зима на носу, а не знаем, как переслать, боимся, затеряются. Если будет от вас какая-нибудь оказия, может, кто поедет в Москву или через Москву, обязательно дай наш адрес, чтобы зашли и взяли. Заодно можно послать и продуктов. С оказией надежнее.

Сыночек дорогой, Андрюшенька! Настоятельно тебя прошу: не бравируй все же без нужды. Помни, что ты у нас с бабушкой остался один, больше никого у нас нет... Береги себя. И чаще пиши.

Целую.

Мама».

* * *

«Уважаемая Екатерина Ивановна!

Ваше письмо получил.

Ваш сын гвардии лейтенант Блинов Андрей Степанович действительно с июня с. г. проходит службу в взвешенной мне части. Сообщаю, что при медицинском освидетельствовании 30 мая с. г. врачебной комиссией военгоспиталя № 1135, где перед тем он находился на излечении по поводу ранения и контузии. Ваш сын признан годным к строевой службе без каких-либо ограничений.

Я сочувствую Вашему горю и с пониманием отношусь к Вашей просьбе. К сожалению, в условиях Действующей армии создание Вашему сыну «щадящего режима для сохранения его жизни», как Вы просите в своем письме, не всегда представляется возможным.

О Вашем письме, адресованном мне как командиру части, ни Ваш сын, ни окружающие его лица, разумеется, ничего знать не будут.

Присланные Вами копии трех извещений о гибели на фронте Вашего мужа, дочери и брата возвращаю.

С уважением

Командир в/ч полевая почта 19360
Егоров».

58. ТАМАНЦЕВ

Светало, когда я уловил какое-то движение в хате, затем послышался тонкий, уже ставший знакомым скрип двери, и в реденькой белесоватой дымке я увидел Юлию Антонию.

Интуиция — великая вещь: я продрог за ночь до кишок, до болезненности во всех мышцах и какой-то слабости, но, увидев Юлию, вдруг взбодрился и почувствовал себя в боевой готовности для сшибки — полным силы и энергии.

Она была в ночной ситцевой рубашке до колен, с распущенными волосами, босая. Стоя на земляной приступке крыльца, она некоторое время прислушивалась, потом пошла вокруг хаты, вглядываясь в рассветный туман, словно кого-то высматривала, ожидала. Заглянула в стодолу и опять двинулась по двору, шаря глазами по сторонам и время от времени останавливаясь и прислушиваясь.

Затем вернулась на крыльцо, легонько приоткрыла скрипучую дверь в сенцы и что-то сказала. Тотчас в дверном проеме появился военный — мужчина в пилотке и плащ-палатке, с автоматом в руке.

Я мгновенно напрягся. Я разглядел его лицо и отчасти фигуру и узнал не столько по фотографии, сколько по словесному портрету: «Павловский!»

Как он попал в хату?! Как же мы, придурки, просмотрели или прослушали его приход?! Если этой ночью — наверняка из-за шума ветра!

Где-то неподалеку его, по-видимому, ожидали сообщники (близ хаты их не было, иначе бы Юлия не выскочила в одной сорочке), но брать его с неизбежной перестрелкой здесь, на ее глазах, — эту психологически довольно благоприятную для меня возможность я сразу отбросил.

Они простились у изгороди; обнялись, она поцеловала его несколько раз, а он ее, потом высвободился и не оглядываясь пошел. А она осталась у столба, трижды перекрестила его вслед и беззвучно, совершенно беззвучно заплакала. И, посмотрев их вместе, увидев, как они прощались, я подумал, что насчет фрицев все чистая брехня, пацанка у нее наверняка от этого самого Павловского.

И тут я мельком отметил, что Паша — мозга, нечего сказать. Он опять оказался прав, мысленно я ему аплодировал.

В момент появления Павловского из хаты я по привычке взглянул на часы — для рапорта. Было ровно пять ноль-ноль, и я подумал — не пойдет... Начальство не любит приблизительности, не любит в донесениях круглых цифр, и, если напишешь потом «пять ноль-ноль», оно поморщится, решит, что время это взято на авось, с потолка. И для рапорта я зафиксировал — четыре пятьдесят восемь...

Павловский направился не к лесу, а как бы вдоль, двигаясь от хаты строго по прямой, параллельно опушке, и прошел мимо меня в каких-нибудь десяти метрах.

Я хорошо разглядел его сильное, властное лицо и хотя ничуть не сомневался, что это Павловский и что он от меня уже не уйдет — я слепо его как глинку! — все же по обыкновению прикинул его словесный портрет:

«Рост — высокий; фигура — средняя; волосы — русые; лоб — широкий; глаза — темно-серые; лицо овальное; брови — дугообразные, широкие; нос — толстый, прямой, с горизонтальным основанием; рот — средний, с опущенными углами; ухо — треугольное, малое, с выпуклым противокозелком. Броских примет не имеет».

Цвет глаз и мелкие детали я, естественно, не различил. В целом же все вроде сходилось.

Крепенький, с развитой мускулатурой и очень уверенный в себе мужик, нечего сказать. Такие нравятся женщинам. И на мужчин производят впечатление... Павловский, он же Волков, он же Трофименко, он же Грибовский, Казимир, он же Иван, он же Владимир, он же Казимеж, по отчеству Георгиевич, а также Иосифович. Возможны и другие фамилии, имена и отчества... Девять успешных перебросок и четыре железки от немцев... Особо опасен при задержании...

Я помнил все, что было в розыскной ориентировке, а также и скрип начальства, что он отличный стрелок, владеет всеми системами защиты и нападения и будет сопротивляться до последнего. Что же, посмотрим... И не видя его в глаза, я не сомневался, что такой легко не дастся, придется его дырявить по-настоящему, и я подумал еще, что у меня с собой всего один индивидуальный пакет — чем же его перевязывать?

Экипирован он был безупречно в наше армейское обмундирование, не новое, но и не старое. Офицерская пилотка с полевой, защитного цвета звездочкой, плащ-палатка, вороненый, ухоженный автомат ППШ с рожковым магазином и наши хорошие яловые сапоги.

Достигнув конца полянки, он обернулся и помахал Юлии рукой — обхватив столб, она рыдала, широко и некрасиво открывая рот, однако слышны были лишь сдавленные всхлипы. Безусловно, она знала, кто он и что в случае поимки его ожидает.

Понятно, я уже прикинул Павловского для всего, что нам предстояло. В бегу я его достану, он от меня не уйдет, это было ясно, и в рукопашной, наверно, одолею. Что же касается перестрелки, то тут мне следовало бы дать фору: он сделает все, чтобы меня убить, я же обязан взять его живым. Даже если он и не радист, а старший группы. Для фанкельшпиля желателен и старший. Главное — фанкельшпиль!.. Третьего в крайности можно и не беречь. Если бы только знать, кто из них радист, кто — старший, а кто — третий.

Я снова взглянул туда, где в орешнике находились Лужнов и Фомченко. Они должны были, заложив дрючок, чуть раздвинуть видные мне отсюда две верхние ветви, но этого знака там не было. Уснули они, что ли?.. Я не сомневался: он проник в хату с их стороны — я бы его не прозевал. Помощнички, едрена вошь, нечего сказать!

Я мог манком подать им условленный сигнал, но не стал. И не потому, что хотел все проделать сам, а оттого, что в скоротечной схватке при задержании решает умение, а отнюдь не число. В себе я был совершенно уверен, а они могли наломать дров — запросто.

Павловский уже скрылся в кустарнике. Он направлялся, как я определил, к дубовой роще, мыском выступавшей на опушке леса. Оставив в кустах свою плащ-палатку и вещмешок, я со «шмайссером» в руке, стараясь не произвести и малейшего шума, следовал за ним метрах

в пятидесяти параллельным курсом. И все время охлаживал себя — уж очень мне не терпелось посмотреть его в деле.

Вести за ним наблюдение в глухом, чащобном Шиловичском лесу было практически невозможно, и более всего я желал, чтобы где-то здесь, в кустарнике, он встретился со своими сообщниками, вот тут, используя внезапность, я бы их и атаковал. И, если судьба не закап-ризначает, не подведет, считай, они у меня в кармане.

Высокий орешник сменился мелким, с проплешинами чапыжником, а впереди туманной росой серебрилось поле. Павловский шел туда, прямо к дубовой рощице, шел быстро и не оглядываясь; однако следовать за ним по открытому месту я, разумеется, не мог. Да, не талан: ни второго, ни третьего, очевидно, не будет — приходилось брать его одного.

Наметив подходящее место, я выпрямился в низкорослом чапыжнике — он доходил мне до бедер — и, держа «шмайс» внизу, у колена, поднял в левой руке пистолет — «вальтер» карманной носки — и крикнул:

— Стой! Не двигаться! Стрелять буду!

Он мгновенно обернулся и с похвальной быстротой направил на меня автомат, успев при этом окинуть взглядом местность, — нас разделяло каких-нибудь пятьдесят — сорок пять метров.

— Кто вы?! Документы! — делая шаг ему навстречу, крикнул я, стараясь выразить в лице и в голосе волнение.

Мой вопрос и требование предъявить документы выглядели в данной ситуации, на таком расстоянии нелепо и наивно — к этому я и стремился.

Я фиксировал его лицо и видел, как, положив палец на спуск, он спокойно прицелился в меня. Он не торопился и рассматривал меня с явным интересом. Ему, вооруженному автоматом и весьма уверенному в себе, я со своей игрушечной пушчонкой представлялся, очевидно, не более чем придурком из начинающих, живой мишенью.

Уверен, ему и в голову не могло прийти, что даже из этой пукалки я успеваю посадить две, а то и три пули в подброшенную вверх консервную банку и что за годы войны я взял живьем более сотни агентов-парашютистов, а они-то хорошо знают, что их ожидает в случае поимки, и потому сопротивляются с ожесточением смертников.

Я упредил его, может, на какую-то долю секунды и рухнул в чапыжник одновременно с очередью из его автомата. Меня осыпало листвой и обожгло бок — все-таки задел! Пули прошли впритирку, он чуть меня не убил, молодчик, — с таким не каждый день встречаешься; мысленно я ему аплодировал.

Упав и громко застонав, я стремительно отполз метров на десять влево, за плотный куст орешины. И, притаясь в мокрой траве за кустом, с автоматом наизготове, снова застонал, направляя ладонью звук вниз и в ту сторону, где я упал.

Этот трюк я проделывал уже множество раз и не сомневался, что Павловский решит, что я тяжело ранен, и обязательно вернется, чтобы добить меня и забрать документы. Он подойдет к тому месту, где я упал, при этом окажется ко мне боком, и я двумя очередями из-за куста внезапно обеззучу его. Лишь бы он хоть на мгновение оказался ко мне боком, а не грудью.

Но тут произошло неожиданное.

— Бросай оружие!.. Руки вверх!.. — услышал я громкие возгласы и, выглянув, увидел Лужнова и Фомченко: с автоматами навскидку они выскочили из кустов метрах в семидесяти от меня. Значит, они не спали — просто забыли подать знак, но сейчас-то, без моего сигнала, зачем они вылезли?!

Павловский без промедления ответил им очередями из автомата — они быстро присели, но в Лужнова он вроде попал, или мне показалось, и тут мне пришлось отдать должное сообразительности Павловского.

Он, конечно, понял, что это засада, и, не желая, видимо, рисковать — все-таки один против троих, — стремглав бросился бежать, но не к лесу, а назад, в орешник. Причем как раз посредине между мною и Лужновым с Фомченко, так что на какое-то время мы, оказываясь на одной с ним прямой, вообще бы не смогли стрелять, а он сумел бы достичь кустов.

Его следовало немедленно стреножить! — я вскинул «шмайс» и, метя ему по коленям, нажал спуск и чуть повел автоматом слева направо и обратно. В то же мгновение он дернулся, словно споткнулся о невидимое препятствие, и упал в чапыжник. И по тому, как он грохнулся, я понял, что не просто попал ему в ноги, а сделал что и требовалось: раздробил коленные суставы.

Я бросился к нему. Как я определил на слух, он расстрелял двадцать семь — тридцать патронов, и теперь прежде всего ему необходимо перезарядить автомат. С другой стороны бежали Лужнов и Фомченко, на плече у Лужнова расплзлось темное пятно. Я не ошибся — он был ранен, но мне вдруг стало смешно. Они бежали короткими зигзагами, как я учил, но зачем сейчас было все это?! Ведь в них никто не целился и никто не стрелял — умора!

Я увидел Павловского первым. Лежа на спине, с напряженным лицом он лихорадочно вставлял в автомат новый магазин. Я рванулся к нему — оставались какие-то метры, — и тут случилось самое страшное, чего я не предвидел и никак от Павловского не ожидал: прежде чем я в броске достал его, он внезапно ткнул стволом автомата себе под челюсть и нажал спуск...

59. ОПЕРАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ЗАПИСКА ПО «ВЧ»

«Весьма срочно!»

Егорову

В течение ближайших пяти часов для участия в мероприятиях по делу «Неман» на аэродромы Вильнюса и Лиды четырьмя специальными рейсами будут доставлены 102 офицера ГУКР «Смерш», в том числе 19 розыскников.

Оповещение по системе ВНОС⁶ до аэродромов прибытия отделом перелетов произведено.

Под Вашу личную ответственность все прибывшие должны быть немедленно задействованы в качестве старших оперативно-розыскных групп смешанного состава на путях вероятного передвижения разыскиваемых. Особое внимание обратите на рокадные направления. Исполнение гонесите.

Колыбанов».

ЗАПИСКА ПО «ВЧ»

«Весьма срочно!»

Егорову

В связи с мероприятиями, проводимыми по делу «Неман», сегодня, 19 августа, с 7.00 вам оперативно переподчиняются с немедленной передислокацией в полосу вашего фронта все подвижные пеленга-

⁶ ВНОС — служба воздушного наблюдения, оповещения и связи.

торные установки радиоразведывательных групп 1-го и 2-го Белорусских фронтов, а также НКГБ Белоруссии и Литвы.

Необходимые приказания уже отданы.

Срочно свяжитесь с Управлениями контрразведки обоих фронтов и наркоматами госбезопасности республик для указания старшим групп маршрутов следования в определенные вами районы выжидания.

На инженер-полковника Никольского возлагается ответственность за оптимальное размещение прибывающих установок в треугольнике Лида—Гродно—Вильнюс и за согласованность всех их последующих действий при слежении за эфиром.

ГУКР «Смерш» обращает ваше внимание на необходимость самой тщательной маскировки установок как при передвижении в полосе вашего и соседнего фронтов, так и на местах стоянок.

Прибытие каждой радиоразведывательной группы с указанием точного района выжидания докладывайте без промедления.

В настоящий момент нами совместно с руководством Главного Управления связи Красной Армии экстренно изучается возможность привлечения большого количества армейских коротковолновых передатчиков для создания эффективных радиопомех и глушения рабочих диапазонов «Немана» в случае выхода разыскиваемой рации в эфир. До принятия окончательного решения по этому вопросу под вашу личную ответственность предлагается в течение ближайших 4—5 часов обеспечить оснащение всех коротковолновых радиостанций в частях и соединениях фронта усиленными антеннами и замену в каждой передатчике использованных элементов питания новыми. Соответствующее распоряжение Главным управлением связи Красной Армии уже отдано.

Колыбанов».

ЗАПИСКА ПО «ВЧ»

«Весьма срочно!

Егорову

В связи с чрезвычайными обстоятельствами, создавшимися в результате действий группы «Неман», под Вашу личную ответственность с целью обнаружения рации и других вещественных улик в дополнение к поголовной проверке документов надлежит немедленно организовать осмотр личных вещей у всех лиц, передвигающихся в тылах фронта, как гражданских, так и военных, независимо от званий и занимаемых должностей.

К проведению этого ответственного мероприятия, помимо органов контрразведки и частей по охране тылов фронта, привлечите личный состав комендатур и комендантских подразделений, а также лучших, наиболее толковых офицеров и сержантов из частей и соединений армии.

Каждый привлекаемый должен быть строго проинструктирован о порядке проверки, в том числе и о необходимости соблюдения при досмотре вещей максимального такта и вежливости.

Особенно тщательно следует осматривать весь автотранспорт и передвигающихся на нем лиц.

Сообщаю, что проверка личных вещей (независимо от званий и должностей, занимаемых их владельцами) санкционирована Главным военным прокурором Красной Армии шифротелеграммой ОВ/0059 от 19.08.44 г., передаваемой в настоящий момент всем военным прокурорам 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов.

Колыбанов».

ЗАПИСКА ПО «ВЧ»

«Срочно!

Егорову

Для координации всех усилий по делу «Неман» и руководства розыском к Вам в 10.00 специальным самолетом («Дуглас», бортовой номер 9; истребители охранения «ЛА-5 ФН», бортовые номера 26 и 34) вылетает начальник Главного управления контрразведки «Смерш» с группой генералов и старших офицеров.

Оповещение по системе ВНОС до аэродрома прибытия отделом перелетов произведено.

Обеспечьте подачу автомашин к моменту посадки самолета на Лидском аэродроме. Прибытие немедленно донесите.

Кольбанов».

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

«Чрезвычайно срочно!
Особой важности!

Ковалеву, Ткаченко

Под вашу личную ответственность следующие в Прибалтику, подлежащие особому контролю отдела оперативных перевозок литерные эшелоны серии «К» (танковая техника россыпью) №№ 2741, 2742, 2743, 2755, 2756, вышедшие из Челябинска 17 и 18 августа, а также №№ 1365, 1369, 1783 и 1786, вышедшие из Горького и Свердловска 18 августа, впредь до особого указания должны быть задержаны на Московском железнодорожном узле.

Исполнение проконтролируйте лично и немедленно доложите.

Основание: Распоряжение Ставки ВГК.

Карпоносов».

ЗАПИСКА ПО «ВЧ»

«Срочно!

Егорову

В дополнение к №..... от 18.08.44 г. сообщая, что распоряжение Начальника тыла Красной Армии об усиленном питании военнослужащих, участвующих в розыскных и контрольно-проверочных мероприятиях по делу «Неман», с сего дня распространяется также на всех военнослужащих, привлекаемых к войсковой операции «Кольцо», независимо от их ведомственной принадлежности с обеспечением продовольствием по линии НКО. (Основание: распоряжение Нач. тыла Красной Армии № от 19.08. 44 года).

Выполнение проконтролируйте лично.

Артемьев».

ЗАПИСКА ПО «ВЧ»

«Весьма срочно!

Егорову

В течение ближайших 3—5 часов для участия в мероприятиях по делу «Неман» Управлениями Контрразведки 1-го и 2-го Белорусских, Ленинградского, 1-го, 2-го и 3-го Украинских фронтов на аэродромы Лиды, Гродно и Вильнюса.....⁷ специальными рейсами будут доставлены ... офицеров «Смерш», в том числе ... розыскника.

⁷ Цифровые данные этого документа опускаются.

Под Вашу личную ответственность все прибывшие должны быть немедленно задействованы в качестве старших оперативно-розыскных групп смешанного состава в районах наиболее вероятного появления разыскиваемых.

Исполнение донесите.

Доставившие офицеров транспортные самолеты других фронтов, так же как и прибывающие из Москвы, поступают в ваше распоряжение для обеспечения усилий по делу «Неман».

Срочно обсудите с Моховым, Поляковым и Никольским и немедленно доложите, какая еще помощь людьми или техникой может быть вам оказана.

Колыбанов».

60. ТАМАНЦЕВ

Я мгновенно осознал: очередь из автомата он снес себе половину черепа.

Я был зол как черт, как миллион чертей, мне хотелось ругаться последними словами, когда, подбежав, Фомченко и Лужнов устались на его труп.

— Чего смотреть — холодный! — еле сдерживаясь, в бешенстве сплюнул я. — Кому сказал — пять раз сказал! — если он будет один, вы не понадобитесь! А вы?!

— Мы думали... он вас убил... — зажимая рукой рану на плече и морщась от боли, проговорил Лужнов.

«Думали!..» Детский сад!.. Помощнички, едрена вошь! Век бы их не видеть!.. Янисколько не сомневался, что если бы они не вылезли и Павловский считал, что он со мной один на один, он и с перебитыми ногами ни за что бы не застрелился и я бы взял его живым. Мне хотелось отлупить их так, чтобы уши у них распухли, но теперь надо было действовать, не теряя ни секунды.

Вспорвав ножом рукав гимнастерки Лужнову, я поспешно перевязал ему плечо индивидуальным пакетом и перетянул выше ремнем, чтобы остановить кровь.

— Задета только мышца... кость цела... Не морщся — тебе не три годика!

Мне следовало хотя бы предварительно оценить вещественные доказательства. Прежде всего я оглядел сапоги Павловского. По виду — сверху — советские, яловые, офицерские, они имели подошвы немецких армейских сапог, подбитых гвоздями с широкими шляпками, каблуки были охвачены металлическими подковками. Такого гибрида за три года войны я еще не встречал — век живи, век учись — и сразу подумал о следах у родника, обнаруженных Блиновым: их оставил Павловский, и был он там в этих самых сапогах.

Затем я обшарил карманы гимнастерки и офицерских шаровар Павловского, вынул документы и переложил к себе. Просмотрел бегло только командировочное предписание; оно было выписано на одного Павловского, причем в отпечатанном типографском тексте, к моему удивлению, имелся задействованный с 1 августа условный секретный знак — точка вместо запятой посреди фразы. Второго предписания среди его бумаг не оказалось, и я подумал, что он, очевидно, не старший группы или же по легенде может действовать и в одиночку.

Без особых усилий я стянул с него сапоги — это надо было сделать теперь же, пока труп не очоенел.

Из хаты Свиридов никто не выходил, но я не сомневался, что

они — горбуи-то во всяком случае — в окно смотрят сюда. Интересно, какие чувства он сейчас испытывает?

— Будь здесь!.. Накрой его плащ-накидкой и никого не подпускай! — велел я Лужнову. — А вы — за мной!

С автоматами в руках мы с Фомченко бросились к дубовой рошице, куда всего минут десять назад направлялся Павловский.

— Будьте наготове!.. Наверно, там его кто-нибудь ждал... Держитесь правее... Если начнут стрелять — ложитесь! — на бегу инструктировал я Фомченко и, вспомнив, строго спросил: — Почему вы сигнал не подали?

— Сигнал?.. Забыли... От волнения... Совсем забыли...

«Забыли!.. От волнения!..» Детский сад, да и только! Каждому за тридцать, а они волнуются! Потому и не люблю прикомандированных — балласт, и толку от них на грош!

Фомченко бежал старательно, изо всех сил, однако постепенно отставал. Рассвело еще больше, и нас было видно издалека. Я держался настороже, каждое мгновение ожидая выстрелов, но стояла полная тишина. Мы уже почти достигли рошицы, когда в этой тишине далеко сзади нас послышался негромкий возглас.

Я обернулся: Юлия в той же ночной ситцевой рубашке шла от кустов на Лужнова. Только этого нам не хватало! Он бросился навстречу и пытался ее остановить — что-то говорил, потом схватил невредимой рукой за локоть, но она вырвалась, побежала как раз туда, куда он ее не пускал, и тут же раздался дикий крик — она увидела Павловского...

Я уже оценил обстановку и приказал подбежавшему Фомченко:

— Возвращайтесь!.. Пусть Лужнов отнесет девочку к Свиридам, а Юлию возьмите в ее хату и не выпускайте!.. В темпе!.. И никакого шума!

— Надо ей объяснить, что он — сам!

— Ничего ей сейчас не объяснишь! Надо немедленно прекратить этот крик! Если будет сопротивляться — примените силу!.. А Свиридов предупредите, чтобы никуда не отлучались и помалкивали! Бегом!

Оттуда, где лежал труп Павловского, доносились надрывные рыдания, но я не оглядываясь вскочил в рошицу. С автоматом наизготове я бежал вдоль края дубняка, скользил между деревьями, нырял под нижние ветви. Каждую секунду я ожидал встречи с теми, кто его здесь, очевидно, ждал. И, стараясь унять злость, все время охлаживал себя. Одного упустил, но остальных надо взять живьем во что бы то ни стало.

На ходу я посоветовался сам с собой и был вынужден оценить ситуацию как весьма хреновую.

Так я обежал одну сторону мыска, затем срезал у основания и вернулся, замыкая треугольник. Нигде никого и никаких сегодняшних следов — темных полос на серебристой от росы траве. Выходит, в рошице его никто не ждал.

Когда я выскочил из дубняка, там, где в чапыжнике лежал труп Павловского, никого не было, однако плач и вскрики Юлии отдаленно слышались — Фомченко все еще не смог затащить ее в хату.

Теперь следовало осмотреть опушку леса на два-три километра по обе стороны от дубового мыска.

Это заняло около часа. Я бежал краем леса, напряженно выглядывая следы, осмотрел на расстоянии ста — двухсот метров все пять тропинок и две неторные дороги — нигде ни одного свежего следа. Я был весь как взмыленная лошадь, зато мог теперь сказать определенно: на этом участке шириной километров шесть его никто не ждал и вообще после позавчерашнего дождя здесь никто не проходил.

Во весь дух я помчался назад. Лужнов, придерживая раненую руку, сидел на траве возле трупa Павловского бледный и печальный. Перевязал я его качественно: по бинту было видно, что кровотечение приостановилось.

— Ты Свиридов предупредил, чтобы никуда не отлучались и держали язык за зубами?

— Да, сказал.

— До Лиды доедешь?

— Да.

— Выходи на шоссе, — я показал рукой, — и голосуй... Передашь в отдел контрразведки авиакорпуса — Алехину или начальнику отдела, чтобы немедленно приехали. Скажешь, что Павловский при задержании застрелился. Запомни: он был один и пришел не со стороны леса... Никаких мнений и оценок — только факты! Давай!

Я заметил, что его знобит, и, когда он уже пошел, сказал вдогон: — Попроси у Свирида... или потребуй... словом, хлебни для бодрости самогона... Полстакана — не больше!.. И жми! В темпе!

Мне хотелось, чтобы приехал кто-нибудь из начальства и все было бы зафиксировано не только в моем рапорте. Когда на счету у тебя более сотни парашютистов, взятых живьем, дать застрелиться хоть одному — не есть здорово. Тут могут возникнуть слухи о недосмотре или оплошке, каждому глотку не заткнешь, а я не желал потом никаких кривотолков.

Гимнастерку и нательную рубашку с Павловского я стягивать не стал, только расстегнул ворот и, развязав тесемки, снял погоны. Затем стащил с него брюки. В заднем кармане в носовом платке оказался самодельный дюралевый портсигар; технари в тыловых частях плодят такие во множестве — из фюзеляжей сбитых самолетов. Я открыл крышку с выгравированной поверху надписью «Смерть немецким захватчикам!». Портсигар был наполнен «индийской смесью» — махоркой, густо пересыпанной мельчайшими крупинками кайенского перца. Маленькая щепоть такого курева, брошенная в лицо, выведет из строя любого, да и следы присыпать, если преследуют с собаками, — отличное средство, лучше, пожалуй, не придумаешь.

Тут же в углу портсигара лежала плоская пластмассовая коробочка с таблетками, и среди них я сразу увидел два прозрачных камушка...

Мне стало не по себе. Конечно, запасные кварцы для передатчика могли находиться не только у радиста. Но у кого?.. У старшего группы?.. От этого нам было бы ненамного легче. Я представил себе гневное лицо генерала и как он будет растирать шрамы на затылке и даже услышал его грозный голос: «Меня не интересуют трупы!.. Нам нужны живые агенты, способные давать показания и участвовать в радиопредаче!»

Скрипа теперь не оберешься. Мне-то он наверняка еще скажет: «От кого от кого, а от тебя я этого не ожидал!.. Не стыдно?..»

Понятно, я могу начать оправдываться. Я могу сказать: «Кого мне дали?.. Летчиков!.. Что они умеют?.. И я не виноват, что они вылезли!..» А он мне скажет: «Я не знаю никаких летчиков!.. Ты был старший, ты не новичок и отвечаешь за все!.. Вы валялись на чердаке двое суток! За это время медведя можно выучить плясать, а ты их даже толком не проинструктировал!»

«Не проинструктировал!» — ничего себе справедливость... Да я язык обмозолил, растолковывал все, как пригодишам!.. Но не стану же я капать на Фомченко и Лужнова! Нет, я не буду оправдываться, я промолчу. Если Павловский застрелился, значит, я его «упустил». Иного толкования и не жди. Обидно, но ничего тут не поделаешь.

По форме, цвету и размеру таблеток я определил — фенамин. Каждая из них подбодрила бы Лужнова не хуже самогона, но он уже скрылся в кустарнике и бежать за ним я не считал целесообразным — у меня самого неотложных дел было под завязку.

В моей голове вертелись два факта, которые я выделил, но не мог еще толком осмыслить. Первое: Павловский пять или шесть суток тому назад был в лесу у родника и, сорвавшись с коряги, нечаянно там наследил. Второе: он пришел сегодня ночью, но не со стороны леса, как я ожидал, то есть скорее всего он сюда откуда-то приехал. И я должен — вопрос чести! — отыскать его следы на подходах к хате Юлии Антонок.

Теперь, понятно, не оставалось сомнений, что Павловский был действующий вражеский агент, а не какой-нибудь скрывающийся по лесам от наказания немецкий пособник.

Обмундирование и нательное белье на Павловском, судя по ярлыкам, было ивановской и московской фабрик, кальсоны и рубашка — чистенькие, вчера или сегодня надетые; ремень, португепя и компас — пользованные, отечественные, а вот часы — заграничные, очевидно, швейцарские, водонепроницаемые, со светящимся циферблатом, такие, как у меня, и у Паши, и у многих армейских офицеров, — трофейные.

Подумав, что спать мне сегодня едва ли придется, я проглотил две фенаминовые таблетки и хотя знал, что действие их наступает не сразу, тут же почувствовал заметный прилив сил.

Затем я осмотрел сапоги Павловского и в обоих под кожей, подшитой к яловым голенищам, обнаружил заложенные между листками целлулоида запасные бланки командировочных предписаний и продовольственных аттестатов, чистые, незаполненные, но со штампами и печатями воинских частей.

Все чин чином, все подтверждало, что он вражеский агент, однако никаких доказательств его принадлежности к разыскиваемой нами группе мне, как ни старался, обнаружить не удалось.

Собрав вещи Павловского, его оружие и документы, я поспешил в хату Юлии, где предстояла малоприятная, но обязательная процедура — обыск.

Фомченко караулил, стоя у печи. Мне от порога бросилось в глаза, что лицо у него оцарапано, разодрано с обеих сторон в кровь, а у ворота гимнастерки оторваны пуговицы. Видно, ему крепенько досталось, когда он тащил ее от трупа в хату.

Сама Юлия лежала не двигаясь на старенькой железной койке лицом к стене и время от времени тихонько обессиленно стонала, вроде как в забытьи.

Голые стены. Вместо стола — поставленный на попа ящик от мин, застеленный поверху розовой тряпкой, рядом с ним — ветхая деревянная табуретка. И все — ни мебели, ни обычного «майонтка»⁸. Очень чистенькая нищета.

На запечке, покрытое белым вафельным полотенцем, что-то лежало, очевидно продукты.

Я велел Фомченко самым тщательным образом осмотреть хату внутри, а сам занялся сенцами и чердаком, все время помня, что не менее важно отыскать следы на подходах сюда от шоссе.

Единственно, что представляло интерес в сенцах — пара нательного белья Павловского. Ее не надо было искать — выстиранная, должно быть ночью, еще влажная, она сушилась на веревке. Последовательный осмотр глинобитного пола, стен и сложенной в углу бросовой рухляди ничего не дал.

⁸ Майонтек (польск.) — имущество.

На чердаке висели запасенные веники, валялись два старых лукошка, проржавевший серп, а в углу я увидел армейскую малую саперную лопатку, почти новую и ничем не примечательную, если не считать небольшого среза на основании черенка.

Обычная история: оставив где-нибудь, утерев свою лопатку, бойцы «заимствуют» себе другую в соседней роте, а личную метку бывшего владельца срезают — я это видел уже не раз.

Надо полагать, лопатка осталась с той поры, когда пять недель тому назад тут проходил фронт. Из-за короткой рукоятки ценности в хозяйстве она, вероятно, не представляла и потому попала на чердак, однако, судя по отсутствию даже тонкого слоя пыли, ею, так же как и серпом, недавно пользовались.

Я в темпе последовательно прокалывал финкой землю, засыпанную на чердаке, когда спохватился и взглянул на часы — без тринадцати минут семь! Через каких-то четверть часа мне требовалось быть на шоссе в условленном месте, куда должна была подъехать полуторка с Пашей или — если он не сможет — с продуктами и запиской.

Фомченко, как и следовало ожидать, ничего в хате на нашел, кроме разве лежавших на запечке продуктов: двух банок американской свиной тушенки, пяти пачек пшеничного концентрата, двух буханок хлеба, кулька соли и сахара. Все это было получено Павловским на наших продовольственных пунктах по аттестатам, которыми его снабдили немцы, и, безусловно, подлежало изъятию. Но я решил оставить продукты Юлии, указав в рапорте наличие у нее голодного ребенка.

Фомченко я приказал еще раз осмотреть хату, в основном чтобы он не сидел без дела, а сам уложил все вещи Павловского, его оружие и документы в плащ-палатку, сунул туда же и пару белья, сушившегося на веревке, и увязал все в узел.

Полуторку в любом случае пришлось бы подгонять сюда, чтобы забрать труп Павловского, но я взял этот узел с собой, чтобы предстать перед Пашей не с пустыми руками. В последний момент прихватил и сброшенную с чердака саперную лопатку.

Полтора или два километра на фенаминовой заправке я пробежал за какие-то минуты, пролетел как на крыльях, вблизи шоссе перешел на шаг и, утишив дыхание, выглянул из орешника.

Полуторка уже стояла на обочине; в кузове виднелись двое незнакомых мне, без головных уборов. Хижняк расхаживал вдоль противоположного кювета, а Паша, болезненно похудевший, с автоматом на коленях, опустив голову, сидел на подножке. Вид у него был измученный, понурый, и я понял, что дела плохи. Очень плохи. Когда есть хоть какой-то результат, люди так не выглядят, это уж точно. А ведь он еще не знал, что Павловский застрелился...

— Вы Лужнова не встретили? — подходя, будто ни в чем не бывало, сказал я.

— Лужнова? — подняв голову, как-то встрепанно переспросил Паша; глаза у него, очевидно, от недосыпания, были красные, как у кролика. — Нет. Что случилось? — разглядывая пятна крови на моей гимнастерке, поинтересовался он.

— Ничего.

Я опустил узел на землю и стал деловито его развязывать, а лопатку бросил рядом, но он поднял ее, повернул и, увидев срез на черенке, оживился:

— Откуда она? Где ты ее взял?

— У Юлии... На подловке.

«Подловкой» по-своему, по-деревенски, он называл чердак, и я сейчас так намеренно сказал.

Двое в кузове, привстав, смотрели на нас. Я их не знал, наверно, очередные прикомандированные, очередной детский садик.

Я уже развязал плащ-палатку, и Паша не мог не видеть всего, что в ней было. Из сапог Павловского я достал его личные документы и чистые резервные бланки и разложил тут же, как говорится — товар лицом. Но Паша сосредоточенно разглядывал черенок — далась ему эта лопатка! — и ничего больше, казалось, не замечал.

Внезапно он схватил один из листков бумаги — чистый бланк — и ножичком принялся выковыривать на него частицы земли, забившейся между черенком и шейкой лопатки. Остальное его будто и не интересовало.

— Супесь, — разминая крупичицы, сказал Паша.

Терпеть не могу иностранных и деревенских слов — мне-то они ничего не говорят. Это я вроде даже слышал, но не мог сейчас вспомнить, сообразить, что оно означает: из-за этого скота, снесшего себе половину черепа, я все еще был в каком-то раздрызге.

— Супесь! — повторил Паша и блаженно улыбнулся. — Чистейшая супесь!

Я смотрел на него с опаской, как на чокнутого. Такое тоже может случиться. Когда стараешься всю, неделями уродуешься как бобик, а результата нет, а сверху жмут и не переставая кричат: «Давай! Давай!» — можно и чокнуться.

— Что это? — указывая на плащ-палатку и не замечая дюралевого портсигара, вынутого мною из кармана, наконец спросил он, присел на корточки и взял офицерские удостоверения личности.

Надо говорить, а у меня язык присох во рту. Даже фенамин не помог. Я чувствовал себя, как описавшийся пудель... Что называется, бледный вид и холодные ноги...

Раскрыв удостоверения, он взгляделся в фотокарточки и узнал: — Павловский...

Теперь-то наверняка должно было последовать: «Как же ты его упустил?»

Эти двое вылезли из машины и смотрели на плащ-палатку, как малолетние детишки на новогоднюю елку. Прикомандированные, век бы их не видеть!..

61. ОПЕРАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ЗАПИСКА ПО «ВЧ»

«Весьма срочно!»

Егорову

В течение ближайших трех часов на аэродром Вильнюса специальный рейсом из Москвы будут доставлены экипированные в форму офицеров Красной Армии 12 опознавателей из числа бывших немецких агентов, окончивших радиоотделения Варшавской и Кенигсбергской школ немецкой разведки, где, судя по радиопочеркам, обучались и радисты активно разыскиваемой нами группы «Неман».

Под вашу личную ответственность все прибывшие должны быть немедленно задействованы на рокадных коммуникациях Вильнюс — Шауляй, Вильнюс — Гродно и Вильнюс — Лига.

Работу опознавателей возьмите под свой личный контроль, обеспечив их наиболее интенсивное и рациональное использование.

Кольбанов».

ЗАПИСКА ПО «ВЧ»

«Срочно!

Егорову

В дополнение к нашему № И-19486 разъясняю, что все служебные собаки, привлекаемые к розыскным мероприятиям и войсковой операции по делу «Неман», должны обеспечиваться трехразовым котловым питанием, получая при этом ежедневно полторы суточные нормы продуктов по линии НКО независимо от ведомственной принадлежности. Основание: Распоряжение Нач. тыла Красной Армии № 7352 от 19.08. 44 г.

В июле с. г. на 1-м Украинском фронте у нескольких собак в результате грубого недосмотра было заварено чутье, в связи с чем предлагается обращать внимание на температуру пищи при кормлении. Также необходимо предотвратить закладку некомпетентными поварами в котлы полевых кухонь различных специй, снижающих остроту нюха у собак.

ГУКР «Смерш» считает нужным еще раз напомнить, что при проведении войсковой операции в Шиловичском лесу собаки, обладающие верхним дальним чутьем и опытом отыскания тайников и схронов, должны быть использованы на самых перспективных участках.

Исполнение проконтролируйте лично.

Артемьев».

ЗАПИСКА ПО «ВЧ»

«Срочно!

Егорову

Для непосредственного руководства действиями войск НКВД по делу «Неман» в Лигу специальным рейсом в 7.45 вылетает первый заместитель Наркома внутренних дел с группой генералов и старших офицеров.

При отсутствии у местных органов потребного количества автомашин под Вашу личную ответственность предлагаю обеспечить всех прибывших необходимым автотранспортом.

Исполнение донесите.

Кольбанов».

ЗАПИСКА ПО «ВЧ»

«Срочно!

Егорову

Для обеспечения срочных перевозок по делу «Неман» в полосе Вашего фронта в дополнение к выделенным ранее самолетам с 8.00 Вам оперативно переподчиняется 142-й транспортно-авиационный полк.

Немедленно свяжитесь с командованием 1-й воздушной армии для возможного перебазирования части машин в соответствии с Вашими соображениями.

Кольбанов».

ШИФРОТЕЛЕГРАММА

«Срочно!

Мазанову

Задержанных вами по делу «Неман» ошибочно капитана Боричевского и младшего лейтенанта Кузнецова немедленно освободите.

Начальник Управления контрразведки фронта считает необходимым предупредить вас о неполном служебном соответствии.

Поляков».

ЗАПИСКА ПО «ВЧ»

«Срочно!»

Егорову

Для непосредственного руководства розыскными мероприятиями органов НКГБ по делу «Неман» в Лигу специальным самолетом в 10.30 вылетает первый заместитель Наркома госбезопасности с группой высшего оперативного состава.

При отсутствии у местных органов требуемого количества автомашин под Вашу личную ответственность предлагаю обеспечить всех прибывших необходимым автотранспортом и немедленно установить с ними тесный контакт для согласованности всех усилий по розыску.

Исполнение донесите.

Колыбанов».

62. КАПИТАН АЛЕХИН

С того предвоенного Первомая, когда умер отец, это был самый тяжелый день в его жизни.

Прибывшая угром из Управления машина привезла и почту — письма ему и Блинову, причем полученное Алехиным из родного села (он не сразу сообразил ст кого) было удручающим.

Федосова, пожилая лаборантка, работавшая с ним до войны, писала, что на опытной станции все пришло в запустение. Тягла нет, рабочих рук тоже; заведует ныне пришедший с фронта по ранению бывший председатель Кичуйского сельпо Кошелев — Алехин пытался, но не мог его припомнить, — агрономического образования он не имеет, дела совсем не знает и к тому же с горя или от бессилия пьет.

Федосова сообщала, что в конце апреля всю суперэлитную уникальную пшеницу, выведенную с такими трудами Алехиным и его сотрудниками, плоды почти целого десятилетия упорной селекции, по ошибке или чьему-то нелепому распоряжению вывезли на элеватор, в хлебопоставку.

Не свои — прибывшие вместе с уполномоченным «девки из города» вычистили все под метелку. Федосова прибежала, когда они уже уехали, и единственно что ей удалось — собрать по зернышку, «не больше жмени», каждого сорта.

Еще она писала, что Лидаша, жена Алехина, работавшая младшим научным сотрудником той же опытной станции, с самого начала не поладила с этим новым заведующим, и зимой он оставил ее без дров, из-за чего Настенька, четырехлетняя дочка Алехиных, заболела ревматизмом и мучается ножками по сей день.

Все это было совершенной неожиданностью, поскольку сама Лидаша почти в каждом письме просила за них не беспокоиться, мол, дома полный порядок. Выходит, просто не хотела огорчать, полагая, что, находясь вдалеке, на фронте, он все равно бессилен что-либо предпринять.

Федосова была безотказная работница, человек бесхитростный, немногословный, и Алехин понимал, что она несколько не преувеличивает и уж коль раздобыла его адрес и решила ему написать, там действительно все дошло до ручки.

При мысли о дочери остро клешнило сердце. И как никогда было обидно, что его опыты — фактически девять лет его жизни — пошли насмарку. Он пытался как-то успокоиться, убеждал себя, что это, очевидно, объективная необходимость и ничего тут не поделаешь — война. С одной стороны, семена поистине бесценной пшеницы, с другой — возможно, где-нибудь люди умирают от голода, как

два года назад в Ленинграде. Он силился, но не мог уговорить себя, что это не ошибка, а есть, очевидно, государственные, неизвестные или непонятные ему соображения.

Что же касается дров, то, здесь приходилось винить жену. Напиши она ему вовремя, конечно, можно было бы помочь. Егоров в подобных случаях не стеснялся обращаться в любые организации и, несомненно, вмешался бы тут весомо и энергично.

Письмо Федосовой Алехину передали по возвращении из Вильнюса, куда в конце ночи он летал с Поляковым для инструктажа командиров специальных частей и подразделений, собранных там на случай проведения войсковой операции.

Напутствуя их перед вылетом, Егоров, в частности, напомнил:

— Главное — внезапность и надежность оцепления при создании оперативного кольца!.. И никакой огласки! Подразделения привлекаются для выполнения специального задания, но о том, что операция проводится контрразведкой, должны знать только командиры частей и офицерский состав комендатур! Проинструктируйте их лично, не упустив и малейших деталей. Вами должны быть предусмотрены и разъяснены необходимые действия во всех возможных случаях и ситуациях!..

В силу ряда обстоятельств генерал и Поляков по-прежнему считали войсковую операцию нецелесообразной, но уж коль ее надлежало провести, она должна была быть подготовлена самым тщательным образом.

Большое значение Поляков придавал синхронности оцепления Шиловичского леса. Двести шесть грузовиков двенадцатью отдельными автоколоннами должны были минута в минуту выйти к массиву в примерно равноудаленных друг от друга пунктах и, двигаясь затем по кругу с одинаковыми дистанциями между всеми машинами, замкнуть оперативное кольцо, создав так называемую «карусель». Далее после получения условного сигнала — на каждой пятой машине имелась рация — надлежало окаймить массив по всему извилистому периметру надежной цепью скрытых заслонов и лишь затем ввести в дело группы прочесывания.

Точное соблюдение намеченного Поляковым графика и заданных дистанций, локтевая связь и взаимодействие между заслонами гарантировали надежность оцепления и невозможность кому-либо выйти, проскользнуть или прорваться за его пределы.

В конце своего недлинного выступления записываемого всеми присутствующими, Поляков подчеркнул особую важность предстоящей операции и персональную ответственность каждого, кто будет в ней участвовать, — от командиров частей до рядовых.

Затем Алехин изложил особенности поисков в густом лесу, противоминные предосторожности и действия в случае обнаружения кого-либо и задержания.

Вопросов ему не задавали. Офицеры частей по охране тыла фронта и маневренных групп, в большинстве своем бывалые пограничники с немалым боевым опытом, наверняка неоднократно участвовали в различных войсковых операциях, и Алехин подумал, что для них, как и для него с Поляковым, в этот час полезнее было бы поспать. Однако в директиве, полученной вечером из Москвы, содержалось требование обязательного подробного инструктажа всех привлекаемых к розыскным мероприятиям и войсковой операции по делу «Неман», и Алехин добросовестно излагал то, что слушавшие его, судя по всему, и так знали.

В Лиду он и Поляков вернулись из Вильнюса, когда уже рассвело.

Такой концентрации усилий по розыску, такого массирования сил и средств Алехин за три года работы в контрразведке не видел, да и слышать ни о чем подобном ему не приходилось.

Со вчерашнего дня в полосе фронта от передовой и на всю глубину тыловых районов осуществлялся строжайший контрольно-проверочный режим. К утру было задействовано свыше семисот оперативных групп. Около пятидесяти радиопеленгационных установок круглые сутки сторожили эфир. От Восточной Пруссии и Польши до Вязьмы во всех населенных пунктах и при выезде из них, на станциях и пересечениях шоссейных дорог, в поездах и местах скопления военнослужащих проводилась усиленная проверка документов. На рассвете поступило небывалое распоряжение о досмотре личных вещей.

Ночью на Лидском аэродроме продолжали садиться самолеты с оперативным составом контрразведок других фронтов, служебно-розыскными собаками и сопровождавшими их проводниками. В район города по-прежнему стягивались люди и грузовики; проделав сотни километров пути, прибыло несколько автоколонн с 1-го и 2-го Белорусских фронтов—войска НКВД и радиоразведывательные группы.

Всего в течение суток к проведению розыскных и проверочных мероприятий по делу «Неман», считая личный состав частей по охране тыла фронтов и комендатур а также поддержки, выделенные армией, было привлечено более десяти тысяч человек.

Из Москвы звонили буквально каждые четверть часа не только высокое начальство, но и офицеры-розыскники. Требовали различные сведения, подтверждения прибытия людей и техники, и в первую очередь вновь добытые данные, словно они должны были поступать сюда, в Лиду, обильно и непрерывно. Сообщались дополнительные указания и версии, при этом высказывались советы и различные предположения, не обходилось и без того, что Поляков называл «вмешательством в детали» и «мелочной опекой».

К утру напряжение стало, казалось, предельным, бесконечные же звонки из Москвы вносили неизбежную в таких случаях нервность. По настоянию Полякова аппарат «ВЧ» перенесли в соседний кабинет, где около него дежурили двое офицеров.

Письмо Федосовой ударило Алехина как обухом по голове. Некоторое время он находился в полной растерянности, и Поляков, искавший его, подошёл к нему на площадке, где стояли машины, заметил это и справился:

— Что с тобой?

Алехин неопределенно пожал плечами и, чтобы избежать дальнейших вопросов, сказал:

— Я вас слушаю.

— Возьми двух человек из резервных,— велел подполковник.— Надо сейчас же сменить Таманцева, чтобы группа была в сборе. И немедленно возвращайтесь!

В машине Алехин пытался переключиться, но не мог. Всю дорогу мысли о дочери и о вывезенной уникальной пшенице, точнее о целом без малого десятилетии его довоенной жизни, угнетали и будоражили его.

Дочку он не видел четвертый год и представлял ее себе главным образом по фотографии, присланной ему женой прошлой осенью ко дню его рождения.

На этой карточке, хранившейся вместе с партийным билетом в сейфе у Полякова, в Управлении, Настенька крепкими полными ножками стояла на столе, застеленном праздничной скатертью, в короткой

нарядной рубашке, толстощекая, радостная, с большим бантом в волосах.

Эта фотография не меньше, чем письма жены, внушала уверенность, что девочка здорова, сыта и дома все в порядке. А оказалось...

Вывозка в хлебопоставку селекционной пшеницы представлялась ему после размышлений никак не государственной необходимостью, а чистым головотяпством. Он припомнил газетное сообщение о том, как в осажденном Ленинграде ученые, умирая от голода, сохранили элитное семенное зерно; там, в тяжелых условиях блокады, сохранили, а у него на родине, в глубоком тылу, — уничтожили.

Он видел мысленно станционное поле с тысячами аккуратных деляночек размером в квадратный метр каждая. В его сознании всплывали бесконечные, бесчисленные опыты, закладываемые тщательно, кропотливо, во многих повторностях, с различными вариантами посева и агрофонов. Возникли в его памяти и близкие ему люди, бывшие сотрудники станции, — как сообщала в письмах жена, за эти три года на семерых из них пришли похоронные...

Ему вспомнилось, как из гибридов, полученных в тридцать шестом году, было выделено всего одно растение, одно-единственное с девятистот шестидесяти делянок! Необычно крупные зерна этого колоса стали родоначальниками нового сорта, выведенного после еще пяти лет упорной селекции и жестокого отбора. Конечный результат был получен, когда Алехин находился уже на фронте.

И вот эту уникальную пшеницу, которой после государственных испытаний предстояло «прописаться» на многих миллионах гектаров земель, вывезли в хлебопоставку — на помол! Как же могли ее принять на элеваторе товарным зерном, если из документов наверняка было ясно, что это — суперэлита высших репродукций?..

Для завершающих селекцию государственных конкурсных испытаний и официального признания две жмени, собранные Федосовой, разумеется, не могли ничего дать. Он был отброшен назад как минимум на несколько лет и понимал, что после войны, если останется жив, придется повторять уже пройденное...

В мыслях о дочери самым ужасным было сознание своей беспомощности, сознание, что там, далеко в Заволжье, страдает маленькое, столь дорогое ему существо, а он не в силах, не в состоянии чем-либо ей помочь... Вычитанная где-то еще до войны фраза: «Ревматизм лижет суставы и кусает сердце» — все время вертелась в его голове. «Лижёт суставы и кусает сердце!»

— Ну что... — сбавляя скорость, сказал Хижняк. — Станем здесь?..

Алехин быстро осмотрелся по сторонам. Оказывается, уже миновали Шиловичи и подъехали к тому месту, где трое суток назад оставалась полуторка, когда привезла Фомченко и Лужнова. Здесь, у мостика через речушку, он договорился встретиться с Таманцевым.

— Хорош.

Взяв автомат, он вылез из машины.

Когда подошел Таманцев, по его виду, по пятнам крови на гимнастерке и принесенному им узлу Алехин сразу понял: что-то произошло. В то же мгновение он обратил внимание на лопатку, подняв ее, повернул, увидел срез и подумал, что это, должно быть, лопатка Гусева... Откуда она взялась?

Эта догадка, разумеется, требовавшая подтверждения, вывела его из состояния, в каком он пребывал после получения письма. Он помнил, что Гусеву выписали лопатку со склада за день до поездки и пользоваться ею он не успел, а этой копали, и Алехин поспешно стал выковыривать частицы земли, забившейся между черенком и шейкой лопатки.

Супесь без примеси других почв. Удивительно чистая, легкая и очень светлая. Исчезновение из «доджа» малой саперной лопатки работало на версию Полякова о наличии в этом районе тайника, где пряталась разыскиваемая рация, и если это лопатка Гусева, то, значит... Такая легкая, необычайно светлая супесь встретила Алехину только в одном месте: на поросшем суборью, сравнительно небольшом участке Шиловичского леса — он еще отметил тогда железную зависимость растительности от почвы.

Если это лопатка Гусева, то, по всей вероятности, тайник можно будет отыскать сегодня же, в крайнем случае завтра... И если рация еще там...

Если это лопатка Гусева, то ее нахождение на подложке у Юлии свидетельствовало о принадлежности Павловского к разыскиваемой группе, что также было весьма существенно. И Алехин невольно подумал, как обрадуются в таком случае Поляков и генерал.

Разминая крохотные комочки земли, он краем глаза увидел разложенное Таманцевым на плащ-палатке, посмотрел и, связав все воедино, понял, что была попытка задержания, но неудачная, и, наверно, кроме того, что лежит перед ним, есть еще только труп... А если так, то более огорчительную оплошность и неприятность в данной ситуации трудно себе представить.

— Что это? — указывая на плащ-палатку и присаживаясь на корточки рядом с ней, спросил Алехин.

Молчание Таманцева, его виноватый вид и поведение подтверждали самое неприятное предположение.

Алехин взял с плащ-палатки офицерские удостоверения, раскрыл оба, взгляделся в фотографии и узнал:

— Павловский...

Таманцев молчал. Алехин поднял голову, увидел у него в руке дюралевый портсигар, выпрямляясь, быстро взял его и, осмотрев, сказал:

— Надо полагать, это Гусева... И лопатка тоже, очевидно, Гусева...

— Какого Гусева? — тихо проговорил Таманцев.

И тут Алехин подумал, что, находясь третий день здесь в засаде, Таманцев не знает ни о Гусеве, ни о том, что дело «Неман» взято на контроль Ставкой, ни о том совершенно небывалом, что уже вторые сутки творится в тылах обоих фронтов.

«Лижет суставы и кусает сердце!» — внезапно снова всплыло в голове Алехина. И, посмотрев на Таманцева, он огорченно спросил:

— Как же вы его упустили?

Бросив неприязненный взгляд на прикомандированных, Таманцев отвернулся и, помедля секунды, с неожиданной злостью сказал:

— По халатности, Павел Васильевич... Исключительно по халатности! Я должен был подставить свою голову, но, извините, не успел!

63. ПОЛЯКОВ И НИКОЛЬСКИЙ

В семь часов утра, по настоянию Полякова, Егоров и Мохов отправились позавтракать и немного отдохнуть. Поляков обещал разбудить их в девять, про себя решив сделать это часом позже. Он знал, что наибольшее напряжение возникнет во второй половине дня и что, когда придет начало из Москвы, выкроить хотя бы малость для сна или отдыха станет невозможно. Сам он, приняв со вчерашнего вечера уже третью таблетку «кола», чувствовал себя превосходно и работал с увлечением, споро и производителью.

В девятом часу появился добиравшийся на попутных машинах Лужнов, бледный, с трудом державшийся на ногах от потери крови и

тряской дороги. Он сообщил, что Павловский при задержании застрелился, что пришел он один, причем не со стороны леса — очевидно, откуда-то приехал.

Лужнова била дрожь, зубы у него стучали, и Поляков не стал его расспрашивать — вскоре должны были вернуться Алехин и Таманцев. Поляков напоил его крепким чаем из термоса, с тройной порцией сахара и отправил в госпиталь.

В девять часов, захватив с собой папки с документами и чистой бумагой, он поспешил в соседний кабинет, чтобы доложить в Москву о ходе розыска.

Телефон «ВЧ» был занят инженер-полковником Никольским. Чтобы не терять времени на хождения взад и вперед, Поляков расположился за свободным столом, раскрыл папки и продолжал работать.

Поглощенный розыском и подготовкой войсковой операции, Поляков не вникал в подробности того, что называлось «радиотехническим обеспечением». Никольский с еще двумя пожилыми инженер-майорами, прибывшими поздно вечером из Москвы, помещались отдельно, в одном из кабинетов; они делали свое дело, а он, Поляков, — свое, и друг друга почти не касались: потребные для розыска точность и оперативность пеленгации и взаимодействие слежечных станций с мобильными поисковыми группами зависели непосредственно от сосредоточенных в районах выжидания «слухачей», а не от представителей Главного управления.

Теперь из разговора Никольского Полякову стало ясно, что проводятся крупнейшие приготовления по созданию активных радиопомех на случай выхода разыскиваемого передатчика в эфир.

Собственно, о возможности такого мероприятия он узнал мельком из разговора Егорова с Моховым еще на рассвете, но не придавал тому значения и не стал, даже не пытался обдумывать. В это утро в Москве изучались и подрабатывались все возможные превентивные действия по делу «Неман», возникали и, как правило, тут же отвергались различные проекты и намерения, слыша о которых Поляков шутливо говорил: «Не надо представлять себе неприятности, которые еще не произошли!» Теперь же создание радиопомех становилось реальностью.

— Вы что, собираетесь их глушить? — спросил Поляков, когда Никольский положил трубку.

— Непременно!

— Соедините меня с генералом Колыбановым, — приказал Поляков высокому горбоносому капитану, дежурному по «ВЧ», и снова посмотрел на Никольского. — Если их станут глушить, они почти наверняка поймут, что запеленгованы, и тогда мы потеряем важнейшее преимущество. Они могут перейти на запасную волну, которая нам неизвестна... Если их спугнут, они могут скрыться из района передачи и на какое-то время уйти в радиомолчание. Да и немцы сообразят, что их рация запеленгована. Все эти возможные последствия предусмотрены?

— Вы не совсем правильно поняли, что мы собираемся делать, и плохо представляете наши возможности. — с улыбкой заметил Никольский. — Мы подготавливаем совершенно необычное мероприятие! Речь идет не о прицельных, а о массированных заградительных радиопомехах. Мы собираемся глушить не отдельные волны, мы забьем морзянкой, блокируем наглухо целые диапазоны! В нашем распоряжении на трех фронтах будет полторы тысячи коротковолновых радиостанций, — с гордостью сообщил он. — Все они оснащаются свежим питанием, они будут наготове, и когда по команде вывалятся в эфир —

вплотную! — там не останется и щелочки!.. В этом хоре морзянки сравнительно слабые сигналы портативного передатчика с подработанным питанием не найдут и не уловят даже самые чувствительные приемники немцев! Поверьте: при заградительных радиопомехах такого масштаба предположение, что рация запеленгована, не должно и не может возникнуть. Так что ваши опасения безосновательны.

— Допустим,— осторожно сказал Поляков.— А чисто военные последствия этого мероприятия вы продумали, вы их себе представляете?

— Вполне! Более того, вопрос согласован с Генеральным штабом. Они, как и мы, полагают, что противник расценит столь интенсивный радиообмен не иначе как начало нашего нового большого наступления. Кроме временного переполоха в немецких штабах, никаких других последствий не ожидается и быть не может!

— Генерал Егоров обо всем этом знает?

— Пока только предположительно... О возможности проведения такого мероприятия мы с ним говорили, когда поступило предварительное распоряжение о подготовке радиостанций. Окончательно вопрос был решен только сейчас. Вас интересует отношение генерала Егорова?

— Да.

— Отрицательное! Но, товарищ подполковник, это же не чья-то прихоть! Приказом Ставки поставлены две конкретные задачи. Кроме первой — поймать! — есть еще и вторая, не менее важная и ответственная, — любыми усилиями предотвратить утечку секретных сведений. Любыми усилиями! — подчеркнул Никольский.— Какое другое решение вы можете предложить?

— Формально все правильно и все логично, а по существу?.. Приказы, без сомнения, надо выполнять! Но если станут глушить целые диапазоны, то как же будут пеленговать?.. Ведь выполнение второй задачи, по существу, препятствует выполнению первой!

— Что препятствует, это неверно, — не согласился Никольский.— Я бы сказал так: осложняет! Мы дадим им продержаться в эфире до глушения девяносто секунд, — пояснил он, — время, необходимое для пеленгации. И сейчас же сообщим вам координаты треугольника ошибок.

— Девяносто секунд — это примерно сто пятьдесят групп... — вслух прикинул Поляков.— Что в них окажется, что они успеют передать?.. За координаты заранее благодарю, но сегодня это не самое главное. Места наиболее вероятного появления разыскиваемых нами уже определены — именно там прежде всего будут прилагаться наши прицельные усилия... Оценить с ходу все возможные последствия массивных радиопомех я затрудняюсь. Как вы знаете, мы намереваемся взять их с поличным перед выходом рации в эфир или же сразу после него. Если первое, то все кажется ясно. А если второе? Как они будут реагировать на глушение?.. Что успеют передать и что принять?.. Каковы перспективы радиоигры после подобного мероприятия? Состоится ли приемка груза?.. Как прореагируют немцы?.. Без конкретной договоренности по радио они едва ли пошлют самолет, а успеют ли они условиться за девяносто секунд?.. Сомневаюсь!.. Тут возникает столько вопросов, столько неясного и неизвестного, что и после детального обдумывания многое просто невозможно предугадать. Допустим даже, что розыск сам по себе не пострадает! Но сегодня — не в сорок первом и даже не в сорок втором году — реализация такого дела без последующей радиоигры — это все равно, что дом без крыши или автомобиль без мотора! Надеюсь, вы понимаете, что меня беспокоит?

— К сожалению, понимаю.— Никольский уже стоял у самой двери.— К сожалению потому, что конкретные последствия действительно невозможно предвидеть точно, а они могут быть для нас и со знаком минус. Поверьте, в Москве это тоже хорошо понимают и уж коль решились, значит — необходимость!.. Что тут можно сказать?.. Чтобы нам не приходилось прибегать к глушению, чтобы все последующее происходило под нашим контролем, постарайтесь взять их до выхода радиции в эфир!..

64. ОПЕРАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ШИФРОТЕЛЕГРАММА

«Срочно!»

Косолапову

Задержанных Вами по делу «Неман» ошибочно сотрудников Управления НКВД Барановичской области Мамыкина и Приходько немедленно освободите.

Напоминаю, что задействованный с 1 августа сего года условный секретный знак — типографская точка вместо запятой посреди фразы — содержится только в командировочных предписаниях, выдаваемых военнослужащим частей, соединений и учреждений Наркомата Обороны и войск НКВД по охране тыла Действующей армии. На документы территориальных органов НКВД и НКГБ эта мера не распространяется, что должно быть совершенно ясно из нашего № от 30.07.44 года.

Нач. Управления контрразведки фронта считает необходимым указать Вам на недопустимую невнимательность к директиве, имеющей первостепенное значение при проведении чрезвычайных розыскных мероприятий.

Поляков».

ЗАПИСКА ПО «ВЧ»

«Весьма срочно!»

Егорову

В течение ближайших 2—3 часов Управлениями контрразведки 1-го и 2-го Белорусских фронтов, Ленинградского и 1-го Украинского фронтов на аэродромы Вильнюса, Лиды и Гродно специальными самолетами к Вам будут доставлены экипированные в форму офицеров Красной Армии 37 опознавателей из числа бывших немецких агентов, окончивших радиопотделения Варшавской и Кенигсбергской школ абвера, где, судя по радиопочеркам, обучались и радисты активно разыскиваемой нами группы «Неман».

Под Вашу личную ответственность все прибывающие должны быть немедленно задействованы в районах наиболее вероятного появления разыскиваемых.

До сведения всех опознавателей должно быть обязательно доведено, что каждый, кто даст результат по делу, будет представлен к правительственной награде и освобожден от какой-либо уголовной ответственности за свое сотрудничество в прошлом с немцами как испутивший делом свою вину перед Родиной.

Работу опознавателей возьмите под свой личный контроль, обеспечив их наиболее интенсивное и рациональное использование.

Колыбанов».

ШИФРОТЕЛЕГРАММА

«Срочно!»

Исаеву

Задержанных вами по делу «Неман» без достаточных оснований старшину Тимонина и сержанта Костенко немедленно освободите.

Начальник Управления контрразведки фронта считает необходимым предупредить вас о неполном служебном соответствии.

Поляков».

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

«Чрезвычайно срочно!
Особой важности!»

Ковалеву, Ткаченко

Под вашу личную ответственность следующие в Прибалтику, подлежащие особому контролю отдела оперативных перевозок литерные эшелоны серии «К» №№ 1906, 1907, 1954, 2318, 2319, 2346 и 2371 впредь до особого указания должны быть задержаны на станциях восточнее Московского железнодорожного узла.

Исполнение проконтролируйте лично и немедленно доложите.

Основание: Распоряжение Ставки ВГК.

Карпоносов».

65. АЛЕХИН, ПОЛЯКОВ И ТАМАНЦЕВ

Уже в машине по дороге в Лиду Алехин обнаружил то, чего второпях не разглядел Таманцев — едва заметные булавочные наколы на картах, извлеченных из тайников в голенищах сапог Павловского, и подумал, что это, наверно, самое ценное из всего добытого за время поисков. Если бы еще Павловского взяли живым...

На четырех листах было всего семь точечных наколов: три на изображении Шиловичского леса, два на квадрате, занимаемом северной частью Налибокской пуши, один — юго-восточнее Столбцов, где неделю назад велись поиски, и еще один — на месте пуши Рудницкого.

Что означали эти точечные пометы?.. Тайники?.. Но их было семь — многовато. Возможные места приемки груза?.. Скорее всего и то и другое. Алехин не хотел что-либо подсказывать Полякову, а тем более подсовывать свои умозаключения; пусть тот сам посмотрит и делает выводы — они интересовали Алехина несравненно больше, чем его собственные.

Полякова он нашел в кабинете, куда был перенесен аппарат «ВЧ».

— Прибыли, товарищ подполковник, — переступив порог, доложил Алехин и, чуть помедля, спросил: — Лужнов у вас был?

— Да. — Поляков продолжал писать на листе бумаги с той необычайной быстротой, которая удивляла всех, кто впервые видел его скоропись.

— Значит, вы в курсе... — Алехин посмотрел на горбоносого капитана, сидевшего у аппарата «ВЧ», и попросил Полякова: — Можно вас на минуту?.. Надо, чтобы вы взглянули.

— Немного позже.

— Товарищ подполковник, — настаивал Алехин, — не исключено, что он имел отношение к «Неману».

Поляков поднял голову и секунды размышлял.

Минут десять назад его соединили с Колыбановым, и он начал докладывать, но там, в далеком московском кабинете, слышался еще чей-то голос, и тут же Колыбанов сказал:

— Николай Федорович, меня вызывает генерал-полковник. Я вам сейчас же перезвоню! Вы мне нужны по весьма срочному вопросу! Ждите!..

— Если позвонит Колыбанов, я сейчас...— сказал Поляков дежурному и вместе с Алехиным вышел из кабинета...

— Его стреножили, но он застрелился,— разумея Павловского, заметил Алехин.

— Я знаю.

— Полагаю, что ничьей вины в том нет.

Поляков промолчал.

Полуторка стояла позади отдела. Таманцев с сумрачно-виноватым и одновременно обиженным лицом сидел на борту. Вытянувшись, он молча поприветствовал подполковника и подхватил бережно под руку, когда тот взбирался в кузов.

Присев на корточки, Поляков быстро осматривал труп Павловского и натальное белье на нем. Алехин помогал: задрал к самой шее задубелую у ворота от запекшейся крови рубашку, стянул до щиколоток кальсоны, по команде подполковника перевернул успешнее оконечить тело — на спине уже проступили красновато-синие трупные пятна. Все это время Таманцев безучастно стоял рядом: чувствуя себя без вины виноватым, но в какой-то степени и оплошным, он по-прежнему упорно старался не смотреть на самоубийцу.

— Сфотографируйте,— прокартавил Поляков, указывая на ноги Павловского, и, поднимаясь с корточек, пояснил: — Возможны упреки... Вы убеждены, что он был один?.. Там поблизости его никто не ждал?

— Один! Я осмотрел все вокруг в радиусе двух километров! — заверил Таманцев. — На росе след не спрячешь! Он прибыл где-нибудь около полуночи. Вероятно, с попутной машиной... К хате подошел со стороны шоссе. У речушки отчетливая дорожка его следов — вот, капитан видел. Залез в окно совершенно без шума — она его ждала. А уходил он утром — к лесу!

Так же, как и там, на обочине, недалеко от хутора, Таманцев уже разложил на плащ-палатке в задней части кузова вещи и документы Павловского и с нетерпением ожидал, когда, оставив злополучный труп, Поляков обратит на них внимание. Тут уж не обойтись без пояснений, а его буквально зудило, он испытывал острую потребность рассказать последовательно, с деталями, как все это произошло, и таким образом оправдаться.

Однако Поляков, памятуя о незаконченном разговоре с Колыбановым, спешил вернуться в отдел. Труп следовало без задержки отправить в морг городской больницы, и потому он считал необходимым отлучиться на минуты для его осмотра; с вещами же и документами можно было ознакомиться и позже.

— Свидетельства или соображения о его возможной принадлежности к «Неману»? — живо спросил он. — Вкратце!

— Прежде всего карты с точечными наколами и лопатка, которой, очевидно, пользовались в Шиловичском лесу,— сказал Алехин, нагибаясь. — Портсигар имеет несомненное сходство с похищенным у Гусева... Вот посмотрите...

Поляков не стал смотреть и в руки не взял ни карты и документы, ни портсигар и лопатку, проворно поднятые с плащ-палатки Алехиным и Таманцевым.

— Давайте все это в кабинет начальника отдела! — взглянув на часы, с недовольным видом распорядился он. — О попытке его задержания и обстоятельствах самоубийства напишите подробный рапорт. Если успеете, восстановите в документах и свои действия за преды-

душие двенадцать суток. Для розыскного дела — в нем сегодня будут обнюхивать каждую запятую!.. Так не ходи,— он ткнул пальцем в пятно крови на гимнастерке Таманцева,— переоденься!

И торопливо полез через борт.

Он вернулся как раз вовремя. Горбоносый капитан выскочил прямо на него в коридор и сообщил:

— Товарищ подполковник,— Москва! Генерал-лейтенант... Скорее!..

66. ОПЕРАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ЗАПИСКА ПО «ВЧ»

«Срочно!

Егорову

Для поддержания круглосуточно высокой работоспособности личного состава оперативно-розыскных групп, действующих по делу «Неман», главным невропатологом Красной Армии рекомендовано применение тонизирующего препарата «кола» из расчета по одной полуграммовой таблетке каждые четыре часа.

Соответствующее распоряжение начальнику медико-санитарного управления фронта уже передано.

Под Вашу личную ответственность предлагается обеспечить немедленное получение 80.000 доз препарата с военно-медицинских складов фронта и снабжение им личного состава всех оперативно-розыскных групп.

Исполнение проконтролируйте и донесите.

Кольбанов».

ЗАПИСКА ПО «ВЧ»

«Весьма срочно!

Егорову

Вчера, 18 августа 1944 года, в 20.35 в расположение 2-го батальона 984-го полка, занимающего оборону северо-западнее Лазы на правом фланге 618-й стрелковой дивизии, прибыли трое офицеров — майор, капитан и старший лейтенант — с секретным предписанием Разведуправления фронта. За час до того командир батальона капитан Сипягин был предупрежден о их появлении по телефону начальником разведывательного отделения дивизии, и ему было предложено оказывать прибывшим содействие.

С наступлением темноты после ужина в землянке командира батальона майор, капитан и старший лейтенант надели привезенные с собой из штаба дивизии маскхалаты, взяли оружие и, сопровождаемые командиром разведвзвода Героем СССР⁹ лейтенантом Верещака и отделенным сержантом Баркуновым, прошли по траншеям батальона, а затем ползком перебрались в окоп боевого охранения, предупредив, что пробудут там до смены, т. е. до 6.00. Ничего подозрительного в их поведении и разговорах не отмечалось.

В 5 часов 20 минут утра из окопа, в котором они находились, в сторону расположения противника были выпущены ракеты, последовательно красная, зеленая и белая, после чего дежурные наблюдатели в траншеях батальона заметили, что трое в маскхалатах ползут из окопа боевого охранения в направлении обороны противника. Откры-

⁹ Так в документе. Правильно — Героем Советского Союза.

тый с промедлением автоматнo-пулеметный огонь из-за недостаточной видимости результата не дал.

Однако метрах в трехстах от линии немецкой обороны двое из ползших попали на мины и были убиты, а третьего спустя несколько минут огнем из снайперской винтовки удалось тяжело ранить примерно в 150 метрах от немецких траншей. Около получаса он шевелился, а потом затих и никаких признаков жизни не подавал.

В последующие пять часов немцы трижды пытались вытащить его тело в свое расположение, однако все три попытки пулеметно-минометным огнем с нашей стороны были подавлены.

Командир разведзвезда Герой СССР лейтенант Верещака и сержант Баркунов обнаружены в окопе боевого охранения убитыми холодным оружием.

Нами и одновременно командованием проводится тщательное расследование. Выяснилось, что по прибытии в дивизию неизвестные предъявили зам. начальника штаба подполковнику Семашко и нач. разведотделения майору Цибульскому, кроме командировочного предписания, офицерские удостоверения личности, а также секретное письмо нач. Разведуправления фронта, которое осталось в штабе и, как установлено проверкой, оказалось фиктивным.

В землянке командира батальона они оставили вещмешок с прогуктами, а также планшет, в котором обнаружены книга И. В. Сталина «О Великой Отечественной войне Советского Союза» (М., 1944 год) и брошюра А. Спекторова «Бдительность — железный закон войны» (М., 1943 год). Не исключено, что одно из этих изданий применялось при шифровании.

В планшете также находились три использованных билета в каунаский кинотеатр «Триумф» на сеанс 12.30 16 августа с. г. и форменное командировочное предписание от 17 августа с. г. на имя майора Полищук Н. Ф. «и с ним двое офицеров» с соответствующими действительным, подделанным штампом и печатью полевой почты Разведуправления фронта, однако не имеющее введенного с 1 августа условного знака — точка вместо запятой посреди фразы.

Согласно показаниям Семашко, Цибульского и Сиягина, «майор» говорил с выраженным украинским акцентом и по признакам словесного портрета имел сходство с «капитаном», разыскиваемым по делу «Неман». Налицо и другие основания предполагать, что неизвестные, пытающиеся осуществить «зеленую тропу»¹⁰ на участке 984-го полка, являются разыскиваемыми по делу «Неман» агентами, которые после выполнения задания пытались таким образом вернуться к немцам.

Подполковник Семашко и майор Цибульский, как не проявившие должной бдительности, и капитан Сиягин, допустивший посторонних в окопы боевого охранения без ведома и сопровождения предстателя «Смерш», командованием от занимаемых должностей отстранены. Во всех частях и подразделениях дивизии проводятся политбеседы о необходимости максимальной бдительности; весь офицерский состав подробно проинструктирован и строго предупрежден для предотвращения впредь подобных чрезвычайных происшествий.

В настоящий момент на участке 2-го батальона 984-го полка дополнительно скрытно сосредоточиваются станкопулеметная рота и

¹⁰ Зеленая тропа (или «тропить зеленую») — термин агентурной разведки: переход линии фронта, осуществляемый обычно на стыке частей или соединений, преимущественно ночью, в темноте или же в сумрачную, ненастную погоду. Во время Отечественной войны — второй по значению (после парашютирования) способ заброски вражеской агентуры в тылы советских войск и основной способ возвращения немецких агентов после выполнения задания.

две батареи 82 мм минометов. Под прикрытием их огня в 13.00 разведыводом будет предпринята попытка вытащить с предполья вражеской обороны целый труп, а также останки двух других неизвестных для получения дополнительных улик и вещественных доказательств и возможной идентификации.

О результатах донесу незамедлительно.

Ковбасюк».

67. ГВАРДИИ ЛЕЙТЕНАНТ БЛИНОВ

В двенадцать часов двадцать минут пополудни, выполняя приказание Алехина, Андрей вместе с одним из помощников коменданта города выехал в район Каменки.

Утро он провел бездейтельно, что в обстановке общей занятости и деловой суеты было удивительно и обидно.

Алехин, разбудив его спозаранок в кузове, передал письмо матери, доставленное из Управления с попутной машиной, и тотчас куда-то уехал, приказав Андрею не отлучаться и начальству на глаза не лезть. Андрей хотел уединиться и прочесть письмо, но везде были люди. Зайдя во взвод охраны, Андрей увидел только что освободившуюся койку, улегся на нее и уснул. Часа через два его разбудили — случайно, по ошибке, — и он поднялся.

Он завтракал в комнате-столовой, когда стоявший там у широкого окна молодой длинноногий майор с орденской планкой на сильной выпуклой груди, спортивно-молодцеватый, как и все московские «волкодавы», повернулся и негромко сказал другому офицеру:

— Никулин, ты спрашивал... Вон Таманцев.

При упоминании фамилии Таманцева еще двое офицеров, сидевших рядом с Андреем, подскочили к окну и стали смотреть. Андрей тоже поднялся.

Таманцев, небритый, в стоптанных хромовых сапожках и позаимствованной во взводе охраны старой солдатской гимнастерке с большими нелепыми заплатами на плече и на груди — свою, окровавленную, чтобы отстирать, он замочил в бочке с дождевой водой, — держа в руке пилотку, устало шел метрах в пятнадцати от дома.

У него был вид штрафника, искупившего свою вину и восстановленного в звании, но не получившего еще нового обмундирования и потому нацепившего офицерские погоны прямо на старое. Словно почувствовав на себе взгляды, он поднял голову и, сплонув, посмотрел на стоявших у окна с таким презрением и свирепостью, что те сразу отвернулись или отвели глаза.

Андрей был польщен. В интересе московских «волкодавов» к Таманцеву он уловил не просто любопытство, а уважение профессионалов и еще раз подумал, с какими замечательными людьми — Алехиным, Таманцевым и подполковником Поляковым — свела его судьба.

То, что москвичи знали Таманцева в лицо, Андрея не удивило. Он слышал, что весной Таманцев ездил в Москву и показывал там свое искусство в стрельбе по-македонски¹¹ большой группе офицеров и генералов. Стрелял он так, что начальник Главного управления наградил его именованным оружием — присланным вслед пистолетом с дарственной гравировкой.

Андрей заметил необычный, удрученно-усталый вид Таманцева и огорчился. А четверть часа спустя они сидели вместе в одном из кабинетов и задним числом писали рапорта о своих действиях за последние двенадцать суток — начиная с осмотра леса под Столбцами.

¹¹ Стрельба по-македонски — стрельба на ходу из двух пистолетов (или револьверов) по движущейся цели.

Как объяснил Таманцев, бумаги эти потребуются при проверке розыскной документации начальством из Москвы. Иначе у Эн Фэ и у самого генерала могут быть неприятности.

Тут Андрей и узнал, что дело, которым они занимались и занимаются, еще вчера взято на контроль Ставкой, и понял причину небывалого оживления, царившего здесь, в отделе, и на аэродроме. Ему стало обидно, что никто, даже Алехин, не сказал ему об этом ни слова, — единственным тому объяснением было, что он стажер, всего-навсего стажер...

От Таманцева Андрей услышал, что по настоянию Главного управления сегодня проводится крупнейшая войсковая операция, но в этой «ненужной затее» их группа участвовать не будет.

— Она — войсковая, пусть войска ею и занимаются. А мы — контрразведка, — с достоинством сказал Таманцев. — Мы будем действовать параллельно.

Настроен Таманцев был довольно мрачно. Он сразу сообщил Андрею, что у него неприятность: застрелился немецкий агент. Этого бы не случилось, если бы не помешали прикомандированные. Но какой с них спрос? Никакого!..

Перефразируя известное высказывание Верховного Главнокомандующего, он заметил, что прикомандированные приходят и уходят, а розыскники остаются и отвечать в данном случае придется ему, Таманцеву, и хуже того — Алехину и Полякову.

Он объяснил также, что из засады на хуторе его сняли, чтобы группа была в сборе. Мол, по соображениям Эн Фэ, проклюнулась возможность сегодня или завтра покончить с «Неманом» и якобы подполковник и генерал заинтересованы в том, чтобы сделала это именно их группа.

Более всего Таманцев верил в оперативное мышление Эн Фэ и прямо сказал, что если подполковнику и генералу не помешают, то сегодня, в крайнем случае завтра, все будет «тики-так».

Андрей ничего не мог понять. Если войсковая операция не нужна, то почему же из Москвы требуют ее проведения?.. И отчего, по какой причине Таманцев, и, видно, не только он, против нее? Кто и как может мешать ловить немецких шпионов? И почему Эн Фэ и генерал заинтересованы, чтобы с «Неманом» покончила именно их группа?

Эти и другие вопросы занимали Андрея, но единственно о чем он решился спросить: что они должны сегодня будут делать?

Продолжая писать, Таманцев сказал, что, если ничего не изменится, им предстоит засада в лесу часов от трех дня и до семи вечера — в наилучшее время для коротковолновой радиосвязи. Но выехать туда придется несколько раньше — сразу после полудня.

Андрей уже знал, что засадой называется скрытое расположение на местности или в помещении оперативного состава, производящего поимку вражеских агентов. Месяц назад Андрей и сам участвовал в таком мероприятии: он и Алехин, нещадно истязаемые блохами, трое суток просидели в жаркой вонючей стодоле бок о бок со свиньями и коровой, лишь ночью по нужде вылезая на свежий воздух. При чем просидели впустую — никто не пришел, и у Андрея об этих трех сутках остались самые неважные воспоминания.

Таманцев, мечтавший о сложных оперативных комбинациях, о фунгельшпиле «стратегического значения», тем не менее к засадам относился с любовью и уважением.

— Это самый результативный способ поимки в полевых условиях, — говорил он. — Если поднапрячь извилины и все хорошенько организовать, даже из такого примитива можно сделать конфетку!

Первые рапорта он написал спокойно и довольно быстро, последний же, самый большой, о неудачной попытке задержания, вызвал у него настоящие переживания. Излагая происшедшее утром, он раздувал ноздри, дважды припомнив что-то неприятное, закрывал глаза и, наморщась, как от кислого, мотал головой, а потом, не выдержав, возбужденно вскричал:

— Век бы их не видеть!

— К-кого?

— Прикомандированных!

Ему страшно хотелось спать, и, поглядывая на пол в углу у окна, он заявил, что как только разделается с этой писаниной, запрется здесь, в кабинете, и на два-три часа пусть розыск и «Неман» катятся ко всем чертям! А потом Андрей его разбудит.

Закончив свои рапорта, Андрей отправился во взвод охраны и, улучив момент, вынес оттуда подушку. Не рискуя проходить с ней по коридору отдела, он передал ее в форточку Таманцеву — тронутый такой заботой, тот даже улыбнулся. И возвратясь в кабинет, Андрей решил задать вопрос, занимавший его в этот час: а что будет, если ни сегодня, ни завтра поймать разыскиваемых не удастся?

— Что?.. Москва шутить не станет... — мрачно сказал Таманцев. — Каждому поставят по клизме... На полведра скипидара с патефонными иглоками, — уточнил он.

И после короткой паузы, словно утешая Андрея, добавил:

— Ты-то молодой... И меня, как рядового чистильщика, Москва наказывать не станет — мы для них не фигуры!.. А уж Эн Фэ, Паше и генералу отмерят на всю катушку — это как пить дать... За что?! — вдруг возмущенно воскликнул он.

Добытая Андреем подушка не пригодилась — поспать Таманцеву в это утро не удалось. Что-то там изменилось, и вскоре он, Алехин и еще человек двадцать розыскников Управления контрразведки фронта на нескольких автомашинах поспешно выехали в район Шиловичского леса.

Туда же в определенное место, южнее Каменки, Алехин велел прибыть к тринадцати ноль-ноль и Андрею с одним из офицеров комендатуры — по указанию Полякова или Голубова.

С момента отъезда Алехина и Таманцева Андрей находился в непрерывном ожидании. Подумав, что о нем просто забыли, и томясь своей бездеятельностью, он намеренно сунулся на глаза Полякову, выходящему из отдела, — подполковник ответил на приветствие, но ничего ему не сказал.

Полуторка вернулась часа через два; Хижняк нашел Андрея и позвал его обедать. Никаких распоряжений не поступало, и, подумав: когда еще придется поесть? — Андрей отправился на кухню.

После жирных густых щей повар, земляк Хижняка, навалил им полные, с верхом миски вареного мяса и пообещал еще на третье «какаву».

Так плотно Андрей давненько не ел; впрочем, сегодня всех кормили без ограничений, как на убой; даже белый хлеб, нарезанный толстыми ломтями, без нормы лежал на столах.

Андрей макал вилкой куски свинины в персонально для них выданное Хижняку блюдечко с горчицей, когда в комнату — столовую, где находилось еще десятка два человек, — вбежал какой-то старший лейтенант и с порога закричал:

— Из группы капитана Алехина здесь кто есть?

— Я... — с набитым ртом, покраснев, проговорил Андрей. — М-мы...

— Что же вы здесь сидите?! — возмутился старший лейтенант. —

Идемте, возьмете представителя комендатуры. И немедленно выезжайте!

Когда они обогнули здание отдела, он показал Андрею высокого нарядного офицера, стоявшего к ним спиной невдалеке от крыльца, а сам, взволнованно-озабоченный, тут же исчез.

В офицере Андрей узнал помощника военного коменданта города, молодого статного капитана с выразительными продолговатыми глазами на тонком красивом лице.

Когда, впервые заехав здесь, в Лиде, в комендатуру, Андрей увидел капитана, то ему подумалось, что где-то когда-то он уже встречал этого человека. Но как ни силился Андрей, припомнить он не смог, а спросить не решился: даже со старшими по званию капитан разговаривал без выражения почтительности и, пожалуй, несколько надменно, а на Алехина и вообще не взглянул; он сидел за высоким барьером и, регистрируя командировочное предписание, не поднял глаз от бумаг.

— Вот гусь, а?.. — ругался тогда Таманцев: ему капитан особенно не понравился. — Его лбом башню тяжелого танка заклинить можно, а он здесь окопался! И вознесся — никого не замечает! Пижон! Тыловая гусятина! Да я на него облокотился!

Таманцев стоял в стороне у дверей, к барьеру не подходил и, конечно, не сказал Андрею, что во время предыдущего приезда в Лиду имел неприятное столкновение с капитаном: проходя по улице, не поприветствовал помощника коменданта, тот остановил его и публично отчитал...

Торопливо прожевывая на ходу и сожалея в душе, что не удалось попить «какавы», Андрей подошел к капитану и, козырнув, проговорил:

— Т-товарищ к-капитан, в-вы из к-комендатуры?.. Идемте с-со м-мною...

Хижняк, обежавший здание с другой стороны, уже успел сесть в машину и завести мотор. Став на подножку, Андрей шепотом официально сообщил ему, что к тринадцати ноль-ноль, то есть через сорок минут, им надлежит быть южнее Каменки — Хижняк крепко выругался, — и приказал жать на всю железку.

Возможно, надо было предложить помощнику коменданта сесть в кабину, но пока Андрей говорил с Хижняком, капитан, помедлив, залез в кузов и устроился там на ящике. Нарядно-осанистый, в отличной форменной фуражке с черным бархатным околышем, он, возвышаясь над бортами, явно бросался в глаза, и Андрей, помня указание Алехина прибыть в назначенное место, не привлекая по дороге чьего-либо внимания, велел:

— С-сядьте ниже, к к-кабине!

Капитан послушался и не торопясь и, как показалось юноше, с весьма недовольным видом опустился на грязные доски кузова. Андрей не сел — упал рядом: полуторка, резко набирая скорость, рванулась как подхлестнутая.

Женщины с корзинками и сумками тянулись с базара; проехал «додж», полный шумных танкистов в черных шлемофонах; у большого костела в тени каменной ограды теснились прихожане; громыхая по булыжнику, медленно катилась телега с привязанной к задку комолой коровой; со станции доносились гудки паровозов; высоко-высоко, еле различимые в солнечном небе, барражировали истребители.

Город жил своей обыденной жизнью, ничуть не подозревая, что в этот час тысячи бойцов, сержантов и офицеров изготовились к проведению крупнейшей войсковой операции. Еще большее число военнослужащих, как сказал Таманцев, участвовало в чрезвычайных розыскных и проверочных мероприятиях по делу «Неман». И среди этих мно-

гих тысяч лишь офицеры контрразведки знали о рации КАО, о стратегическом значении разыскиваемой группы, знали суть происходящего, и от сознания, что и он, Андрей Блинов, принадлежит к числу столь немногих избранных, юноша чувствовал себя счастливым и необычайно сильным.

Хижняк старался вовсю: они стремглав пролетели по улицам и через какие-то минуты, оставив город позади, мчались по шоссе.

Капитан трясся в кузове подле Андрея с тем же горделиво-важным видом, что и в комендатуре. На нем был складный, прямо с иголочки китель с ярко сверкавшими на солнце золотистыми погонами и пуговицами, светло-синего, довоенного сукна брюки и новенькие сапоги с длинными узкими голенищами. Подшитые ровнехонько, свежее свежего манжеты виднелись из рукавов; складки на брюках были отутюжены; от лакированного козырька фуражки и до черного зеркала сапог все на капитане было новенькое, аккуратное, блестящее и весьма неуместное в старом, выдавшем виды кузове.

Чтобы не запачкать костюм, он, подложив под себя шелковый носовой платок, сидел в метре от бочонка с бензином и старался одеждой ничего не касаться; дважды он поглядывал на часы, как бы давая понять, что человек он занятой и у него на счету каждая минута.

Андрей дружелюбно посматривал на капитана и даже улыбнулся, собираясь заговорить, но тот и взглядом не удостоил его.

Вспомнив вдруг о письме матери, Андрей вынул его — когда еще выдастся свободная минута?—и начал читать. При этом он скосил глаза и увидел, что капитан демонстративно смотрит в другую сторону.

Письмо матери Андрея и порадовало, и опечалило, и вызвало некоторую досаду.

Сережка Кузнецов был отличный мальчишка, а в Милочку Андрей в первом классе действительно влюблялся, и не верилось, что их уже нет, как нет в живых и еще семи его одноклассников.

Хлопоты матери удивили Андрея своей неуместностью и безосновательностью. Боже мой, чем она озабочена?! «Ножки», «чулочки», «посылочка с продуктами»... Он, Андрей, участвует в розыскных мероприятиях стратегической без преувеличения важности, занимается делом, взятым на контроль Ставкой Верховного Главнокомандования, а тут... ерунда, какая может прийти в голову, наверно, только женщине, и то гражданской. «Мещанство, тыловое мещанство...» — огорченно подумал Андрей.

И еще обижается, что он редко пишет. Да знала бы она... Самое обидное, что он даже намеком не может сообщить ей, чем занимается.

Сунув письмо матери в карман, Андрей взглянул на часы — было начало второго,— привстав, перегнулся в кабину и громко сказал:

— Х-хижняк, м-мы опаздываем... Ж-жми, д-дорогой, ж-жми!

— А я что делаю?! — свирепо закричал Хижняк.

Андрей с озабоченным видом сел на место. То, что они не успеют к назначенному Алехиным времени, стало ясно еще на аэродроме — выехали позже, чем следовало. Но теперь это Андрея по-настоящему беспокоило, и он с тревогой думал о возможных последствиях их вынужденного опоздания.

Это был, наверно, самый ответственный день в его жизни, главной своей задачей он сейчас полагал не допустить и малейшей ошибки и, естественно, не мог не волноваться.

Хотя Хижняк знал дорогу и ориентировался не хуже его, он на всякий случай смотрел вперед, несколько раз перегибаясь через борт, с опаской поглядывал на скаты (будто это могло что-нибудь дать) и все время со страхом прислушивался к шуму мотора: вдруг откажет — и тогда они вообще не доедут до места.

Капитана же словно ничто не интересовало. Он смотрел с холодно-важным безразличием и каким-то недовольством, его взгляд, ни на чем не останавливаясь, безучастно скользил по перелескам, чересполосице полей и редким хатам, и лицо, как казалось Андрею, говорило: «Борьба со шпионажем?.. Подумаешь, эка невидаль! Я и не такими делами занимаюсь!..»

«А все-таки я его где-то встречал!» — размышлял Андрей, подпрыгивая в кузове и опираясь руками, чтобы смягчить толчки; ощущение, что он прежде когда-то видел этого человека, не оставляло его, но вспомнить: где? — он не мог, а заговорить не рещался.

68. ПОМОЩНИК КОМЕНДАНТА

Между тем капитан всю дорогу переживал, как неудачно сложился этот праздничный для него день. Размышлял он при этом невесело и вообще о своей службе в комендатуре, где после ранения, как ограниченно годный, он торчал уже два месяца, тоскуя по родному батальону и поминая недобрыми словами немецкую пулю, медицину и отдел кадров.

На восемь часов вечера у него было условлено свидание с девушкой из эвакуогпиталя, в котором он весною лежал. Для этой гордой и, как ему казалось, неприступной ленинградки с погонами лейтенанта медицинской службы он был вовсе не грозным помощником коменданта города, надменно-официальным, каким его знали военнослужащие, а просто Игорем, излишне самолюбивым и обидчивым, но симпатичным, а главное, интересным и — в последнее время — желанным парнем. Так, во всяком случае, она его понимала и так говорила, не зная, впрочем, о нем, пожалуй, самого существенного, того сокровенного, что он тщательно на войне от всех скрывал.

Еще позавчера при последней встрече они договорились, что он придет сегодня к восьми часам, и больше она ничего не сказала. Но от ее ближайшей подруги — строго по секрету — он узнал, что у Леночки ныне день рождения и будет небольшое торжественное застолье — кроме него, приглашены еще две подружки, а также начальник ее отделения, молодой красавец грузин, как говорили, талантливый хирург, к тому же игравший на гитаре и вызывавший у помощника коменданта острую неумную ревность.

В его жизни это было не первое сильное увлечение.

Перед войной он влюбился в одну будущую актрису, студентку театрального института, и других девушек не замечал. Однако осенью сорок первого, когда он уже находился на фронте, связь между ними внезапно прервалась — она уехала в эвакуацию и как в воду канула. Болезненно переживая, он многие месяцы пытался ее разыскать, увы, безуспешно, она же, очевидно, и не пыталась: знала его московский адрес, однако среди писем, пересылаемых матерью, от нее ничего не было.

Позже, под Сталинградом, он увлекся по-настоящему переводчицей из штаба дивизии, приехавшей на пару часов в полк опросить немцев, захваченных его ротой. За ужином они разговорились; она оказалась москвичкой и более того — училась в соседнем с его домом институте.

Спустя неделю он отправил ей с оказией шутовую несмелую записку, не рассчитывая получить ответ, но она ответила хорошим, теплым письмом. Переписка продолжилась, они обменивались дружескими посланиями каждую неделю и к моменту окружения немецкой группировки уже перешли на «ты».

В середине декабря была еще одна чудесная встреча, когда его вызвали в штаб дивизии и затем он гулял с ней морозной ночью несколько часов. Мела, крутила свирепая поземка, в отдалении размеренно била корпусная артиллерия, из темноты время от времени слышались окрики часовых. Трижды заснеженную степь вокруг ярко освещали САБы¹², сбрасываемые немецкими самолетами, и он видел рядом ее пунцовое от мороза, прекрасное лицо. Она была в валенках и в полушубке поверх ватного костюма, а он, являвшийся перед тем к начальству, — в шинели и в сапогах. Чтобы не замерзнуть, они непрерывно ходили и даже грелись пробежками, и все же он продрог до костей, но был счастлив как никогда. В конце этого сказочного, так запомнившегося ему свидания она предложила, если позволят обстоятельства, встретить Новый год вместе.

Эта идея захватила его. По счастью, полк вывели во второй эшелон и все складывалось как нельзя благоприятно. Он понимал: ей легче отлучиться, чем ему оставить на ночь роту. Вместе с ординарцем он вызвал земляночку и выпросил на эти сутки у других ротных лучшую в полку табуретку и вполне приличный несамодельный стул. Как раз в это время один из офицеров, ездивший с машиной в дальнюю, за сотни километров командировку, привез заодно с севера три елки. По приказанию командира полка их роздали по веточке во все землянки и блиндажи, и ему досталась небольшая, короткая, но густая пахучая лапа. Поставленная на крохотном самодельном столике под журнальным портретом Верховного Главнокомандующего, она стала главным и редкостным украшением — в безлесной степи, вблизи от передовой о елке можно было только мечтать.

31 декабря с сержантом из его роты, ехавшим по делу в штаб дивизии, он отправил переводчице только что врученную ему посылочку — подарок от тружеников тыла: флакон духов, шерстяные варежки и пачку печенья. Внутри вложил торжественно-шутливое приглашение, написанное «высоким штилем». В самом конце предложил: если она пожелает, его «верный оруженосец» (имелся в виду сержант) будет ее сопровождать.

День минул, и, томясь ожиданием, он то и дело выходил из землянки и всматривался в темноту в том направлении, откуда они должны были появиться. Он ни разу не звонил ей в дивизию, зная, что разговоры могут слушать и от нечего делать слушают телефонисты, и никак не желая делать сокровенное, дорогое достоянием чужих ушей. В одиннадцатом часу, однако, не выдержав, он соединился через полк с дивизионным коммутатором и, не зная номера, назвал фамилию майора, ее начальника, к которому он с самого начала без каких-либо к тому оснований ее ревновал. Ответил чей-то юношеский тенор, но там, в штабном блиндаже, было весело, возможно, уже выпивали, звучали оживленные голоса, в том числе и женские. Он попросил майора, но когда тот подошел, сразу положил трубку: ему явственно показалось, что среди других он расслышал и ее радостный голос, — от обиды и огорчения он чуть не закричал.

Это было настолько чудовищно неожиданным, что немного погодя, утешая себя, он подумал, что от штаба дивизии до его землянки каких-нибудь пять километров и за полтора с лишним часа она еще вполне может успеть, особенно в сопровождении сержанта.

Успокоение, однако, оказалось недолгим. В двенадцатом часу, вызвав ординарца, он хватил с ним по стакану неразбавленного спирта и в полном молчании принялся есть с таким ожесточением, будто глав-

¹² САБ — светящая авиационная бомба, предназначенная для освещения местности.

ным теперь было уничтожить все припасенное и добытое не без труда на этот праздничный ужин. Они усиленно работали челюстями, когда вернулся наконец сержант, ввалился в землянку усталый, озябший и, прикрыв за собой дверь, молча и виновато достал из вещмешка посланную с ним посылочку.

В первое мгновение капитан (он тогда был еще старшим лейтенантом), уже охмелевший, буквально задохнулся в приступе ревности, обиды и оскорбления, окончательно поняв, что она действительно предпочла ему другого или просто другое общество. Схватив перевязанный красной ленточкой сверток, он вбросил его в раскаленную железную печурку и в душе проклял ее.

Он подумал, предположил плохое, а случилось самое худшее: прошлой ночью ее убило в соседнем полку, разметало на кусочки прямым попаданием снаряда в штабной блиндаж. Какое-то время он ходил совершенно потерянный.

Влюбился он, стало быть, не впервые, но такого, как теперь, с ним еще не случалось.

Верно, только из-за Леночки смирился он на время со столь постылой ему комендантской должностью, решив потерпеть еще месяц-другой и лишь тогда добиваться переосвидетельствования и снятия ограничения, в чем ему уже дважды отказывали. Он был непоколебимо убежден, что во время войны мужчины должны воевать, а находиться в тылу, имея руки и ноги, постыдно. Поэтому-то он и отказывался категорически от оформления брони и демобилизации, чего добивались настойчиво в Москве его именитые педагоги.

Отношения с Леночкой развивались так, что вот-вот ему следовало высказаться, объяснить, соперничество грузина по-настоящему беспокоило, и сегодняшний вечер имел потому особое значение.

Узнав про день рождения, он помчался наутро к портному, который шил ему парадную форму, и просил все ускорить и сделать на сутки раньше. Чтобы стимулировать срочность, пообещал сверх условленной платы еще консервы из своего допайка и сахар.

С этим костюмом вообще было немало хлопот. Отрезы он получил еще в полку до ранения, потом обменял их с придачей на лучшие — довоенной выработки сукно — у старика интенданта, который польстился на его трофейный «вальтер» в генеральской кобуре и пристал как с ножом к горлу. Потом недоставало бортовки для кителя и достойных золотых пуговиц, не было и хорошего надежного мастера. И лишь неделю назад все наконец устроилось.

Сегодня рано утром по дороге в комендатуру он заскочил к портному еще раз напомнить, что к вечеру — кровь из носа! — костюм должен быть готов. К его удивлению и радости, пошитый китель, сверкая пуговицами и погонами, уже красовался на манекене, а брюки отглаживались тяжелым утюгом.

Этого лохматого старикашку с его невероятным местечковым акцентом и вечной каплей на кончике носа, угодливо-старательного, как и все ремесленники здесь, в Западной Белоруссии, знакомые офицеры рекомендовали как хорошего мастера. Сшитый им костюм превзошел, однако, все ожидания. И брюки и китель сидели на капитане без единой складки или морщинки, как вточенные, на удивление эффектно облекая его отличную фигуру. Это было произведение настоящего искусства, работа, вполне достойная не провинциального портного, а столичного, генеральского, если даже не маршальского.

Единственно, что оставалось — проколоть и заштуковать дырочки для орденов, о чем он и сказал.

— Пять минут! — с готовностью воскликнул старик.

Но сделать это следовало аккуратно, с предварительной прикидкой и разметкой на груди кителя. И капитан попросил старика через час прийти в комендатуру, где в сейфе он хранил свои награды: как и оружие, держать их на частной квартире не рекомендовалось.

К боевым орденам и медалям у капитана было самое пиететное отношение. Он считал, что надевать их надо только по большим праздникам, три-четыре раза в год, чтобы не принижать, не опрощать повседневной ноской. Для будней же были учреждены орденские планки, до фронта они, правда, еще не добрались, но в Москве их доставали, и капитан в письмах домой настойчиво просил раздобыть.

Навестивший его незадолго перед тем отец — начальник политотдела гвардейского танкового корпуса на соседнем фронте — привез ему в подарок отменные хромовые сапоги и форменную офицерскую фуражку, так что экипирован он теперь был на славу.

Чтобы «обжить» китель и брюки и чувствовать себя в них к вечеру привычно и непринужденно, капитан не стал их снимать, а старое обмундирование завернул в газеты и занес к себе на квартиру. Из-за этого он опоздал на какие-то минуты и, когда появился в кабинете коменданта, где уже были собраны офицеры, получил замечание от майора, а далее все пошло совсем наперекосяк.

Выяснилось, что особистами — так он про себя называл контрразведчиков — проводится какое-то ответственное мероприятие, или «операция», и офицеры комендатуры до специального распоряжения поступают в полное подчинение «Смерш». По окончании совещания всем надлежало ехать к месту сбора — на аэродром.

Второй день происходило нечто необычное. Еще вчера утром в комендатуру приехал гарнизонный особист и строго конфиденциально сообщил офицерам, что разыскивается группа неизвестных, представляющих особую опасность, и, вынув листок бумаги, описал ориентировочно внешность двоих, вернее фигуры, рост и возраст; сказал, что один из них предположительно говорит с украинским акцентом.

Майор, хронический язвенник, отиравшийся в комендатурах четвертый год, все знавший и понимавший, заметил отсутствие особых индивидуальных примет и приблизительность описаний внешности. И особист сказал, что, к сожалению, «пока не удалась добыть» точные словесные портреты и это, безусловно, усложняет розыск.

Затем еще раз предупредив о неразглашении, он ознакомил офицеров с последней очередной, совершенно секретной мерой по защите воинских документов от подделок немцами — показал им точку вместо запятой посреди фразы в одной из граф командировочного предписания.

Бланки с этой специальной типографской опечаткой были задействованы вечером 31 июля, следовательно, все военнослужащие с документами, выданными в августе и не имеющими этого условного знака, подлежали немедленному задержанию.

Показанное им для наглядности предписание офицеры рассматривали молча; каждый из них за дежурство проверял и регистрировал десятки и сотни таких документов, но никто не обратил внимания на эту точку.

Во время беседы особист дважды сказал о личной ответственности присутствовавших и о необходимости предельно усилить бдительность.

Следствием его визита, инструктажа и призывов к бдительности стало то, что только до полуночи в городе было задержано восемь человек, имевших некоторое сходство с описанными им лицами; всех их

после проверки, проводившейся самим особистом,— он прочно занял один из кабинетов — пришлось отпустить.

Об этом сегодня на совещании майор сказал как о недоработках в деятельности вверенной ему комендатуры. Потребовав в заключение от подчиненных самой высокой бдительности, он поднялся и сказал:

— Через десять минут выезжаем. Всем иметь при себе личное оружие и удостоверения на право проверки документов. Машина во дворе.

Капитан спросил, когда, хотя бы предположительно, закончится «операция» и как скоро они освободятся, но майор этого не знал.

Вместе с другими помощник коменданта вышел из кабинета. Офицеры хвалили костюм, щупали материал и со смехом интересовались: куда это он с утра так вырядился?.. уж не на «операцию» ли?.. Он отвечал рассеянно, думая о своем,— даже слушая майора, он усиленно соображал, как теперь лучше все устроить.

Старик портной с обтерханным портфельчиком в руке, держа засаленную шляпу и растерянно озираясь, уже ждал в дежурной комнате. Пригласив его в свой кабинет, капитан торопливо открыл сейф и, вынув сложенный втрое кусок сукна, развернул его на столе.

— О-о! — увидев ордена и медали, воскликнул старик и утер каплю с кончика носа.

А капитан уже звонил в госпиталь, чтобы поздравить новорожденную и предупредить ее о возникших у него обстоятельствах.

Девушка была занята в операционной, к телефону подошла ее подруга — одна из приглашенных на вечер,— и капитан сказал ей, что должен срочно отлучиться по делам службы, но сделает все, чтобы вернуться вовремя, и просил передать виновнице торжества его предварительные поздравления.

Старик между тем достал из портфельчика плоскую коробочку, открыл ее и, вдев нитку в иголку, в полной готовности ожидал.

— К сожалению, сейчас не получится,— положив трубку, сказал капитан.— Я должен немедленно уехать. Срочное дело,— пояснил он, так как портной смотрел на него, не понимая.— Я зайду к вам в семь часов вечера. Вы будете дома в семь часов?.. Отлично!.. И еще у меня к вам большая просьба... Возможно, у меня будет туго со временем. А сегодня день рождения... одной девушки. Я договорился насчет букета... понимаете, цветы. Это рядом с вами. Вы не могли бы часов в пять сходить за ними и принести к себе?.. Я вас отблагодарю!

Как только старик ответил согласием, капитан вынул сероватую сторублевку и положил на портфельчик. Старик взял бумажку, прежде чем спрятать во внутренний карман пиджачка, оглядел и с улыбкой заметил: капитан такой красивый, женщины, наверно, и так умирают — зачем же тратиться на цветы?

За окном энергично сигнаила машина. Помощник коменданта писал адрес на клочке бумаги, а старик, припомнив, невесело сказал, что он тоже однажды покупал цветы.

— Только один раз? — удивился капитан.

— Так,— подтвердил старик.

Он пояснил, что было это сорок лет тому назад, в девятьсот четвертом году, цветы он покупал своей будущей жене и, вздохнув, сообщил, что ее убили немцы здесь, в Лиде, и детей его убили и внука тоже... Зачем он уцелел?

Капитану стало жалко этого старого обездоленного человека, только раз в своей жизни покупавшего цветы,— сам он перед войной тратил на букетики и букеты для будущей актрисы значительную часть стипендии. И, вспомнив свое обещание, он поспешно достал из нижнего отделения сейфа консервы и сахар.

Старик из вежливости отказывался, а капитан засовывал банки в его портфельчик, когда дверь распахнулась и на пороге вырос майор. Он взглянул на своего помощника, и лицо его перекошилось.

— Вам что, требуется отдельное приглашение?.. Вы не слышите — вас ждут!

— Товарищ майор, я должен заскочить переодеться. Я немного задержусь. Я не знал...

— Никаких переодеваний! — возмущенно закричал майор. — Немедленно в машину! — приказал он и захлопнул дверь.

Подумав секунды, капитан засунул в портфельчик сверток с орденами и медалями, предупредив:

— Только не потеряйте!

Затем схватил листок бумаги и быстро набросал несколько строк. Сложил пополам, сунул в конверт и написал наверху адрес.

— Если я задержусь и до восьми часов меня не будет, убедительно прошу — отнесите цветы вместе с письмом вот по этому адресу. Это от вас недалеко. Я вам заплачу. И дам еще продуктов. Только, ради бога, побрейтесь и немного приоденьтесь! Там сегодня праздник — понимаете?.. Идемте!.. — Помощник коменданта на ходу засунул конверт старику в карман.

А на аэродроме, куда мчались как по тревоге, пришлось проторчать без дела около трех часов. Им указали место недалеко от отдела контрразведки, рядом по обе стороны также спали, лежали на траве, сидели и курили группы офицеров из частей по охране тылов фронта.

Все складывалось до обидного нелепо. За время этого вынужденного безделья можно было не раз успеть переодеться, закончить с кителем и даже самому отобрать цветы для букета — но как отлучиться?.. Когда начнется «операция», никто толком не знал и не мог сказать; неизвестно было даже, для чего конкретно всех здесь собрали.

Майор, комендант города, прихваченный, как оказалось, еще с ночи сильнейшим приступом своей болезни и оттого такой раздражительный и злой, с посеревшим, страдальческим лицом лежал отдельно, завернувшись в шинель, и, придерживая руками живот, тихонько кряхтел. Капитан — боясь запачкать, зазеленить костюм, он, не присев и на минуту, все время прохаживался возле своей группы, — наконец не выдержав, подошел к нему и, наклонясь, спросил, не может ли чем-либо ему помочь.

— Оставьте меня в покое! — наморщась, не своим, плаксивым голосом проговорил майор.

Без четверти двенадцать всем было приказано построиться, и тут же из светлого здания отдела контрразведки появилась группа офицеров. Возглавлявший ее маленький лобастый подполковник в длинной мешковатой гимнастерке, став перед строем, сделал последние, очевидно, наставления.

Он говорил картаво, негромко, и слушали его в полной тишине. Речь его была толковой, деловито-немногословной, но упоминаниями о чрезвычайной важности мероприятия, о том, как коварен враг, о необходимости особой бдительности и личной ответственности каждого повторяла вчерашние высказывания гарнизонного особиста и сегодняшние — коменданта города. Капитану, убежденному, что в армии все должно пониматься и выполняться с полуслова, без каких-либо повторений и рассусоливания, это, естественно, не понравилось.

Поучений капитан не любил, как не любил и самого слова «бдительность». К тому же, как и большинство людей, он был совершенно убежден, что встретиться ему в жизни шпион или диверсант — он тотчас распознал бы его.

Подполковник не только внешне не был военной косточкой: он почти не употреблял повелительной формы, говорил то и дело «прошу», «пожалуйста», что также обличало в нем штатского, интеллигентного по природе человека.

Особо он подчеркнул, что указания офицеров контрразведки все привлекаемые должны выполнять точно и без какого-либо промедления, и в заключение сказал:

— Довожу до вашего сведения, что каждый, кто своими действиями прямо или косвенно поможет поимке разыскиваемых, будет сейчас же представлен к правительственной награде.

Это капитана даже несколько покорило. Он участвовал во многих тяжелых боях со значительно превосходящими силами противника и знал настоящую цену наградам. А тут попахивало принижением и профанацией, принижением высокого, священного: ловят трех или четырех человек, для чего собрали сотни людей, и при этом заранее обещают боевые ордена.

Затем офицеров комендатуры отделили, и другой подполковник, из контрразведки, вполне строевого вида, вместе с по-прежнему страдавшим майором стал их распределять.

Когда была названа фамилия помощника коменданта, подполковник, посмотрев в список, сказал:

— Группа капитана Алехина.

Но никто к помощнику коменданта не подошел, и никто не отозвался, и тогда подполковник сказал одному из стоявших рядом с ним офицеров:

— Тут должен быть лейтенант из группы Алехина. Найдите его быстренько!

Этот офицер подвел капитана к зданию отдела контрразведки, велел ждать, а сам отправился на поиски. Минут пять спустя из-за угла высочил молоденький лейтенантик с красным, вспотевшим лицом, козырнул и, все еще прожевывая, заикаясь, проговорил:

— Т-товарищ к-капитан, в-вы из к-комендатуры?.. Идемте с-со м-мною...

На нижней губе у него в уголке рта прилип кусочек капусты, и капитан, не терпевший неряшливости даже в боевых условиях, еле удержался, чтобы не сделать ему замечание.

Как и другие, они направились к площадке, где стояло десятка два автомобилей — в основном «виллисы» и «доджи», вымытые и надраенные, как на парад, что даже бросалось в глаза. У некоторых на лобовых стеклах виднелись пропуска «Проезд всюду!», положенные только высшему генералитету и оперативным машинам контрразведки.

Миновав эти нарядные, вымытые машины, лейтенант подошел к старой, замызганной полуторке с облупившейся и стертой краской на бортах кузова, став на подножку, сунул голову в кабину и что-то зашептал шоферу. В ответ послышалось крепкое ругательство.

Помощник коменданта не мог не оскорбиться: от него, капитана, занимавшего к тому же ответственную должность, секретили то, что доверялось сержанту-водителю. Скрепя сердце он залез в кузов и, подстелив носовой платок, поместился на ящике, но лейтенант тут же предложил сесть ниже, вскочил сам, машина рванула с места и помчала как на пожар.

Поглядывая на часы, помощник коменданта не без волнения, которое, как и другие чувства, при желании умел скрывать, старался представить и сообразить, сколько времени займет то, что называлось «операцией», — к половине восьмого в любом случае надо бы вернуться в город.

Мысли о встрече с Леночкой, о вечернем торжестве более всего занимали капитана, и настроение у него портилось с каждым часом. В такой день — нарочно не придумаешь! — он вынужден то лететь сломя голову, то болтаться без дела, выслушивать нескончаемые поучения и призывы к бдительности, трясясь в грязном кузове, ехать неизвестно куда в распоряжение какого-то капитана Алехина и — пожалуй, самое оскорбительное! — быть совершенной пешкой, находиться все время в полном неведении относительно своих дальнейших действий и назначения. Даже шоферу сообщали и доверяли больше, чем ему!

Эта одуряющая тряска в мчавшей по булыжнику полutorке бок о бок с бочонком бензина и желторотым лейтенантом, которого тоже приходилось слушаться, и вовсе капитана раздражила. «Попался бы ты мне в городе, я бы тебя привел в христианский вид!» — не без злости думал он, краешком глаза оглядывая обшарпанные, должно быть, и не нюхавшие щетки кирзовые сапоги Блинова; покосившуюся звездочку на пилотке, расстегнутый воротничок и неразглаженную гимнастерку он успел заметить еще раньше, когда лейтенант только подошел к нему.

Особистов капитан не любил, считая их привилегированными бездельниками и людьми с излишним самомнением. «Кантуются по тылам, — был уверен он, — да еще героями себя чувствуют!»

Примерно то же самое, только простодушно и без всякого раздражения, думал о капитане и вообще о работниках комендатур Андрей Блинов.

69. ОПЕРАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ЗАПИСКА ПО «ВЧ»

«Срочно!»

Егорову

Сержант Гусев умер от полученных ранений и возникшего общего заражения крови сегодня, в 6 ч. 25 мин. При проверке в батальоне его товарищи, шофера Агафонов, Туманян и Белогед, подтвердили сходство предъявленного им для опознания портсигара с тем, что имелся у Гусева, однако добыть доказательства полной идентичности не представляется возможным.

Как выяснилось, портсигар Гусева в числе многих подобных был изготовлен в начале этого года старшиной по прозвищу «Колянч» (предположительно — от имени Николай), механиком 294-го Отдельного Ремонтно-Восстановительного батальона, который прошлой зимой дислоцировался под Гомелем по соседству с частью, где служил Гусев. Как нами установлено, в настоящее время 294-й ОРВБ находится в районе Сувалок, куда тем же самолетом и отправлен опознаваемый портсигар для предъявления его старшине по прозвищу «Колянч».

«Логинов».

ШИФРОТЕЛЕГРАММА

«Весьма срочно!»

Платонову

Задержанных Вами без документов неизвестных, двое из которых по признакам словесного портрета имеют сходство с фигурантами чрезвычайного розыска, для установления личности необходимо срочно доставить в Лиду.

Немедленно перевезите всех троих под надежной охраной на Молодечненский аэродром, где в ближайшие полчаса совершит посадку высланный нами «Дуглас» (бортовой — 207).

Поляков».

ЗАПИСКА ПО «ВЧ»

«Весьма срочно!

Егорову

Сообщаю для сведения приказание Нач. Генштаба Красной Армии № от 19.08.44 г.

«При подготовке и проведении специальных мероприятий в тылах 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов имели место следующие недопустимые факты:

1. Из-за нераспорядительности и халатности ингендантских служб 91-й армии подразделения войск НКВД 1-го Белорусского фронта по прибытии к месту назначения после трехсоткилометрового пути в течение четырех часов не могли получить горячего котлового питания.

2. При движении автоколонны 18-го Краснознаменного погранполка в результате поломки вышла из строя одна из машин. Командир 376-й гвардейской танковой бригады гвардии подполковник Фильченков, несмотря на мою директиву № от 18.08.44 г., с которой он был ознакомлен, и требование представителя «Смерш», выделить транспортную машину взамен сломавшейся категорически отказался.

3. Нач. Отдельного фронтового склада ГСМ¹³ № 1354 капитан Сухаревский отказался отпустить бензин автоколонне маневренной группы войск НКВД 1-го Белорусского фронта, мотивируя свои действия отсутствием у старшего группы форменных требований НКО на горючее. Заправка автомашин была произведена с опозданием, лишь после вмешательства вышестоящего командования.

Эти факты могли иметь место только вследствие недопонимания отдельными офицерами всей важности проводимых специальных мероприятий и безответственного отношения к директиве Генштаба № от 18.08.44 г.

Приказываю:

1. Заместителя командующего 91-й армией по материально-тыловому обеспечению полковника Аверьянова за нераспорядительность подчиненных ему служб от занимаемой должности отстранить и откомандировать в распоряжение Управления кадров тыла Красной Армии для назначения с понижением.

2. Командира 376-й гвардейской танковой бригады гвардии подполковника Фильченкова за невыполнение директивы Генштаба № от 18 августа 1944 года, в результате чего взвод 18-го Краснознаменного погранполка вынужден был добираться на полутных и прибыл к месту назначения позже, чем следовало, от занимаемой должности отстранить и откомандировать в распоряжение командующего БТ и МВ¹⁴ фронта для назначения с понижением.

3. Нач. Отдельного фронтового склада ГСМ № 1354 капитана Сухаревского, в результате самоуправства которого подразделения войск НКВД 1-го Белорусского фронта задержались в пути и прибыли к месту назначения с опозданием на 1 ч. 20 мин., от занимаемой должности отстранить, понизить в звании до лейтенанта и назначить командиром взвода в одну из частей фронта.

¹³ ГСМ — горючее и смазочные материалы.

¹⁴ БТ и МВ — бронетанковые и механизированные войска.

Считаю необходимым еще раз обратить внимание всех командиров соединений и частей 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов на то, что в связи с проводимыми в тылах этих фронтов специальными мероприятиями все указания и требования представителей военной контрразведки должны выполняться беспрекословно и без малейшего промедления. Любые задержки и проволочки будут расцениваться как невыполнение боевого приказа со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Антонов».

С настоящим приказанием ознакомьте начальников органов «Смерш» фронта. О всех случаях промедления с выделением людей и техники, а также о недостатках в материально-тыловом обеспечении проводимых мероприятий докладывайте немедленно.

Колыбанов».

70. БУДЕМ ДЕЙСТВОВАТЬ ВМЕСТЕ

За Шиловичами после поворота влево Андрей приказал Хижняку сбавить ход и стал высматривать ориентиры, сообщенные Алехиным. Большую старую стодолу он увидел издалека, а немного погодя и два сросшихся дуба; от них следовало, двигаясь строго по перпендикуляру, подойти незаметно к тому месту на опушке, где углублялась в лес заросшая дорога.

Как только они поравнялись с этими деревьями, Андрей застучал в заднее стекло кабины.

— С-сходим! — сказал он и, не дожидаясь, когда полторка остановится, соскочил на обочину.

Помощник коменданта поднялся и не торопясь выпрыгнул из машины; за всю дорогу он и слова не вымолвил.

Сунув голову в кабину, Андрей, согласно указаниям Алехина, велел Хижняку проехать вперед в Каменку и быть там до шестнадцати тридцати, а к семнадцати часам вернуться и ждать с машиной где-нибудь здесь, но к старой, заброшенной стодоле, которую они только что миновали, ни в коем случае не приближаться — об этом особо предупредил Алехин.

Пока Андрей наставлял Хижняка, помощник коменданта, разминая отсиженные ноги, отошел на десяток шагов назад, осмотрел свой костюм, поправил складки на шароварах и заложил руки за спину.

— Идемте,— сказал ему Андрей.— Т-только с-совершенно н-незаметно...

— То есть как незаметно? Может, лечь и ползти по-пластунски? — вдруг сильным мелодичным голосом язвительно спросил капитан.

— Если п-потребуется...— покраснев, проговорил Андрей и почувствовал в эту минуту, что вполне разделяет отношение Таманцева к прикомандированным.

Они двинулись кустарником к лесу, и помощник коменданта беспокоился, как бы не зазеленить или не разодрать о какой-нибудь сучок свой замечательный новенький костюм, а Блинов, не менее озбоченный совсем иным, то и дело останавливался и, подав ему знак — приложив палец к губам,— напряженно прислушивался.

На пути оказалась большая поляна, и, чтобы не выходить на открытое место, пришлось сделать немалый крюк. Затем кустарник во все кончился, они находились метрах в пятидесяти от указанного Алехиным места, но от леса их отделяла полоса мелкорослого, ниже пояса чапыжника, обойти ее было невозможно: она тянулась в обе сторо-

ны насколько хватал взгляд, и Андрей старался сообразить, как же преодолеть ее незаметно.

— П-придется п-ползти...— после некоторого раздумья огорченно сказал он и в то же мгновение увидел, как на опушке в просвете уходящей в чащу дороги неожиданно, словно из земли выросши, появился Алехин. Не выходя на открытое место, он подзывал их энергичными жестами — мол, быстрее сюда!

Когда, миновав чапыжник, они очутились возле него, под прикрытием деревьев, он, оглядывая помощника коменданта, приветливо представился:

— Капитан Алехин... Вы из комендатуры?

— Помощник коменданта города! — с достоинством уточнил капитан.

— Очень рад... Будем действовать вместе.

Андрей начал объяснять, почему они опоздали, но Алехин остановил его. Помощник коменданта в это время достал из кармана коробку самого настоящего «Казбека», какого Андрей не видел, наверное, с начала войны, взял папиросу и, разминая ее пальцами, небрежным жестом протянул коробку Алехину.

— Благодарю! — отказался Алехин.

Андрей почему-то подумал, что помощник коменданта и ему предложит папиросу, однако этого не случилось. Капитан опустил коробку в карман, постучал мундштуком папиросы о розовый полированный ноготь большого пальца и, обнаружив затем, что зажигалка осталась в старом обмундировании, вопросительно посмотрел на Алехина, и тот понял его взгляд.

— Костя, — оборачиваясь, сказал он, — спички.

Из кустов орешника со стороны опушки вылетел брошенный чьей-то сильной рукой коробок спичек и упал около офицеров. Кто такой Костя, Андрей не знал, но сообразил, что тот, очевидно, ведет наблюдение: просматривает подступы от шоссе к лесу.

Подняв коробок, Алехин зажег спичку и протянул ее помощнику коменданта. Затем, предупредив, что разговаривать в лесу можно только шепотом, стал объяснять, что им конкретно предстояло.

— Как вам известно, — сказал он вполголоса капитану, — разыскивается группа, представляющая значительную опасность для Действующей армии... По имеющимся предположениям, они могут сегодня во второй половине дня появиться здесь, в лесу. На путях их вероятного движения внутри массива будут устроены засады — в одной из них мы и будем с вами участвовать... Наша задача: проверка под видом комендантского патруля, в определенной обстановке, — подчеркнул Алехин, — всех проходящих мимо нас по той дороге...

— Что означает — «в определенной обстановке»? — спросил помощник коменданта.

— Засада с подстраховкой. На месте вы все поймете... Последовательность проверки: сначала основные документы — удостоверения личности и командировочные предписания. Затем второстепенные: расчетные и вещевые книжки, продовольственный аттестат, быть может, наградные удостоверения и другие документы... После этого необходимо ознакомиться с содержимым вещевых мешков проверяемых или другого багажа...

— То есть как «ознакомиться»?.. Вы хотите сказать — обыскать? — переспросил помощник коменданта.

— Нет. Так сказать я не хочу, а делать тем более. Этого надо постараться избежать. Мы попросим их самих предъявить свои вещи для осмотра.

— Выходит, обыск на добровольных началах... А в смысле закона?.. Это положено?

— Да, разрешено... Это необходимость... Я имею официальные указания,— осторожно заметил Алехин.

«А я таких указаний не имею»,— хотелось заявить капитану, но он этого не сказал, а спросил:

— Какова моя роль? Что лично я должен делать?

— Что делать?.. Представитесь официально — назовете свою должность и фамилию — и попросите предъявить документы для проверки. Вы приглашены, чтобы мы действительно выглядели комендантским патрулем.— Алехин улыбнулся.— Если они знают вас в лицо — а такая возможность не исключена: они были в Лиде,— чтобы все выглядело как можно правдоподобнее. В момент проверки они должны быть убеждены, что имеют дело с комендантским патрулем и что нас всего двое.

— Правдоподобно...— Капитан чуть усмехнулся, одними губами.— Но офицерские наряды посылаются только в черте города.

— Об этом знают немногие. А потом, бывают исключения: выезды на чепэ, целевые проверки и тому подобное. Так что это несущественно...— Алехин посмотрел на капитана и продолжал: — Значит, проверяем основные документы, потом второстепенные, а затем и вещи...

— Это тоже моя обязанность?

— Нет. Вы как старший наряда предложите им предъявить для осмотра вещмешки или чемоданы — что у них будет — и показать содержимое. Остальное делаю я. А вы должны страховать от возможного нападения, как это положено и при комендантской проверке. На месте я вам покажу все в деталях...

— Вы сказали, что мы будем вдвоем, а лейтенант? — Помощник коменданта указал взглядом на Блинова.

— Его с нами не будет. Он должен подстраховывать со стороны, из засады. А мы будем вдвоем. Да, я обязан вас предупредить: во время проверки с первой минуты и до самого конца требуется предельное внимание и осторожность...

— Знаю,— поморщился капитан.— Мне уже говорили.

— Возможно, я в чем-то и повторяюсь, но я должен вам пояснить... Цель наших усилий: взять их с поличным или заставить проявить себя... Для того и проверка с подстраховкой из засады... Зачем это делается?.. Понимаете, при поимке врага случается и так — ни обыск, ни последующие допросы ничего не дают...

— Насчет обысков и допросов,— усмехнулся помощник коменданта,— вам, безусловно, виднее...

— Почему я вас предупреждаю о необходимости максимальной осторожности? — продолжал Алехин, будто не замечая язвительной реплики капитана.— Мы с вами будем своего рода живой приманкой... Понимаете, они видят перед собой всего двоих, а о тех, кто в засаде, и не подозревают... Место там безлюдное... Таким образом мы как бы провоцируем их, создаем им условия проявить себя, показать свою истинную суть...

— И как... в чем же она может проявиться?

— Если это враг, скорее всего они попытаются нас убить.

— Да, перспектива не из приятных,— с улыбкой заметил помощник коменданта.— Но она неоригинальна: на войне убивают — такова жизнь!.. Обязанности свои понял... Мне только немного неясно... Допустим, мимо вашей засады кто-то проходит... И мы... вы их обыскиваете... А если они совсем не те, кто вам нужен?.. Если это честные советские люди? Тогда что?

— Придется извиниться.

— И только?

— А что тут еще можно сделать?

— Не знаю. Это уж по вашей части. Лично я с подобной проверкой сталкиваюсь впервые!

Капитан затянулся папиросой, и оба помолчали, думая каждый о своем.

В отношениях с прикомандированными армейскими офицерами нередко возникали неясности, если даже не двусмысленность. Их привлекали для выполнения определенных ограниченных функций, для совершения второстепенных, вспомогательных действий, и сообщать им суть дела не разрешалось. Для того были основательные не только формальные соображения, но производило такое умолчание на людей гордых и самолюбивых не лучшее впечатление. Преодолеть это старались подчеркнуто-уважительным обращением, что и делал в эти минуты Алехин.

Ему требовалось высказать помощнику коменданта еще кое-какие наставления, однако, почувствовав неблагоприятную, с язвительностью, реакцию, он умолк, решив немного повременить и продолжить разговор по дороге или уже на месте. Он сразу понял, что капитан — человек с характером, точнее с норовом, и ладить с ним будет непросто, а противопоставить этому можно только добродушие и вежливость, столь облегчающую отношения между людьми.

Когда, докурив, помощник коменданта бросил папиросу, Алехин, подобрав окурки, сунул его в землю под обрешину. Капитан посмотрел, поджал губы, но ничего не сказал.

— Костя! — оборачиваясь, позвал Алехин. — Мы возьмем спички?

— Ну что с вами поделаешь... — лениво и вроде неохотно ответили из кустов.

Стоя немного в стороне, Блинов продолжал присматриваться к капитану. Помощник коменданта был на полголовы выше Алехина, значительно темнее волосами, но светлее лицом — свежесбрившим, чистым и гладким — и несравненно представительней; его стройной, горделивой осанке мог позавидовать любой офицер. И голос у него был выразительный, мужественный, удивительно приятный. «Такие нравятся женщинам, — подумал Андрей. — И вообще производят впечатление... Да-а! Где же я его видел?..»

71. АЛЕХИН, ЕГОРОВ И ДРУГИЕ

Немного погодя заброшенной травянистой дорогой они шли в глубь леса — Алехин и капитан бок о бок, Андрей в трех шагах позади.

День выдался ведренный, теплый, однако если в Лиде было сухо, то здесь недавно пролил дождь, в тени омытых им деревьев было прохладно и сыро; пахло лесом и прелью. Солнце, проникая сквозь редкие просветы в листве, тысячами искринок сверкало на мокрой, росистой траве.

Приехав сюда утром одновременно с другими розыскниками Управления контрразведки фронта — Поляков отправил в лес почти всех офицеров своего отдела, — Алехин вместе с Таманцевым выбрал место для засады на порученной им дороге и, возвратясь на опушку, отправился к старой пустующей стоде, которую он сам посоветовал Полякову использовать для размещения штаба руководства войсковой операцией.

Подступы к этому бесхозному строению — владельцы хутора вместе с хатой были сожжены немцами за связь с партизанами — на

значительном расстоянии охранялись спрятанными на местности автоматчиками: Алехина остановили, и ему пришлось предъявить документы лейтенанту в форме пограничника.

Вокруг стодолы кустились заросли крапивы, было совершенно безлюдно и запустело, однако на земле перед входом виднелись свежие следы подъезжавших сюда «студебеккеров», и когда Алехин, проскользнув в щель между половинками ворот, ступил внутрь, он разглядел в царившей там полутьме человек тридцать.

Посредине прямо перед ним возле походного столика с какими-то бумагами стояли и разговаривали несколько генералов, и среди них в центре — Егоров. За их спинами, соблюдая некоторую дистанцию, двумя отдельными полукругами располагались офицеры.

Вдоль стен уже были развернуты радиостанции, в том числе справа две — большой мощности для прямой связи с Москвой; угол рядом с ними был отгорожен плащ-палатками — для шифровальщиков; над каждой рацией и там, в углу, неярко светили от аккумуляторов маленькие автомобильные лампочки.

В отличие от других генералов Егоров был в хлопчатобумажном обмундировании — на поношенной, старого образца, с отложным воротником гимнастерке отсутствовали погоны — и в яловых сапогах. Алехину вспомнилось, как два месяца тому назад, перед началом наступления, Егоров в этом самом обмундировании выезжал с ним и Таманцевым на операцию в одну из дивизий.

Тогда осуществлялась «зеленая тропа» по весьма ответственной радиоигре, и генерал счел необходимым присутствовать лично. Переходили трое, в том числе один свой; для создания иллюзии правдоподобности их следовало обстрелять, при этом Таманцев должен был из ручного пулемета при свете ракеты для той же правдоподобности хотя бы одного из двух чужих ранить, что сделать за время пятисекундной вспышки совсем не просто.

О появлении Егорова на передовой в генеральской форме не могло быть и речи. Чтобы не привлекать внимания, он еще по дороге в машине надел на эту самую гимнастерку даже не капитанские, как предлагал Алехин, а лейтенантские погоны своего адъютанта и затем в течение суток исправно играл роль младшего офицера: строго по уставу отвечал всем, кто был «старше» его по званию, таскал за Таманцевым вещмешок с дисками от пулемета и продуктами, проворно вставал, когда к нему обращался Алехин или командир батальона, на участке которого должны были тропить в ту ночь немецкие агенты — два действующих и один бывший. Таманцев же так вошел в образ, что покрикивал на генерала как на подчиненного.

Все тогда получилось как нельзя лучше, в памяти же Алехина остался маленький курьезный эпизод. Вечером командир батальона, совсем юный капитан, когда Егоров вышел из блиндажа, с язвительной улыбкой заметил:

— Такой молодой — всего пятьдесят лет! — и уже лейтенант! Что же с ним будет к шестидесяти?.. Наверняка старшего получит!..

Интересно, что Егоров, смеявшийся над различными приметам розыскников, не менее суеверных, чем летчики или моряки, смеявшийся над предрассудками относительно понедельников и тринадцатого числа, во время всех ответственных мероприятий или операций непременно надевал эту самую хлопчатобумажную гимнастерку, в которой он начинал войну.

Появление в стодоле Алехина было замечено, и Егоров, повернув голову, увидел его, но ничего ему не сказал, а, обращаясь к полноватому генералу в брюках навыпуск, продолжал:

— Поймите меня правильно, товарищ комиссар.. При всем ува-

жении к вашей должности и вашим полномочиям я не могу не возражать против действий, которые считаю преждевременными и рискованными для дела! Вопрос решается в Москве и...

— Не будет у вас завтрашнего дня, не будет! — с сильным кавказским акцентом закричал полноватый; это был заместитель Наркома внутренних дел, по званию — комиссар госбезопасности, принятый сначала Алехиным за генерал-полковника. — Вы просто недопонимаете, насколько серьезна обстановка!

— Ответ Ставки должен поступить с минуты на минуту... — упрямо сказал Егоров.

— Не стройте иллюзий — он будет отрицательный! Если вы действительно верите в возможность отсрочки, ваша наивность поразительна!.. Мы не можем и не будем держать здесь людей сутками! У нас своих дел по горло!

Егоров и комиссар госбезопасности стояли друг перед другом, уединиться здесь было негде, и они спорили, не стесняясь присутствия подчиненных.

Алехин пришел посоветоваться с Поляковым, согласовать с ним некоторые детали предстоящих действий, но подполковника среди скученных в стололе офицеров и генералов не было.

Суть спора Егорова с комиссаром госбезопасности Алехин, как только сообразил, кто тот такой, себе уяснил, правда в общих чертах, приблизительно; в действительности же дело обстояло так.

На рассвете собранные в Вильнюсе автомашины и подразделения, предназначенные для войсковой операции в районе Шиловичского массива, по указанию Егорова передислоцировали в Радунь и Вороново. Таким образом было достигнуто состояние «плюс один», то есть полная готовность в течение часа начать операцию. Как только об этом стало известно в Москве, от Егорова начали требовать ее немедленного осуществления.

В очередном, третьем за сутки разговоре по «ВЧ» с начальником Главного управления контрразведки Егорову удалось обосновать целесообразность отсрочки начала операции до семнадцати ноль-ноль, и на какое-то время все вроде успокоились.

Однако с прибытием из Москвы заместителя Наркома внутренних дел обстановка сразу же обострилась. Выслушав прямо на поле аэродрома доклад Егорова, он сказал, что в руководстве розыском налицо «нерешительность» и «опаснейшее промедление». Естественно, ему хотелось, чтобы его присутствие в Лиде ознаменовалось активными решительными действиями, самой значительной акцией в этом плане была бы крупная войсковая операция, и, ссылаясь на свои полномочия, он потребовал ее немедленного проведения.

Его энергично поддержали не только прилетевшие с ним генералы, но и начальник войск по охране тылов фронта генерал Лобов, а также командиры погранполков и трех маневренных групп, прибывших с других фронтов.

Все эти люди относились к одному ведомству — Наркомату внутренних дел; Егоров же и Мохов представляли собой контрразведку Наркомата обороны, но речь шла вовсе не о межведомственных разногласиях.

У оппонентов Егорова — и он это понимал — была обоснованная деловая позиция. Подчиненные им части, переброшенные, как правило, за сотни километров и оторванные от выполнения своих непосредственных боевых задач: борьбы с националистическим подпольем, бандами и остаточными группами немцев, охраны важных объектов, несения контрольно-заградительной службы на коммуникациях и тому подобного, — с рассвета находились в состоянии полной готовности

провести войсковую операцию, а ее — по предположительным сообщениям — пытались отложить. И тысячи людей, необходимые в других тыловых районах, вынужденно бездействовали.

Зараженные уверенностью Полякова, что разыскиваемые сегодня или в крайнем случае завтра появятся в Шиловичском лесу, Егоров и Мохов, будучи в абсолютном меньшинстве, упорно отстаивали свою точку зрения. В конце получасового спора, уже в кабинете заместителя Наркома, человек восточного темперамента, разгоряченный их несогласием, заключая разговор, заявил:

— Вы понимаете, как все это будет выглядеть, если ваши предположения не подтвердятся?.. Могу вам сказать: как преступная нерешительность и промедление, граничащее с саботажем!.. Вы занимаетесь розыском тринадцать суток — две недели! — а что в результате?.. Баран начихал!.. Может, вы еще столько же собираетесь здесь возюкаться?.. Не выйдет!.. — возмущенно вскричал он. — Мы стянули к вам более четырех тысяч человек, и держать их без дела даже лишний час — преступно!.. Ваши предположения не могут служить оправданием для подобного опаснейшего промедления!.. Войсковая операция нужна в первую очередь вам и Главному управлению контрразведки, так давайте ее проводить! — Он посмотрел на часы, затем перевел взгляд своих агатовых, маслянисто блестящих глаз на прибывших с ним генералов и как бы и от их лица сказал: — Мы не можем оставаться сторонними... безучастными наблюдателями. Обстоятельства чрезвычайные, и я вынужден... — это мой долг, моя обязанность! — данной мне властью, независимо от ваших соображений распорядиться безотлагательно приступить к операции!..

По своему положению он был не ниже начальника Главного управления контрразведки, причем почти все подразделения, собранные в Лиде, Радуни и Вороново, подчинялись по принадлежности ему, а не командованию фронта, и отдать такое приказание он вполне мог.

Тогда-то Егоров и сообщил как бы конфиденциально, что обратился в Ставку с мотивированной просьбой об отсрочке операции более чем на сутки — до семнадцати ноль-ноль завтрашнего дня. И поскольку, мол, вопрос решается в Москве, быть может, лично Верховным Главнокомандующим, он не считает возможным, да и другим не советует форсировать события.

Собственно, никуда он еще не обращался: хотя такая шифровка по настоянию Полякова была составлена, Егоров, не желая действовать «через инстанцию», через голову своего непосредственного начальства, ее не подписал. Теперь он вынужденно это сделал, и спустя минуты ее уже передавали в Ставку, а копию — Колыбанову.

Егоров знал, что Верховный, работавший по ночам до утра, встает не раньше полудня, и шифровку Егорова ему могли доложить только спустя еще примерно час. Даже если бы ответ последовал без промедления, каким бы он ни был, в любом случае выигрывалось некоторое время.

Как и ожидал Егоров, его сообщение, что вопрос решается в Москве, ослабило давление со стороны прибывших, хотя заместитель Наркома сразу заявил, что Ставка, несомненно, ответит отказом. Часа два прошли относительно спокойно, однако, когда уже разгрузились здесь, в стоделе, спор и разногласия возникли опять.

Ехали по соображениям маскировки под наглухо задраенными тентами, в кузовах двух набитых до отказа «студебеккеров», причем здесь их загоняли задом в ворота, чтобы прибывших со стороны никто не увидел. По той же причине Егоров еще в Лиде предупредил, что даже по нужде не разрешит никому до вечера выйти из стоделы.

Кажется, предусмотрели все, но, как нередко случается в подоб-

ных необычных обстоятельствах, что-нибудь второстепенное обязательно упускается. На этот раз не подумали, что всем нужно на чем-то сидеть. Стульев и табуреток хватило для радистов и шифровальщиков, остальным приходилось стоять. Единственный оставшийся свободным стул Егоров поставил для заместителя Наркома, но тот, видимо из солидарности с другими генералами, на него не сел.

Людям было неудобно, жарко, ко всему прочему, самого старого, совершенно седого генерала с планкой четырех орденов Красного Знамени и знаком «Почетный чекист» на габардиновом кителе в душновато-спертом, пахнувшем сеном воздухе стодолы сразу же охватило астматическое удушье. С багрово-синим лицом он стоял, опираясь руками на стол, давился сиплым кашлем, задышался, слезы катились у него из глаз, но он упрямо не желал или не мог ни выйти, сняв фуражку и китель, из стодолы, как предлагал ему Егоров, ни сесть, на чем настаивал заместитель Наркома.

Этот генерал в разговоре на аэродроме высказал оригинальные, весьма толковые соображения, чем сразу понравился Егорову, и тот его теперь искренне жалел.

Как только рации были развернуты и отлажена связь, хлынул поток сообщений, и пятеро привезенных сюда шифровальщиков заработали с полной нагрузкой.

Егоров ушел к ним в угол, за плащ-палатки, и прямо с рабочих листов, не дожидаясь окончания расшифровки, читал радиограммы, поступившие за последние полтора часа на его имя в Лиду и переданные теперь сюда.

Командующий фронтом и маршал, представитель Ставки, запрашивали, необходима ли еще какая-либо помощь людьми и техникой; такой же вопрос содержался и в шифротелеграмме начальника Генерального штаба. Из Москвы требовали подтвердить, обеспечены ли все привлеченные к розыску и войсковой операции усиленным питанием по нормам летного состава ВВС Красной Армии, требовали различные сведения отчетного характера.

Все эти сообщения Егоров просмотрел на рабочих листах мелком, как не представляющие интереса. Маховик огромного механизма чрезвычайного розыска был раскручен вовсю, и никакая дополнительная помощь, никакие новые люди и техника уже не могли бы что-либо существенно изменить или даже усилить.

Огорчило Егорова то, что не было ничего непосредственно от Полякова. Подполковник остался в отделе контрразведки на аэродроме, чтобы встретить начальника Главного управления контрразведки и, докладывая о ходе розыска, убедить его в необходимости отсрочить на сутки войсковую операцию. Эту трудную и малоприятную миссию он взял на себя сам, и Егоров с признательностью согласился, хотя они оба одинаково сомневались в ее успехе. Каким бы ни оказался результат, Егоров знал, что Поляков будет отстаивать свою точку зрения с поразительным безразличием к возможным последствиям своего упорства.

Туда, в Лиду, к Полякову, сходились все до единой нити розыска. Со вчерашнего дня он получал и переваривал непрерывный поток информации, и в первую очередь донесения о результатах действий сотен оперативно-розыскных групп и всеохватывающей контрольно-проверочной службы, о состоявшихся задержаниях и всех событиях и подозрительных происшествиях в тылах фронта и на передовой. Из этого вороха сообщений Поляков должен был отобрать все заслуживающее внимания и по каждому случаю не мешкая принять безошибочное решение. Он, Поляков, как никто другой ощущал усилия мно-

гих тысяч людей, ощущал пульс всех мероприятий, проводимых в полосе фронта от Вязьмы и до Восточной Пруссии.

На Полякова Егоров надеялся более всего. В эти небывало напряженные сутки от оперативного мышления подполковника, от его чутья и умения организовать и направить розыск зависело больше, чем от всех маршалов и командующих, вместе взятых, и потому молчание Полякова не только огорчило, но и несколько обеспокоило Егорова.

Указав начальнику шифровального отделения, кому и что ответить, Егоров вернулся к генералам. Старик-астматик страдал по-прежнему; остальные, будучи не в состоянии ему чем-либо помочь, из деликатности старались не смотреть в его сторону.

Егоров снова предложил ему выйти на свежий воздух, но тот, не соглашаясь, упрямо замотал головой.

«Обстановочка! — заметил про себя Егоров. — Зачем его сюда привезли?.. Зачем они все сюда приехали — сидели бы себе в Лиде... Здесь вполне хватало бы Лобова и десятка офицеров...»

В душе он ругал себя за непоследовательность, стыдился, что смалодушничал и, выступая против войсковой операции — в ближайшие полтора суток, — поддался все же влиянию заместителя Наркома и поехал сюда. Зачем — руководить розыском из Лиды было несравненно удобнее, к тому же здесь ему особенно не доставало Полякова.

— Мы что же, так и будем все время стоять? — недовольно спросил один из генералов, затучелый, с пышными, чуть вислыми усами; одетый в застегнутый на все пуговицы мундир, он то и дело вытирал платком потное лицо.

— Станет невмоготу, сядем на землю, — не то в шутку, не то всерьез ответил Егоров.

Он только что приказал передать в Лиду, чтобы со «студебеккерами», в которых часа через два должны были приехать начальник Главного управления контрразведки и заместитель Наркома госбезопасности, привезли и стулья, и в смятении представлял себе, что здесь будет твориться, когда в этом большом, но все же не резиновом строении окажется человек пятнадцать генералов и полсотни офицеров из трех различных ведомств, не считая радистов и шифровальщиков.

— Даже такую элементарную вещь не предусмотрели, — с раздражением сказал заместитель Наркома. — Удивительное недомыслие!

Позаботиться о стульях и табуретках надлежало какому-нибудь лейтенанту из отдела контрразведки авиакорпуса, а никак не Егорову, и хотя упрек адресовался, очевидно, ему, он разумно промолчал.

Заместитель же Наркома, посмотрев на часы, сказал, что в ожидании ответа, который-де наверняка будет отказным, теряется драгоценное время и что «промедление подобно смерти» в первую очередь для Егорова и Мохова. Егоров не желал спорить и, как бы подтверждая правильность этих слов, согласно покачал головой. Тогда затучелый генерал, высказавший недовольство, что всем приходится стоять, заявил заместителю Наркома, что если из подчиненных ему погранполков забрали для операции все что возможно и затребовали маневренные группы даже с других фронтов, то из армейских частей взяли в несколько раз меньше, и характеризовал это как «возмутительный произвол». При этом явно нервничая, он все время беспокойно трогал пальцами свои усы, будто именно они могли теперь пострадать от произвола контрразведки, и, ощупывая их, он как бы желал убедиться, что они еще на месте. Мохов, не выдержав, ему возразил, и опять возник спор, во время которого и появился Алехин.

После того как заместитель Наркома заявил, что у них своих дел по горло и они не станут держать здесь людей сутками, Егоров, проговорив: «Извините, товарищ комиссар...» — отошел к Алехину.

— Ты ко мне?

— А подполковник...— несмело начал Алехин, стесненный присутствием стольких генералов и старших офицеров.

— Подполковник в Лиде. И скорее всего сюда не придет. Ко мне вопросы есть?

Алехин посоветовался бы и с начальником Управления — следовало согласовать отдельные детали, касающиеся засады, но уединиться здесь было негде, выйти с ним из столовой — нельзя, шептаться же при всех — неудобно.

Он не успел произнести слово «нет». Начальник войск по охране тыла фронта генерал Лобов сказал что-то вполголоса заместителю Наркома, и тот, глядя на Алехина агатовыми, маслянисто блестящими глазами, своим неправильным, кавказским говором громко спросил:

— Это что — старший группы, которая работала по делу?

— Извините, товарищ комиссар...— быстро поворачиваясь, вступился Егоров, угадавший по тону заместителя Наркома, что сейчас начнется неприятный, а главное, никчемный разговор с упреками, обвинениями и, возможно, разносом.— Одну минуту...

Он увидел страшное, с выпученными глазами и набухшими венами лицо генерала-астматика, его раздувшуюся от напряжения багровую шею. Вцепясь в край столика, старик судорожно хватал ртом воздух. Два полковника из Москвы поддерживали его под руки и, кажется, пытались усадить, чего делать как раз не следовало. Не в силах из-за удушья ничего сказать, он немо сопротивлялся; котелок с водой, который перед ним поставили, опрокинулся, и вода залила бумаги.

Разногласия в присутствии подчиненных и этот мучившийся упрямый старик, непривычные для прибывших из Москвы неудобства полевых условий и возраставший разлад — обстановка становилась нервной, нерабочей, совершенно нетерпимой. Нужно было не мешкая что-то предпринять.

Егоров посмотрел на стоявших ближе к нему офицеров контрразведки — своего адъютанта и капитана с авиационными погонами — и, указывая взглядом на задыхавшегося генерала, распорядился:

— Помогите генералу!.. Снимите с него фуражку и китель и вынесите его сейчас же на свежий воздух!..

Он почувствовал, что они колеблются — как им, младшим офицерам, раздевать генерала, к тому же не своего, незнакомого, — и, не сумев сдержаться, с искаженным бешеной яростью лицом закричал так, что от неожиданности испуганно вздрогнул даже заместитель Наркома:

— Вы-паал-нять!!!

В наступившей мгновенно тишине — стало слышно, как работали на ключах радисты,— Егоров, возбужденно дыша и растирая затылок, повернулся к Алехину и приказал:

— Если вопросов нет, немедленно возвращайтесь на место!

За его спиной капитан-летчик и адъютант, отстранив московских полковников, уже стаскивали габардиновый китель с задыхавшегося генерала. Алехин, несколько оторопев от столь впечатляющей картины, поднял руку к пилотке, чтобы отойти; в это мгновение Егоров окончательно овладел собой и, протягивая ему свою массивную ладонь, добавил:

— Я надеюсь на вас... Действуйте!..

(Окончание следует)



ИЗ МОНГОЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ



ЛХАМСУРЭНГИЙН ЧОЙЖИЛСУРЭН

Осчастливил нас мудростью Ленин

Снег давно разбухает по крышам,
ветер крупные хлопья полощет;
в снежный час я на улицу вышел,
и пошел я на Красную площадь.

Развевались знамена, алея
над землею, от снега седою,—
шел народ, люди шли к Мавзолею
нескончаемой чередою.

Люди двигались строем сплоченным,
локоть ближнего чувствуя рядом,—
чтоб примкнуть к этим стройным колоннам,
я прошел Александровским садом.

Гость Москвы, не такой уж приметный,
неразрывный с бесчисленным строем,
слился я с чередою несметной
перед Ленинским Вечным Покоем.

Я вступил в череду человечью,
в эту теплую зимнюю реку:
смокли все языки и наречья,
молча люди пришли к Человеку!

Здесь в строю — юность, зрелость и старость,
биографий бесчисленных даты,
эти люди — в строю, как солдаты.
Снег над ними — как Времени Парус!

Кто они, эти люди России,
эти люди, что насмерть стояли?
Их свинцовые пули косили,
но Отчизну они отстояли!

Это их красноезвездные рати
в незабвенные трудные годы
грудью встретили вражеский натиск
и к победе прошли сквозь невзгоды.

В них железная сила сплоченья,
единенья железная сила —
это ленинское ученье
их сплотило и окрылило.

Это Ленина образ нетленный
светит Правды бесчисленным ратам
на пяти континентах вселенной
и монголам — степным моим братьям!

Это Ленина лик вдохновенный,
окружен золотым ореолом,
светит всем правдолюбам вселенной
и степным моим братьям-монголам!

Под московским крутым снегопадом,
приближаясь к дверям Мавзолея,
не один я — друзья мои рядом;
хлопья стали как будто теплее!

Мы явились сюда без приказа,
в гору шли мы, метели переча, —
сердце каждого поняло сразу:
это с Лениным встреча!

Ленин молвил земным поколениям:
«Лишь в борьбе мы свободу добудем!»
Осчастливил нас мудростью Ленин,
оттого-то и дорог он людям.

Оттого корабельною снастью
Красной площади дышит громада,
и несут нас к всесветному счастью
паруса, паруса снегопада!

Перевел АЛЕКСАНДР ГОЛЕМБА.

ЦЭВЭГМИДИЙН ГАЙТАВ

Сухэ-Батор

Над гранитом тем
не властно время,
выкруглен колонною гранит:
имя, почитаемое всеми,
камень полированный хранит.
Ярко блещет камень благородный,
только имя светится огнем,
имя Сухэ-Батора на нем,
то, что стало гордостью народной.

Стало оно надежным,
стало крепким щитом,
в нем наши упованья,

оно — наш оплот и оружие,
стало оно непреложным —
стало высоким хребтом
Партии, Государства,
Независимости и Дружбы!

Сухэ —
это имя звучит красиво,
Сухэ —
это имя
стало символом силы!

Сухэ —
это воин сильный и верный,
а Батор —
символ отваги безмерной.
Каждое слово гремит, как лавина,
а слившись воедино
с другими словами,
взывает крылатым
именем — Сухэ-Батор!

И малые дети,
говорить научившись едва,
лепечут первые свои слова:
имя его произносят
сами!

Хотят они быть
такими, как он, храбрецами,
храбрыми быть
и честь хранить,
как он, Сухэ-Батор;
и учиться так, как учился когда-то
герой Сухэ-Батор!

Учитель Ленин
с Сухэ-Батором говорил,
другом своим называл,
руку ему крепко жал.
Говорил с ним как с сыном,
обогрел его своими речами:
из уст Сухэ-Батора он узнал
монголов сокровенные чаянья.

И стало Сухэ-Батора имя
именем моего народа,
а мысль Сухэ-Батора —
помыслами моего народа.

И на русской земле,
в золотом Кремле
революции вождь вдохновенный
Сухэ-Батору радостно протянул
руку помощи,
руку дружбы священной.

Все успехи и доблести нашей страны
Сухэ-Батора именем осенены,
и все сказанья нашей страны
Сухэ-Батора именем озарены!

Из года в год
светло и крылато
с нами во всем, не зная утрат,
славное имя твое — Сухэ-Батор,
гордое имя твое — Сухэ-Батор,
вечного Ленина
младший брат!

Перевел АЛЕКСАНДР ГОЛЕМБА.

ДАЛАНТАЙН ТАРВА

Мой отец

(Из поэмы)

I

Я выросла уже,
я стала взрослой,
А не припомню моего отца...
Мать говорит:
«Он сильный был и рослый».
Но ни походки, ни его лица
Мне не представить.
Только по рассказам,
По письмам, что зачитаны до дыр,
Отцовский облик
постигаю разом...
Войны не зная, зная только мир,
Не пережив все горе,
все лишения,
Что мать моя изведала сполна,
Я все-таки
имею представленье
О слове жутком, сумрачном — «война».
Есть гарь в душе,
есть мужество и твердость,
Упорство перед трудностями есть
И тайная
осознанная гордость:
Мне, дочери, хранить отцову честь!

II

Прошли года, но горе не молчит:
У матери душа — живая рана,
И у меня она кровоточит
Всегда, всю жизнь...
По капле. Постоянно.

Война!.. Она увечила бойцов
И тех, кто был вдали от поля боя,
Жизнь отнимала у мужей, отцов,
Лишала счастья жен,
детей — покоя.
И мой ребенок боль познает ту ж,
Услышав, как досталась нам победа:
У матери отец, у бабки муж
Убит на фронте,
внук лишился деда...
...Воспоминаний много,
от которых
У тех, кто жив,
еще болят сердца.
Ребенком
отразясь в отцовских взорах,
Не помню я, но — знаю я отца!

Перевел ГЕННАДИЙ ЯРОСЛАВЦЕВ.

БАЗАРЫН ШИРЕНДЫБ

По Хангайской земле¹

(Путевые заметки)

Мы ехали землей хангайской,
июльским зноем напоенной.
До Халиуна от Хангала²
был путь немалый — два уртона³

Обильным ливнем накануне
пополнило пути речные,
И буйно вверх тянулись травы
и первые грибы степные.

Мой спутник — уроженец Гоби —
был от Хангая в восхищенье.
Мы слушали ручьев журчанье,
воды следили с круч паденье.

И, низвергаясь вниз, в ущелье,
на солнце преломлялись струйки,
То нитью хрусталя тянулись,
а то дробились на чешуйки.

Вот этой чистой горной влаге
хангайцы, все мы знаем цену:
Она питает наши степи —
их плодородье неизменно.

¹ Горная область на севере центральной части МНР.

² Названия гор, а по ним сомонов (районов) в Булганском аймаке МНР.

³ Расстояние между почтовыми станциями (уртонами), сорок километров.

Широкая речная пойма —
и снова скалы. Едем мимо.
И ширь земли и высь над нами
поистине неизмеримы.

Волнующую беспредельность
раскинувшегося простора
Подчеркивают тучи в небе
и слившиеся с ними горы.

Где горы синие, где тучи —
на солнце разберешь не сразу...
В ущельях кряжисты, могучи
столетние дубы и вязы.

Над ними, зелены, пушисты —
верхушкой ввысь, корнями в недра, —
Распространяя дух смолистый,
стоят величественно кедры.

Вот, как серебряное древо
умельцев древних на Орхоне⁴,
В столице Ар когда-то живших, —
береза белая на склоне.

То ягодник, а то орешник
стеною плотной обступает.
Гобиец восторгался часто:
прекрасна, мол, земля Хангая,

Но всякий раз свою пристрастность
не мог тотчас не обнаружить
И добавлял: «Да, да, прекрасна...
И в Гоби есть места не хуже!»

Что ж, утверждение гобийца
меня нисколько не коробит.
Мне выпал случай восхититься
привольем, красотой Гоби.

Стада пасущихся джейранов,
цветущий лук на сопках малых,
Леса, зеленые поляны,
кустарник на полях и скалах —

Все, все гобийские пейзажи
достойны вашего вниманья.
Я, помню, видел там миражи:
то сказочные изваянья,

То городов великолепье
вдруг возникало перед взором,
А то холмов и сопок цепи,
вдаль уходящие дозором...

⁴ Река в МНР.

Нет, Гоби я не отвергаю,
 чту красоту ее. И все же
 Продолжим путь наш по Хангаю,
 а песнь о Гоби сложим позже...

...Рябят цветы, играют краски.
 Чуть слышно ветра дуновенье.
 Нигде в Монголии не встретишь
 столь щедрой роскоши цветенья!

Вдох ветерка уловит первый
 ковыль по чуткому наитью,
 И встрепенется каждый стебель
 пушистой шелковой нитью.

По берегам сухого русла
 вдали и рядом, справа, слева
 Волнами радужными плещут
 цветы купальниц, краснодрева.

А там, на горных перевалах,
 пленяют многоцветьем тона
 И густотой сочных красок
 большие дикие пионы.

Повсюду бабочки кружатся,
 цветочным ароматом пьяны,
 У родников в траве высокой
 гуляют важные турпаны⁶.

Журавль и аист гордо тянут
 изящно выгнутые шеи,
 Шагают медленно, степенно.
 Чей шаг размашистей, крупнее?

В Булганском аймаке в озерах
 тьма водоплавающей птицы,
 А вдоль ручьев в прибрежных норах
 многосемейный бобр ютится.

Живет пушистый юркий соболь
 в лесной непроходимой чаще,
 В горах — олень-свободолюбец,
 подвижен, чуток и изящен;

Сарлык — мохнатый бык сердитый.
 Среди холмов, в глухой низине
 Два сарлыка сошлись на битву,
 хвосты пред боем напружиня.

Потомки яка и коровы,
 по склонам гор хайнаки бродят,
 На вид огромны и суровы,
 но мирны — драки не заводят..

⁶ Птица, род гусиных.

И вот признался мой попутчик,
стада глазами провожая:
«Во всей Монголии нет лучше
и нет обильнее Хангая!»

Здесь были редкие селенья,
теперь их — многие десятки.
Хангайцы — наше поколение —
живут в довольстве и достатке.

Ничто в пути не ускользнуло
в тот день от нашего вниманья;
Машина с почтой промелькнула,
там новое белеет зданье;

Пряма, наезженна дорога,
столбов шеренга, новостройки...
В тот день увидели мы много,
и впечатленья наши стойки.

Среди хангайского приволья
труда людского всюду знаки:
В степи, распаханной под поле,
еще не убранные злаки

Под яркими лучами зреют.
Ковер из трав — нежнее шелка.
Косьбы и жатвы сроки спеют
механизаторам поселка.

Кумыс живительный в избытке.
И впрок перед страдою жаркой,
Чтоб жажду утолять, напитки
готовят девушки-доярки.

И чем дружной работа будет,
чем больше от трудов отдачи,
Тем заживут счастливей люди,
тем день их завтрашний богаче.

Мы ехали землей Хангая,
июльским зноем напоенной...
Мой край родной я с детства знаю,
вновь предо мной он — обновленный.

Земляк хангаец, не посетуй,
что восхищаюсь неумело,
Но я горжусь землею этой,
я предан ей душой и телом!

Перевел ГЕННАДИЙ ЯРОСЛАВЦЕВ.

ДАМДИНЦООГИЙН СОДНОМДОРЖ

Цветок

Он с виду красив был и ярок, возможно,
Ты мне протянула его осторожно,
И я растерялся, неопытным сердцем
Я счел его знаком судьбы непреложным.

Я принял подарок и тут же невольно
Вдруг руку отдернул — так стало ей больно:
Откуда же знать я заранее мог
О том, что шипами покрыт стебелек?

Красивый цветок принесла ты — и что же?
Шипы и колючки вонзились под кожу,
В ладони занозами так и остались
И были на острые иглы похожи.

Цветы собирала ты в поле широко
И этот цветок сорвала ненароком,
И, очень возможно, не думала ты,
Что боль причиняют иные цветы.

Перевел ГЕННАДИЙ ЯРОСЛАВЦЕВ.

ПУРЭВИЙН ХОРЛО

На рассвете

Кого сторожишь ты, светла и полна,
Повиснув над дремлющей степью, луна?
На девушку, новой Монголии дочь,
Глядела бы с неба ты целую ночь.
Ну что же! Едва начинает светать,
У привязи можно доярку застать:
Уже приодета, легка и стройна,
Повязана красным платочком она.
У девушки нынче торжественный вид:
Значок Ревсомола⁶ и орден горит
На новеньком дэле⁷, и ей, молодой,
От родины честь за высокий надой.
Чей в сердце хранит она пламенный взгляд?
Никто так, как юный табунщик, не рад
С дояркою поговорить невзначай.
Луна, ты следила за ним? Примечай!
Чуть набок из войлока шляпа на нем,
А дэл подпоясан широким ремнем.
Приветлив табунщик, и ловок, и смел,
Укрючным искусством вполне овладел:
И петля упруга и хватка верна —
Арканит легко в табуне скакуна.

⁶ Революционный Союз Молодежи.

⁷ Теплый зимний халат.

Глазами у привязи он отыскал
Доярку — кивнул ей и в степь ускакал.
А там, на востоке, заря занялась...
Вот так начинается утро у нас,
Так люди, живущие в нашем краю,
И гордость и радость являют свою!

Перевел ГЕННАДИЙ ЯРОСЛАВЦЕВ.

ЛУВСАНДАМБЫН ХУУШААН

Ночью в пути

Суровых скал нагроможденье
в ночь зимнюю еще суровой;
Над горным гребнем тонкий месяц —
подобие девичьей брови.
Мерцанье звезд подслеповатых —
миганье чьих-то сонных глазок;
В оцепенении и стуже
случайный звук тягуч и вязок.
Заиндевевший подседельник
шуршит под меховым гутулом⁸,
Вверх, к перевалу, шаг усталый
в ущелье отдается гулом.
Не стужей, не дорогой дальней —
одной разлукою томимый,
Коня в горах торопит всадник,
спешит увидеться с любимой.

Перевел ГЕННАДИЙ ЯРОСЛАВЦЕВ.

⁸ Сапоги на войлочной подошве.



ГАБРИЭЛЬ ГАРСИА МАРКЕС

★

НЕДОБРЫЙ ЧАС

Роман

Габриэль Гарсиа Маркес (родился в 1928 году) — колумбийский писатель. Первая книга Гарсиа Маркеса, повесть «Палая листва», вышла в свет в 1955 году. За ней последовали повесть «Полковнику никто не пишет» (1958), роман «Недобрый час» (1962), сборник рассказов «Похороны Великой Мамы» (1962) и роман «Сто лет одиночества» (1967). Роман этот, переведенный на многие языки, в том числе и на русский, принес автору мировую известность и был первой книгой, познакомившей советского читателя с творчеством Габриэля Гарсиа Маркеса.

I

Падре Анхель величественно приподнялся и сел. Костяшками пальцев потер веки, откинул москитную сетку и, по-прежнему сидя на голой циновке, задумался ровно на столько времени, сколько нужно, чтобы почувствовать, что ты жив, и вспомнить, какой сегодня день и какие святые на него приходятся. «Вторник, четвертое октября», — и сказал вполголоса:

— Святой Франциск Ассизский.

Не умывшись и не помолившись, падре оделся. Он был большой, краснощекий, с монументальной статью укрощенного быка, и двигался он тоже как укрощенный бык, неторопливо и печально. Пройдясь пальцами по пуговицам сутаны с тем же ленивым вниманием, с каким, садясь играть, пробегает пальцами по струнам арфы, он вынул засов и открыл дверь в патио. Туберозы под дождем напомнили ему слова песни.

— «От слез моих разольется море», — произнес он со вздохом.

Спальню соединяла с церковью замощенная неплотно пригнанными каменными плитами крытая галерея, по сторонам которой стояли ящики с цветами. Между плит пробивалась октябрьская трава. Прежде чем направиться в церковь, падре Анхель зашел в уборную. Обильно помочился, стараясь не вдыхать аммиачный запах, такой сильный, что слезились глаза. Выйдя оттуда в галерею, вспомнил: «Меня унесет в твои грезы». Входя в узкую заднюю дверь церкви, он в последний раз почувствовал аромат тубероз.

В самой церкви пахло затхлостью. Неф был длинный, тоже вымощенный неплотно пригнанными каменными плитами и с выходом на площадь. Падре Анхель направился прямо в звонницу. Увидев высоко над головой гири часов, подумал, что завода хватит еще на неделю. Его атаковали москиты. Яростно хлопнув себя по затылку, он раздавил одного и вытер руку о веревку колокола. Потом услышал над головой утробный скрежет сложного механизма, а вслед за ним глухие, глубокие пять ударов — по числу наступивших часов; казалось, что раздаются они у него в животе.

Он подождал, пока затихнет эхо последнего удара, а потом схватил веревку, намотал ее на руку и самозабвенно ударил в треснувшую медь колоколов. Ему

исполнился шестьдесят один год. Звонить в колокола каждый день в его возрасте было уже трудно, но все же прихожан на мессу он созывал всегда сам, и усилия, которые для этого требовались, только укрепляли его дух.

Колокола еще звонили, когда Тринидад, сильно толкнув с улицы входную дверь, приотворила ее и вошла. Она направилась в угол, где накануне вечером поставила мышеловки. Мертвые мыши, которых она увидела, вызвали в ней одновременно радость и отвращение.

Открыв первую мышеловку, она двумя пальцами взяла мышь за хвост и бросила ее в большую картонную коробку. Падре Анхель распахнул дверь настежь.

— Добрый день, падре, — поздоровалась Тринидад.

Но его красивый баритон не отозвался. Безлюдная площадь, спящие под дождем миндальные деревья, весь городок, неподвижный в безрадостном октябрьском рассвете, пробудили в нем ощущение одиночества. Однако, когда уши его привыкли к шуму дождя, ему стал слышен с противоположной стороны площади кларнет Пастора, звучащий чисто, но как-то призрачно. Только после этого ответил он на приветствие и добавил:

— С теми, кто пел серенаду, Пастора не было.

— Не было, — подтвердила Тринидад, наклоняясь к коробке с мертвыми мышами. — Он был с гитаристами.

— Часа два распевали какую-то глупую песенку, — сказал падре. — «От слез моих разольется море» — так, кажется?

— Это новая песня Пастора, — сказала Тринидад.

Падре стоял перед открытой дверью как зачарованный. Уже много лет он слышал игру Пастора — каждый день в пять утра тот садился упражняться на кларнете, придвинув табуретку к подпорке своей голубятни, метрах в ста от церкви. Будто у городка был механизм, который работал с неизменной точностью: сначала, в пять утра, бой часов — пять ударов, вслед за ними звон колокола, зовущего к мессе, и наконец кларнет Пастора в патио его дома, очищающий ясными и прозрачными нотами воздух, насыщенный запахом голубиного помета.

— Музыка хорошая, — снова заговорил падре, — а слова глупые. Как ни переставляй, все одно: «От слез моих разольются грезы, меня унесут в твоё море».

Он повернулся, улыбаясь собственному остроумию, и пошел зажигать свечи. Тринидад последовала за ним. На ней был белый халат до пят, с длинными рукавами и голубой шелковой лентой — знаком светской конгрегации¹. Глаза под сросшимися бровями были как два черных уголька.

— Всю ночь ходили где-то поблизости, — сказал падре.

— У дома Марго Рамирес, — рассеянно сказала Тринидад, встряхивая коробку с мышами. — Сегодня ночью было кое-что почище серенады.

Падре остановился и устремил на нее взгляд безмолвных голубых глаз.

— Что было?

— Листки, — с нервным смешком ответила Тринидад.

Сесару Монтеро, через три дома от церкви, снились слоны. В воскресенье он их видел в кино, но за полчаса до конца сеанса хлынул дождь, и теперь он досматривал картину во сне.

Повернувшись, он всем телом тяжело привалился к стене, и насмерть перепуганные туземки, спасаясь от стада слонов, бросились врассыпную. Жена слегка толкнула его, но ни она, ни он не проснулись.

— Мы уходим, — пробормотал Сесар Монтеро и вернулся в прежнее положение, а потом проснулся — в то самое мгновение, когда второй раз зазвонили к мессе.

Окно и дверь в комнате затягивали проволочные сетки. Окно выходило на площадь и было задернуто гардиной из кретона в желтых цветочках. На ночном

¹ У католиков — объединение полумонашеских общин, следующее одному уставу. (Здесь и далее примечания переводчика.)

столике стояли портативный приемник, настольная лампа и часы со светящимся циферблатом. Напротив у стены высился огромный зеркальный шкаф.

Сесар Монтеро услышал кларнет Пастора, когда уже надевал ботинки для верховой езды. Шнурки из грубой кожи залубенели от грязи; он потянул их с силой, медленно пропуская сквозь сжатую в кулак ладонь, которая была грубей самих шнурков. Потом начал искать шпоры, под кроватью их не оказалось. Он продолжал одеваться в полутьме, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить жену. Застегивая рубашку, посмотрел на часы и снова начал искать шпоры под кроватью: сперва пошарил рукой, потом стал на четвереньки и заглянул под кровать. Жена проснулась.

— Что ты ищешь?

— Шпоры.

— Висят за шкафом, — сказала она. — Ты их туда повесил еще в субботу.

Она отдернула москитную сетку, зажгла свет, и он, смущенный, поднялся с пола. Массивный, с квадратной спиной, он двигался легко, хотя казалось, что подметки его ботинок для верховой езды вырезаны из дерева. В здоровье его было что-то звериное. Определить возраст Сесара Монтеро было невозможно, однако морщины на шее говорили, что ему уже за пятьдесят. Он сел на кровать и начал надевать шпоры.

— Все льет и льет, — сказала жена, ощущая своими тонкими, как у подростка, костями впитанную ими за ночь сырость. — Я совсем как губка.

Маленькая, худая, с длинным острым носом, она всегда казалась сонной. Теперь она пыталась разглядеть сквозь гардину дождь. Сесар Монтеро наконец пристегнул шпоры, встал и несколько раз приотпнул ботинками. Звон медных шпор отдался по всему дому.

— В октябре ягуар жиреет, — сказал он.

Но супруга не услышала, зачарованная звуками кларнета. Когда она снова на него посмотрела, он, широко расставив ноги и наклонив голову, причесывался перед шкафом. Зеркало не вмещало его.

Она негромко напевала мелодию Пастора.

— Бренчали это всю ночь, — сказал он.

— Очень красивая мелодия, — отозвалась жена.

Сняв со спинки кровати ленту, она связала ею волосы на затылке и, уже совсем проснувшись, сказала со вздохом:

— «И там я останусь до смерти».

Он не обратил на нее никакого внимания. Из ящика шкафа, где лежали несколько колец, женские часики и авторучка с вечным пером, он достал бумажник и, вынув четыре банкноты, положил его на место, потом сунул в карман рубашки шесть ружейных патронов.

— Если дождь не кончится, я в субботу не приеду, — сказал он жене.

Отворив дверь в патио, Сесар Монтеро остановился на пороге, дыша хмурым запахом октября, и стоял там, пока глаза не привыкли к темноте. Он уже собрался закрыть за собой дверь, когда в спальне затрещавил будильник.

Жена прыгнула с постели. Он стоял, держась за задвижку, пока она не заставила будильник умолкнуть. Тогда, думая о чем-то своем, он посмотрел на нее в первый раз за все это время.

— Сегодня я видел во сне слонов, — сказал он.

Закрыв за собой дверь, Сесар Монтеро пошел седлать мула.

Перед третьими колоколами дождь усилился. Порыв ветра, как будто взметнувшийся с земли, сорвал с миндальных деревьев на площади последние сухие листья. Фонари погасли, но двери домов по-прежнему были наглухо закрыты. Сесар Монтеро въехал на муле под навес кухни и, не слезая с седла, крикнул жене, чтобы она принесла плащ. Он стащил двустолку, висевшую у него за спиной, и ремнями седла закрепил ее горизонтально. Жена принесла плащ.

— Может, подождешь, пока перестанет? — неуверенно спросила она.

Не ответив, он надел плащ и посмотрел в патио, на дождь.

— До декабря не перестанет.

Она провожала его взглядом, пока он не выехал с галереи. Дождь с шумом рушился на ржавые листы крыши, но его это не остановило. Он прищпорил мула, и ему пришлось пригнуться в седле, чтобы, выезжая из патио, не удариться головой о косяк. Дробинки капель с карниза расплющились о его плечи. Не оборачиваясь он крикнул с порога:

— До субботы!

— До субботы, — отозвалась она.

На площади была только одна открытая дверь — дверь церкви. Сесар Монтеро посмотрел вверх и увидел небо, тяжелое и низкое, почти над самой головой. Он перекрестился, прищпорил мула и, подняв его на дыбы, заставил покружиться, пока тот наконец не обрел устойчивости на скользкой, как мыло, земле. Тогда-то он и увидел листок, приклеенный к двери его дома.

Он прочитал его, не слезая с мула. От воды написанное поблекло, но все же слова из выведенных кистью жирных печатных букв разобрать было можно. Поставив мула вплотную к стене, Сесар Монтеро сорвал листок и разорвал его в клочья.

Он хлестнул мула уздечкой и погнал мелкой ровной рысцей, рассчитанной на много часов пути. Выехав с площади, он углубился в узкую кривую улочку, вившуюся между глинобитных домов, двери которых, открываясь, выпускали жар сна. Откуда-то потянуло запахом кофе, и только когда последние дома городка остались позади, он повернул мула и все той же мелкой и ровной рысцей повел его назад, к площади. Он остановил его около дома Пастора. Там он неторопливо слез с седла, отвязал ружье и привязал мула к бревну, подпиравшему стену.

Засова на двери не было, была только толстая большая пружина. Сесар Монтеро вошел в маленькую полутемную гостиную и услышал высокую ноту, за которой последовало напряженное безмолвие. Прошел мимо четырех стульев, стоявших вокруг небольшого стола; на шерстяной скатерти красовалась ваза с искусственными цветами. Наконец, остановившись перед дверью, которая выходила в патио, он откинул с головы капюшон плаща и спокойно, почти дружелюбно позвал:

— Пастор!

В дверном проеме появился Пастор, отвинчивавший мундштук кларнета. Это был худощавый юноша с пушком на верхней губе — он уже подрезал его ножницами. Увидев Сесара Монтеро — как тот стоит, упершись каблуками в земляной пол, с ружьем, нацеленным прямо в него, — Пастор открыл рот, но ничего не сказал, только поблел и улыбнулся. Сесар Монтеро твердо уперся ногами в землю, плотно прижал приклад к плечу, а потом, стиснув зубы, нажал спусковой крючок. От выстрела вздрогнул дом, но Сесар Монтеро не мог сказать, до или после этого он увидел, как Пастор извивается по ту сторону двери, словно червяк, на земле, усыпанной окровавленными перьями.

Алькальд как раз начинал засыпать, и тут вдруг прогремел выстрел. Терзаемый зубной болью, он провел без сна уже три ночи. Этим утром, когда зазвонили к мессе, он принял восьмую таблетку. После этого боль стихла. Монотонный стук дождевых капель по железной крыше помог заснуть, однако и во сне он чувствовал: зуб хотя и не болит, но все же пульсирует. Выстрел разбудил алькальда, и он сразу схватился за пояс с патронташами и револьвером, который всегда клал на стул слева от гамака, чтобы в любой момент до него дотянуться. Не слыша ничего, кроме шума дождя, он подумал, что выстрел ему приснился, — и в это время зуб заболел снова.

Температура у него была немного повышенная, и, посмотрев в зеркало, он увидел, что щека распухла. Он открыл баночку вазелина с ментолом и натер опухшую щеку, затвердевшую и небритую. Внезапно сквозь дождь до него донеслись далекие голоса. Алькальд вышел на балкон. Из домов выбегали люди, некоторые были полураздеты, и все бежали по направлению к площади. Какой-то мальчик на бегу повернул к нему голову и, взметнув руками, прокричал:

— Сесар Монтеро убил Пастора!

На площади Сесар Монтеро вертелся, целясь из ружья в окружавшую его толпу. Алькальд с трудом узнал его и, вытащив из кобуры револьвер, двинулся к центру площади. Люди расступались, давая ему дорогу. Из бильярдной выскочил полицейский с винтовкой и прицелился в Сесара Монтеро. Алькальд негромко сказал ему:

— Не стреляй, скотина.

Сунув револьвер в кобуру, он вырвал у полицейского винтовку и продолжал путь по площади. Люди стали прижиматься к стенам.

— Сесар Монтеро, — крикнул алькальд, — отдай ружье!

Только теперь, обернувшись на голос алькальда, Сесар Монтеро его увидел. Алькальд держал палец на спусковом крючке, но не стрелял.

— А ты возьми сам! — крикнул Сесар Монтеро.

Поддерживая винтовку левой рукой, алькальд правой вытер со лба пот. Он двигался, рассчитывая каждый шаг, палец по-прежнему на спусковом крючке, взгляд прикован к Сесару Монтеро. Внезапно остановившись, алькальд сказал дружелюбно:

— Брось ружье на землю, Сесар, довольно глупостей!

Сесар Монтеро попятился. Алькальд держал палец на спусковом крючке, пока Сесар Монтеро не выпустил ружье из рук и оно не упало на землю. Только тогда алькальд заметил, что на нем одни лишь пижамные штаны, что он мокрый от дождя и пота и что зуб не болит.

Двери домов стали открываться. Двое полицейских с винтовками побежали по площади, за ними устремилась толпа. Оборачиваясь на бегу и наставляя на людей дула винтовок, полицейские кричали:

— Назад!

Ни на кого не глядя, почти не повышая голоса, алькальд приказал:

— Разойдись!

Толпа рассеялась. Не снимая с Сесара Монтеро плаща, алькальд обыскал его. В кармане рубашки он нашел четыре патрона, а в заднем кармане брюк — наваху с рукояткой из рога. В другом кармане он нашел записную книжку, три ключа на кольце и четыре бумажки по сто песо. Сесар Монтеро, разведя руки в стороны, с невозмутимым видом дал себя обыскать, почти не двигаясь, чтобы облегчить алькальду эту процедуру. Закончив, алькальд подозвал полицейских и передал им Сесара Монтеро вместе с изъятыми у него вещами.

— Отведите на второй этаж, — произнес он. — Вы за него отвечаете.

Сесар Монтеро снял с себя плащ, отдал его одному из полицейских и пошел между ними, не замечая дождя и волнения толпы. Алькальд проводил его задумчивым взглядом, потом повернулся к толпе, махнул рукой, словно разгоняя кур, и прокричал:

— Всем разойтись!

А потом, отирая рукой пот с лица, пересек площадь и вошел в дом Пастора.

Ему пришлось проталкиваться между растерянными, бестолково мечущимися людьми. Мать Пастора лежала, скорчившись, в кресле, окруженная женщинами, которые с беспощадным рвением обмахивали ее веерами. Алькальд потянул одну из них за рукав.

— Не лишайте ее воздуха, — сказал он.

Женщина обернулась:

— Она только собиралась к мессе!

— Все это прекрасно, — сказал алькальд, — но сейчас дайте ей дышать.

Пастор лежал ничком в галерее, около голубятни, на ложе из окровавленных перьев. Сильно пахло голубиным пометом. В тот миг, когда в проеме двери появился алькальд, несколько мужчин пытались поднять тело.

— Разойдись! — крикнул он.

Мужчины опустили тело на перья и, оставив его в том же положении, в каком нашли, молча отступили. Окинув труп взглядом, алькальд перевернул его. Посыпались крохотные перышки, только на живот их налипло много, пропитанных теплой, еще живой кровью. Он счистил их руками. Пряжка ремня была раз-

дроблена, рубашка разорвана. Приподняв рубашку, алькальд увидел внутренности. Кровь из раны уже не шла.

— Из такого ружья только тигров убивать, — сказал кто-то.

Алькальд встал и, не отрывая взгляда от трупа, обтер руку в окровавленных перьях о подпорку голубятни, потом вытер ее о пижамные штаны.

— Не трогайте, — сказал он.

— Так и оставите его тут валяться? — спросил один из мужчин.

— Вынос трупа надо оформить по закону, — отозвался алькальд.

В доме запричитали женщины. Сквозь плач и удушающие запахи, казалось, вытеснившие из дома воздух, алькальд пробился наружу. На пороге он столкнулся с падре.

— Убили! — взволнованно воскликнул тот.

— Как барана, — подтвердил алькальд.

Двери домов были открыты. Дождь прекратился, но просветов в свинцовом небе, нависшем над крышами, видно не было. Падре Анхель схватил алькальда за руку повыше локтя.

— Сесар Монтеро человек добрый, — сказал он. — В тот миг у него, наверно, помрачился рассудок.

— Знаю, — нетерпеливо отозвался алькальд. — Не беспокойтесь, падре, ему ничего не грозит. Входите, вы как раз здесь нужны.

Он приказал полицейским, стоявшим у входа, уйти с поста и, круто повернувшись, зашагал прочь. Толпа, до этого державшаяся поодаль, хлынула в дом. Алькальд зашел в бильярдную, куда один из полицейских принес его форму лейтенанта.

Обычно заведение в этот час бывало закрыто, но сегодня еще не пробило семи, а оно уже было переполнено. Сидя за столиками или у стойки, посетители пили кофе. Большинство было в пижамах и шлепанцах. Алькальд разделся при всех, вытерся кое-как пижамными штанами и, прислушиваясь к разговорам, стал молча надевать форму. Уходя из бильярдной, он уже знал все подробности случившегося.

— Смотрите у меня! — крикнул он с порога. — Будете наводить панику — всех посажу!

И он зашагал по вымощенной булыжником улице, ни с кем не здороваясь, чувствуя, как взбудоражен городок. Он был молод, двигался легко и ловко и каждым гулким шагом напоминал жителям городка о своем существовании.

В семь часов прогудели, отчаливая, баркасы, прибывавшие по реке три раза в неделю за грузом и пассажирами, но сегодня люди не обратили на это никакого внимания. Алькальд прошел по торговому ряду, где сирийцы уже начинали раскладывать на прилавках свои яркие, пестрые товары. Доктор Октавио Хиральдо, мужчина неопределенного возраста, с блестящими, словно лаком покрытыми кудрями, смотрел из дверей своей приемной, как баркасы плывут вниз по реке. Он тоже был в пижаме и шлепанцах.

— Доктор, — сказал алькальд, — оденьтесь, придется пойти сделать вскрытие.

Врач удивленно посмотрел на него и, показав два ряда крепких белых зубов, отозвался:

— Значит, теперь будем делать вскрытия? Прогресс.

Алькальд хотел улыбнуться, но распухшая щека сразу же напомнила о себе. Он прижал ко рту руку.

— Что с вами? — спросил врач.

— Проклятый зуб.

Доктор Хиральдо явно был расположен поговорить, но алькальд торопился.

У конца набережной он постучал в дверь дома с чистыми бамбуковыми стенами и кровлей из пальмовых листьев, край которой почти касался воды. Ему открыла женщина с зеленовато-бледной кожей, на последнем месяце беременности, босая. Алькальд молча отстранил ее и вошел в маленькую гостиную, где царил полумрак.

— Судья! — позвал он.

В проеме внутренней двери появился, шаркая деревянными подметками, судья Аркадио. Кроме хлопчатобумажных штанов, сползавших с живота, на нем ничего не было.

— Собирайтесь, надо оформить вынос трупа, — сказал алькальд.

Судья Аркадио удивленно присвистнул:

— С чего это вдруг?

Алькальд прошел за ним в спальню.

— Тут особый случай, — сказал он, открывая окно, чтобы очистить наполненный миазмами сна воздух. — Лучше сделать все как положено.

Он отер пыльные ладони о выглаженные брюки и без малейшей иронии спросил:

— Вы знаете, как оформляется вынос трупа?

— Конечно, — ответил судья.

Алькальд подошел к окну и оглядел свои руки.

— Вызовите секретаря, придется писать, — продолжал он все так же серьезно и, повернувшись к молодой женщине, показал руки. На ладонях были следы крови. — Где можно вымыть?

— В фонтане, — сказала она.

Алькальд вышел в патио. Женщина достала из сундука чистое полотенце, завернула в него кусок туалетного мыла и собралась выйти вслед за алькальдом, но тот, отряхивая руки, уже вернулся.

— Я несла вам мыло, — сказала она.

— Ничего, и так сойдет, — ответил алькальд.

Он снова посмотрел на свои руки, взял у нее полотенце и вытер их, задумчиво поглядывая на судью Аркадио.

— Пастор был весь в голубиных перьях, — сказал он.

Потом сел на постель и, медленно прихлебывая из чашки черный кофе, дождался, пока судья Аркадио оденется. Женщина проводила их до выхода из гостиной.

— Пока не удалите этот зуб, опухоль у вас не спадет, — сказала она алькальду.

Тот, подталкивая судью Аркадио к выходу, обернулся и дотронулся пальцем до ее раздувшегося живота.

— А вот эта опухоль когда спадет?

— Уже скоро, — ответила она ему.

Вечером падре Анхель так и не вышел на обычную прогулку. После похорон он зашел побеседовать в один из домов в нижней части городка и допоздна задержался там. Во время продолжительных дождей у него, как правило, начинала болеть поясница, но на этот раз он чувствовал себя хорошо. Когда он подходил к своему дому, фонари на улицах уже зажглись.

Тринидад поливала в галерее цветы. Падре спросил у нее, где неосвященные облатки, и она сказала, что отнесла их в большой алтарь.

Стоило ему зажечь свет, как его тут же окутало облачко москитов. Падре оставил дверь открытой и, чихая от дыма, окурив комнату инсектицидом. Когда он закончил, с него ручьями лил пот. Сменив черную сутану на залатанную белую, которую носил дома, он пошел помолиться богоматери.

Вернувшись в комнату, он поставил на огонь сковороду, бросил на нее кусок мяса и стал нарезать лук. Потом, когда мясо изжарилось, положил его на тарелку, где лежали еще с обеда кусок вареной маниоки и немного риса, перенес тарелку на стол и сел ужинать.

Ел он, отрезая маленькие кусочки мяса и нагребая на них рис. Пережевывал тщательно, не спеша, с плотно закрытым ртом, размалывая все до последней крошки хорошо запломбированными зубами. Когда работал челюстями, клал вилку и нож на край тарелки и медленно обводил комнату пристальным, словно изучающим взглядом. Прямо напротив стоял шкаф с объемистыми томами цер-

ковного архива, в углу — плетеная качалка с высокой спинкой и прикрепленной на уровне головы расшитой подушечкой. За качалкой — ширма, на которой висели распятие и календарь с рекламой эликсира от кашля. За ширмой стояла его кровать.

К концу ужина падре Анхель почувствовал удушье. Он налил полную чашку воды, вынул из обертки гуайявовую мармеладку и, глядя на календарь, начал ее есть. Откусив, запивал водой, не отрывая от календаря взгляда, и наконец рыгнул и вытер рукавом губы. Уже девятнадцать лет ел он так, один в своей комнате, со скрупулезной точностью повторяя каждое движение. Одиночество никогда его не тяготило.

Когда падре Анхель кончил молиться, Тринидад снова попросила у него денег на мышьяк. Падре отказал ей в третий раз и добавил, что можно обойтись мышеловками.

— Самые маленькие мышки утаскивают из мышеловок сыр и не попадают. Лучше сыр отравить, — возразила Тринидад.

Ее слова убедили падре, и он уже собрался ей об этом сказать, но тут тишину церкви нарушил мощный громкоговоритель в кинотеатре напротив. Сперва послышался хрип, потом звуки иглы, царапающей пластинку, а вслед за этим пронзительно запела труба и началось мамбо.

— Сегодня будет картина? — спросил падре.

Тринидад кивнула.

— А какая, не знаешь?

— «Тарзан и зеленая богиня», — ответила Тринидад. — Та самая, которую в воскресенье не кончили из-за дождя. Ее можно смотреть всем.

Падре Анхель пошел в звонницу и, делая паузы, отбил двенадцать ударов. Тринидад была изумлена.

— Вы ошиблись, падре! — воскликнула она, взмахнув руками, и по блеску глаз было видно, как велико ее изумление. — Эту картину можно смотреть всем! Помните — в воскресенье вы не звонили.

— Но ведь сегодня это было бы бестактно, — сказал падре, вытирая потную шею, и, отдуваясь, повторил: — Бестактно.

Тринидад поняла.

— Надо было видеть эти похороны, — сказал падре. — Все мужчины рвались нести гроб.

Отпустив девушку, он затворил дверь, выходящую на безлюдную сейчас площадь, и погасил огни храма. Уже в галерее, на пути в свою комнату падре хлопнул себя по лбу, вспомнив, что не дал Тринидад денег на мышьяк, но тут же, пройдя всего несколько шагов, снова позабыл об этом.

Он сел за рабочий стол дописать начатое накануне письмо. Расстегнув до пояса сутану, придвинул к себе блокнот, чернильницу и промокательную бумагу; другая рука ощупывала карманы в поисках очков. Потом вспомнил, что они остались в сутане, в которой он был на похоронах, и поднялся за ними. Едва он перечитал написанное накануне и начал новый абзац, как в дверь три раза постучали.

— Войдите!

Это был владелец кинотеатра. Маленький, бледный, прилизанный, он производил впечатление человека, смирившегося со своей судьбой. На нем был белый, без единого пятнышка полотняный костюм, на ногах двцветные полуботинки. Падре Анхель жестом пригласил его сесть в плетеную качалку, но тот вынул из кармана носовой платок, аккуратно развернул его, обмахнул скамью и сел на нее, широко расставив ноги. И только тут падре понял: на поясе у владельца кино висит не револьвер, как ему казалось раньше, а карманный фонарик.

— К вашим услугам, — сказал падре Анхель.

— Падре, — придушено проговорил тот, — простите, что вмешиваюсь в ваши дела, но сегодня вечером вы, похоже, ошиблись.

Падре кивнул и приготовился слушать дальше.

— «Тарзана и зеленую богиню» можно смотреть всем,— продолжал владелец кино.— В воскресенье вы сами это признали.

Падре хотел прервать его, но владелец кино поднял руку, показывая, что он еще не кончил:

— Я не возражаю, когда запрет оправдан, потому что действительно бывают фильмы аморальные. Но в том фильме ничего такого нет. Мы даже думали показать его в субботу на детском сеансе.

— Правильно — в списке, который я получаю ежемесячно, никаких замечаний морального порядка нет,— сказал падре Анхель.— Однако показывать фильм сегодня, когда в городке убит человек, было бы неуважением к его памяти. А ведь это тоже аморально.

Владелец кинотеатра уставился на него.

— В прошлом году полицейские убили в кино человека, мертвеца вытащили, и сеанс возобновился!

— А теперь будет по-иному,— сказал падре,— алькальд стал другим.

— Подойдут новые выборы — опять начнутся убийства,— запальчиво возразил владелец кино.— Так уж повелось в этом городке с тех пор, как он существует.

— Увидим,— отозвался падре.

Владелец кинотеатра укоризненно посмотрел на священника, но когда, изнемогая от жары, он потряс рубашку и заговорил снова, голос его звучал протестительно.

— За год это третья картина, которую можно смотреть всем,— сказал он.— В воскресенье три части не удалось показать из-за дождя, и люди очень хотят узнать, какой конец.

— Колокол уже прозвонил,— сказал падре.

У владельца кинотеатра вырвался вздох отчаянья. Он замолчал, глядя в лицо священнику, уже не в состоянии думать ни о чем, кроме невыносимой духоты.

— Выходит, ничего нельзя сделать?

Падре Анхель едва заметно кивнул.

Хлопнув ладонями по коленям, владелец кинотеатра встал.

— Что ж,— сказал он,— ничего не поделаешь.

Сложив платок, он вытер им потную шею и обвел комнату суровым и горьким взглядом.

— Прямо как в преисподней,— сказал он.

Падре проводил его до двери, закрыл ее на засов и сел заканчивать письмо. Перечитав его с самого начала, дописал незаконченный абзац и задумался. Музыка, доносившаяся из громкоговорителя, внезапно оборвалась.

— Доводится до сведения уважаемой публики,— зазвучал из динамика бесстрастный голос,— что сегодняшней вечерний сеанс отменяется, так как администрация кинотеатра хочет вместе со всеми выразить свое соболезнование...

Узнав голос владельца кинотеатра, падре Анхель улыбнулся.

Становилось все жарче. Священник продолжал писать, отрываясь лишь затем, чтобы вытереть пот и перечитать написанное, и исписал целых два листа. Он уже подписывался, когда хлынул дождь. Комнату наполнили испарения влажной земли. Падре Анхель надписал конверт, закрыл чернильницу и хотел было сложить письмо вдвое, но остановился и перечитал последний абзац. После этого, снова открыв чернильницу, он добавил постскрипту: «Опять дождь. Такая зима и события, о которых я рассказывал выше, наводят на мысль, что впереди нас ожидают горькие дни».

II

В пятницу рассвет был сухой и теплый. Судья Аркадио, очень гордившийся тем, что с тех пор, как начал заниматься любовью, всегда любил по три раза за ночь, этим утром в лучший момент оборвал шнурки, на которых держалась москитная сетка, и они с женой, запутавшись в ней, свалились на пол.

— Оставь так, — пробормотала она, — потом поправлю.

Они вынырнули, голые, из клубящегося тумана прозрачной ткани. Судья Аркадио пошел к сундуку и достал чистое белье. Когда он вернулся, жена, уже одетая, прилаживала москитную сетку. Не взглянув на нее, он прошел мимо и, все еще тяжело дыша, сел с другой стороны кровати обуться. Она подошла и, прижавшись к его плечу круглым тугим животом, слегка закусил зубами его ухо. Мягко отстранив ее, он сказал:

— Не трогай меня.

Она ответила жизнерадостным смехом и, последовав за ним, ткнула его у самой двери указательными пальцами в спину:

— Н-но, ослик!

Подпрыгнув, судья Аркадио оттолкнул ее руки. Она оставила его в покое и снова засмеялась, но внезапно, сделавшись серьезной, воскликнула:

— Боже!

— Что случилось?

— Дверь, оказывается, была настежь! Ой, какой стыд!

И она с хохотом пошла мыться.

Судья Аркадио не стал дожидаться кофе и, ощущая во рту мятную свежесть зубной пасты, вышел на улицу.

Солнце казалось медным. Сирийцы, сидя у дверей своих лавок, созерцали мирную реку. Проходя мимо приемной доктора Хиральдо, судья провел ногтем по металлической сетке двери и крикнул:

— Доктор, какое самое лучшее лекарство от головной боли?

Голос врача ответил:

— Не пить на ночь.

На набережной несколько женщин громко обсуждали содержание нового листка, появившегося этой ночью. Рассвет был ясный, без дождя, и женщины, направлявшиеся к пятичасовой мессе, увидели и прочитали листок, и теперь уже о нем знали все. Судья Аркадио не остановился: у него было чувство, будто его, как быка за кольцо в носу, тянут к бильярдной. Там он попросил холодного пива и таблетку от головной боли. Только что пробило девять, но заведение было уже переполнено.

— У всего городка головная боль, — сказал судья Аркадио.

Взяв бутылку, он пошел к столику, за которым с растерянным видом сидели перед стаканами пива трое мужчин, и опустился на свободное место.

— Опять? — спросил он.

— Утром нашли еще четыре.

— Про Ракель Контрерас читали все, — сказал один из мужчин.

Судья Аркадио разжевал таблетку и глотнул прямо из бутылки. Первый глоток был неприятен, но потом желудок привык, и вскоре он почувствовал себя вновь родившимся.

— Что же там было написано?

— Гадости, — ответил мужчина. — Что уезжала она в этом году не коронки на зубы ставить, а делать аборт.

— Стоило об этом сообщать! — фыркнул судья Аркадио. — Это и так все знают.

Когда он вышел из бильярдной, от обжигающего солнца болели глаза, но утреннее недомоганье прошло. Он направился прямо в суд. Его секретарь, худощавый старик, занятый ощипыванием курицы, изумленно уставился на него поверх очков:

— Что сие означает?

— Надо что-то предпринимать с листками.

Шаркая домашними туфлями, секретарь вышел в патио и через забор передал наполовину ощипанную курицу гостиничной поварихе.

Через одиннадцать месяцев после того, как он вступил в должность, судья Аркадио впервые сел за судейский стол. Деревянный барьер делил запущенную комнату на две части. В передней части, под картиной, изображавшей богиню

правосудия с повязкой на глазах и весами в руке, стояла скамья, тоже деревянная. Во второй половине комнаты стояли два старых письменных стола один против другого, этажерка с запыленными книгами и на маленьком столике — пишущая машинка. На стене, над креслом судьи, висело медное распятие, а на противоположной стене литография в рамке — толстый, лысый, улыбающийся человек с президентской лентой через плечо, и под ним надпись золотыми буквами: «Мир и Правосудие». Литография была единственным новым предметом в комнате.

Закрыв лицо чуть не до самых глаз носовым платком, секретарь принялся сметать пыль со столов метелкой из перьев.

— Если не закроете нос, будете чихать, — сказал он судье Аркадио.

Совет был оставлен без внимания. Судья Аркадио вытянул ноги и, откинувшись во вращающемся кресле, попробовал пружины сиденья.

— Не переворачивается? — спросил он.

Секретарь отрицательно мотнул головой.

— Когда убивали судью Вителу, пружины выскочили, но теперь все отремонтировано. — И, дыша по-прежнему через платок, добавил: — Алькальд сам велел его починить, когда правительство сменилось и начали разъезжать ре-визоры.

— Алькальд хочет, чтобы суд работал, — отозвался судья.

Выдвинув средний ящик, он достал из него связку ключей и начал открывать один за другим остальные ящики стола. Они были набиты бумагами, и судья Аркадио, бегло листая их, убедился, что там нет ничего заслуживающего внимания. Потом, заперев ящики, привел в порядок письменные принадлежности — стеклянный прибор с двумя чернильницами, для синих и красных чернил, и две ручки тех же цветов. Чернила давно высохли.

— Вы алькальду пришлось по душе, — сказал секретарь.

Раскачиваясь в кресле, судья угрюмо наблюдал, как тот смахивает пыль с барьера. Секретарь посмотрел на него так, словно хотел навсегда запечатлеть в своей памяти именно таким, каким видел в этот миг, при этом освещении, а потом, ткнув в него пальцем, сказал:

— Вы сейчас сидите точь-в-точь как судья Витела, когда его кокнули.

Судья потрогал жилки на висках. Головная боль возвращалась.

— Я сидел вон там, — указывая на пишущую машинку, продолжал секретарь.

Не прерывая рассказа, он обошел барьер и облокотился на него, нацелившись ручкой с пером, как винтовкой, в судью Аркадио, словно бандит из ковбойского фильма в сцене ограбления почты.

— Трое наших полицейских стали вот так, — показал он. — Судья Витела как увидел их, тут же поднял руки и сказал очень медленно: «Не убивайте меня», но сразу кресло повалилось в одну сторону, а он в другую — его насквозь прошили свинцом.

Судья Аркадио сжал голову руками. Ему казалось, что мозг пульсирует. Секретарь отнял наконец от лица платок и повесил метелку за дверь.

— И все почему? Лянул в пьяной компании, что не допустит подтасовки на выборах, — добавил он и растерянно замолчал: судья Аркадио, прижав руки к животу, скрючился над столом.

— Вам плохо?

Судья ответил утвердительно и, рассказав о прошедшей ночи, попросил секретаря принести из бильярдной болеутоляющее и две бутылки пива.

После первой бутылки в душе у судьи Аркадио не осталось и намека на угрызения совести. Голова была совсем ясная.

Секретарь сел перед машинкой.

— Ну, а теперь что мы будем делать? — спросил он.

— Ничего, — ответил судья.

— Тогда, если вы разрешите, я пойду к Марии — помогу ошпыливать кур.

Судья не разрешил.

— Здесь вершат правосудие, а не кур ощипывают, — сказал он и, сочувственно поглядев на подчиненного, добавил: — Кстати, снимите эти шлепанцы и являйтесь в суд только в ботинках.

С приближением полудня жара усиливалась. Когда пробило двенадцать, судья Аркадио осушил уже двенадцать бутылок пива. Он погрузился в воспоминания, с сонной истомой рассказывая о своем благополучном прошлом, о долгих воскресеньях у моря и ненасытных мулатках, которые стоя одаривали своей любовью прямо за дверями домов.

— Что за жизнь была! — говорил он, прищелкивая пальцами, несколько ошеломленному секретарю, который молча слушал, время от времени одобрительно кивая. Сначала судье Аркадио казалось, что он выжат, как лимон, но, делясь воспоминаниями, он все больше и больше оживлялся.

Когда на башне пробило час, секретарь начал обнаруживать признаки нетерпения.

— Суп остынет, — сказал он.

Судья, однако, его не отпустил.

— В городках вроде нашего редко встретишь по-настоящему интеллигентного человека, — сказал он.

Изнемогавшему от жары секретарю осталось только поблагодарить его и усесться поудобней. Пятница тянулась бесконечно. Они сидели и разговаривали под раскаленной крышей суда, в то время как городок варился в котле полуденного зноя.

Уже совсем измученный, секретарь завел разговор о листках. Судья Аркадио пожал плечами.

— Ты, значит, тоже клюнул на эту ерунду? — спросил он, впервые обращаясь к секретарю на ты.

У секретаря, обессиленного от голода и жары, не было никакого желания продолжать разговор, однако он не выдержал и сказал, что, по его мнению, листки вовсе не ерунда.

— Уже есть один убитый, — напомнил он. — Если так пойдет дальше, наступят дурные времена.

И он рассказал историю городка, уничтоженного такими листками за семь дней. Жители перебили друг друга, а немногие оставшиеся в живых, прежде чем уйти из него, вырыли кости своих предков, чтобы никогда гуда не вернуться.

Медленно расстегивая рубашку, судья с насмешливой миной выслушал его рассказ и подумал, что секретарь, должно быть, увлекается романами ужасов.

— Смахивает на заурядный детектив, — сказал он.

Секретарь отрицательно покачал головой. Тогда судья Аркадио рассказал ему, что в университете состоял в кружке, члены которого посвятили себя разгадыванию детективных загадок. Каждый из них по очереди прочитывал какой-нибудь детективный роман до того места, когда уже пора наступить развязке, а по субботам они собирались и разгадывали загадку.

— Не было случая, чтобы я не разгадал, — закончил судья Аркадио. — Помогало, конечно, то, что я хорошо знал классиков: ведь они открыли логику жизни, а она — ключ к разгадке любых тайн.

И он предложил секретарю решить детективную задачу: в двенадцать часов ночи в гостиницу приходит человек и снимает номер, на следующее утро горничная приносит ему кофе и видит, что на постели лежит разложившийся труп вчерашнего гостя. Вскрытие показывает, что постоялец, прибывший ночью, умер восемь дней назад.

Громко хрустнув суставами, секретарь встал.

— Что означает: человек прибыл в гостиницу, будучи уже семь дней мертвым, — резюмировал он.

— Рассказ был написан двенадцать лет назад, — сказал судья Аркадио, не обратив внимания на то, что его перебили, — но ключ к разгадке дал Гераклит еще за пять столетий до рождества Христова.

Он хотел рассказать, что это за ключ, но секретарь уже не скрывал раздражения.

— С тех пор как существует мир, никому еще не удавалось узнать, кто вывешивает листки,— враждебным и напряженным голосом сказал он.

Судья Аркадио посмотрел на него блуждающим взглядом.

— Пospорим, что я узнаю,— сказал он.

— Пospорим.

В доме напротив, потонув головой в подушке, тщетно пытаюсь заснуть на время сиесты, задыхалась в душевной спальне Ребека Асис. К ее вискам были приложены охлаждающие листья.

— Роберто,— сказала она, обращаясь к мужу,— если ты не откроешь окна, мы умрем от духоты.

Роберто Асис открыл окно в тот миг, когда судья Аркадио выходил на улицу.

— Попытайся уснуть,— попросил Роберто Асис жену.

Раскинув руки, она лежала под розовым кружевным балдахинном, и ее роскошное тело просвечивало из-под нейлоновой рубашки.

— Обещаю тебе, что ни о чем больше не вспомню.

Она вздохнула.

Роберто Асис, который провел эту ночь без сна, меряя шагами спальню и прикуривая одну сигарету от другой, чуть было не поймал на рассвете автора грязных инсинуаций. Он услышал, как около дома зашелестели бумагой, потом стали разглаживать что-то на стене, но хватился слишком поздно, и листок успели приклеить. Когда он распахнул окно, на площади никого не было.

С этого момента до двух часов дня, когда он обещал Ребеке, что больше не вспомнит о листке, она, пытаясь его успокоить, пустила в ход все известные ей способы убеждения и под конец, уже в отчаянии, предложила: чтобы доказать свою невиновность, она исповедуется падре Анхелю в присутствии мужа. Это предложение, столь унижительное для нее, неожиданно подействовало: несмотря на обуревавший его слепой гнев, Роберто Асис не посмел сделать решительный шаг и вынужден был капитулировать.

— Всегда лучше высказать все прямо,— не открывая глаз, сказала она.— Было бы ужасно, если бы ты затаил на меня обиду.

Он вышел и закрыл за собою дверь. В просторном полутемном доме Роберто Асис услышал жужжанье электрического вентилятора, который включила на время сиесты его мать, жившая в соседнем доме.

Под сонным взглядом чернокожей кухарки он налил себе стакан лимонада, стоявшего в холодильнике. Женщина, словно окруженная ореолом какой-то особой, свойственной только ей освежающей прохлады, спросила, не хочет ли он обедать. Он приподнял крышку кастрюли; там лапами вверх плавала черепаха. Впервые в нем не вызвала дрожи мысль, что ее бросили туда живую и что, когда черепаху, обваренную, подадут на стол, сердце ее еще будет биться.

— Я не хочу есть,— сказал он, закрывая кастрюлю, и, уже выходя, добавил: — Сеньора тоже не будет обедать — у нее с утра болит голова.

Оба дома соединялись выложенной зелеными плитками галереей, из которой обзривались общее патио и огороженный провололочной сеткой курятник. В той половине галереи, которая примыкала к дому матери, в ящиках росли яркие цветы, а к карнизу были подвешены птичьи клетки.

С шезлонга его жалобно окликнула семилетняя дочь. На ее щеке отпечатался рисунок холста.

— Уже почти три,— негромко сказал он и меланхолично добавил: — Постарайся поскорее проснуться.

— Мне приснился стеклянный кот,— сказала девочка.

Он невольно вздрогнул.

— Какой?

— Весь из стекла,— ответила дочь, стараясь изобразить в воздухе руками увиденное во сне животное.— Как стеклянная птица, но только кот.

Хотя был день и ярко светило солнце, ему показалось вдруг, будто он заблудился в каком-то незнакомом городе.

— Не думай об этом,— пробурчал он,— этот сон пустой.

Тут он увидел в дверях спальни свою мать и почувствовал, что спасен.

— Ты выглядишь лучше,— сказал он.

— Лучше день ото дня, да только на свалку пора,— ответила она ему с горькой гримасой, собирая в узел пышные, стального цвета волосы.

Она вышла в галерею и стала менять воду в клетках. Роберто Асис повалился в шезлонг, в котором до этого спала его дочь. Откинувшись назад и заложив руки за голову, он не отрывал взгляда потухших глаз от костлявой женщины в черном, вполголоса разговаривавшей с птицами. Птицы, весело барахтаясь в свежей воде, осыпали брызгами ее лицо. Когда она кончила, чувство неуверенности, которое она распространяла, стало передаваться и ему.

— Я думала, ты в горах.

— Не поехал, были дела.

— Теперь не сможешь поехать до понедельника.

По выражению его глаз было видно, что он с нею согласен. Через гостиную прошла вместе с девочкой черная босая служанка — она вела ее в школу.

Вдова Асис, стоя в галерее, проводила их взглядом, потом снова повернулась к сыну.

— Опять? — озабоченно спросила она.

— Да, только теперь другое, — ответил Роберто.

Он последовал за матерью в ее просторную спальню, где жужжал электрический вентилятор. С видом крайнего изнеможения она рухнула в стоявшую перед вентилятором ветхую качалку, сплетенную из лиан. На выбеленных известкой стенах висели старые фотографии детей в медных резных рамках. Роберто Асис вытянулся на пышной, почти королевской постели, на которой некоторые из этих детей, включая — в прошлом декабре — и его отца, скончались, состарившись и грустные.

— Что же? — спросила вдова.

— Ты веришь тому, что говорят люди? — ответил он ей вопросом на вопрос.

— В моем возрасте следует верить всему,— сказала вдова и безразлично спросила: — Так что же такое они говорят?

— Что Ребека Исабель не моя дочь.

Вдова медленно закачалась в кресле.

— У нее нос Асисов,— сказала она, а потом, подумав о чем-то, рассеянно спросила: — Кто это говорит?

Роберто Асис грыз ногти.

— Листок наклеили.

Только теперь вдова поняла, что темные круги под глазами сына не от бессонницы.

— Листики не живые люди,— назидательно сказала она.

— Но пишется в них только то, о чем уже говорят,— возразил Роберто,— даже если сам ты этого еще не знаешь.

Она, однако, знала все, что в течение многих лет говорили жители городка об их семье. В доме, полном служанок, приемных дочерей и приживалок всех возрастов, от слухов было невозможно спрятаться даже в спальне. Неугомонные Асисы, основавшие городок еще в те времена, когда сами были всего лишь свинопасами, как магнит притягивали к себе сплетни.

— Не все, что говорят люди, правда,— сказала она,— даже если ты знаешь, о чем они говорят.

— Все знают, что Росарио Монтеро спала с Пастором,— сказал он.— Его последняя песня была посвящена ей.

— Все это говорили, но определенно никто не знал,— возразила вдова.— А теперь стало известно, что песня была посвящена Марго Рамирес. Они собирались пожениться, но никто не знал об этом, кроме них двоих и его матери.

Лучше бы они не охраняли так старательно свою тайну — единственную, которую в нашем городке удалось сохранить.

Роберто Асис посмотрел на мать горящим трагическим взглядом.

— Утром была минута, когда мне казалось, что я вот-вот умру.

На вдову это не произвело никакого впечатления.

— Все Асисы ревнивые, — отозвалась она. — Это самое большое несчастье нашего дома.

Они замолчали. Было почти четыре часа, и жара уже спала. Но времени, когда Роберто Асис выключил вентилятор, весь дом проснулся и наполнился женскими и птичьими голосами.

— Поддай мне флакончик с ночного столика, — попросила мать.

Она достала из него две круглые сероватые таблетки, похожие на искусственные жемчужины, и вернула флакон сыну.

— Прими их, — сказала она, — они помогут тебе заснуть.

Он запил их водой, которую оставила в стакане мать, и снова опустил голову на подушку.

Вдова вздохнула и умолкла в раздумье, а потом, как обычно, перенося на весь городок то, что она думала о полдюжине семей их круга, сказала:

— Беда нашего городка в том, что, пока мужчины в горах, женщины остаются дома одни.

Роберто Асис уже засыпал. Глядя на небритый подбородок, на длинный, резко очерченный нос, вдова вспомнила покойного мужа. Адальберто Асису тоже привелось узнать минуты отчаянья. Он был огромный горец и лишь один раз в жизни надел на пятнадцать минут целлюлоидный воротничок — чтобы попозировать для пережившего его дагерротипа, стоявшего теперь на ночном столике. О нем говорили, что в этой же самой спальне он убил мужчину, которого застал со своей женой, а потом зарыл его труп у себя в патио. Но дело обстояло совсем иначе: Адальберто Асис застрелил из ружья обезьяну, которая, сидя на балконе под потолком спальни, смотрела, как переодевается его жена. Он умер сорока годами позже, так и не сумев опровергнуть сложившейся о нем легенды.

Падре Анхель поднялся по крутой лестнице с редкими ступенями. На втором этаже, в конце коридора, на стене которого висели винтовки и патронташи, лежал на раскладушке полицейский и читал. Чтение захватило его, и он заметил падре только после того, как тот с ним поздоровался. Свернув журнал в трубку, полицейский спустил с раскладушки ноги и сел.

— Что читаете? — спросил падре Анхель.

Полицейский пофазал ему журнал:

— «Терри и пираты».

Падре обвел внимательным взглядом три бетонированные камеры без окон, с толстыми стальными решетками вместо дверей. В средней камере спал в одних кальсонах, раскинувшись в гамаке, второй полицейский; другие две камеры пустовали. Падре Анхель спросил про Сесара Монтеро.

— Он здесь, — полицейский мотнул головой в сторону закрытой двери, — в комнате начальника.

— Могу я поговорить с ним?

— Он изолирован, — сказал полицейский.

Настаивать падре Анхель не стал, а спросил только, как чувствует себя заключенный. Полицейский ответил, что Сесару Монтеро отвели лучшую комнату участка, с хорошим освещением и водопроводом, но уже сутки, как он ничего не ел. Он не притронулся к кушаньям, которые алькальд заказал для него в гостинице.

— Бойтся, что в них отравы, — объяснил полицейский.

— Вам надо было договориться, чтобы ему приносили еду из дому, — посоветовал падре.

— Он не хочет, чтобы беспокоили его жену.

— Обо всем этом я поговорю с алькальдом, — пробормотал, словно обра-

щаясь к самому себе, падре и направился в глубину коридора, где помещался кабинет с бронированными по приказанию алькальда стенами.

— Его нет,— сказал полицейский.— Уже два дня сидит дома с зубной болью.

Падре Анхель отправился навестить его. Алькальд лежал, вытянувшись, в гамаке; рядом стоял стул, на котором были кувшин с соленой водой, пакетик болеутоляющих таблеток и пояс с патронташами и револьвером. Опухоль не опала.

Падре Анхель подтащил к гамаку стул и сел.

— Его следует удалить,— сказал он.

Алькальд выплюнул соленую воду в ночной горшок.

— Легко сказать,— простонал он, все еще держа голову над горшком.

Падре Анхель понял его и вполголоса предложил:

— Хотите, поговорю от вашего имени с зубным врачом?— Потом, вдохнув побольше воздуха, набрался смелости и добавил: — Он отнесется с пониманием.

— Как же!— ответил алькальд.— Разорви его в клочья, он и тогда от своего мнения не откажется.

Падре Анхель глядел, как он идет к умывальнику. Алькальд открыл кран, подставил распухшую щеку под струю прохладной воды и с выражением блаженства на лице продержал ее так одну или две секунды, потом разжевал таблетку болеутоляющего и, набрав в ладони воды из-под крана, плеснул ею себе в рот.

— Серьезно,— снова предложил падре,— я могу с ним поговорить.

Алькальд раздраженно передернул плечами:

— Делайте что хотите, падре.

Он откинулся в гамаке, заложил руки за голову и, закрыв глаза, часто, зло задышал. Боль стала утихать. Когда он снова открыл глаза, падре Анхель сидел рядом и молча смотрел на него.

— Что привело вас в сию обитель? — спросил алькальд.

— Сесар Монтеро,— без обиняков сказал падре.— Этот человек нуждается в исповеди.

— Он изолирован,— сказал алькальд.— Завтра после первого же допроса можете его исповедать. В понедельник нужно его отправить.

— Он уже сорок восемь часов...— начал падре.

— А я с этим зубом — две недели,— оборвал его алькальд.

В комнате, где уже начинали жужжать москиты, было темно. Падре Анхель посмотрел в окно и увидел, что над рекой плывет ярко-розовое облако.

— А как его кормят?

Алькальд прыгнул с гамака и закрыл балконную дверь.

— Я свой долг выполнил,— ответил он.— Он не хочет, чтобы беспокоили его жену, и в то же время не ест пищу из гостиницы.

Он стал опрыскивать комнату инсектицидом. Падре поискал в кармане платок, чтобы прикрыть нос, но вместо платка нащупал смятое письмо.

— Ой! — воскликнул он и начал разглаживать его пальцами.

Алькальд прервал опрыскивание. Падре зажал нос, но это не помогло: он чихнул два раза.

— Чихайте, падре,— сказал ему алькальд и, улыбнувшись, добавил: — У нас демократия.

Падре Анхель тоже улынулся, а потом сказал, показывая запечатанный конверт:

— Забыл отправить.

Он нашел платок в рукаве и, по-прежнему думая о Сесаре Монтеро, высморкал раздраженный инсектицидом нос.

— Как будто его посадили на хлеб и воду,— сказал он.

— Если это ему нравится...— отозвался алькальд.— Мы не можем кормить насильно.

— Меня больше всего заботит его совесть,— сказал падре.

Не отнимая платка от носа, он наблюдал за алькальдом, пока тот не закончил опрыскивание.

— Должно быть, она у него нечиста, раз он боится, что его отравят, — сказал алькальд и поставил баллон на пол. — Он знает, что Пастора любили все.

— Сесара Монтеро тоже, — сказал падре.

— Но мертв все-таки Пастор.

Падре посмотрел на письмо. Небо багровело.

— Пастор, — прошептал он, — не мог даже исповедаться.

Перед тем как снова лечь в гамак, алькальд включил свет.

— Завтра мне станет лучше, — сказал он. — После допроса можете его исповедать. Это вас устраивает?

Падре был согласен.

— Только чтобы успокоить его совесть, — заверил он.

Величественно поднявшись, он посоветовал алькальду не увлекаться болеутоляющими таблетками, алькальд же, со своей стороны, напомнил падре, что тот хотел отправить письмо.

— И, падре, — сказал алькальд, — поговорите, пожалуй, с зубодером. — Он посмотрел на священника, уже спускавшегося по лестнице, и, улынувшись, добавил: — Это тоже будет содействовать установлению мира и спокойствия.

Телеграфист, сидя у дверей своей конторы, смотрел, как умирает вечер. Когда падре Анхель отдал ему письмо, он вошел в помещение, поклонившись языком пятнадцатисентовую марку (авиапочта плюс сбор на строительство) и начал рыться в ящике письменного стола. Когда зажглись уличные фонари, падре положил на деревянный барьер несколько монеток и не попрощавшись ушел.

Телеграфист продолжал рыться в ящике. Через минуту ему это надоело, и он написал чернилами на углу конверта: «Марок по пять сентаво нет», а ниже поставил свою подпись и штамп почтового отделения.

Вечером, когда кончилась служба, падре Анхель увидел, что в купели со святой водой плавает мертвая мышь: Тринидад ставила мышеловки на самом краю купели. Падре схватил утопшую за кончик хвоста.

— Может произойти несчастье, и повинна в этом будешь ты, — сказал он Тринидад, раскачивая перед ней мертвую мышь. — Разве ты не знаешь, что некоторые верующие набирают святую воду в бутылки и поят ею заболевших родственников?

— Ну и что тут такого? — спросила она.

— Что такого? — возмутился падре. — Да то, что больные будут пить святую воду с мышьяком!

Тринидад напомнила падре, что денег на мышьяк он ей еще не давал.

— А это от гипса, — показала она на мышь.

И объяснила, что насыпала в углах церкви гипс: мышь поела его и, мучимая жаждой, пошла пить. От воды гипс у нее в желудке затвердел.

— Нет уж, — сказал падре, — лучше ты зайди, и я дам тебе денег на мышьяк. Я не хочу больше находить дохлых мышей в святой воде.

Дома его ожидала депутация дам из общества католичек, возглавляемая Ребекой Асис. Падре дал Тринидад денег на мышьяк, сказал, что в комнате очень душно, а потом сел за свой рабочий стол и обратился к хранившим молчание дамам:

— К вашим услугам, уважаемые сеньоры.

Они переглянулись. Ребека Асис раскрыла веер с нарисованным на нем японским пейзажем и напрямик сказала:

— Мы по поводу листов, падре.

Выразительно модулируя голосом, словно рассказывая детскую сказочку, она описала охватившую городок панику. Ребека Асис сказала: хоть смерть Пастора следует рассматривать как дело сугубо частное, уважаемые семейства городка считают, что они не могут игнорировать клеветнические листки.

Опираясь на ручку зонтика, Адальгиса Монтойя, самая старшая из трех, высказалась еще яснее:

— Мы, общество католичек, решили занять в этом вопросе вполне определенную позицию.

На несколько недолгих секунд падре Анхель задумался. Ребека Асис глубоко вздохнула, и падре спросил себя, почему от этой женщины исходит такой жаркий запах. Она была великолепно — цветущая, с ослепительно белой кожей, пышущая здоровьем и страстью.

Падре заговорил, глядя в пространство:

— Я считаю, что мы не должны обращать внимание на пасквили. Мы должны быть выше грязных речей и, как прежде, соблюдать заповеди господни.

Адальгиса Монтойя выразила кивком одобрение, но две другие дамы не согласились — им казалось, что постигшее городок зло может в конце концов привести к трагическим последствиям.

В этот момент кашлянул громкоговоритель кинотеатра. Падре Анхель хлопнул себя по лбу.

— Извините меня, — сказал он и начал искать в ящике стола католический цензурный листок. — Что сегодня показывают?

— «Пираты космоса», — ответила Ребека Асис. — Про войну.

Падре Анхель начал искать по алфавиту, бормоча себе под нос обрывки названий и вода пальцем по длинному разграфленному списку. Перевернув страницу, прочитал:

— «Пираты космоса».

Он провел пальцем по строке, отыскивая моральную оценку, и тут вместо ожидаемой пластинки раздался голос владельца кинотеатра, объявивший, что ввиду плохой погоды сеанс отменяется. Одна из женщин объяснила: владелец кинотеатра решил отменить сеанс, потому что зрители требовали, чтобы, в случае если до перерыва пойдет дождь, им вернули назад деньги.

— Жаль, — сказал падре Анхель, — этот фильм можно было смотреть всем. — Он закрыл брошюру и продолжал: — Как я неоднократно вам говорил, жители нашего городка — люди богобоязненные. Девятнадцать лет назад, когда мне вверили этот приход, одиннадцать пар из самых почтенных семейств открыто сожительствовали, не освятив свою связь узами брака. Сейчас осталась всего одна, и я надеюсь, что и это продлится не очень долго.

— Если бы дело было только в нас, — сказала Ребека Асис, — а то ведь эти бедняки...

— Оснований для беспокойства нет, — продолжал падре, не обращая на нее внимания. — Подумайте, как изменился наш городок! В ту давнюю пору заезжая танцовщица устроила на арене для петушиных боев представление только для мужчин, а в конце — распродажу с аукциона всего, что на ней было.

— Это чистейшая правда, — вставила Адальгиса Монтойя.

Она и в самом деле помнила, как ей рассказывали об этом скандальном происшествии. Когда на танцовщице ничего не осталось, какой-то старик из задних рядов с криком поднялся на последнюю ступеньку амфитеатра и стал мочиться на зрителей, и все остальные мужчины, следуя его примеру, тоже начали с безумными воплями мочиться друг на друга.

— Ныне, — продолжал падре, — доказано, что жители нашего городка — самые богобоязненные люди во всей апостолической префектуре.

Он начал приводить примеры своей трудной борьбы со слабостями и пороками рода человеческого, и в конце концов дамы-католички, изнемогавшие от жары, совсем перестали его слушать. Ребека Асис снова развернула веер, и только теперь падре Анхель обнаружил, почему от нее исходит такое благоухание. В сонном оцепенении гостиний запах сандалового дерева обрел вес и плоть. Падре достал из рукава платок и прикрыл им нос, готовясь чихнуть.

— И в то же время, — продолжал он, — наш храм в апостолической префектуре самый запущенный и бедный. Колокола треснули, и церковь полна мшей, потому что все свое время я отдаю насаждению морали и добрых нравов. —

Он расстегнул воротник. — Труд вещественный по силам любому юноше, — сказал он, поднимаясь со своего места. — Но для того, чтобы утвердить нравственность, нужны многолетний опыт и неустанные усилия.

Ребека Асис подняла нежную, почти прозрачную руку; обручальное кольцо закрывал перстень с изумрудами.

— Именно потому мы и подумали, — заговорила она, — что из-за этих грязных листков могут оказаться напрасными все ваши труды.

Единственная из трех дам, пребывавшая в молчании, воспользовалась наступившей паузой, чтобы тоже вставить несколько слов.

— Кроме того, мы считаем, — сказала она, — что сейчас, когда страна оправляется от потрясений, постигшее нас зло может этому помешать.

Падре Анхель достал из шкафа веер и начал медленно им обмахиваться.

— Одно не имеет никакого отношения к другому, — сказал он. — Мы пережили политически трудный момент, но семейная мораль не пострадала ничуть. — Он остановился перед женщинами. — Через несколько лет я поеду к апостолическому префекту и скажу ему: «Смотрите: я оставляю вам образцовый городок». Теперь вам нужно только послать туда энергичного молодого священника — такого, который построил бы там лучшую в префектуре церковь». — И, чуть замет-но поклонившись, воскликнул: — Тогда я смогу спокойно умереть в доме моих предков!

Дамы запротестовали. Общее мнение выразила Адальгиса Монтойя:

— Вы должны считать наш городок своей родиной, падре. И мы хотим, чтобы вы оставались с нами до вашего последнего часа.

— Если речь идет о том, чтобы построить новую церковь, — перебила ее Ребека Асис, — мы можем начать кампанию хоть сейчас.

— Всему свое время, — сказал падре, а потом уже совсем другим тоном добавил: — В любом случае я не хотел бы состариться на глазах у прихода. Не хотел бы, чтобы со мною произошло то же, что со смиренным Антонио Исабелем из церкви Святого Причастия, который уведомил епископа, что в его приходе падает дождь из мертвых птиц. Посланный епископом ревизор нашел священника на площади городка — он играл с детьми в разбойников.

Дамы выразили изумление:

— Кто же он такой?

— Священник, который занял мое место в Макондо, — ответил падре Анхель. — Ему было сто лет.

III

Время дождей, беспощадность которого можно было предвидеть уже с последних дней сентября, утвердило себя к концу недели во всей своей суровой силе. Алькальд провел воскресенье в гамаке, жуя болеутоляющие таблетки, а в это время река, выйдя из берегов, заливала нижние улицы.

На рассвете в понедельник, когда в первый раз прекратился дождь, городок приходил в себя несколько часов. Бильярдная и парикмахерская открылись рано, но двери большинства домов открылись только после одиннадцати. Первым увидел, как люди перетаскивают свои дома, сеньор Кармайкл, и это зрелище его потрясло. Шумные ватаги, вырыв из земли угловые столбы, переносили целиком строения с крышами из пальмовых листьев и стенами из бамбука и глины.

Забыв закрыть зонт, сеньор Кармайкл остановился под навесом парикмахерской и стал наблюдать, как проходит эта трудная операция. Голос парикмахера вернул его к действительности.

— Подождали бы, пока перестанет лить.

— В ближайшие два дня не перестанет, — сказал сеньор Кармайкл и закрыл зонт. — Мне говорят это мои суставы.

Люди, по колено в грязи перетаскивавшие дома, задевали за стены парикмахерской. Сеньор Кармайкл увидел через окно пустую комнату — совершенно лишенную интимности спальню, — и его охватило предчувствие беды.

Хотя желудок говорил, что скоро двенадцать, ему казалось, что еще шесть утра. Сириец Мойсес пригласил переждать дождь у него в лавке. Сеньор Кармайкл повторил свое предсказание: в ближайшие двадцать четыре часа дождь не кончится, — и заколебался, перепрыгнуть ли ему на тротуар к соседнему дому. Мальчишки, игравшие в войну, швырнули ком глины, и он расплющился на стене недалеко от его свежевыглаженных брюк. Сириец Элиас выскочил из своей лавки с метлой в руках и, мешая арабские слова с кастильскими, осыпал мальчишек забористой бранью. Мальчишки радостно запрыгали, крича:

— Турок лупоглазый, турок лупоглазый!

Удостоверившись, что его одежда не пострадала, сеньор Кармайкл закрыл зонтик, вошел в парикмахерскую и уселся в кресло.

— Я всегда говорил, что вы человек умный, — сказал парикмахер, завязывая у него на шее простыню.

Сеньор Кармайкл вдохнул запах лавандовой воды, который был ему так же неприятен, как запах анестезирующих средств в кабинете зубного врача. Парикмахер начал подравнивать волосы на затылке. Скучая от безделья, сеньор Кармайкл поискал глазами, что бы ему почитать.

— Газет нет?

Не прерывая работы, парикмахер ответил:

— В стране остались только правительственные газеты, а их, пока я жив, в моем салоне не будет.

Сеньору Кармайклу пришлось заняться созерцанием своих поношенных ботинок. Это продолжалось, пока парикмахер не спросил его о вдове Монтьель — сеньор Кармайкл шел как раз от нее. После смерти дон Хосе Монтьеля, у которого он много лет работал бухгалтером, сеньор Кармайкл стал управляющим у его вдовы.

— Все благополучно, — ответил он.

— Мы убиваем друг друга, — сказал парикмахер, словно разговаривая сам с собой, — а у нее одной столько земли, что за пять дней на лошади не объедешь. Владеет десятью округами, не меньше.

— Не десятью, а тремя, — поправил его сеньор Кармайкл и убежденно сказал: — Дстойней женщины я не знаю.

Парикмахер перешел к туалетному столику — очистить расческу. Сеньор Кармайкл увидел в зеркале его козлиное лицо и понял, почему он не уважает парикмахера. Тот, глядя на свое отражение в зеркале, между тем говорил:

— Недурно обстригано: у власти моя партия, моим политическим противникам полиция угрожает расправой, и им некуда деться — приходится продавать мне землю и скот по ценам, которые я назначаю сам.

Сеньор Кармайкл наклонил голову. Парикмахер снова принялся стричь.

— Проходят выборы, — продолжал он, — а я уже хозяин трех округов, и ни одного конкурента — я на коне, хоть правительство и сменилось. Выгодней, чем печатать фальшивые деньги.

— Хосе Монтьель разбогател задолго до того, как начались политические распри, — отозвался сеньор Кармайкл.

— Ну да, сидя в одних трусах у дверей крупорушки. Говорят, он первую пару ботинок надел всего девять лет назад.

— Даже если так, вдова не имела абсолютно никакого отношения к его делам.

— Она только разыгрывает из себя дурочку, — не унимался парикмахер.

Сеньор Кармайкл поднял голову и, чтобы легче было дышать, высвободил шею из простыни.

— Вот почему я предпочитаю, чтобы меня стригла жена, — сказал он. — Не надо платить, и, кроме того, она не говорит о политике.

Парикмахер рукой наклонил его голову вперед и молча продолжал стричь. Временами, давая выход избытку своего мастерства, он лязгал над головой клиента ножницами.

С улицы до слуха сеньора Кармайкла донеслись громкие голоса. Он посмот-

рел в зеркало; мимо открытой двери проходили дети и женщины с мебелью и разной утварью из перенесенных домов.

— На нас сыплются несчастья, а вы все никак не расстанетесь с политическими дрязгами. Прошло больше года, как прекратились репрессии, а вы только о них и говорите.

— А то, что о нас не заботятся, — разве это не репрессия?

— Но ведь нас не избивают.

— А бросить нас на произвол судьбы и не заботиться о нас — разве не то же самое, что избивать?

— Это газетный треп, — сказал, уже не скрывая раздражения, сеньор Кармайкл.

Парикмахер молча взбил в чашечке мыльную пену и стал наносить кистью на затылок сеньора Кармайкла.

— Уж очень поговорить хочется, — как бы оправдываясь, сказал он. — Не каждый день встретишь беспристрастного человека.

— Станешь беспристрастным, когда надо прокормить одиннадцать ртов.

— Это точно, — подхватил парикмахер.

Он провел бритвой по ладони, и бритва запела. Он стал молча брить затылок сеньора Кармайкла, мыло снимал пальцами, а потом вытирал пальцы о штаны. Под конец все так же молча протер затылок квасцами.

Застегивая воротник, сеньор Кармайкл увидел на задней стене объявление: «Разговаривать о политике воспрещается». Он стряхнул с плеч волосы, повесил на руку зонтик и спросил, показывая на объявление:

— Почему вы его не снимете?

— К вам это не относится, — сказал парикмахер. — Уж мы-то с вами знаем — вы человек беспристрастный.

В этот раз сеньор Кармайкл прыгнул через лужу не колеблясь. Парикмахер провожал его взглядом, пока он не скрылся за углом, а потом устался как за гипнотизированный на мутную, грозно вздувшуюся реку. Дождь прекратился, но над городком по-прежнему висела неподвижная свинцовая туча.

Около часа в парикмахерскую зашел сириец Мойсес и стал жаловаться, что на макушке у него волосы выпадают, а на затылке растут очень быстро. Сириец приходил стричься каждый понедельник. Обычно он с какой-то обреченностью опускал голову на грудь, и из его горла раздавался храп, похожий на арабскую речь, между тем как парикмахер громко разговаривал сам с собой. Однако в этот понедельник сириец проснулся, вздрогнув, от первого же вопроса.

— Знаете, кто здесь был?

— Кармайкл, — ответил сириец.

— Кармайкл, этот жалкий негр, — подтвердил парикмахер. — Терпеть не могу таких людей.

— Людей! Да разве он человек? — запротестовал сириец. — Но в политике линия у него правильная — на все закрывает глаза и занимается своей бухгалтерией.

Он снова уткнулся подбородком в грудь, готовясь захрапеть, но бровей стал перед ним, скрестив на груди руки, и вызывающе спросил:

— А за кого, интересно, вы, турок дерьмовый?

Сириец невозмутимо ответил:

— За себя.

— Плохо. Вы бы хоть вспомнили про четыре ребра, которые по милости дона Хосе Монтьеля сломали сыну вашего Элиаса.

— Грош цена Элиасу, если его сын ударился в политику, — ответил сириец. — Но парень теперь веселится в Бразилии, а дон Хосе Монтьель лежит в могиле.

Прежде чем выйти из комнаты, где после долгих бессонных ночей царил полнейший беспорядок, алькальд побрил правую щеку, оставив в неприкосновенности восьмидневную щетину на левой. После этого он надел чистую форму,

обулся в лакированные сапоги и, воспользовавшись перерывом в дожде, отправился пообедать в гостиницу.

В ресторане не было ни души. Пройдя между столиков, алькальд занял в самой глубине зала место, лучше других укрытое от посторонних глаз.

— Маска! — позвал он.

Мигом появилась совсем юная девушка в коротком, облегающем каменные груди платье. Алькальд, не глядя на нее, заказал обед. По дороге на кухню девушка включила приемник, стоявший на полке в другом конце зала. Передавали последние известия, отрывки из речи, произнесенной накануне вечером президентом республики, а затем очередной список запрещенных к вывозу товаров.

По мере того как голос диктора заполнял комнату, жара становилась все сильнее. Когда девушка принесла суп, алькальд обмахивался фуражкой.

— Я тоже потею от радио, — сказала девушка.

Алькальд начал есть. Он всегда считал, что эта уединенная гостиница, существующая на доходы от случайных приезжих, отличается от всего городка. И действительно, она существовала еще до его основания. Скупщики, съезжавшиеся из центральной части страны к уборке риса, проводили ночи за игрой в карты на ветхом деревянном балконе в ожидании утренней прохлады, которая позволит им заснуть. Сам полковник Аурелиано Буэндиа, направляясь в конце последней гражданской войны в Макондо на переговоры об условиях капитуляции, проспал ночь на этом балконе в те времена, когда на много лиг вокруг не было ни одного селения. С тех пор дом ничуть не изменился — те же деревянные стены и железные крыши, та же столовая и те же картонные перегородки между комнатами, только провели электрическое освещение и канализацию. Один старый коммивояжер рассказывал, что в конце прошлого столетия на стене в ресторане висел набор масок специально для постояльцев, и гость, надев какую-нибудь из них, шел в патио и справлял там свои нужды у всех на глазах.

Чтобы покончить с супом, алькальду пришлось расстегнуть воротник. Последние известия кончились, зазвучала пластинка с рифмованной рекламой, потом — душещипательное болеро. Умиравший от любви мужчина с невыносимо сладким голосом решил в погоне за женщиной объехать весь свет. Алькальд слушал, дожидаясь следующих блюд, но вдруг увидел, что двое детей несут мимо гостиницы кресло-качалку и два стула. За ними две женщины и мужчина несли корыта, кастрюли и другую домашнюю утварь.

Алькальд подошел к двери и крикнул:

— Откуда стащили?

Женщины остановились. Мужчина объяснил, что они перенесли дом на более высокое место. Алькальд спросил, куда именно, и мужчина показал своим сомбреро на юг:

— Вон туда. Эту землю нам сдал за тридцать песо дон Сабас.

Алькальд окинул взглядом их скарб. Разваливающаяся качалка, старые кастрюли — вещи бедняков. Он подумал секунду, потом сказал:

— Несите ваше барахло на землю около кладбища.

Мужчина смеялся.

— Эта земля муниципальная и не будет стоить вам ни гроша, — объяснил алькальд. — Муниципалитет вам ее дарит. — И добавил, обращаясь к женщинам: — А дону Сабасу передайте от меня: пусть бросит мошенничать.

Обед он закончил без всякого аппетита, потом закурил сигарету, от окурка прикурил другую и задумался, облокотившись на стол. По радио передавали одно за другим тягучие душещипательные болеро.

— О чем задумались? — спросила девушка, убирая со стола пустые тарелки.

Алькальд ответил, глядя на нее немигающими глазами:

— Об этих бедняках.

Он надел фуражку и пошел к выходу. В дверях он обернулся.

— Пора навести в этом городке порядок.

На углу ему преградили путь сцепившиеся в смертельной схватке псы. Он увидел воющий клубок лап и спин, оскаленные зубы; одна из собак поджала

хвост и, волоча лапу, заковыляла прочь. Алькальд обошел собак стороной и зашагал по тротуару к полицейскому участку.

В камере кричала женщина, а дежурный полицейский спал после обеда, лежа ничком на раскладушке. Алькальд толкнул раскладушку ногой. Полицейский подскочил спросонья.

— Кто это там? — спросил алькальд.

Полицейский стал по стойке «смирно».

— Женщина, которая наклеивала листки.

Алькальд изверг на своих подчиненных поток брани. Он хотел знать, кто привел женщину и по чьему приказу ее посадили в камеру. Полицейские начали многословно объяснять.

— Когда ее посадили?

Оказалось, что в субботу вечером.

— Сейчас она выйдет, а один из вас сядет! — закричал алькальд. — Она спала в камере, а по городку налепили за ночь черт-те сколько листов!

Едва открылась тяжелая железная дверь, как из камеры выскочила с криками худая, средних лет женщина с собранными в тяжелый узел волосами, которые держал высокий испанский гребень.

— Проваливай, — сказал ей алькальд.

Женщина выдернула гребень, тряхнула несколько раз роскошной гривой и, выкрикивая ругательства, как одержимая бросилась вниз по лестнице.

Перегнувшись через перила, алькальд закричал во весь голос, словно хотел, чтобы его слышали не только женщина и полицейские, но весь городок:

— И не приставайте ко мне больше с этой писаниной!

Хотя по-прежнему моросил дождь, падре Анхель вышел на свою обычную вечернюю прогулку. До встречи с алькальдом времени оставалось довольно много, и он отправился посмотреть затопленную часть городка. Увидел он только труп кошки, плавающий среди цветов.

Когда падре шел назад, начало подсыхать. Конец дня неожиданно оказался ослепительно ярким. По неподвижной, словно загустевшей реке спускался баркас с залитой мазутом палубой. Из какой-то развалюхи выбежал мальчик и закричал, что у него в ракушке шумит море. Падре Анхель поднес его ракушку к уху — и правда, шумело море.

Жена судьи Аркадио сидела как зачарованная, со сложенными на животе руками перед дверью своего дома и глядела на баркас. Через три дома начинался торговый ряд: витрины с барахлом и невозмутимые сирийцы, сидящие у дверей своих лавок. Вечер умирал в ярко-розовых облаках и в визге попугаев и обезьян на другом берегу реки.

Двери домов начали открываться. Под заляпанными грязью миндальными деревьями, вокруг тележек со снедью, на изъеденном временем гранитном крае водоема, из которого поили скот, собирались кучки мужчин. Падре Анхель подумал, что каждый вечер в это время словно происходит чудо — городок преобразается.

— Падре, вы помните, как выглядели заключенные концлагерей?

Падре Анхель не видел лица доктора Хиральдо, но представил себе, как тот улыбается за проволочной сеткой окна. Честно говоря, он не помнил тех фотографий, хотя не сомневался, что видел их.

— Загляните в комнату перед приемной.

Падре Анхель толкнул затянутую сеткой дверь. На циновке лежало существо неопределенного пола — кости, обтянутые желтой кожей. Прислонившись спиной к перегородке, сидели двое мужчин и женщина. Хотя никакого запаха падре не ощутил, он подумал, что от этого существа должно исходить невыносимое зловоние.

— Кто это? — спросил он.

— Мой сын, — ответила женщина и, словно извиняясь, сказала: — Два года у него кровавый понос.

Не поворачивая головы, больной скосил глаза в сторону двери. Падре охватили ужас и жалость.

— И что вы с ним делаете?— спросил он.

— Даем ему зеленые бананы,— отвечала женщина.— Ему не нравится, а ведь они так хорошо крепят.

— Вам следовало бы привести его на исповедь,— сказал падре, но слова прозвучали не очень убедительно.

Он тихо закрыл за собой дверь и, приблизив лицо к металлической сетке окна, чтобы лучше разглядеть доктора, царапнул по ней ногтем. Доктор Хиральд растирал что-то в ступке.

— Что у него? — спросил падре.

— Я еще его не осматривал,— ответил врач и добавил, словно размышляя о чем-то: — Вот какие вещи, падре, по воле господы происходят с людьми.

Замечание это падре Анхель оставил без ответа и только сказал:

— Таким мертвым, как этот бедный юноша, не выглядел ни один из мертвцов, которых я перевидал на своем веку, нет, не выглядел.

Он попрощался. Судов у причала уже не было. Начинало смеркаться. Падре Анхель отметил про себя, что вид больного испортил ему настроение. Внезапно он понял, что опаздывает, и заспешил к полицейскому участку.

Скрючившись, сжав голову ладонями, алькальд сидел на раскладном стуле.

— Добрый вечер,— медленно сказал падре.

Алькальд поднял голову, и падре содрогнулся при виде его красных от отчаянья глаз. Одна щека у алькальда была чистая и свежеевыбритая, другая — в зафослях щетины и вымазана пепельно-серой мазью. Глухо застонав, он воскликнул:

— Падре, я застрелюсь!

Падре Анхель остановился, ошеломленный.

— Вы отравляете себя, принимая столько обезболивающего,— сказал он.

Громко топая, алькальд побежал к стене и боднул ее, вцепившись обеими руками в волосы. Падре еще никогда не доводилось быть свидетелем таких страданий.

— Примите тогда еще две таблетки,— посоветовал он, сознавая, что предложить это средство его побуждает только собственная растерянность.— От того, что примете еще две, не умрете.

Он всегда терялся при виде человеческой боли — слишком ясно он сознавал свою полную перед ней беспомощность. В поисках таблеток падре обвел взглядом всю большую полупустую комнату. У стен стояло полдюжины табуреток с кожаными сиденьями и застекленный шкаф, набитый пыльными бумагами: на гвозде висела литография с изображением президента республики. Таблеток он не увидел — только целлофановые обертки, валяющиеся на полу.

— Где они у вас?— спросил, уже отчаиваясь найти таблетки, падре.

— Они на меня больше не действуют,— простонал алькальд.

— Ну скажите, где они? — снова спросил, подойдя к нему вплотную, падре.

Алькальда передернуло, и на падре Анхеля надвинулось огромное безобразное лицо.

— Черт подери! — крикнул алькальд.— Ведь говорил, чтобы не лезли ко мне!

И, подняв над головой табуретку, со всей яростью отчаянья швырнул ее в застекленный шкаф. Падре Анхель понял, что произошло, лишь после того, как посыпался стеклянный град и из облака пыли вынырнул, словно привидение, алькальд. На мгновение воцарилась абсолютная тишина.

— Лейтенант... — прошептал падре.

У открытой в коридор двери выросли полицейские с винтовками наготове. Порывисто дыша, алькальд поглядел на них невидящим взглядом, и они опустили винтовки, оставшись, однако, стоять у двери. Взяв алькальда за локоть, падре Анхель подвел его к складному стулу.

— Так где же все-таки таблетки?

Алькальд закрыл глаза и откинул назад голову.

— Это дерьмо я больше принимать не буду,— ответил он.— От него гудит в ушах и немеет череп.

Боль на время утихла, и алькальд, повернувшись к падре, спросил:

— С зубодером говорили?

Падре молча кивнул. По выражению его лица алькальд понял, каков результат беседы.

— Почему бы вам не поговорить с доктором Хиральдо?— предложил падре.— Некоторые врачи тоже умеют рвать зубы.

Алькальд ответил ему не сразу.

— Скажет, что у него нет щипцов.— И добавил:— Это заговор.

Он воспользовался тем, что боль утихла, чтобы отдохнуть от беспощадности послеполуденных часов. Когда он открыл глаза, в комнате уже наступили сумерки. Даже не посмотрев, тут ли падре Анхель, он сказал:

— Вы пришли насчет Сесара Монтеро.

Ответа не последовало.

— Из-за этой боли я ничего не мог сделать,— продолжал алькальд.

Поднявшись, он зажег свет, и с балкона влетело первое облачко москитов. Сердце падре Анхеля сжалось от тревоги, вселяемой этим часом.

— Время идет,— сказал он.

— В среду я должен отправить его обязательно,— сказал алькальд.— Завтра все, что полагается сделать, будет сделано, и во вторую половину дня можете его исповедать.

— Во сколько?

— В четыре.

— Даже если будет дождь?

Глаза алькальда исторгли всю злость, накопившуюся в нем за две недели страданий.

— Даже если наступит конец света!

Таблетки и вправду больше не действовали. Надеясь, что вечерняя прохлада поможет ему заснуть, алькальд перевесил гамак из комнаты на балкон, но к восьми часам отчаянье снова охватило его, и он вышел на площадь, спавшую под бременем зноя летаргическим сном.

Побродив немного, но так и не найдя ничего, что отвлекло бы его от боли, алькальд зашел в кинотеатр. Это была ошибка: от гуденья военных самолетов боль усилилась. Он ушел, не дождаввшись перерыва, и оказался у аптеки в тот момент, когда дон Лало Москоте уже собрался запереть.

— Дайте мне самое сильное средство от зубной боли.

Аптекарь с изумлением поглядел на его щеку и направился в глубину комнаты, за двойной ряд стеклянных шкафов, заставленных сверху донизу фаянсовыми банками. На каждой было выведено синими буквами название. Глядя на аптекаря сзади, алькальд подумал, что этот человек с толстой розовой шеей, по всей вероятности, переживает сейчас самую счастливую минуту своей жизни. Он хорошо знал его. Аптекарь жил в двух задних комнатах, и его супруга, необыкновенно полная женщина, была уже много лет парализована.

Дон Лало Москоте вернулся с фаянсовой банкой без этикетки. Он поднял крышку, и из банки пахнуло сильным запахом сладких трав.

— Что это?

Аптекарь запустил пальцы в наполнявшие банку сухие семена.

— Кресс,— ответил он.— Пожуйте хорошенько и подольше не проглатывайте слюны — при флюсе нет ничего лучше.

Он бросил несколько семян на ладонь и, глядя вверх очков на алькальда, сказал:

— Откройте рот.

Алькальд отпрянул. Потом, взяв банку и повертев ее в руках, посмотрел, не написано ли на ней что-нибудь, и снова перевел взгляд на аптекаря.

— Дайте мне что-нибудь заграничное,— попросил он.

— Это лучше любых заграничных средств,— сказал дон Лало Москоте.— Проверено опытом трех тысячелетий.

И он начал заворачивать семена в обрывок газеты. Он вел себя если не как отец, то как родной дядя — заворачивал кресс так же старательно и любовно, как делал бы для ребенка бумажного голубя. Когда дон Лало Москоте поднял голову, оказалось, что он улыбается.

— Почему вы его не удалите?

Алькальд молча подал ему деньги и, не дожидаясь сдачи, вышел на улицу.

Было уже за полночь, а он все ворочался в гамаке, не решаясь взять в рот семена кресса. Около одиннадцати, когда духота стала непереносимой, хлынул ливень, который потом перешел в мелкий дождь. Измученный высокой температурой, дрожащий от клейкого холодного пота, алькальд, раскрыв рот, вытянулся ничком в гамаке и начал мысленно молиться. Молился он горячо, напрягая до предела все мускулы, однако видел: чем сильнее стремится он приблизиться к богу, тем неумолимей отталкивает его боль. Соскочив с гамака и надев поверх пижамы плащ и сапоги, алькальд бегом помчался в полицейский участок.

Он ворвался туда с громким воплем. Путаясь в сетях кошмара и действительности, наталкиваясь в темноте друг на друга, полицейские бросились к своим винтовкам. Когда вспыхнул свет, они замерли, полуодетые, ожидая приказа.

— Гонсалес, Ровира, Перальта! — выкрикнул алькальд.

Все трое мигом его окружили. Не было никакой видимой причины для выбора именно этих трех — они были обыкновенные метисы. На одном, остриженном под машинку и с детскими чертами лица, была фланелевая рубашка, на двух других поверх такой же рубашки были надеты расстегнутые гимнастерки.

Никакого вразумительного приказания они не получили. Перепрыгивая через четыре ступеньки, полицейские высочили вслед за алькальдом из участка, перебежали под дождем улицу и остановились перед домом зубного врача. Два дружных усилия — и дверь под ударами прикладов разлетелась в щепы. Они уже вошли, когда в передней зажегся свет. Из двери в глубине дома появился лысый жилистый человек в трусах, впопыхах натягивавший на себя купальный халат. На мгновение он так и застыл с разинутым ртом и поднятой вверх рукой, словно освещенный фотовспышкой, потом отпрыгнул назад и столкнулся с женой, которая в одной ночной рубашке выбежала из спальни.

— Спокойно! — крикнул алькальд.

Воскликнув: «Ой!» — женщина зажала руками рот и кинулась назад, в спальню. Зубной врач, завязывая пояс халата, направился к входной двери и только теперь разглядел трех полицейских с нацеленными на него винтовками и алькальда, стоявшего неподвижно, засунув руки в карманы плаща, с которого текло ручьями.

— Если сеньора выйдет, в нее будут стрелять,— сказал алькальд.

Держась за ручку двери, зубной врач крикнул в комнату:

— Ты слышала, детка?

И, с педантичной аккуратностью закрыв дверь спальни, он пошел между выгоревших стульев к зубоучастному кабинету. Продыmlенные глаза винтовочных дул неотрывно следили за ним, а в дверях кабинета его обогнали двое полицейских. Один включил свет, другой пошел прямо к письменному столу и, выдвинув ящик, взял из него револьвер.

— Должен быть еще один,— сказал алькальд.

Он вошел в кабинет следом за зубным врачом. Один полицейский стал у двери, двое других провели быстрый, но тщательный обыск. Они перевернули на рабочем столе ящичек с инструментами, рассыпав при этом по полу гипсовые слепки, недоделанные протезы и золотые коронки, высыпали содержимое фаянсовых банок, стоявших в застекленном шкафу, и несколькими взмахами штыка вспороли резиновый подголовник зубоучастного кресла и пружинное сиденье вращающегося табурета.

— Тридцать восьмого калибра, длинноствольный,— уточнил алькальд.

Он посмотрел пристально на зубного врача.

— Будет лучше, если вы сразу скажете, где он. Нам не доставит никакого удовольствия перевернуть у вас все вверх дном.

Узкие, потухшие глаза зубного врача за стеклами в золотой оправе ничего не выразили.

— А я никуда не тороплюсь,— медленно ответил он.— Если есть охота, переворачивайте.

Алькальд задумался, еще раз обвел взглядом комнату с дощатыми стенами и двинулся, отдавая отрывистые приказания полицейским, к зубо­врачебному креслу. Одному он велел стать у выхода на улицу, другому — у двери кабинета, третьему — у окна. Усевшись в кресло, он застегнул наконец промокший плащ и почувствовал себя так, будто его одели в холодный металл. Он втянул в себя пахнущий креозотом воздух, откинул голову на подушечку и постарался дышать ровнее. Зубной врач подобрал с пола несколько инструментов и поставил кипятить в кастрюльке.

Он стоял к алькальду спиной и глядел на голубое пламя спиртовки с таким видом, будто, кроме него, в кабинете никого не было. Когда вода закипела, он прихватил ручку кастрюльки бумагой и понес кастрюльку к зубо­врачебному креслу. Дорогу загораживал полицейский. Чтобы пар не мешал ему видеть алькальда, зубной врач опустил кастрюльку пониже и сказал:

— Прикажите этому убийце отойти в сторону.

Алькальд махнул рукой, и полицейский, отступив от окна, пропустил врача к креслу, а потом пододвинул к стене стул и сел, широко расставив ноги, положив винтовку на колени; он был готов в любой момент выстрелить. Зубной врач включил лампу. Алькальд, ослепленный внезапным светом, зажмурился и открыл рот. Боль прошла.

Оттянув указательным пальцем воспаленную щеку, другой рукой направляя лампу, врач нашел больной зуб, не обращая никакого внимания на тревожное дыхание пациента, закатал рукав до локтя и приготовился его вытащить.

Алькальд схватил врача за руку:

— Анестезию!

Впервые их взгляды встретились.

— Вы убиваете без анестезии,— спокойно сказал зубной врач.

Алькальд чувствовал, что сжимающая щипцы рука, которую он держит за запястье, даже не пытается высвободиться.

— Принесите ампулы! — потребовал он.

Полицейский, стоявший в углу, направил на них дуло винтовки, и они оба услышали шорох прижимаемого к плечу приклада.

— А если их нет? — сказал зубной врач.

Алькальд выпустил его руку.

— Не может быть, чтобы не было,— сказал он, обегая безутешным взглядом рассыпанные по полу зубо­врачебные принадлежности.

Зубной врач с сострадательным вниманием наблюдал за ним. Потом, толкнув голову алькальда на подголовник и впервые обнаруживая признаки раздражения, сказал:

— Не валяйте дурака, лейтенант: при таком абсцессе анестезия не поможет.

Когда миновало самое страшное мгновение в его жизни, обессиленный алькальд раскинулся в кресле; знаки, нарисованные сыростью на гладком потолке кабинета, запечатлелись в его памяти на всю жизнь. Он услышал, как зубной врач возится около умывальника, услышал, как тот молча ставит на прежние места металлические коробки и подбирает рассыпанные по полу предметы.

— Ровира!— позвал алькальд.— Скажи Гонсалесу, пусть войдет. Поднимите все с пола и разложите по местам.

Полицейские принялись за дело. Зубной врач взял пинцетом клочок ваты, обмакнул его в жидкость стального цвета и положил в рану. Алькальд ощутил легкое жжение. Врач закрыл ему рот, а он по-прежнему сидел, глядя в потолок и прислушиваясь к возне полицейских, силившихся по памяти придать кабинету

вид, в каком он был до их прихода. На башне пробило два, и минутой позже сквозь бормотанье дождя время отметила своим криком выпь.

Увидев, что полицейские закончили, алькальд движением руки показал, чтобы они вернулись в участок.

Все это время зубной врач был около кресла. Когда полицейские ушли, он вытащил из ранки тампон, потом, светя лампой, осмотрел полость рта, снова сомкнул челюсти алькальда и выключил свет. Все было сделано. В душевной комнате воцарилась неуютная и странная пустота — такая бывает в театре после того, как уйдет последний актер; ее знают только уборщики.

— Вы неблагодарны, — сказал алькальд.

Зубной врач сунул руки в карманы халата и отступил на шаг, чтобы пропустить его.

— У нас был приказ обыскать весь дом, — продолжал алькальд, пытаюсь разглядеть за кругом света лицо врача. — Были точные указания найти и изъять оружие, боеприпасы и документы с планами антиправительственного заговора. — И, не сводя с зубного врача взгляда еще влажных глаз, добавил: — Вы знаете, что все это правда.

Лицо зубного врача было непроницаемо.

— Я думал, что поступаю хорошо, не выполняя этого приказа, — снова заговорил алькальд, — но я ошибался. Теперь все по-другому, у оппозиции есть гарантии, все живут в мире, а у вас в голове по-прежнему заговоры.

Зубной врач вытер рукавом подушку кресла и перевернул ее нераспортой стороной вверх.

— Ваше поведение наносит вред всему городку, — продолжал алькальд, покаяваясь на подушку и игнорируя задумчивый взгляд, устремленный зубным врачом на его щеку. — Теперь муниципалитету придется платить за все это, и за входную дверь тоже, кругленькую сумму — и все из-за вашего упрямства.

— Полощите рот шалфеем, — сказал зубной врач.

IV

В толковом словаре судьи Аркадио нескольких страниц не хватало, и ему пришлось заглянуть в словарь, который был на почте. Ничего вразумительного: «Пасквиль — имя римского сапожника, прославившегося сатирами, которые он на всех писал» — и другие малосущественные уточнения. «Было бы в такой же мере исторически справедливо, — подумал он, — назвать наклеенную на дверь дома анонимку марфорио»². Однако разочарования он не испытывал. В те две минуты, которые он потратил, перелистывая словарь, он впервые за долгое время ощутил приятное чувство исполненного долга.

Видя, что судья Аркадио ставит словарь на этажерку, между забытыми томами почтово-телеграфных инструкций и уложений, телеграфист энергичным ударом кончил передавать телеграмму, подъялся и подошел к судье, тасуя карты: ему не терпелось продемонстрировать модный фокус — угадыванье трех карт. Однако судью Аркадио это совсем не интересовало.

— Я очень спешу, — извинился он и вышел на пышущую жаром улицу.

Он знал, что еще нет одиннадцати и что сегодня, во вторник, впереди у него немало часов, которые надо чем-то заполнить.

В канцелярии суда его ждал со щекотливым делом алькальд. В последние выборы избирательные карточки членов оппозиционной партии были конфискованы и уничтожены полицией, и теперь у большинства жителей городка не было единственного документа, удостоверяющего личность.

— Эти люди, которые перетаскивают дома, — сказал, разводя руками, алькальд, — не знают даже, как их зовут.

Судья Аркадио понял, что разведенные руки выражают искреннюю озабоченность. Однако разрешить эту проблему было легко — достаточно было назна-

² Марфорио (итал.) — просторечное название античной статуи из белого мрамора, на которую в средневековом Риме наклеивали сатирические стихи.

чить регистратора актов гражданского состояния. Еще больше облегчил дело секретарь:

— Да надо просто-напросто послать за ним — он уже год как назначен.

Алькальд вспомнил. Несколько месяцев назад, когда ему сообщили, что назначен регистратор актов гражданского состояния, он запросил по междугородному телефону, как его встретить, и получил ответ: «Выстрелами». Теперь поступали совсем другие указания.

Сунув руки в карманы, он повернулся к секретарю:

— Напишите письмо.

Стрекот пишущей машинки внес в суд атмосферу бурной деятельности, отнюдь не соответствовавшую настроению судьи Аркадио. Чувствуя внутри пустоту, он достал из кармана рубашки смятую сигарету и, перед тем как закурить, покатал ее между ладонями. Потом откинулся в кресле, оттянув до предела пружины, которыми спинка прикреплялась к сиденью, и вдруг с необыкновенной остротой ощутил себя живым.

Судья Аркадио сначала построил фразу в уме, а уже потом произнес ее:

— Я бы на вашем месте назначил также уполномоченного.

Алькальд, против ожидания судьи, ответил не сразу. Он посмотрел на часы, но не заметил точного времени, а просто отметил про себя, что до обеда еще далеко. Когда он наконец заговорил, особого воодушевления в его голосе не слышалось: он не знал, как назначают уполномоченного.

— Уполномоченного назначает муниципальный совет, — объяснил судья Аркадио. — А поскольку таковой отсутствует и по-прежнему сохраняется режим чрезвычайного положения, вы имеете право назначить его сами.

Алькальд не читая подписал письмо и горячо поддержал предложение судьи, однако секретарю рекомендованная его начальником процедура показалась этически сомнительной. Судья Аркадио стоял на своем: речь идет о чрезвычайной процедуре в условиях чрезвычайного положения.

— Звучит неплохо, — сказал алькальд.

Он снял фуражку и начал ею обмахиваться; судья Аркадио увидел на его лбу отпечатавшийся след околыша. По тому, как тот обмахивался, он понял, что алькальд занят своими мыслями. Стряхнув длинным изогнутым ногтем мизинца пепел с сигареты, судья стал ждать.

— Вам не приходит в голову какой-нибудь кандидат? — спросил алькальд.

Было ясно, что вопрос обращен к секретарю.

— Кандидат... — повторил судья, закрыв глаза.

— Я бы на вашем месте назначил честного человека, — сказал секретарь.

Судья поспешил сгладить его бестактность.

— Это само собой разумеется, — сказал он, переводя взгляд с одного собеседника на другого.

— Кого, например? — спросил алькальд.

— Сейчас мне никто не приходит в голову, — в раздумье ответил судья Аркадио.

Алькальд направился к двери.

— Подумайте об этом, — сказал он судьбе. — Когда разделаемся с наводнением, займемся вопросом об уполномоченном.

Как только стук каблуков алькальда затих, секретарь, который сидел склонясь над машинкой, поднял голову.

— Да он спятил, — заговорил секретарь. — Полтора года назад тогдашнему уполномоченному размозжили прикладами голову, а теперь он ищет, кого бы ему осчастливить этим местом.

Судья Аркадио вскочил.

— Я ухожу, — сказал он. — Не хочу, чтобы ты отравил мне обед своими ужасными рассказами.

Судья вышел на улицу. Полдень был какой-то зловещий, и склонный к суевериям секретарь это отметил. Когда он навешивал на дверь замок, ему показалось, будто он совершает что-то запретное. Он побежал и в дверях почти нагнал

судью Аркадио, которому захотелось узнать, нельзя ли фокус с тремя картами применить как-нибудь в игре в покер. Телеграфист отказался раскрыть секрет фокуса и согласился только показывать его до тех пор, пока судья Аркадио сам его не поймет. Секретарь смотрел тоже и наконец догадался, в чем дело, а судья Аркадио ни разу даже не взглянул на три карты: он был уверен, что это те самые, какие он назвал, и что именно их телеграфист не глядя вытаскивает из колоды и отдает ему.

— Это магия, — сказал телеграфист.

Судья Аркадио подумал, что надо, пожалуй, перейти на другую сторону улицы. Решившись на это, он схватил секретаря за локоть и, потянув, заставил его погрузиться вместе с собой в расплавленное стекло, из которого они вынырнули в тень тротуара. Секретарь объяснил ему фокус. Оказалось так просто, что судья Аркадио почувствовал себя уязвленным.

Некоторое время они шли молча.

— Вы, конечно, так ничего и не выяснили? — спросил вдруг судья.

Секретарь не сразу понял, о чем идет речь.

— Это очень трудно, — ответил наконец он. — Большинство листов сры- вают еще до рассвета.

— Этого фокуса я тоже не понимаю, — сказал судья Аркадио. — Клеветни- ческие листки, которые никто не читает, мне бы спать не помешали.

— Дело тут в другом, — сказал секретарь, останавливаясь у своего дома. — Спать людям мешают не сами листки, а страх перед ними.

Хотя сведения, собранные секретарем, были далеко не полными, судья Арка- дио все равно захотел их узнать. Он записал все, с именами и датами, — одиннад- цать случаев за семь дней. Ничего общего между одиннадцатью именами не было. По мнению тех, кто видел листки, они были написаны кистью, синими чернила- ми. Буквы были печатные, и заглавные перемешаны со строчными, будто писал ребенок. Орфографические ошибки были так абсурдны, что казались намерен- ными. Никаких тайн листки не раскрывали — все, что в них сообщалось, давно уже было общим достоянием. Он перебрал в уме все мыслимые догадки, и тут его окликнул из своей лавки сириец Мойсес:

— Найдется у вас одно песо?

Судья Аркадио не понял, зачем ему одно песо, но карманы вывернул. Там было двадцать пять сентаво и монетка из США — амулет, который он носил с собой повсюду со студенческих лет. Сириец Мойсес взял двадцать пять сентаво.

— Что хотите берите и когда хотите платите, — сказал он и со звоном ссы- пал монеты в пустую кассу. — Не люблю, когда наступает полдень, а мне не за что возблагодарить господа.

Вот почему, когда било двенадцать, судья Аркадио вошел к себе в дом нагруженный подарками для жены. Он сел на кровать переобуться, а она, завер- нувшись в отрез набивного шелка, представила себе, какой она будет после родов в новом платье. Она поцеловала мужа в нос. Он попытался было увернуться, но она опрокинула его на спину поперек кровати и навалилась на него. Минуту они пролежали без движения. Судья Аркадио погладил ее по спине, ощущая жар огромного живота, и внезапно почувствовал, как ее бедра вздрогнули.

Она подняла голову и пробормотала сквозь зубы:

— Подожди, я закрою дверь.

Алькальд ждал, пока установят последний дом. За двадцать часов возникла новая улица, широкая и голая, упирающаяся прямо в стену кладбища. Алькальд работал вместе с хозяевами, расставляя мебель, а потом, уже задыхаясь, ввалил- ся в ближайшую к нему кухню. На очаге, сложенном из камней, кипел суп. Он приподнял крышку с глиняного горшка и вдохнул пар. С другой стороны очага на него молча смотрела большими спокойными глазами худая женщина.

— Значит, пообедаем, — обратился к ней алькальд.

Женщина ничего не сказала. Алькальд, не дожидаясь приглашения, налил себе тарелку супа. Тогда женщина принесла из комнаты стул и поставила его

перед столом, чтобы алькальд мог сесть. Хлебная суп, он с каким-то благоговейным ужасом оглядел пагию. Еще вчера здесь была только голая земля, а сегодня сушилось на веревке белье и в грязи барахтались две свиньи.

— Можете даже тут что-нибудь посадить, — сказал он.

Не поднимая головы, женщина ответила:

— Все равно свиньи сожрут.

А потом, положив на тарелку кусок вареного мяса, два ломтя маниоки и половину зеленого банана, подала ему, подчеркнуто вкладывая в этот акт гостеприимства все безразличие, на какое только была способна. Алькальд, улыбаясь, попытался встретиться с нею взглядом.

— Хватит на всех, — сказал он.

— Пошли вам бог несварение, — ответила, не глядя на него, женщина.

Он сделал вид, что не слышал дурного пожелания, и занялся едой, не обращая внимания на ручейки пота, стекающие по его шее. Когда он доел, женщина, по-прежнему на него не глядя, взяла пустую тарелку.

— И долго вы думаете продолжать это? — спросил алькальд.

Когда женщина заговорила, лицо ее осталось таким же спокойным:

— Пока вы не воскресите наших близких, которых вы убили.

— Сейчас все по-другому, — сказал алькальд. — Новое правительство заботится о благосостоянии граждан, а вы...

Женщина прервала его:

— Как было, так и осталось.

— Чтобы за двадцать четыре часа построили целую улицу — такого еще никогда не бывало, — продолжал алькальд. — Мы пытаемся сделать городок пристойным.

Женщина сняла с проволоки чистое белье и отнесла его в комнату. Алькальд не отрывал от нее взгляда, пока не услышал ответ:

— Наш городок был пристойным, пока не было вас.

Кофе алькальд ждать не стал.

— Неблагодарные, — сказал он. — Дарим им землю, а они еще недовольны.

Женщина не ответила, но когда алькальд пошел через кухню к выходу, пробормотала, склонившись над очагом:

— Когда здесь будет еще хуже, мы будем чаще вас вспоминать — мертвые рядом, за стеной.

Алькальд попытался вздремнуть до прибытия баркасов, но не смог — зной был невыносим. Опухоль начала спадать, однако чувствовал он себя по-прежнему плохо. Целых два часа, проводя взглядом почти неуловимое течение реки, алькальд слушал, как где-то в его комнате стрекочет цикада. Он ни о чем не думал.

Услышав наконец шум приближающихся баркасов, алькальд разделся догола, обтер полотенцем потное тело и надел форму. Потом отыскал цикаду, взял ее двумя пальцами и вышел на улицу. Из толпы, дожидавшейся баркасов, выбежал чистый, хорошо одетый мальчик и преградил путь алькальду пластмассовым автоматом. Алькальд отдал ему цикаду.

Минутой позже, сидя в лавке сирийца Мойсеса, он уже смотрел, как причаливают суда. Десять минут набережная кипела. Алькальд почувствовал тяжесть в желудке и тупую головную боль, и ему вспомнилось проклятие женщины. Он отвлекся, глядя на пассажиров, спускающихся по деревянным сходням и расправляющих мышцы после восьми часов неподвижного сидения.

— Всегда одно и то же, — сказал он.

Сириец Мойсес обратил его внимание на то, что в этот раз есть и кое-что новое: приехал цирк. Алькальд уже знал об этом, хотя не мог бы объяснить, как он это узнал: может, благодаря тому, что на крыше баркаса громоздилась груда шестов и разноцветных полотнищ, или потому, что он увидел двух женщин в платьях одного фасона и расцветки — будто одного человека повторили два раза.

— Хоть цирк приехал, — проворчал он.

Сириец Мойсес заговорил было о зверях и жонглерах, но алькальд подходил к цирку с других позиций. Вытянув ноги, он оглядел носки сапог.

— В наш городок приходит прогресс,— сказал он сирийцу.

Сириец перестал обмахиваться веером.

— Знаешь, на сколько я сегодня продал товара?— спросил он.

Алькальд, не рискуя назвать цифру, ждал, чтобы тот назвал ее сам.

— На двадцать пять сентаво,— сказал сириец.

В это мгновение алькальд увидел, как телеграфист открывает мешок с почтой и вручает корреспонденцию доктору Хиральдо. Алькальд подозревал телеграфиста к себе. Официальная почта была в особом конверте. Сломав печати, он не нашел в нем ничего, кроме обычных сообщений и пропагандистских материалов правительства. Кончив читать, он увидел, что набережная преобразилась: ее загромождали тюки товаров, корзины с курами и загадочный цирковой инвентарь. Наступила вторая половина дня. Вздохнув, алькальд встал.

— Двадцать пять сентаво!

— Двадцать пять сентаво,— твердо и почти без акцента повторил сириец.

Доктор Хиральдо наблюдал разгрузку баркасов до самого конца. Именно он обратил внимание алькальда на могучую, величественную, как идол, женщину с унизианными браслетами руками. Под своим ярким разноцветным зонтом она, казалось, решила дожидаться судебного дня. Большого интереса новоприбывшая у алькальда не вызвала.

— Укротительница, наверно,— предположил он.

— Да, в известном смысле,— сказал доктор, будто откусывая каждое слово похожими на заостренные камешки зубами.— Теща Сесара Монтеро.

Алькальд двинулся дальше. Взглянул на часы: без двадцати пяти четыре. В дверях участка дежурный доложил ему, что падре Анхель прождал его полчаса и вернется к четырем.

Снова выйдя на улицу, алькальд, не зная, как убить время, увидел зубного врача в окне кабинета и подошел попросить у него огонька. Доктор Эскобар дал ему прикурить и посмотрел на еще опухшую щеку.

— Уже прошло,— сказал алькальд и открыл рот.

Зубной врач заметил:

— Некоторые надо запломбировать.

Алькальд поправил на поясе револьвер.

— Я к вам приду,— сказал он решительно.

Лицо зубного врача ничего не выразило.

— Приходите, когда хотите,— может, сбудутся мои пожелания и вы умрете у меня в доме.

Алькальд хлопнул его по плечу.

— Не сбудутся,— весело сказал он и, вскинув руки, добавил:— Мои зубы выше разногласий между партиями.

— Так ты не хочешь обвенчаться?

Жена судьи Аркадио села удобнее, расставив пошире ноги.

— Ни за что, падре,— ответила она.— А уж теперь, когда я скоро рожу ему сына, даже разговора об этом быть не может.

Падре Анхель перевел взгляд на реку. Течением несло огромную коровью тушу, на ней сидело несколько стервятников.

— Но ведь ребенок будет незаконнорожденный.

— Ну и что?— сказала женщина.— Аркадио обращается со мной хорошо, а если я женю его на себе, он будет чувствовать себя связанным, и мне придется за это расплачиваться.

Она сбросила деревянные шлепанцы и сидела теперь, разомкнув колени и сжимая пальцами ног перекладину табурета. Веер лежал у нее на подоле платья, а руки она скрестила на своем большом животе.

— Ни за что на свете, падре,— повторила она, видя, что тот хранит молчание.— Дон Сабас купил меня за двести песо, три месяца мною пользовался и почти голую выбросил на улицу. Я бы умерла с голоду, не подбери меня Аркадио.

Она впервые посмотрела на падре в упор.

— Или бы шлюхой стала.

Падре Анхель уговаривал ее уже шесть месяцев.

— Ты должна заставить его жениться на тебе и основать семью. Ведь сейчас не только твое положение непрочное, но ты еще подаешь дурной пример всему городку.

— Лучше все делать в открытую, — сказала она. — Другие делают то же, но только при потушенном свете. Разве вы не читали листки?

— Это все клевета, — сказал падре. — Тебе надо узаконить свое положение и оградить себя от сплетен.

— Себя? — удивилась она. — Мне себя ни от чего ограждать не надо, я ничего ни от кого не скрываю. Потому никто и не тратит время, чтобы наклеивать листки на мой дом, а вот дома «приличной» публики на площади все в бумажках.

— Ты невежественна, — сказал падре, — но по милости божьей встретила мужчину, который относится к тебе с уважением. В благодарность за одно это ты должна обвенчаться и сделать свой союз законным.

— Я ни в чем этом не разбираюсь, — сказала она, — но сейчас у меня есть крыша над головой и еды хватает.

— Ну, а если он тебя бросит?

Она закусила губу, а потом с загадочной улыбкой ответила:

— Не бросит, падре. Я знаю, что говорю.

Но и на этот раз падре Анхель не захотел признать себя побежденным. Он посоветовал ей хотя бы ходить к мессе. Она сказала, что как-нибудь на днях придет.

В ожидании встречи с алькальдом падре возобновил прогулку. Один из сирийцев обратил его внимание на хорошую погоду, однако голова священника была занята другим. Его интересовал цирк, выгружавший в ярком свете солнца своих перепуганных зверей. Он простоял, наблюдая за ними, до четырех часов.

Прощавшись с зубным врачом, алькальд увидел падре, идущего ему навстречу.

— Мы пунктуальны, — сказал он, протягивая священнику руку. — Пунктуальны, хотя дождя нет.

Падре, уже собравшийся подняться по крутой лестнице в полицейский участок, отозвался:

— И не наступает конец света.

Двумя минутами позже его ввели в комнату, где содержался Сесар Монтеро.

Пока шла исповедь, алькальд сидел в коридоре. Он вспоминал цирк, женщину, которая висела, вцепившись во что-то зубами, на высоте пяти метров, и мужчину в голубой, расшитой золотом униформе, отбивавшего барабанную дробь.

Падре Анхель вышел из комнаты Сесара Монтеро через полчаса.

— Все? — спросил алькальд.

Падре Анхель окинул его гневным взглядом.

— Вы совершаете преступление, — сказал он. — Уже больше пяти дней у этого человека не было во рту ни крошки. Если он еще жив, то только благодаря своей конституции.

— Что поделаешь, если он сам не хочет, — равнодушно сказал алькальд.

— Неправда, — спокойно, но решительно возразил падре. — Это вы приказали не давать ему есть.

Алькальд погрозил пальцем:

— Осторожно, падре, вы нарушаете тайну исповеди.

— Это в исповедь не входит.

Алькальд вскочил на ноги.

— Не лезьте в бутылку, — неожиданно рассмеявшись, сказал он. — Если это вас так волнует, мы поправим дело прямо сейчас.

Он позвал полицейского и приказал, чтобы Сесару Монтеро принесли обед из гостиницы.

— Пусть пришлют целую курицу пожирнее, тарелку картошки и миску салата,— сказал он и, повернувшись к падре, добавил:— Все за счет муниципалитета. Чтобы вы видели, какие настали времена.

Падре Анхель опустил голову.

— Когда вы его отправите?

— Баркасы уходят завтра,— сказал алькальд.— Если сегодня вечером он проявит благоразумие, его отправят завтра же утром. Ему бы следовало понять, что я делаю ему одолжение.

— Дороговатое одолжение,— сказал падре.

— Все одолжения стоят денег,— отозвался алькальд.

Он посмотрел в прозрачно-голубые глаза падре Анхеля и спросил:

— Надеюсь, вы довели это до его сознания?

Не ответив, падре Анхель спустился по лестнице и глухо буркнул снизу слова прощания. Алькальд пересек коридор и без стука вошел к Сесару Монтеро.

В комнате был умывальник и железная кровать. Сесар Монтеро, небритый, в той же одежде, в какой вышел из дому во вторник на прошлой неделе, лежал на кровати. Взгляд его, когда он услышал голос алькальда, даже на миг не сдвинулся с точки, в которую был устремлен.

— Теперь, когда ты уладил свои дела с богом,— сказал алькальд,— самое время уладить их со мной.

Он пододвинул к кровати стул и сел на него верхом, навалившись грудью на плетеную спинку. Сесар Монтеро внимательно разглядывал балки потолка. Он не казался удрученным, хотя опущенные углы рта свидетельствовали о бесконечном разговоре с самим собой.

— Нам с тобой ни к чему ходить вокруг да около,— услышал он.— Завтра тебя отправят. Если тебе повезет, через два-три месяца придет специальный инспектор. Мы должны будем обо всем ему рассказать. Он отбудет следующим же баркасом, убежденный в том, что ты сделал глупость.

Наступила пауза, но Сесар Монтеро был невозмутим, как прежде.

— Потом судьи и адвокаты вытянут из тебя самое меньшее двадцать тысяч песо, а может, и больше, если инспектор сообщит им, что ты миллионер.

Сесар Монтеро повернул к нему голову. Хотя движение было едва заметным, пружины кровати скрипнули.

— И в конце концов,— вкрадчиво продолжал алькальд,— после всей этой бумажной волокиты тебе, если повезет, дадут два года.

Взгляд безмолвного собеседника остановился на носках его сапог, потом пополз вверх. Когда глаза Сесара Монтеро встретились с глазами алькальда, тот еще говорил, но теперь уже другим тоном.

— Всем, что ты имеешь, ты обязан мне,— говорил алькальд.— Был приказ тебя ликвидировать, убить тебя из засады и конфисковать скот, чтобы правительство могло покрыть огромные расходы на выборы по нашему департаменту. Ты прекрасно знаешь, что другие алькальды в других округах так и поступали. Но мы приказа не выполнили.

Только теперь он почувствовал, что Сесар Монтеро размышляет. Алькальд вытянул ноги и, упершись грудью в спинку стула, ответил на невысказанное вслух обвинение:

— Ни одного сентаво из того, что ты заплатил за свою жизнь, мне не досталось — все пошло на организацию выборов. Сейчас новое правительство решило, что должен быть мир и гарантии для всех, и у меня по-прежнему только мое паршивое жалованье, а ты не знаешь, куда девать деньги. Ничего не скажешь — ты зря времени не терял.

Медленно, с трудом Сесар Монтеро начал подниматься. Когда он встал, алькальд посмотрел на себя со стороны и увидел, какой он маленький и грустный перед этим монументальным зверем. Взгляд, которым алькальд проводил Сесара Монтеро до окна, загорелся каким-то странным огнем.

— Не потерял ни одной минутки,— негромко добавил он.

Окно выходило на реку. Сесар Монтеро не узнал открывшегося перед ним вида. Ему почудилось, будто он в каком-то другом городке, где тоже, по случайному совпадению, протекает река.

— Я пытаюсь помочь тебе,— услышал он голос у себя за спиной. — Все мы знаем, что была затронута твоя честь, но доказать это тебе будет нелегко. Ты сделал глупость, когда разорвал листок.

В это мгновенье в комнату проникла тошнотворная вонь.

— Корова.— сказал алькальд.— Наверно, выбросило на берег.

Безразличный к запаху разложения, Сесар Монтеро продолжал стоять у окна. На улице не видно было ни души. У причала покачивались на якоре три баркаса, и их команды, готовясь ко сну, развешивали гамаки. Завтра в семь утра все изменится. Полчаса набережная будет полна людей, собравшихся посмотреть, как отправляют заключенного Сесар Монтеро вздохнул, сунул руки в карманы и выразил то, о чем думал, одним решительным, но неторопливо сказанным словом:

— Сколько?

Ответ последовал незамедлительно:

— На пять тысяч песо годовалых телят.

— И еще прибавлю пять телят,— сказал Сесар Монтеро,— чтобы ты отправил меня сегодня ночью, после кино, специальным баркасом.

V

Баркас загудел, развернулся на середине реки, и толпа, собравшаяся у причала, женщины, смотревшие из окон, в последний раз увидели Росарио Монтеро. Она рядом со своей матерью сидела на том же жестяном сундучке, с которым семь лет назад сошла на берег. Доктору Октавио Хиральдо, брившемуся у окна приемной, показалось, что отъезд этот является в каком-то смысле возвращением к действительности.

Доктор Хиральдо видел Росарио в день приезда. На ней была тогда заносенная форма студентки учительского института и мужские ботинки, и она искала, кто бы взялся подешевле донести ее чемодан до школы. Казалось, что она приготовилась спокойно стареть в этом городке, название которого впервые увидела (как рассказывала сама) на бумажке, вытащенной ею из шляпы, когда между одиннадцатью выпускниками разыгрывалось шесть наличных вакансий. Она поселилась в комнате при школе, где стояли железная кровать и умывальник. Все свободное время она посвящала вышиванию скатертей, в то время как на керосинке у нее варилась кукурузная каша. И в тот же самый год, под рождество, она познакомилась на школьной вечеринке с Сесаром Монтеро — диковатым холостяком с загадочной родословной, разбогатевшим на торговле лесом. Он жил в девственной сельве, окруженный своими огромными собаками, и в городке появлялся только изредка, всегда небритый, в подкованных сапогах и с двустволкой. «Как будто еще раз вытащила из шляпы счастливый билет», — подумал, покрывая подбородок мыльной пеной, доктор Хиральдо. Однако тут его отвлекло от воспоминаний тошнотворное зловоние.

На противоположном берегу взлетела стая стервятников — их спугнула поднятая баркасами волна. Трупный запах повис на мгновенье над причалом, смешался с утренним ветерком и проник с ним в дома.

— Все она, черт ее побери! — глядя с балкона спальни на парящих в воздухе стервятников, выругался алькальд. — Проклятая корова!

Он прикрыл нос платком, вошел в спальню и закрыл дверь балкона. Запах ощущался и в комнате. Не снимая фуражки, он повесил на гвоздь зеркало и попытался осторожно побрить все еще немного воспаленную щеку. Почти тут же в дверь постучал директор цирка.

Алькальд предложил ему сесть и, продолжая бриться, посмотрел на него в зеркало. На директоре была рубашка в черную клетку, бриджи и гетры, в руке он держал стек и ритмично постукивал им себя по колену.

— На вас уже поступила жалоба, — сказал алькальд, снимая со щеки бритвой последние следы двух недель отчаянья. — Недавно. Сегодня вечером.

— Какая жалоба?

— Что вы посылаете детей воровать кошек.

— Неправда, — сказал директор. — Просто покупаем на вес всех кошек, которых нам приносят, и не спрашиваем, откуда их берут. Мы кормим ими зверей.

— Бросаете на растерзанье прямо живьем?

— Нет, что вы! — возмутился директор. — Это пробуждало бы в зверях хищные инстинкты.

Алькальд умылся и, вытирая лицо полотенцем, повернулся к нему. Только теперь он заметил, что у директора почти на всех пальцах кольца с цветными камешками.

— Так что придется вам придумать что-нибудь другое, — сказал он. — Ловите кайманов, если хотите, или подбирайте рыбу — она дохнет в такую погоду. А живых кошек — ни-ни.

Пожав плечами, директор цирка вышел вслед за алькальдом на улицу. Несмотря на зловоние от трупа коровы, застрявшего в зарослях на другом берегу, у дверей домов стояли и разговаривали мужчины.

— Эй, кумушки! — крикнул алькальд. — Чем языки чесать, сорганизовались бы да убрали корову! Надо было сделать это еще вчера вечером!

Несколько мужчин подошли к нему.

— Пятьдесят песо тому, кто за час принесет мне в канцелярию ее рога! — громко пообещал алькальд.

В конце набережной поднялся гам. Там услышали слова алькальда, и теперь, криками вызывая друг друга на состязание и отвязывая канаты, люди прыгали в лодки.

Алькальд, воодушевившись, удвоил сумму:

— Сто песо! По пятьдесят за рога!

Он потащил директора цирка к причалу. Они подождали, пока первые лодки достигнут песчаных отмелей берега, и тогда алькальд повернулся, улыбаясь, к директору.

— Счастливый городок, — сказал он.

Директор цирка выразил кивком согласие.

— Мероприятия вроде этого — единственное, чего нам не хватает, — продолжал алькальд. — А то от безделья люди начинают думать о всяких глупостях.

Мало-помалу вокруг них собрался кружок детей.

— Цирк вон там, — сказал директор.

Алькальд потянул его за руку к площади.

— Что покажете? — спросил он.

— Все, — ответил директор. — Представление у нас большое и разнообразное, для детей и для взрослых.

— Этого мало, — сказал алькальд. — Надо еще, чтобы было всем доступно.

— Мы учитываем и это, — заверил его директор.

Они вместе дошли до пустыря за кинотеатром, где уже начали возводить шاپито. Хмурые мужчины и женщины вытаскивали из огромных, обитых узорчатой латуной сундуков какой-то разноцветный хлам, и когда алькальд, погрузившись вслед за директором в водоворот людей и барахла, начал пожимать всем руки, ему почудилось, будто он на тонущем корабле.

Рослая, крепкая женщина с золотыми коронками чуть ли не на всех зубах задержала руку алькальда в своей и стала внимательно изучать его ладонь.

— В недалеком будущем с тобой произойдет что-то странное.

Алькальд выдернул руку.

— Наверно, сын родится, — ответил он, улыбаясь, не в силах подавить охватившее его на миг неприятное чувство.

Директор легонько ударил женщину стеком по плечу.

— Оставь лейтенанта в покое,— сказал он, не замедляя шага, и подтолкнул алькальда в ту сторону, где стояли клетки со зверями.— И вы в это верите?— спросил он.

— Когда как,— ответил алькальд.

— А меня так и не убедили,— сказал директор.— Когда покопаешься как следует в этих гаданях, начинаешь понимать, что все зависит только от самого человека.

Алькальд окинул взглядом сонных от жары животных. Из клеток струились терпкие, горячие испарения, и в мерном дыхании зверей было что-то тоскливо-безнадежное. Директор пощекотал стеком нос леопарда, и тот скорчил жалобную гримасу.

— Как зовут?— спросил алькальд.

— Аристотель.

— Я о женщине,— пояснил алькальд.

— А! Ее мы зовем Кассандра, зеркало будущего.

Лицо у алькальда стало тоскующим.

— Мне хотелось бы переспать с ней,— сказал он.

— Это можно,— отозвался директор цирка.

Вдова Монтель раздернула в спальне занавески и прошептала:

— Бедные люди!

Она навела порядок на ночном столике, убрала в выдвижной ящик четки и молитвенник и вытерла подошвы розовых домашних туфель о расстеленную перед кроватью шкуру ягуара. Потом обошла всю комнату и заперла на ключ туалетный столик, три дверцы застекленного шкафа и квадратный шкаф, на котором стоял гипсовый святой Рафаил. После этого она заперла на ключ дверь комнаты.

Спускаясь по широкой лестнице из каменных плит, покрытых лабиринтами трещин, она думала о странной судьбе Росарио Монтеро. Когда вдова Монтель увидела сквозь решетку балкона, как та, похожая на скромную, прилежную школьницу, которую приучили не смотреть по сторонам, обогнула угол и скрылась на набережной, ей показалось, будто закончилось нечто уже давно шедшее к завершению.

Вдова Монтель сошла с последней ступеньки, и ее встретило бурлящее, как деревенская ярмарка, patio. Прямо около лестницы стоял стол, на нем лежали завернутые в свежее листья сыры; чуть подальше, в открытой галерее, громоздились один на другой мешки соли и бурдюки с медом, а в глубине двора виднелась конюшня с мулами и лошадьми, где на балках висели седла и сбруя. Дом был весь пропитан запахом вьючных животных, мешавшимся с запахами дубильни и сахарозавода.

Войдя в контору, вдова поздоровалась с сидевшим за письменным столом сеньором Кармайклом. Тот, сверяясь с бухгалтерской книгой, отсчитывал и складывал пачками деньги. Она открыла выходящее на реку окно, и полную недоорогих безделушек комнату, где стояли большие кресла в серых чехлах и висело увеличенное фото Хосе Монтелья с траурным бантом вокруг рамки, наполнил свет десяти часов утра. Вдова почувствовала вонь падали и только теперь увидела лодки на отмелях противоположного берега.

— Что они делают?— спросила она у сеньора Кармайкла.

— Пытаются убить дохлую корову.

— Так вот что такое!— сказала вдова.— Этот запах снился мне всю ночь.— Она посмотрела на сеньора Кармайкла, углубившегося в работу, и добавила:— Теперь нам не хватает только потоп.

— Уже пятнадцать дней как он начался,— не поднимая головы, отозвался сеньор Кармайкл.

— Правда,— согласилась вдова,— приближается конец. Остается только лечь в могилу и ждать смерти.

Сеньор Кармайкл слушал ее, не прерывая счета.

— Многие годы мы жаловались, что у нас в городке ничего не происходит,— продолжала вдова.— И вдруг разразились несчастья, словно бог пожелал, чтобы разом произошло все, от чего он нас хранил уже несколько лет.

Сеньор Кармайкл оторвал взгляд от сейфа, повернулся к ней и увидел, что она, облокотившись на подоконник, пристально рассматривает противоположный берег. На ней было черное платье с длинными рукавами, и она грызла ногти.

— Кончится сезон дождей, и дела поправятся,— сказал сеньор Кармайкл.

— Он не кончится,— предсказала вдова.— Беда не приходит одна. Вы Росарио Монтеро видели?

Сеньор Кармайкл сказал, что видел.

— Все это ни на чем не основанная клевета,— продолжал он.— Если обращать внимание на то, что пишут в листках, можно в конце концов свихнуться.

— Ох уж эти листки...— вздохнула вдова.

— Мне тоже наклеили.

Изумленная, она подошла к его столу.

— Вам?

— Мне,— подтвердил сеньор Кармайкл.— В прошлую субботу наклеили, очень большой и подробный. Было похоже на афишу.

Вдова пододвинула к столу кресло.

— Какая гнусность!— воскликнула она.— Что плохого можно сказать о такой образцовой семье, как ваша?

Сеньор Кармайкл был все так же невозмутим.

— Жена у меня белая, и дети у нас получились разные, всех оттенков,— объяснил он.— Ведь их одиннадцать, представляете себе?

— Еще бы!

— Так в листке было написано, что я отец только черных детей, и приводился список прочих отцов. Среди них назвали и покойного дона Хосе Монтелья.

— Моего мужа!

— Вашего и еще четырех сеньор.

Вдова разрыдалась.

— Как хорошо, что мои дочери далеко отсюда!— сквозь слезы заговорила она.— Они пишут, что не хотят возвращаться в эту дикую страну, где студентов убивают на улицах, и я отвечаю им, что они правы, пусть остаются в Париже на всю жизнь.

Поняв, что снова начинается повторяющаяся изо дня в день мучительная сцена, сеньор Кармайкл повернул кресло и сел к вдове лицом.

— Вам тревожиться не о чем,— сказал он.

— Нет есть о чем,— возразила сквозь рыдания вдова Монтелья.— Мне бы первой следовало взять самое необходимое и уехать из городка, и пусть пропадут эти земли и все эти торговые сделки! Не будь их, на нас не обрушились бы наши теперешние несчастья. Нет, сеньор Кармайкл, плевать кровью я могу и не в золотую плевательницу.

Сеньор Кармайкл попытался ее утешить.

— Вы не должны уклоняться от своего долга,— сказал он.— Нельзя просто так взять и выбросить за окно целое состояние.

— Деньги — помет дьявола,— сказала вдова.

— В вашем случае они также плод нелегкого труда дона Хосе Монтелья. Вдова прикусила пальцы.

— Вы прекрасно знаете, что это не так,— возразила она.— Богатство приобретено дурными путями, и первым поплатился за это сам дон Хосе Монтелья— ведь он умер без покаяния.

Она говорила это уже не в первый раз.

— Главная вина лежит на нем, преступнике!— вдруг выкрикнула она, показывая на алькальда, который шел по противоположному тротуару, придерживая за локоть директора цирка.— Но искупить ее должна я!

Сеньор Кармайкл, будто не слыша ее, сложил стянутые резинками пачки

денег в картонную коробку, стал в дверях патио и начал вызывать по алфавиту работников.

Вдова Монтель слышала, как мимо нее проходят за еженедельной, выдававшейся по средам получкой люди, но не отвечала на их приветствия. Она жила одна в девяти комнатах темного дома, где умерла Великая Мама³; Хосе Монтель купил этот дом, не предполагая, что его собственная вдова будет одиноко дожидаться в нем смерти. По ночам, обходя с баллоном инсектицида пустые комнаты, она встречала Великую Маму, давившую в коридорах блох, и спрашивала ее: «Когда я умру?»

В начале двенадцати вдова увидела сквозь слезы, как площадь пересекает падре Анхель.

— Падре! Падре! — позвала она, и ей показалось, будто, зовя его, она зовет свою смерть.

Однако падре Анхель ее не услышал. Он уже стучался в дом вдовы Асис, стоявший напротив, и дверь чуть приоткрылась, чтобы впустить его.

В галерее, наполненной птичьим пением, лежала в шезлонге вдова Асис. Лицо ее покрывал платок, смоченный флоридской водой. По стуку она поняла, что это падре Анхель, однако продолжала наслаждаться коротким отдыхом, пока не услышала, как с ней здороваются. Она открыла лицо, на котором были видны следы бессонницы.

— Простите, падре, — сказала вдова Асис, — я не ждала вас так рано.

Падре Анхель не знал, что приглашен на обед. Немного растерянный, он извинился и сказал, что у него тоже с утра болит голова и он решил перейти площадь до жары.

— Не беда, — успокоила его вдова. — Я сказала это только потому, что очень плохо себя чувствую.

Падре вытащил из кармана истрепанный тревник.

— Если хотите, можете отдохнуть еще немного, а я помолюсь, — сказал он.

Вдова запротестовала.

— Мне уже лучше, — сказала она.

Не открывая глаз, она пошла в конец коридора и, вернувшись, очень аккуратно повесила платок на подлокотник шезлонга. Когда она села перед падре Анхелем, ему показалось, будто она помолодела на несколько лет.

— Падре, — ровным голосом сказала вдова, — мне нужна ваша помощь.

Падре Анхель сунул тревник в карман.

— Я к вашим услугам.

— Речь снова идет о моем сыне, Роберто Асисе.

Роберто Асис, уехавший накануне и предупредивший, что вернется в субботу, неожиданно возвратился вчера вечером и, нарушив обещание забыть о листках, до рассвета просидел в темной комнате, поджидая предполагаемого любовника жены.

Падре Анхель ошеломленно ее выслушал.

— Для этого не было никаких оснований, — сказал он.

— Вы не знаете Асисов, падре, — ответила вдова. — У них воображение страшной преисподней.

— Ребека знает, что я думаю о листках, — сказал он, — но, если хотите, я могу поговорить и с Роберто Асисом.

— Ни в коем случае, — сказала вдова. — Это только подольет масла в огонь. Вот если бы вы вспомнили о листках в воскресной проповеди — это, я уверена, заставило бы Роберто задуматься.

Падре Анхель развел руками.

— Невозможно! — воскликнул он. — Это придало бы событиям важность, которой у них нет.

— Нет ничего важнее, чем предупредить преступление.

— Вы думаете, может дойти до этого?

³ Персонаж романа «Сто лет одиночества». Ей также посвящен рассказ Г. Гарсиа Маркеса «Похороны Великой Мамы».

— Не только думаю — уверена, что не смогу предотвратить его.

Они сели за стол. Босая служанка принесла рис с фасолью, тушеные овощи и блюдо фрикаделек в густом коричневом соусе. Падре молча положил себе. Щипучий перец, глубокое молчание дома и растерянность, переполнявшая в этот миг его сердце, снова перенесли падре в голую комнатушку начинающего священника в знойном полудне Макондо. Именно в такой день, пыльный и душный, он отказался отпевать самоубийцу, которого жестокосердые жители Макондо не хотели предать земле.

Он расстегнул воротник сутаны.

— Хорошо, — сказал он вдове. — Постарайтесь тогда, чтобы Роберто Асис не пропустил воскресной мессы.

Вдова Асис пообещала, что не пропустит.

Доктор Хиральдо с женой, никогда не спавшие после обеда, провели время сиесты за чтением рассказа Диккенса. Они были на внутренней террасе, которую отгораживала от патио решетка, — он лежал в гамаке и слушал, заложив руки за голову, а она с книгой на коленях сидела в кресле, и за спиной у нее в ромбах света пламенела герань. Читала она бегло и бесстрастно, не меняя при этом позы, и подняла голову, только когда закончила. Она так и осталась сидеть с раскрытой книгой на коленях, в то время как ее муж умывался под краном. Духота предвещала непогоду.

— Длинный рассказ? — спросила она после молчаливого раздумья.

Точным движением, усвоенным в операционной, доктор поднял голову из-под крана.

— Называется коротким романом, — ответил он, глядясь в зеркало и намазывая волосы бриллиантином, — но я бы его назвал длинным рассказом. — И, продолжая мазать волосы, закончил: — А критики, наверно, назвали бы коротким рассказом, только слишком растянутым.

Жена помогла ему одеться в белый полотняный костюм. Ее можно было принять за старшую сестру — по спокойной преданности, с которой она ему прислуживала, но также и из-за старивших ее холодных глаз. Перед тем как выйти, доктор Хиральдо показал ей список визитов на случай, если кому-нибудь потребуется неотложная помощь, и передвинул стрелки на часах — объявлении в комнате перед приемной: «Доктор вернется в пять».

На улице звенело от зноя, и доктор Хиральдо пошел по теневой стороне. Его не покидало предчувствие, что, несмотря на духоту, дождя к вечеру не будет. Стрекот цикад еще сильнее подчеркивал безлюдность набережной, но корову, снятую с мели, унесло течением, и исчезнувшая вонь оставила огромную пустоту.

Из гостиницы его окликнул телеграфист:

— Получили телеграмму?

Нет, доктор Хиральдо не получал ее.

— «Сообщите условия поставки», подпись — Аркофан, — повторил по памяти телеграфист.

Они пошли вместе на почту. Пока врач писал ответ, телеграфист задремал.

— Это соляная кислота, — без особой убежденности объяснил врач и наперекор предчувствию, будто в утешение добавил, когда кончил писать: — Может, вечером все-таки пойдет дождь.

Телеграфист начал подсчитывать слова. Доктор забыл о нем — его внимание приковала к себе открытая толстая книга рядом с телеграфным ключом. Он спросил, не роман ли это.

— «Отверженные» Виктора Гюго, — стуча ключом, отозвался телеграфист и, проштемпелевав копию телеграммы, взял книгу и подошел с нею к барьеру. — Думаю, до декабря нам этого хватит.

Уже несколько лет доктор Хиральдо знал, что телеграфист в свободное время передает по аппарату стихи телеграфистке в Сан-Бернардо-дель-Вьенто. Но доктор не знал, что он выстукивает ей и романы.

— Это уже нечто серьезное,— сказал врач, листая захватанный том, будивший в нем смутные воспоминания отрочества.— Больше бы подошел Александр Дюма.

— Ей нравится это,— ответил телеграфист.

— А ты уже с ней знаком?

Телеграфист отрицательно покачал головой:

— Это не имеет значения. Я узнал бы ее в любой части света по подпрыгивающему «эр».

Как всегда, доктор Хиральдо выкроил час для дона Сабаса. Придя к нему, он увидел, что тот, прикрытый ниже пояса полотенцем, лежит в изнеможении на кровати.

— Ну, как карамельки?— спросил доктор.

— Жарко очень,— пожаловался дон Сабас и, чтобы удобней было смотреть на врача, перевернул на бок свое огромное тело старой женщины.— Я себе сделал укол после обеда.

Доктор Хиральдо открыл чемоданчик на специально приготовленном столике у окна. Из патио доносился стрекот цикад, в комнате было как в теплице. Слабой струйкой дон Сабас помочился в утку. Когда доктор набрал янтарной жидкости в пробирку для анализа, на душе у больного стало легче. Наблюдая, как врач делает анализ, он сказал:

— Вы уж постарайтесь, доктор. Не хочется умереть, не узнав, чем кончится эта история.

Доктор Хиральдо бросил в пробирку голубую таблетку.

— Какая история?

— Да с этими листками.

Пока доктор нагревал пробирку на спиртовке, дон Сабас не отрывал от него заискивающего взгляда. Доктор понюхал. Бесцветные глаза больного смотрели на него вопросительно.

— Анализ хороший,— сказал врач, выливая содержимое пробирки в утку, а потом испытующе посмотрел на дону Сабаса.— Вас они тоже волнуют?

— Меня лично нет,— ответил больной,— но я как японец — мне доставляет удовольствие чужой страх.

Доктор Хиральдо готовил шприц.

— К тому же,— продолжал дон Сабас,— мне уже наклеили одну два дня назад. Все та же чушь насчет моих сыновей и рассказы про ослов.

— Угу,— сказал врач, перетягивая резиновой трубкой руку дону Сабаса. Больному пришлось рассказать историю про ослов, потому что врач ее не помнил.

— Лет двадцать назад у меня была торговля ослами,— сказал он.— И почему-то всех проданных мною ослов через два дня находили утром мертвыми, хотя никаких следов насилия видно не было.

Он протянул врачу руку с дряблыми мышцами, чтобы тот взял на анализ кровь. Когда доктор Хиральдо прижал к уколотому месту ватку, дон Сабас согнул руку в локте.

— Так знаете, что выдумали люди?

Врач покачал головой.

— Распустили слух, будто я пробирался по ночам в стойла, вставлял револьверное дуло ослу под хвост и стрелял.

Доктор Хиральдо убрал пробирку с кровью для анализа в карман куртки.

— Звучит правдоподобно,— заметил он.

— На самом деле это все змеи,— сказал дон Сабас, сидя на кровати в позе восточного божка.— Но вообще-то каким надо быть дураком, чтобы написать в листке о том, что и так знают все.

— Такова особенность всех этих листков,— сказал врач.— В них говорится о том, что знают все, и почти всегда это правда.

На миг слова врача повергли дону Сабаса в состояние шока.

— Что верно, то верно, — пробормотал он, стирая простыней пот с опухших век, однако самообладание тут же к нему вернулось. — Если уж говорить начистоту, то во всей стране нет ни одного состояния, за которым бы не скрывался дохлый осел.

Слова эти врач услышал, когда, наклонившись над тазом, мыл руки. Он увидел в воде свою улыбку — зубы столь безупречные, что они казались искусственными. Поглядев через плечо на пациента, доктор сказал:

— Я всегда считал, мой дорогой дон Сабас, что ваше единственное достоинство — бесстыдство.

Больной воодушевился. Удары, наносимые врачом по его самолюбию, как ни странно, действовали на него омолаживающе.

— Оно и еще моя мужская сила. — Возможно, с целью стимулировать кровообращение он согнул руку в локте, а потом слегка подпрыгнул на ягодицах. — Вот почему я помираю со смеху над этими листками, — продолжал он. — В них пишут, что мои сыновья не пропускают ни одной девчонки, которая расцветает в наших краях, а я на это отвечаю: они сыновья своего отца.

До ухода доктору Хиральдо пришлось выслушать историю любовных похождений больного.

— Эх, молодость! — воскликнул под конец дон Сабас. — Счастливые времена! Тогда девчонка шестнадцати лет стояла дешевле телки.

— Эти воспоминания повысят концентрацию сахара, — сказал врач.

Больной широко оскалился.

— Наоборот, — возразил он, — они помогают мне больше, чем ваши проклятые уколы.

Когда врач выходил на улицу, ему представилось, будто по жилам дона Сабаса циркулирует теперь крепкий бульон. Потом мысли его вернулись к листкам. Уже несколько дней подряд слухи о них доходили в его приемную. Сегодня после визита к дону Сабасу он вдруг понял, что в последнюю неделю только об этом и слышал.

В течение следующего часа он побывал еще у нескольких больных, и все они говорили о листках. Он выслушивал их без комментариев, симулируя насмешливое безразличие, но на самом деле пытался как-то разобраться. Он уже подходил к своему дому, когда размышления его были прерваны падре Анхелем, выходящим из дома вдовы Монтель.

— Как больные, доктор? — спросил его падре Анхель.

— Мои выздоравливают, — ответил врач. — А как ваши, падре?

Закусив губу, падре Анхель взял врача за локоть, и они пошли вместе через площадь.

— Почему вы меня об этом спрашиваете?

— Не знаю, — ответил доктор. — Я слышал, что среди ваших больных началась серьезная эпидемия.

Падре Анхель отвернулся — как показалось врачу, намеренно.

— Я только что говорил с вдовой Монтель, — сказал он. — У бедной женщины сдали нервы.

— Или совесть, — предположил врач.

— Ее преследуют навязчивые мысли о смерти.

Хотя дома их были в противоположных концах городка, падре Анхель проводил доктора до самой приемной.

— Seriously, падре, — снова заговорил врач, — что вы думаете об этих листках?

— А я о них не думаю, — сказал падре. — Но если вам обязательно надо знать мое мнение, то я бы сказал, что они плод зависти к образцовому городку.

— Таких диагнозов мы, врачи, не ставили даже в средневековье, — отозвался доктор Хиральдо.

Они стояли перед его домом. Медленно обмахиваясь веером, падре Анхель уже второй раз за этот день сказал, что не следует придавать событиям важности, которой у них нет. Доктора Хиральдо охватило глухое отчаянье.

— Откуда у вас такая уверенность, падре, что все написанное в листках ложь?

— Я бы знал из исповедей.

Доктор холодно посмотрел ему в глаза.

— Значит, все гораздо серьезней, если даже вы ничего не знаете.

К вечеру падре Анхель обнаружил, что в домах бедняков тоже говорят о листках, но по-другому, чаще всего посмеиваясь. После вечерней службы, мучимый неотступной головной болью (он приписал ее съеденным во время обеда фрикаделькам), падре без аппетита поужинал, а потом отыскал моральную оценку очередного фильма и впервые в жизни, отбивая двенадцать звучных ударов, означавших полный запрет фильма, ощутил темное злорадство. Под конец, чувствуя, что голова у него лопаается от боли, он поставил за дверью, на улице, табуретку и открыто сел наблюдать, кто, не считаясь с предупреждением, войдет в кинотеатр.

Вошел алькальд. Устроившись в углу партера, он выкурил до начала фильма две сигареты. С непривычки (пачки сигарет ему хватало на месяц) его затошнило. Воспалительный процесс в десне прекратился, но тело все еще страдало от воспоминаний о прошлых ночах и от поглощенных таблеток.

Кинотеатр представлял собой окруженную цементной стеной площадку. Половину партера укрывал навес из оцинкованного железа, а трава, казалось, заново пробивалась каждое утро сквозь россыпь окурков и жевательной резинки. Вдруг скамейка из необструганных досок и железная решетка, отделявшая партер от галерки, поплыли перед его глазами, и он, взглянув на белый прямоугольник экрана, почувствовал, как на него накатывает волна головокружения.

Когда свет погасили, ему стало лучше. Оглушающая музыка, доносившаяся из громкоговорителя, прервалась, но зато сильнее завибрировал движок, установленный в деревянной будке рядом с кинопроектором.

Перед началом фильма показали рекламные диапозитивы. Несколько минут сумрак колебали приглушенный шепот, топот ног и короткие смешки. На алькальда напал вдруг страх, и он подумал, что этот приход зрителей в темноте, по сути дела, настоящее восстание против жестких правил, установленных падре Анхелем.

Владельца кинотеатра, когда тот проходил мимо, алькальд узнал по запаху одеколона.

— Разбойник,— прошептал алькальд, хватая его за руку,— придется тебе платить специальный налог.

Смеясь сквозь зубы, владелец кинотеатра сел рядом.

— Картина вполне подходящая,— сказал он.

— По мне, так лучше бы все картины были неподходящие,— сказал алькальд.— Высокоморальные фильмы — самые скучные.

Несколько лет назад к колокольной цензуре относились не особенно серьезно, но каждое воскресенье во время большой мессы падре Анхель называл с кафедры и изгонял из церкви не посчитавшихся с его предупреждением женщин.

— Выручает задняя дверь,— сказал владелец кино.

Алькальд, глаза которого уже следили за кадрами старого киножурнала, заговорил, делая паузы каждый раз, когда на экране появлялось что-нибудь интересное.

— А в общем, толку мало,— сказал он.— Священник не дает причастия женщинам в платьях с короткими рукавами, а они все равно продолжают ходить без рукавов и только надевают фальшивые длинные, когда идут к мессе.

После журнала дали анонс на следующую неделю. Они молча просмотрели его до конца, и тогда владелец кинотеатра наклонился к алькальду.

— Лейтенант,— прошептал он ему на ухо,— купите у меня это хозяйство.

Алькальд не отрываясь смотрел на экран.

— Нет смысла.

— Для меня, — сказал владелец кинотеатра. — А для вас будет золотая жила. Разве не понимаете? К вам священник со своим трезвоном не сунется.

Подумав, алькальд ответил:

— Заманчиво.

Однако ничем связывать себя не стал. Положив ноги на скамью впереди, он углубился в перипетии запутанной драмы, которая, по его мнению, не заслуживала и четырех ударов колокола.

Выйдя из кино, он зашел в бильярдную, где в это время разыгрывалась лотерея. Было жарко, из приемника лилась нестройная музыка. Алькальд выпил бутылку минеральной воды и пошел спать.

Он шел, ни о чем не думая, по берегу. Слушая глухое урчанье поднимающейся реки, он ощущал в темноте исходивший от нее запах большого зверя. Уже у себя дома перед дверью спальни он вдруг остановился. отпрянул назад и выдернул из кобуры револьвер.

— Выходи на свет, — приказал он, — или я тебя выкурю.

Из темноты прозвучал нежный голосок:

— Лейтенант, нельзя быть таким нервным.

Он стоял не двигаясь, готовый выстрелить, пока та, что скрывалась в спальне, не вышла на свет и он не узнал ее. Это оказалась Кассандра.

— Ты была на волосок от смерти, — сказал алькальд.

Он велел ей вернуться с ним в спальню. Довольно долго Кассандра говорила о разном, перескакивая с одной темы на другую. Она уже сидела в гамаке, разговаривая, она сбросила туфли и теперь с веселой развязностью рассматривала покрытые огненно-красным лаком ногти на своих ногах.

Сидя напротив и обмахиваясь фуражкой, алькальд корректно поддерживал разговор. Он снова курил. Когда пробило двенадцать, она откинулась в гамаке, протянула к нему руку в позвякивающих браслетах и легонько ущипнула за нос.

— Уже поздно, малыш, — сказала она. — Погаси свет.

Алькальд улыбнулся.

— Я звал тебя не для этого, — сказал он.

Она не поняла.

— На картах гадаешь? — спросил алькальд.

Кассандра села.

— Конечно.

И потом, уже сообразив, надела туфли.

— Только у меня нет с собой колоды, — сказала она.

— Бог помогает тому, кто сам себе помогает, — улыбнулся алькальд.

Он вытащил из глубины сундука захватанную колоду карт. Она серьезно и внимательно оглядела каждую карту с обеих сторон.

— Мои лучше, — сказала она. — Но все равно, самое важное — это как они лягут.

Алькальд пододвинул столик и сел напротив. Кассандра начала раскладывать карты.

— Любовь или дела? — спросила она.

Алькальд вытер вспотевшие ладони.

— Дела, — сказал он.

VI

Под карнизом флигеля, где жил священник, укрылся от дождя бездомный осел и всю ночь бил копытами в стену спальни. Ночь была беспокойная. Только на рассвете падре Анхелю удалось наконец заснуть по-настоящему, а когда он проснулся, у него было такое чувство, будто он весь покрыт пылью. Уснувшие под дождем туберозы, вонь отхожего места, а потом, когда отзвучали пять ударов колокола, также и мрачные своды церкви казались измышленными специально для того, чтобы сделать это утро тяжелым и трудным.

Из ризницы, где он переодевался к мессе, падре Анхель слышал, как Тринидад собирает свой урожай мертвых мышей, а в церковь тихо проходят женщины, которых он там видел каждое утро. Во время мессы он со все усиливающимся раздражением замечал ошибки служки, его отвратительную латынь и в момент окончания службы испытал беспросветную тоску, терзавшую его в худшие минуты жизни.

Он уже шел завтракать, когда путь ему преградила сияющая Тринидад.

— Сегодня еще шесть попались! — воскликнула она, показывая коробку с дохлыми мышами.

Падре Анхель попытался стряхнуть с себя уныние.

— Великолепно, — сказал он. — Теперь нам надо только найти норки, и тогда мы избавимся от них окончательно.

Тринидад уже нашла норки. Она рассказала, как она отыскивала их в разных местах храма, особенно тщательно в звоннице и у купели, и заливала асфальтом. Этим утром она видела, как о стену билась обезумевшая мышь, тщетно проискавшая всю ночь вход в свой дом.

Они вышли на замощенный камнем дворик, где уже распрямлялись первые туберозы. Тринидад остановилась выбросить дохлых мышей в отхожее место. Войдя в свою комнату, падре Анхель откинул салфетку, под которой каждое утро словно по волшебству появлялся завтрак, присылавшийся ему из дома вдовы Асис, и приготовился есть.

— Да, чуть не забыла: я так и не смогла купить мышьяк, — сказала, входя к нему в комнату, Тринидад. — Дон Лало Москоте говорит, что продает его только по рецепту врача.

— Мышьяк уже не понадобится, — сказал падре Анхель. — Они теперь задохнутся в своих норах.

Пододвинув кресло к столу, он достал чашку, блюдо с тонкими ломтиками кукурузного хлеба и кофейник с выгравированным японским драконом. Тринидад открыла окно.

— Всегда надо быть наготове — вдруг они появятся снова, — сказала она.

Падре Анхель начал было наливать себе кофе, но остановился и посмотрел на Тринидад: в бесформенном балахоне и ортопедических ботинках она подходила сейчас к его столу.

— Ты слишком много об этом думаешь, — сказал он.

Ни в этот момент, ни позднее падре Анхель так и не обнаружил в густых бровях Тринидад хоть какого-нибудь намека на беспокойство. Не сумев унять легкое дрожанье пальцев, он долил в чашку кофе, бросил в него две чайные ложки сахарного песка и, не отрывая взгляда от висевшего на стене распятия, стал размешивать.

— Когда ты исповедовалась в последний раз?

— В пятницу, — отозвалась Тринидад.

— Скажи мне одну вещь: случалось ли так, чтобы ты скрыла от меня какой-нибудь грех?

Тринидад отрицательно покачала головой.

Падре Анхель закрыл глаза и вдруг, перестав мешать кофе, положил ложечку на тарелку и схватил Тринидад за руку.

— Стань на колени, — сказал он ей.

Ошеломленная Тринидад поставила картонную коробку на пол и стала перед ним на колени.

— Читай покаянную молитву, — приказал падре Анхель отеческим тоном исповедника.

Скрестив на груди руки, Тринидад неразборчиво забормотала молитву и остановилась, только когда падре положил ей руку на плечо и сказал:

— Достаточно.

— Я лгала, — сказала Тринидад.

— Что еще?

— У меня были дурные мысли.

Так она исповедовалась всегда: перечисляла не конкретизируя одни и те же грехи и всегда в одном и том же порядке. На этот раз, однако, падре Анхель не мог противостоять желанию заглянуть несколько глубже.

— Например? — спросил он.

— Я не знаю, — промямлила Тринидад. — Просто — бывают иногда дурные мысли.

Падре Анхель выпрямился.

— А не приходила тебе в голову мысль лишить себя жизни?

— Пресвятая дева Мария! — воскликнула, не поднимая головы, Тринидад и постучала костяшками пальцев по ножке стола. — Нет, никогда, падре!

Падре Анхель рукой поднял ее голову и, к своему отчаянию, обнаружил, что глаза девушки наполняются слезами.

— Ты хочешь сказать, что мышьяк тебе и вправду нужен был только для мышей?

— Да, падре.

— Тогда почему ты плачешь?

Тринидад попыталась снова опустить голову, но он твердо держал ее подбородок. Из ее глаз брызнули слезы, и падре Анхелю показалось, будто по его пальцам потек теплый укус.

— Постарайся успокоиться, — сказал он ей, — ты еще не закончила исповедь.

Он дал ей выплакаться и, когда почувствовал, что она уже не плачет, сказал мягко:

— Ну хорошо, а теперь расскажи мне.

Тринидад высморкалась в подол, проглотила вязкую, соленую от слез слюну, а потом заговорила своим низким, на редкость красивым голосом.

— Меня преследует мой дядя Амбросио, — сказала она.

— Как это?

— Он хочет, чтобы я позволила ему провести ночь в моей постели.

— Рассказывай дальше.

— Больше ничего не было, — сказала Тринидад. — Ничего, клянусь богом.

— Не клянись, — наставительно сказал падре и тихо, как в исповедальне, спросил: — Скажи, с кем ты спишь?

— С мамой и остальными женщинами, — ответила Тринидад. — Семь человек в одной комнате.

— А он?

— В другой комнате, где мужчины.

— А в твою комнату он не входил никогда?

Тринидад покачала головой.

— Ну не бойся, скажи мне всю правду, — не отставал от нее падре Анхель. — Он никогда не пытался войти в твою комнату?

— Один раз.

— Как это произошло?

— Не знаю, — сказала Тринидад. — Я проснулась и почувствовала — он лежит рядом, под моей москитной сеткой, такой тихонький, он сказал, что ничего мне не делает, а хочет только со мной спать, потому что боится петухов.

— Каких петухов?

— Не знаю, — ответила Тринидад, — так он мне сказал.

— А ты ему что сказала?

— Что если он не уйдет, я закричу и всех разбужу.

— И что же он тогда сделал?

— Кастула проснулась и спросила меня, что случилось, и я сказала — ничего, наверно, ей просто что-то приснилось, а он лежал тихий-претихий, будто мертвый, и я даже не услышала, как он вылез из-под сетки.

— Он был одет, — почти утвердительно сказал падре.

— Как он обычно спит, — сказала Тринидад. — в одних штанах.

— И он не пытался до тебя дотронуться.

— Нет, падре.

— Скажи мне правду.

— Я не обманываю, падре, — настаивала Тринидад. — Клянусь богом.

Падре Анхель снова поднял рукой ее подбородок и посмотрел в печальные влажные глаза.

— Почему ты скрывала это от меня?

— Я боялась.

— Чего?

— Не знаю, падре.

Он положил руку ей на плечо и начал говорить. Тринидад кивала в знак согласия. Потом, закончив, он начал тихо молиться вместе с ней. Он молился самозабвенно, с каким-то страхом оглядывая мысленно, насколько ему позволяла память, всю свою жизнь. В минуту, когда он давал ей отпущение грехов, им уже начало овладевать предчувствие надвигающегося несчастья.

Резким толчком алькальд открыл дверь и крикнул:

— Судья!

Из спальни, на ходу вытирая руки о юбку, вышла жена судьи Аркадио.

— Он не появлялся уже две ночи, — сказала она.

— Черт подери, — выругался алькальд, — в суде его вчера тоже не было. Я ищу его везде по неотложному делу, но никто понятия не имеет, где он обретаётся. Вы не знаете, где бы он мог быть?

Женщина пожала плечами:

— У шлюх, наверно.

Алькальд вышел, не затворив за собой дверь, и зашагал в бильярдную, где из включенного на полную мощность музыкального автомата лилась слащавая песня. Там он сразу прошел к отгороженному в глубине помещению и громко крикнул:

— Судья!

Хозяин, дон Роке, занятый переливанием рома в большую оплетенную бутылку, оторвался от своего дела и прокричал в ответ:

— Его здесь нет, лейтенант!

Алькальд двинулся за ширму. Там сидели группами и играли в карты мужчины. Судьи Аркадио никто не видел.

— Вот черт, — сказал алькальд, — то у нас в городке все про всех знают, а сейчас, когда судья нужен мне позарез, никто не может сказать мне, где он.

— Узнайте лучше у того, кто наклеивает листки, — посоветовал дон Роке.

— Не приставайте ко мне с этой писаниной! — огрызнулся алькальд.

Судьи Аркадио не оказалось и в суде. Было девять часов, но секретарь суда уже дремал, лежа в галерее патио. Алькальд направился в участок и приказал трем полицейским одеться и пойти поискать судью Аркадио в танцевальном зале или у трех известных всему городку женщин. После этого он снова вышел на улицу и побрел, не думая о том, куда идет. Внезапно он увидел судью в парикмахерской — лицо его было закрыто горячим пологенцем, а сам он сидел, широко расставив ноги.

— Черт подери, судья, — воскликнул алькальд, — я уже два дня вас ищу!

Парикмахер снял полотенце, и взору алькальда предстали опухшие глаза и подбородок, на котором тенью лежала трехдневная щетина.

— Вы пропадаете где-то, а ваша жена рожает, — сказал алькальд.

Судья Аркадио вскочил на ноги.

— Дьявол!

Громко захохотав, алькальд толкнул его обратно в кресло.

— Не валяйте дурака, — сказал он. — Я искал вас не поэтому.

Закрыв глаза, судья Аркадио снова откинулся в кресле.

— Заканчивайте, и пойдём в суд, — сказал алькальд. — Я вас подожду.

Он сел на скамейку.

— Где вы, черт возьми, пропадали?

— Здесь, — ответил судья.

Алькальд был не частым гостем в парикмахерской. Как-то он увидел прикрепленное к стене объявление: «Говорить о политике воспрещается», но тогда оно показалось ему естественным. На этот раз, однако, оно заставило его задуматься.

— Гвардиола! — позвал он.

Парикмахер вытер бритву о брюки и застыл в ожидании.

— Что такое, лейтенант?

— Кто уполномочил тебя это вывесить? — спросил, показывая на объявление, алькальд.

— Опыт, — ответил парикмахер.

Алькальд пододвинул к стене табуретку, влез на нее и сорвал объявление.

— Запрещать может только правительство, — сказал он. — У нас демократия.

Парикмахер снова принялся за работу.

— Никто не вправе препятствовать людям выражать свои мысли, — продолжал алькальд, разрывая картонку.

Швырнув обрывки в мусорницу, он подошел к туалетному столику вымыть руки.

— Вот видишь, Гвардиола, — наставительно сказал судья, — к чему приводит лицемерие.

Алькальд посмотрел в зеркало на парикмахера и увидел, что тот поглощен работой. Пристально глядя на него, он начал вытирать руки.

— Разница между прежде и теперь, — сказал он, — состоит в том, что прежде распоряжались политиканы, а теперь демократическое правительство.

— Вот так, Гвардиола, — сказал судья Аркадио, лицо которого было покрыто мыльной пеной.

— Все ясно, — отозвался парикмахер.

Когда они вышли на улицу, алькальд легонько подтолкнул судью Аркадио в сторону суда. Дождь зарядил надолго, и казалось, что улицы вымощены мылом.

— Я считал и считаю, что парикмахерская — гнездо заговорщиков, — сказал алькальд.

— Они только говорят, — сказал судья Аркадио, — и на этом все кончается.

— Это-то мне и не нравится, — возразил алькальд, — слишком уж они смиренные.

— В истории человечества, — словно читая лекцию, сказал судья, — не отмечено ни одного парикмахера, который был бы заговорщиком, и ни одного портного, который бы таковым не был.

Алькальд выпустил локоть судьи Аркадио, только усадив того во вращающееся кресло. В суд вошел, зевая, секретарь с напечатанным на машинке листком.

— Ну, — сказал ему алькальд, — принимаемся за работу. — Он сдвинул фуражку на затылок и взял у секретаря листок. — Что это?

— Для судьи, — сказал секретарь. — Список тех, на кого не вывешивали листков.

Алькальд изумленно посмотрел на судью.

— Дьявол подери! — воскликнул он. — Значит, вас это тоже интересует?

— Это как чтение детектива, — извиняющимся голосом сказал судья.

Алькальд пробежал глазами список.

— Хорошо придумано, — сказал секретарь. — Кто-нибудь из них наверняка и есть автор листков. Логично?

Судья взял у алькальда список.

— Ну не дурак ли? — сказал он, обращаясь к нему, а потом повернулся к секретарю. — Если я собираюсь наклеивать листки, то прежде всего, чтобы снять с себя подозрения, я наклею листок на свой собственный дом. Разве не так, лейтенант?

— Это дело не наше, — сказал алькальд. — Пусть люди сами разбираются, кто сочиняет эти листки, а нам голову ломать нечего.

Судья Аркадио изорвал список в клочки, скатал из них шар и бросил его в патно.

— Разумеется.

Но алькальд забыл об инциденте еще до того, как судья Аркадио это сказал. Упершись руками в стол, он заговорил:

— Я хочу, чтобы вы посмотрели в своих книгах вот что: из-за наводнений жители приречной части городка перенесли свои дома на земли за кладбищем, являющиеся моей собственностью. Что я должен в этом случае делать?

Судья Аркадио улыбнулся.

— Ради этого не стоило приходить в суд, — сказал он. — Проще простого: муниципалитет отдает эти земли поселенцам и выплачивает соответствующую компенсацию тому, кто докажет, что земли принадлежат ему.

— У меня есть все бумаги, — сказал алькальд.

— Тогда нужно только назначить экспертов, чтобы произвели оценку, — сказал судья. — А заплатит муниципалитет.

— Кто их назначает?

— Вы можете назначить их сами.

Алькальд поправил кобуру револьвера и пошел к двери.

Судья Аркадио, провожая его взглядом, подумал, что жизнь — всего лишь непрерывная цепь чудесных избавлений от гибели.

— Не стоит нервничать из-за такого пустячного дела, — улыбнулся он.

— Я не нервничаю, — серьезно ответил алькальд, — но дело не из приятных.

— Сперва вы должны назначить уполномоченного, — вмешался секретарь.

Алькальд повернулся к судье:

— Это правда?

— При чрезвычайном положении абсолютной необходимости в этом нет, — ответил судья, — но вы безусловно выиграете, если за дело возьмется уполномоченный, учитывая, что вы хозяин земель, оказавшихся предметом тяжбы.

— Тогда надо его назначить, — сказал алькальд.

Не отрывая взгляда от стервятников, дравшихся посреди дороги из-за падали, сеньор Бенхамин снял с ящика одну ногу и поставил другую. Напыщенные, церемонные птицы, неуклюже двигаясь, словно танцевали старинный танец, и он изумился необычайному сходству с ними людей, надевающих маски стервятников в карнавальное воскресенье. Мальчик, сидевший у его ног, намазал теперь окисью цинка второй ботинок и снова ударил по ящику — знак, чтобы он поставил на крышку другую ногу.

Сеньор Бенхамин, раньше зарабатывавший на жизнь тем, что писал прошения, никогда не торопился. Здесь, в его лавке, которую он проедал сентаво за сентаво, так что теперь у него оставалось всего четыре литра керосина и пачка сальных свечей, время двигалось еле-еле.

— Идет дождь, а жарко по-прежнему, — сказал мальчик.

Сеньор Бенхамин с ним согласился. Он был одет в безупречной свежести полотно, а у мальчика рубашка на спине совсем промокла.

— Вопрос душевного состояния, — сказал сеньор Бенхамин. — Просто о жаре не надо думать — вот и все.

Мальчик на это ничего не сказал, только снова ударил по ящику, и через минуту работа была закончена. Пройдя в глубину своей сумрачной лавки с пустыми полками, сеньор Бенхамин надел пиджак и соломенную шляпу, перешел, укрывшись от дождя зонтом, через улицу и постучался в окно дома напротив. Из приоткрытой половинки окна выглянула девушка с очень бледной кожей и иссиня-черными волосами.

— Добрый день, Мина, — сказал сеньор Бенхамин. — Ты еще не собираешься обедать?

Она сказала, что еще нет, и распахнула окно настежь. Она сидела перед большой корзиной, полной проволоки и разноцветной бумаги. На коленях у нее

лежали клубки ниток, ножницы и недоделанная ветка искусственных цветов. На патефоне пела пластинка.

— Присмотри, пожалуйста, за лавкой, пока меня не будет,— сказал сеньор Бенхамин.

— Вы надолго?

Внимание сеньора Бенхамина было поглощено пластинкой.

— Я иду к зубному,— ответил он.— Прохожу не больше получаса.

— Ну ладно,— сказала Мина,— а то слепая не любит, когда я торчу по долгу у окна.

Сеньор Бенхамин перестал слушать пластинку.

— Теперешние песни все одинаковые,— заметил он.

Мина насадила готовый цветок на конец длинного, обмотанного зеленой бумагой проволочного стебелька и крутнула его пальцами, завороченная полной гармонией между цветком и пластинкой.

— Вы не любите музыку,— сказала она.

Но сеньор Бенхамин уже пошел — на цыпочках, чтобы не спугнуть стервятников. Мина вернулась к своей работе, только когда увидела, как он стучится к зубному врачу.

— Насколько я понимаю,— сказал, открывая дверь, зубной врач,— у хамелеона чувствительность в глазах.

— Возможно,— согласился сеньор Бенхамин,— но почему тебя это занимает?

— По радио только что говорили, что слепые хамелеоны не меняют цвета,— ответил врач.

Поставив раскрытый зонтик в угол, сеньор Бенхамин повесил на гвоздь пиджак и шляпу и уселся в зубоврачебное кресло. Зубной врач перетирает в ступе какую-то розовую массу.

— Чего только не говорят,— сказал сеньор Бенхамин.

Не только сейчас, но и всегда он говорил с таким же таинственным видом.

— О хамелеонах?

— Обо всех и обо всем.

Врач с приготовленной массой подошел к креслу, чтобы сделать слепок. Сеньор Бенхамин вынул изо рта истершийся зубной протез, завернул его в плавок и положил на стеклянный столик рядом с креслом. Беззубый, с узкими плечами и худыми руками, он напоминал святого. Облепив розовой массой десны сеньора Бенхамина, зубной врач закрыл ему рот.

— Вот так,— сказал он и посмотрел сеньору Бенхамину прямо в глаза,— а то я трус.

Сеньор Бенхамин попытался было сделать глубокий вдох, но врач не дал ему открыть рот. «Нет,— мысленно возразил сеньор Бенхамин,— это неправда». Он, как и все, знал, что из всех приговоренных к смерти зубной врач был единственным, не пожелавшим покинуть свой дом. Ему пробуравили стены пулями, ему дали на выезд двадцать четыре часа, но сломить его так и не удалось. Он перенес зубоврачебный кабинет в одно из помещений в глубине дома и, оставаясь хозяином положения, работал с револьвером наготове до тех пор, пока не закончились долгие месяцы террора.

Занятый своим делом, зубной врач несколько раз читал в глазах сеньора Бенхамина один и тот же ответ, только окрашенный большим или меньшим беспокойством. Дождаясь, чтобы масса затвердела, врач не давал ему открыть рот. Потом он вытащил слепок.

— Я не об этом,— сказал, задышав наконец свободно, сеньор Бенхамин.— Я о листках.

— А, так, значит, это волнует и тебя?

— Они свидетельство социального разложения.

Он вложил в рот зубной протез и стал неторопливо надевать пиджак.

— Они свидетельство того, что рано или поздно все становится известным,—

равнодушно сказал зубной врач, а потом, взглянув на грязное небо за окном, предложил: — Хочешь, пережди у меня дождь.

Сеньор Бенхамин повесил зонт на руку.

— В лавке никого нет, — объяснил он, тоже бросая взгляд на готовую разродиться дождем тучу, а потом, прощаясь, приподнял шляпу. — И выбрось эту чепуху из головы, Аурелио, — уже в дверях сказал он. — Ни у кого нет оснований считать тебя трусом.

— В таком случае, — сказал зубной врач, — подожди секунду.

Он подошел к двери и протянул сеньору Бенхамину сложенный вдвое лист бумаги:

— Прочти и передай дальше.

Сеньору Бенхамину не нужно было смотреть на этот лист, чтобы узнать, что в нем написано. Разинув рот, он уставился на врача:

— Опять?

Зубной врач кивнул и остался стоять в дверях кабинета, пока сеньор Бенхамин не вышел на улицу.

В двенадцать дня жена позвала его обедать. В столовой, бедно обставленной вещами, которые, казалось, никогда не были новыми, сидела и штопала чулки их двадцатилетняя дочь Анхела. На деревянной балюстраде вокруг патю выстроились в ряд окрашенные в красный цвет горшки с лекарственными растениями.

— Ведный Бенхаминсито, — сказал зубной врач, усаживаясь на свое место у круглого стола, — его тревожат листки.

— Они всех тревожат, — сказала жена.

— Тобары уезжают из городка, — вставила Анхела.

Мать взяла у нее тарелки и сказала, разливая суп:

— Распродают все прямо на ходу.

Горячий аромат супа уводил зубного врача от мыслей, которые сейчас занимали его жену.

— Вернутся, — сказал он. — У стыда память короткая.

Дуя на ложку перед тем как отхлебнуть, он ждал, что скажет по этому поводу его дочь — как и он, несколько замкнутая на вид, но с необыкновенно живым взглядом. Однако он так и не получил ответа — она заговорила о цирке. Сказала, что там один человек ручной пилой распиливает надвое свою жену, лилипут распевает, положив голову в пасть льва, а воздушный гимнаст делает тройное сальто над торчащими из помоста ножами. Зубной врач слушал ее и молча ел, а когда она кончила свой рассказ, пообещал: вечером, если перестанет дождь, они пойдут в цирк.

В спальне, вешая гамак, он понял, что от его обещания настроение жены лучше не стало. Она сказала, что тоже захочет уехать из городка, если на их дом наклеят листок.

Ее слова не удивили зубного врача.

— Хорошенькое дело, — сказал он, — не сумели выгнать нас пулями, так неужели выгонят наклеенной на дверь бумажкой!

Он разулся, влез в гамак и стал ее успокаивать:

— Не думай об этом — я уверен, что нам его не наклеят.

— Они не щадят никого, — сказала она.

— Как сказать, — возразил врач. — Они знают, что со мной им лучше не связываться.

С бесконечно усталым видом женщина вытянулась на кровати.

— Если бы ты хоть знал, кто их пишет.

— Кто пишет, тот знает, — отозвался зубной врач.

Алькальд не ел целыми днями, он просто забывал о еде. Но обычно периоды бурной деятельности сменялись у него долгими периодами безделья и скуки, когда он бродил бесцельно по городку или запирался и сидел, утратив ощущение времени, в своей канцелярии с пуленепробиваемыми стенами. Всегда один, всегда во власти настроения, он не испытывал особого пристрастия к чему бы то ни было

и даже не помнил, чтобы когда-либо в жизни подчинялся каким-то регулярным привычкам. И только когда голод становился совсем непереносимым, он появлялся иногда в неурочный час в гостинице и съедал все, что ему ни подавали.

В тот день он пообедал с судьей Аркадио, а потом, пока оформлялась продажа земель у кладбища, они провели вместе всю вторую половину дня. Эксперты выполнили свой долг. Назначенный временно уполномоченный управился со своими обязанностями за два часа. Когда в начале пятого судья и алькальд вошли в бильярдную, казалось, что они вернулись из трудного путешествия в будущее.

— Ну, закончили, — сказал алькальд.

Было похоже, что судья Аркадио его не слышит. Алькальд увидел, как он с закрытыми глазами ищет у стойки табурет, и дал ему таблетку от головной боли.

— Стакан воды, — сказал алькальд дону Роке.

— Холодного пива, — попросил судья Аркадио, ложась лбом на стойку.

— Или холодного пива, — поправил себя алькальд и положил на стойку деньги. — Он заслужил — работал как вол.

Выпив пива, судья Аркадио стал растирать пальцами кожу на голове. В заведении, где теперь все дожидались шествия цирковых артистов, царила праздничная атмосфера.

Алькальд тоже увидел шествие. Сперва на карликовом слоне с ушами, похожими на листья маланги, выехала под гром оркестра девушка в серебристом платье. За ней шли клоуны и акробаты. Дождь совсем перестал, и дочи́ста вымытый вечер отогревался в лучах предзакатного солнца. И когда, чтобы дать человеку на ходулях прочитать вслух объявление, музыка оборвалась, весь городок словно поднялся над землей, умолкнув в ожидании чуда.

Падре Анхель, наблюдая шествие из своей комнаты, покачивал в такт музыке головой. Он опять отдался во власть этой привычки, сохранившейся со времен детства. Во время ужина и позднее он все так же покачивал головой и перестал, только когда закончил наблюдать за входящими в кино зрителями и снова оказался наедине с собой в своей спальне. После молитвы он сел в плетеную качалку и за печальными размышлениями не заметил, как пробило девять и умолк громкоговоритель кино, оставив вместо себя кваканье одинокой лягушки. Тогда он сел за письменный стол написать приглашение алькальду.

В цирке алькальд, заняв по настоянию директора одно из почетных мест, посмотрел номер с трапециями, которым открывалось представление, и выход клоунов. Потом, в черном бархате и с повязкой на глазах, появилась Кассандра и выразила готовность угадывать мысли публики. Алькальд обратился в бегство и, как обычно, совершив обход городка, в десять часов пришел в полицейский участок. Там его ожидало написанное на маленьком листке тщательно взвешенными словами письмо падре Анхеля. Алькальда встревожил официальный тон приглашения.

Падре Анхель уже начинал раздеваться, когда к нему постучался алькальд.

— Вот так так! — воскликнул священник. — Я не ожидал вас так скоро.

Входя, алькальд снял фуражку.

— Люблю отвечать на письма, — сказал он, улыбаясь.

Он бросил фуражку в кресло, придав ей, как пластинке, вращательное движение. Под шкафчиком, где хранилось вино, в глубокой глиняной посудине охладились в воде бутылки лимонада. Падре Анхель извлек одну.

— Хотите?

Алькальд не возражал.

— Я потревожил вас, — переходя к делу, сказал священник, — чтобы выразить свое беспокойство по поводу вашего безразличного отношения к клеветническим листкам.

Слова его можно было принять за шутку, но алькальд понял их буквально. Ошарашенный, он задал себе вопрос, как могли эти листки настолько встревожить падре Анхеля.

Падре Анхель, разыскивая консервный нож, выдвигал ящики стола.

— Не листки сами по себе меня тревожат, — сказал он немного растерянно,

не зная, что ему делать с бутылкой. — Тревожит меня некоторая доля несправедливости, которая есть во всем этом.

Алькальд взял у него бутылку и, зацепив крышкой за подковку своего сапога, открыл ее левой рукой так ловко, что это привлекло внимание падре Анхеля. Из горлышка полилась пена, и алькальд слизнул ее.

— Существует частная жизнь... — заговорил он, но не закончил, однако, свою мысль. — Серьезно, падре, я не знаю, что тут можно сделать.

Падре Анхель сел за письменный стол.

— А вам бы следовало знать, — сказал он. — Ведь вы с подобными проблемами сталкивались.

Он обвел отсутствующим взглядом комнату и уже совсем другим тоном продолжал:

— Нужно предпринять что-нибудь до воскресенья.

— Сегодня четверг, — напомнил алькальд.

— Я знаю, — отозвался падре и, повинуясь внезапному порыву, добавил: — Но, быть может, у вас есть еще время выполнить свой долг?

Алькальд попытался свернуть бутылке шею. Глядя, как он прохаживается от одной стены к другой, статный и самоуверенный, на вид много моложе своего возраста, падре Анхель вдруг испытал острое чувство неполноценности.

— Как вам, должно быть, ясно, — снова заговорил он, — речь не идет о чем-то особенном.

На колокольне пробило одиннадцать. Алькальд подождал, пока замрут отзвуки последнего удара, а потом, упершись руками в стол, наклонился к падре Анхелю. Тайная тревога, написанная на его лице, явственно зазвучала теперь и в его голосе.

— Подумайте вот о чем, падре, — сказал он. — В городке все спокойно. У людей появляется доверие к власти. Любое обращение к насилию без достаточных на то оснований было бы сейчас слишком рискованным..

Выразив кивком согласие, падре Анхель попытался сформулировать свою мысль яснее:

— Я имею в виду, в самых общих чертах, какие-то меры со стороны властей.

— Во всяком случае, — продолжал, не меняя позы, алькальд, — я должен считаться с реальностью. Сами знаете: у меня в участке сидят шестеро полицейских, ничего не делают, а получают жалованье. Добиться, чтобы их сменили, мне не удалось.

— Я знаю, — сказал падре Анхель. — Вашей вины здесь нет.

— А ведь ни для кого не секрет, — продолжал алькальд, распаясь и уже не слыша замечаний священника, — что трое из них обыкновенные преступники, которых вытащили из камер и переделали в полицейскую форму. При нынешнем положении дел я не хочу рисковать, посылая их на улицу охотиться за привидениями.

Падре Анхель развел руками.

— Ну конечно, конечно, — согласился он, — об этом не может быть и речи. Но почему бы, например, вам не обратиться к достойным гражданам?

Алькальд выпрямился и нехотя сделал несколько глотков из бутылки. Форма на груди и на спине у него промокла от пота. Он сказал:

— Достойные граждане, как вы их называете, помирают над листками со смеху.

— Не все.

— Да и нехорошо лишать людей покоя из-за того, на что, если разобраться, вообще не стоит обращать внимания. Честно говоря, падре, — добродушно закончил он, — до сегодняшнего вечера мне и в голову не приходило, что эта чепуха может иметь к нам с вами хоть какое-то отношение.

В падре Анхеле проглянуло что-то материнское.

— В определенном смысле может, — ответил он.

И он приступил к подробному обоснованию своей мысли, используя уже го-

товые куски проповеди, которую начал мысленно сочинять еще накануне во время обеда у вдовы.

— Разговор идет, если можно так выразиться,— закончил он,— о случае морального террора.

Алькальд широко улыбнулся.

— Ну ладно, ладно, падре,— сказал он, почти перебивая священника,— не к чему разводить философию вокруг этой писанины.— И, поставив на стол недопитую бутылку, сказал так примирительно, как только мог:— Раз уж для вас это так важно, придется подумать, что тут можно сделать.

Падре Анхель поблагодарил его. Не очень приятно, объяснил он, подниматься в воскресенье на кафедру, когда ты обременен такой заботой, как эта. Алькальд старался понять его, но видел, что время уже позднее и что священник из-за него не ложится спать.

VII

Снова, словно воскрешая прошлое, зазвучала барабанная дробь. Она раздавалась перед бильярдной в десять уга, и городок замер в неустойчивом равновесии. Как будто эта дробь была его центром тяжести. Прозвучали три яростных заключительных удара, и тревога снова вступила в свои права.

— Смерть! — воскликнула вдова Монтель, видя, как распахиваются окна и двери и люди отовсюду бегут на площадь.— Пришла смерть!

Оправившись от первого потрясения, она отдернула занавески балкона и стала наблюдать давку вокруг полицейского, готовившегося обнародовать приказ.

Голос глашатая тонул в безмолвии площади, и, как ни вслушивалась вдова, приставив ладонь к уху, ей удалось разобрать всего два слова.

Никто в доме не мог ей ничего толком объяснить. Обнародование приказа сопровождалось обычным авторитарным ритуалом; новый порядок воцарился в мире, и вдова Монтель не могла найти никого, кто бы его понимал. Кухарку встревожила ее бледность:

— Что объявили?

— Это я и пытаюсь выяснить, но никто ничего не знает. Да что говорить,— горько добавила вдова,— с сотворения мира ни один приказ не приносил еще ничего хорошего.

Кухарка вышла на улицу и возвратилась с подробностями. Начиная с сегодняшнего вечера и до тех пор, пока не исчезнут причины, вызвавшие принятие этих мер, устанавливается комендантский час. С восьми вечера и до пяти утра никому не разрешается выходить на улицу без пропуска за подписью и с печатью алькальда. Полицейским приказано громко окликать три раза каждого, кто им встретится на улице, и в случае неповиновения стрелять. Алькальдом будут организованы из выбранных им самим граждан патрули, которые помогут полиции в ночных обходах.

Грызая ногти, вдова Монтель спросила, чем вызваны эти меры.

— В приказе ничего не сказано,— ответила кухарка,— но все говорят, что листками.

— Чуюло мое сердце! — воскликнула повергнутая в ужас вдова.— У нас в городке поселилась смерть!

Она послала за сеньором Кармайклом и одновременно, повинувшись силе более глубокой и извечной, нежели минутный порыв, велела достать из чулана и принести к ней в спальню кожаный чемодан с медными гвоздиками, купленный Хосе Монтелем за год до смерти для его единственного путешествия. Она вытащила из шкафа два или три платья, нижнее белье и туфли и сложила все в чемодан. Делая это, она почувствовала, что начинает обретать тот полнейший покой, о котором столько раз мечтала, представляя себе, что она где-то далеко от дома и этого городка, в комнате с очагом и небольшой террасой, где в ящиках растет майоран, где только у нее есть право вспоминать о Хосе Монтеле, и одна забота— ждать вечера следующего понедельника, когда придут письма от дочерей.

Она сложила в чемодан только самую необходимую одежду, ножницы в кожаном футляре, пластырь, пузырек йода, принадлежности для шитья, туфли в картонной коробке, четки и молитвенники — и ее уже мучила мысль, что она берет с собою больше вещей, чем бог ей простит. Она засунула в чулок гипсового святого Рафаила, осторожно уложила его между одеждой и заперла чемодан на ключ.

Когда появился сеньор Кармайкл, на ней было самое скромное из ее платьев. Сеньор Кармайкл пришел без зонта, что можно было истолковать как предзнаменование, но вдова этого даже не заметила. Она достала из кармана все ключи, каждый с картонной биркой, где было напечатано на машинке, от чего этот ключ, и отдала ему, говоря:

— Отдаю в ваши руки грешный мир Хосе Монтелья. Поступайте с ним как хотите.

Сеньор Кармайкл уже давно со страхом ожидал этого мгновения.

— Вы хотите сказать, — запинаясь, проговорил он, — что уедете куда-нибудь и подождете там, пока все это кончится?

Спокойно, но решительно вдова ответила:

— Я уезжаю навсегда.

Сеньор Кармайкл, стараясь не обнаружить своего беспокойства, коротко рассказал, как обстоят ее дела. Наследство Хосе Монтелья распродано не было. Юридическое положение многих статей его имущества, приобретенного второпях, самими различными путями и без выполнения необходимых формальностей, оставалось неясным. До тех пор, пока это хаотичное наследство, о котором сам Хосе Монтель в последние годы своей жизни не имел даже приблизительного представления, не будет приведено в порядок, распродажа его невозможна. Необходимо, чтобы старший сын, занимающий пост консула в Германии, и две дочери, замороженные потрясающими мясными лавками Парижа, вернулись сами или назначили уполномоченных, чтобы те произвели оценку и установили их права. До этого продавать ничего нельзя.

Вспышка света, озарившая на мгновение лабиринт, в котором она плутала уже два года, не поколебала решимости вдовы Монтель.

— Не важно, — сказала она. — Мои дети счастливы в Европе, и им нечего делать в этой, как они ее называют, стране дикарей. Если хотите, сеньор Кармайкл, можете собрать все, что найдете в этом доме, в один большой узел и бросить свиньям.

Спорить с нею сеньор Кармайкл не стал. Сказав, что надо приготовить кое-что к ее путешествию, он пошел за врачом.

— Вот теперь мы увидим, Гвардиола, какой ты патриот.

Парикмахер и еще несколько человек, разговаривавшие в парикмахерской, узнали алькальда еще до того, как увидели его в проеме двери.

— И вы тоже, — продолжал он, обращаясь к двум молодым людям. — Сегодня вечером вы получите винтовки, о которых так мечтали, и посмотрим, такие ли вы мерзавцы, чтобы повернуть их против нас.

Сердечность, с которой он произнес эти слова, не вызвала никаких сомнений.

— Лучше бы метлу, — отозвался, даже не удостоив его взглядом, парикмахер. — Для охоты за ведьмами нет лучшего оружия, чем метла.

Он брил затылок первого за это утро клиента и решил, что алькальд шутит. Только услышав, как тот выясняет, кто из присутствующих резервист и, следовательно, умеет обращаться с оружием, он понял, что и вправду оказался одним из избранных.

— Лейтенант, вы и в самом деле хотите втянуть нас в эту историю? — осведомился он.

— Что за черт! — негодуя воскликнул алькальд. — Всю жизнь мечтают о винтовке и не хотят поверить, когда им ее наконец дают!

Он стал у парикмахера за спиной — оттуда он мог видеть в зеркало всех.

— Пошутили и хватит,— тоном приказа продолжал он.— Сегодня в шесть вечера резервистам первого призыва явиться в полицейский участок.

Парикмахер посмотрел на него в зеркало.

— А если я схвачу воспаление легких? — спросил он.

— Вылечим в камере.

В бильярдной из музыкального автомата лилось душеспитательное болеро. В заведении не видно было ни души, но на нескольких столиках стояли недопитые бутылки и стаканы.

— Ну, докатились! — сказал дон Роке, увидев входящего алькальда.— Придется закрывать в семь.

Не останавливаясь, алькальд прошел в глубь помещения. За столиками для игры в карты тоже никого не было. Он заглянул в чулан, открыл дверь уборной, а потом пошел назад, к стойке. Проходя мимо бильярда, он внезапно поднял закрывавший его до полу кусок ткани и сказал:

— Довольно валять дурака.

Из-под бильярда, страхивая с брюк пыль, вылезли двое юношей. Один из них был бледен, у другого, помоложе, горели уши. Алькальд отечески подтолкнул их в сторону выхода.

— Так не забудьте,— сказал он им,— сегодня в шесть вечера в участке.

Дон Роке по-прежнему стоял за стойкой.

— Что ж, раз такое дело, придется заняться контрабандой.

— Это на два-три дня,— сказал алькальд.

На углу его догнал владелец кино.

— Мне только этого не хватало! — выкрикнул он.— Сначала колокол, а теперь еще труба!

Алькальд похлопал его по плечу и попытался пройти мимо.

— А я вас экспроприрую,— сказал он.

— Не имеете права,— ответил владелец кинотеатра,— кино не подлежит конфискации в пользу государства.

— При чрезвычайном положении,— сказал алькальд,— может быть конфисковано и кино.

Только после этих слов он перестал улыбаться. Перескакивая через две ступеньки, алькальд взбежал по лестнице в полицейский участок и, едва оказавшись там, развел руками и захохотал.

— Черт побери! — воскликнул он.— И вы тоже!

В ленивой позе восточного властителя в шезлонге лежал директор цирка. Поглощенный своими мыслями, он курил трубку морского волка и, словно хозяин дома, широким жестом пригласил алькальда садиться.

— Поговорим о делах, лейтенант.

Алькальд пододвинул стул и сел напротив. Взяв трубку в сверкающую разноцветными камнями руку, директор прочертил ею в воздухе какую-то замысловатую линию.

— Могу я говорить с вами вполне откровенно?

Алькальд кивнул.

— Я это понял сразу, как только вас увидел — вы еще тогда брились,— сказал директор.— Так вот: я разбираюсь в людях и понимаю, что для вас этот комендантский час...

Алькальд разглядывал его, явно предвкушая развлечение.

— ...в то время как для меня, который уже понес большие расходы, устанавливая шапито, и должен кормить семнадцать человек и девять зверей, это просто катастрофа.

— И что же из этого следует?

— Я предлагаю,— сказал директор,— чтобы вы перенесли комендантский час на одиннадцать вечера, а выручку от вечернего представления мы с вами будем делить на двоих.

Алькальд сидел не шевелясь и по-прежнему улыбался.

— Очевидно, вам без труда удалось найти в городе кого-то, кто сказал, что я мошенник.

— Это законная сделка,— запротестовал директор цирка.

Он пропустил мгновение, когда лицо у алькальда стало суровым.

— Поговорим об этом в понедельник,— неопределенно пообещал алькальд.

— К понедельнику я буду по уши в долгах,— сказал директор.— Мы очень бедны.

Похлопывая директора по плечу, алькальд повел его к лестнице.

— Расскажите кому-нибудь другому,— ответил он,— а я в ваших делах кое-что понимаю.— И уже у самой лестницы, словно желая утешить директора, добавил: — Пришлите ко мне сегодня вечером Кассандру.

Директор цирка попытался обернуться, но рука на плече подталкивала его вперед слишком настойчиво.

— Разумеется,— сказал он.— Это не в счет.

— Пришлите ее,— повторил алькальд,— а завтра поговорим.

Кончиками пальцев сеньор Бенхамин толкнул дверь из проволочной сетки, однако войти не стал, а, подавляя раздражение, крикнул:

— Окна, Нора!

Нора Хакоб, крупная, средних лет женщина с мужской стрижкой, лежала в полутемной гостиной; напротив нее стоял электрический вентилятор. Она ждала сеньора Бенхамина к обеду. Услыхав его голос, Нора Хакоб с усилием поднялась и распахнула все четыре окна, выходящие на улицу. В гостиную хлынул зной. Комната была облицована кафельными плитками с одним и тем же стилизованным павлином, повторявшимся бесчисленное множество раз, и обставлена мебелью в чехлах с цветочками — бедность с претензией на роскошь.

— Можно верить тому, что говорят люди? — спросила она.

— Они много чего говорят.

— Я о вдове Монтель,— объяснила Нора Хакоб.— Говорят, она сошла с ума.

— По-моему, она сошла с ума давным-давно,— сказал сеньор Бенхамин и с каким-то разочарованием в голосе добавил: — Да, это правда — сегодня утром она пыталась броситься с балкона.

По концам стола, который был весь виден с улицы, стояло два прибора.

— Наказанье господне,— сказала Нора Хакоб и хлопнула в ладоши, чтобы подавали обед. Вентилятор она принесла с собой в столовую.

— У нее в доме с утра полно людей,— продолжал сеньор Бенхамин.

— Удобный случай посмотреть, что там, внутри,— отозвалась Нора Хакоб.

Чернокожая девочка с россыпью красных бантиков в волосах подала дымящийся суп. Столовую наполнил запах вареной курицы, и духота стала невыносимой. Сеньор Бенхамин заправил за воротник салфетку, сказал: «Приятного аппетита» — и попытался поднести горячую ложку ко рту.

— Не дури, подуй,— нетерпеливо сказала она.— И пиджакними. С твоим страхом перед закрытыми окнами мы помрем от жары.

— Нет уж, пусть остаются открытыми — тогда каждое мое движение будет видно с улицы и мы не дадим пищи слухам.

В ослепительной улыбке, словно с рекламы искусственных зубов, она показала сургучного цвета десны.

— Не будь смешным! По мне, так пусть болтают что хотят.

Продолжая говорить, Нора Хакоб принялась наконец за суп.

— Вот если бы болтали про Монику, тогда бы я беспокоилась,— закончила она, имея в виду свою пятнадцатилетнюю дочь, ни разу, с тех пор как она уехала в пансион, не приезжавшую домой на каникулы.— А обо мне не могут сказать больше того, что и так уже все знают.

Сеньор Бенхамин не обратил к ней на этот раз обычного своего неодобрительного взгляда. Разделенные двумя метрами стола — ближе он не позволял себе к ней садиться, особенно на глазах у людей,— они молча продолжали есть

суп. Двадцать лет назад, когда она еще училась в пансионе, он писал ей длинные и соответствующие всем требованиям приличий письма, на которые она ему отвечала страстными записками. Как-то на каникулах во время прогулки по полям Нестор Хакоб, совершенно пьяный, подтащил ее за волосы к изгороди загона и категорически заявил: «Если не выйдешь за меня замуж, я тебя пристрелю». К концу каникул они обвенчались, а десятью годами позднее разошлись.

— Так или иначе,— сказал сеньор Бенхамин,— не следует будоражить закрытыми дверями людское воображение.

После кофе он встал.

— Я пошел, а то Мина, наверно, беспокоится.

И уже в дверях, надевая шляпу, воскликнул:

— Не дом, а печка!

— Я же говорила тебе,— отозвалась Нора Хакоб.

Она проводила его взглядом до последнего окна, где он, словно благословляя ее, поднял в знак прощания руку. Тогда она отнесла вентилятор в спальню, закрыла дверь и разделась догола. Потом, как она делала каждый день после обеда, прошла в ванную комнату тут же, за стенкой.

Четыре раза в день видела она, как Нестор Хакоб проходит мимо ее дома. Все знали, что он живет с другой женщиной, что та родила ему четырех детей и что его считают безупречным отцом. Несколько раз за последние годы он проходил перед окнами ее дома с детьми, но ни разу с той женщиной. Она видела, как он худеет, становится бледным и старым, постепенно превращается в незнакомца, и теперь ей казалось невероятным, что когда-то она была с ним близка. Временами, коротая в одиночестве послеобеденные часы, Нора снова начинала с непреодолимой остротой желать его — не такого, каким он проходил теперь мимо ее окон, а такого, каким он был перед рождением Моника, когда его быстрая и скучная любовь стала для нее непереносимой.

Судья Аркадио спал до самого полудня и узнал о приказе только в суде. Секретарь, однако, не находил себе места уже с восьми утра, когда алькальд велел ему подготовить текст приказа.

— Во всяком случае,— задумчиво сказал судья Аркадио, узнав подробности,— сформулировано слишком резко. Никакой необходимости в этом не было.

— Текст такой же, как всегда,— обычный.

— Верно,— признал судья,— но времена изменились и соответственно должны измениться формулировки. Люди, наверно, перепугались.

Однако, как он убедился позже в бильярдной за игрой в карты, господствовал не страх; скорее преобладало чувство торжества оттого, что подтвердилась тайная мысль всех: времена не изменились.

Выходя из бильярдной, судья Аркадио не сумел избежать встречи с алькальдом.

— Те, кто пишет листки, ничего не добились,— сказал судья.— Все равно люди довольны жизнью.

Алькальд взял его за локоть.

— Ничего против людей и не делается,— сказал он.— Обычная мера в таких случаях.

Эти разговоры на ходу приводили судью Аркадио в отчаяние. Алькальд шагал быстро, словно шел куда-то по срочному делу, и только поколесив по городку, вспоминал, что спешить некуда.

— Надолго не затянется,— продолжал он.— Не позднее воскресенья сочинитель будет у нас за решеткой. Не знаю почему, но мне кажется, что это женщина.

Судья Аркадио был другого мнения. Несмотря на пренебрежение, с каким он выслушивал информацию своего секретаря, судья пришел к заключению: листки не может писать один человек. Непохоже было, чтобы их вывешивали по

какому-то продуманному плану. А некоторые из наклеенных в последние дни представляли собой новую разновидность — рисунки.

— Возможно, что это не один мужчина и не одна женщина, — закончил судья Аркадио. — Возможно, это разные мужчины и разные женщины и они действуют независимо друг от друга.

— Не усложняйте мне все, судья, — сказал алькальд. — Вы же знаете, что даже если приложили руку многие, всегда виноват один.

— Да, лейтенант, так говорил Аристотель, — подтвердил судья и убежденно добавил: — Во всяком случае, эта мера кажется мне несколько непродуманной. Те, кто наклеивает листки, просто подождут, пока отменят комендантский час.

— Не играет роли, — сказал алькальд. — Важно напомнить, что существует власть.

В полицейском участке уже собирались резервисты. Маленький дворик с высокими бетонными стенами в разводах запекшейся крови и щербинках от пуль помнил времена, когда в камерах не хватало места и заключенные лежали прямо под открытым небом. Сейчас по коридорам бродили в одних трусах вооруженные полицейские.

— Ровира! — с порога крикнул алькальд. — Принеси ребятам выпить.

Полицейский начал одеваться.

— Рому? — спросил он.

— Не будь идиотом, — отозвался алькальд, проходя в бронированный кабинет. — Чего-нибудь прохладительного.

Резервисты курили, сидя под стенами дворика. Судья Аркадио перегнулся через перила второго этажа и поглядел на них.

— Добровольцы?

— Как же! — огрызнулся алькальд. — Пришлось из-под кровати выволочить, словно их тащили в участок за дело.

Судья огляделся и не увидел ни одного незнакомого лица.

— Да, можно подумать, будто их мобилизовала оппозиция.

Когда они открыли тяжелые стальные двери кабинета, оттуда потянуло холодом.

— Значит, будут хорошо драться, — улыбнулся алькальд, включая свет в своей персональной цитадели.

В углу стояла походная кровать, на стуле — графин со стаканом, под кроватью — ночной горшок. К голым стенам были прислонены винтовки и автоматы. Свежий воздух поступал сюда только через две узкие и высокие бойницы, откуда просматривалась набережная и две самые большие в городе улицы. В противоположном конце комнаты стоял письменный стол, рядом — сейф.

Алькальд набрал комбинацию цифр.

— Все это пустяки, — сказал он. — Я даже выдам им винтовки.

Полицейский вошел в кабинет и остановился у них за спиной. Алькальд дал ему денег и сказал:

— И еще возьми по две пачки сигарет на каждого.

Когда они остались одни, алькальд опять повернулся к судье Аркадио.

— Ну, что скажете?

Судья ответил задумчиво:

— Ненужный риск.

— Люди рот разинут от удивления, — сказал алькальд. — А эти несчастные мальчишки, по-моему, не догадаются, что им делать с винтовками.

— Возможно, какое-то время они будут растеряны, — допустил судья, — но продлится это недолго.

Он попытался подавить ощущение пустоты в желудке.

— Будьте осторожны, лейтенант, — словно размышляя вслух, сказал он, — смотрите, чтобы не погубить все.

Алькальд с таинственным видом потянул его за собой к двери.

— Не трусьте, судья, — выдохнул он ему в ухо. — Патроны у них будут только холостые.

Когда они спустились во двор, там уже горел свет. Под грязными электрическими лампочками, о которые бились ночные мотыльки, резервисты пили фруктовую воду. Прохаживаясь по дворику, где после дождя еще оставалось несколько луж, алькальд отеческим тоном рассказал им, в чем этой ночью будет состоять их миссия. Они станут по двое на углах главных улиц и должны будут стрелять в каждого, будь то мужчина или женщина, кто не остановится после трех громких предупреждений. Он призвал их быть выдержанными и смелыми. После полуночи им принесут поесть. Алькальд выразил надежду, что, с божьей помощью, все пройдет благополучно, а городок оценит это доказательство доверия со стороны властей.

Падре Анхель только поднялся из-за стола, и на башне как раз начало бить восемь. Он погасил в патио свет, запер дверь на засов и осенил трепник крестным знамением.

— Во имя отца и сына и святого духа.

Вдалеке в чьем-то патио прокричала выть.

Вдова Асис, подремывая в прохладе галереи, где она лежала возле птичьих клеток, покрытых темными тряпками, услышала второй удар и, не открывая глаз, спросила:

— Роберто дома?

Прикорнувшая у двери служанка ответила, что он лег еще в семь.

Незадолго до этого Нора Хакоб убавила звук приемника и наслаждалась теперь нежной музыкой, доносившейся, казалось, из какого-то чистого и уютного места. Чей-то голос, очень далекий и будто нереальный, выкрикнул какое-то имя, и тогда залаляли собаки.

Зубной врач так и не дослушал последних известий. Вспомнив, что Анхела в патио разгадывает под лампочкой кроссворд, он, даже не выглянув в окно, крикнул:

— Запри дверь и иди в комнату!

Его жена вздрогнула и проснулась.

Роберто Асис, который и вправду лег в семь, поднялся посмотреть через приоткрытое окно на площадь, но увидел лишь темные миндальные деревья и погасшую через мгновение электрическую лампочку на балконе вдовы Монтгель. Его жена включила ночник и шепотом велела мужу ложиться. Отзвучал пятый удар, но еще слышался некоторое время лай какой-то одинокой собаки.

В душной камерке, заставленной пустыми жестянками и пыльными пузырьками, храпел дон Лало Москоте. Очки у него были сдвинуты на лоб, а на животе лежала раскрытая газета. Его жена с парализованными ногами, дрожащая при одном воспоминании о других таких же ночах, отгоняла тряпкой moskitov, считая про себя удары часов. Еще некоторое время издали доносились крики, лай собак и шум бегов, а потом все затихло.

— Не забудь положить кордиамин,— сказал доктор Хиральдо жене, укладывавшей в его чемоданчик, перед тем как лечь спать, самые необходимые медикаменты. В эту минуту они оба думали о вдове Монтгель, которая теперь спала от люминала как мертвая.

Только дон Сабас после долгого разговора с сеньором Кармайклом забыл о времени. Он еще отвечивал у себя в конторе завтрак на следующий день, когда прозвучал седьмой удар и из спальни вышла его растрепанная жена.

Казалось, что вода в реке стоит неподвижно.

— В такую ночь...— пробормотал кто-то в темноте в то самое мгновение, когда прозвучал восьмой удар, гулкий, невозвратный, и что-то, начавшее мигать за пятнадцать секунд до этого, погасло совсем.

Доктор Хиральдо закрыл книгу и подождал, пока не отзвучит сигнал трубы, возвещавший начало комендантского часа. Жена поставила чемоданчик на ночной столик, легла лицом к стене и погасила свою лампу. Врач снова раскрыл книгу, но читать не стал. Дыхание обоих было спокойно, будто они остались одни в городке, так сжато мертвой тишиной, что он целиком вместился в их спальню.

— О чем ты думаешь?

— Ни о чем,— ответил врач.

Только в одиннадцать смог он сосредоточиться и снова вернуться к той странице, на которой остановился, когда начало бить восемь. Он загнул уголок листа и положил книгу на ночной столик. Жена спала. Прежде бывало, что они не спали до рассвета, пытаясь определить, где и почему стреляют. Несколько раз им довелось услышать топот сапог и звяканье оружия у самого своего дома, и оба, сидя на постели, ждали, что вот-вот на дверь обрушится град свинца. Много ночей, уже научившись различать бесконечное множество оттенков страха, они провели без сна, положив голову на подушку, набитую листовками. Однажды на рассвете они услышали перед дверью приемной тихие приготовления вроде тех, какие обычно предшествуют серенаде, а потом усталый голос алькальда сказал: «Сюда не надо, этот ни во что не лезет».

Доктор Хиральдо погасил лампу и попытался заснуть.

Дождь начался после полуночи. Парикмахер и другой резервист, поставленные на углу набережной, покинули свой пост и укрылись под навесом лавки сеньора Бенхамина. Закурив сигарету, парикмахер оглядел при свете спички свою винтовку. Она была совсем новенькая.

— «Made in USA»,— прочитал он.

Второй резервист потратил несколько спичек, пытаясь отыскать марку своего карабина, но это ему так и не удалось. С навеса упала на приклад и разлетелась брызгами большая капля.

— Что за идиотизм,— пробурчал он, стирая ее рукавом плаща.— Торчим здесь с винтовками, мокнем под дождем.

В спальне городке не слышно было ничего, кроме стука капель по крышам.

— Нас девять,— сказал парикмахер.— Их семеро, считая алькальда, но трое сидят в участке.

— Я как раз об этом думал.

Их вырвал из темноты фонарик алькальда. Он увидел, как они, присев на корточки у стены, пытаются уберечь оружие от капель дождя, дробью рассыпающихся по их ботинкам. Они узнали его, лишь когда он погасил фонарик и стал рядом под навес. На нем был армейский плащ, на груди у него висел автомат. С ним был полицейский. Поглядев на часы, которые носил на правой руке, алькальд приказал ему:

— Иди в участок и узнай, что там слышно насчет еды.

С такой же легкостью он отдал бы приказ стрелять. Полицейский исчез за стеной дождя. Алькальд присел рядом с ними.

— Какие новости?— спросил он.

— Никаких,— ответил парикмахер.

Другой, прежде чем закурить, предложил сигарету алькальду. Тот отказался.

— И надолго вы нас запрягли, лейтенант?

— Не знаю,— сказал алькальд.— Сегодня до конца комендантского часа, а утром будет видно.

— До пяти!— воскликнул парикмахер.

— Это надо же!— простонал другой.— Я на ногах с четырех утра.

Сквозь бормотанье дождя до них донесся слабый лай — где-то опять подрались собаки. Алькальд ждал, пока шум уляжется; наконец собаки умолкли, и только одна продолжала лаять в одиночестве. Алькальд с мрачным видом повернулся к резервисту.

— О чем вы говорите? Я половину жизни так провожу,— сказал он.— Сейчас прямо падаю от усталости.

— И хоть бы было ради чего,— заговорил парикмахер.— А то ведь ни в какие ворота не лезет. Несерьезная какая-то, бабья вся эта история.

— Мне тоже все больше и больше так кажется,— вздохнул алькальд.

Полицейский вернулся и сообщил, что еду не несут из-за дождя. Он добавил, что алькальда ждет в участке женщина, задержанная без пропуска.

Это оказалась Кассандра. В комнатухе, освещенной скудным светом балконной лампочки, она спала в шезлонге, закутавшись в прорезиненный плащ. Алькальд зажал ей пальцами нос; она застонала, рванулась и открыла глаза.

— Мне приснился сон,— сказала она.

Алькальд включил свет. Заслонив глаза руками, женщина как-то жалостно изогнулась, и когда он взглянул на ее серебристые ногти и выбритую подмышку, у него сжалось сердце.

— Ну и нахал же ты,— сказала она.— Я здесь с одиннадцати.

— Я думал, ты придешь ко мне домой.

— У меня не было пропуска.

Ее волосы, два дня назад отливавшие медью, теперь были серебристо-серые.

— Я не сообразил,— улыбнулся алькальд и, повесив плащ, сел в кресло рядом.— Надеюсь, они не подумали, что это ты расклеиваешь бумажки.

К ней уже возвращалась непринужденность.

— К сожалению,— отозвалась она.— Обожаю сильные ощущения.

Внезапно ей показалось, будто алькальд попал сюда по ошибке. С какой-то беззащитностью похрустывая суставами пальцев, он выдавил из себя:

— Ты должна оказать мне одну услугу.

Она посмотрела на него вопросительно.

— Пусть это будет между нами,— продолжал алькальд.— Я хочу, чтобы ты погадала мне на картах. Ты можешь узнать, кто всем этим занимается?

Она отвернулась и, немного помолчав, сказала:

— Понимаю.

Алькальд добавил:

— Я делаю это прежде всего ради вас, циркачей.

Она кивнула.

— Я уже гадала,— сказала она.

Алькальд не мог скрыть нетерпения.

— Расклад был очень странный,— с рассчитанным мелодраmatизмом продолжала она.— Карты были такие понятные, что, когда я увидела их, мне стало страшно.

Даже дышала она теперь театрально.

— Так кто же?

— Весь городок — и никто.

VIII

На воскресную мессу приехали сыновья вдовы Асис. Их было семеро, не считая Роберто Асиса, и все они словно были отлиты в одной форме: большие и неуклюжие, привычные к тяжелой работе, слепо преданные и послушные своей матери. Роберто Асис, младший, единственный из них женатый, был похож на братьев только утолщенной переносицей. Слабый здоровьем, благовоспитанный, он заменил вдове Асис дочь, которую ей так и не удалось родить.

На кухне, где семь Асисов разгружали вьючных животных, вдова расхаживала между кур со связанными лапами, овощей, сыров, темных хлебов и ломтей солонины, отдавая распоряжения служанкам. Когда снова воцарился порядок, она велела выбрать лучшее для падре Анхеля.

Священник был поглощен бритьем. Время от времени он высовывал руки в патио, под дождь, и смачивал подбородок. Он уже заканчивал, когда две босоногие девочки без стука распахнули дверь, вывалили перед ним несколько спелых ананасов, гроздь бананов, хлебы, сыр и поставили корзину овощей и свежих яиц.

Падре подмигнул им:

— Прямо как в сказке!

Младшая из девочек, вытаращив глаза, показала на него пальцем:

— Падре тоже бреются!

Старшая потянула ее к двери.

— А ты как думала? — улыбнулся падре и уже серьезно добавил: — Мы тоже люди.

Он окинул взглядом рассыпанную на полу провизию и понял, что на такую щедрость способен только дом Асисов.

— Скажите мальчикам, — почти прокричал он, — что бог пошлет им за это здоровья!

За сорок лет, истекшие со дня его посвящения в сан, падре Анхель так и не научился подавлять волнение, охватывавшее его перед службой. Кончив бриться, он убрал бритвенные принадлежности, собрал провизию, сложил ее под шкафчиком для вина и наконец, вытирая руки о сутану, вошел в ризницу.

В церкви было полно народу. Впереди на двух ими же подаренных скамьях с медными табличками, где были выгравированы их имена, сидели Асисы с матерью и кормилицей. Когда они впервые за последние несколько месяцев все вместе вошли в храм, казалось, что они въезжают туда на лошадях. Крестобаль, старший из Асисов, приехавший с пастбища за полчаса до мессы и даже не успевший побриться, был еще в ботинках со шпорами. Вид этого великана горца как будто подтверждал общее, хотя и не опиравшееся на точные доказательства мнение, что Сесар Монтеро — внебрачный сын старого Адальберто Асиса.

В звоннице падре ждал неприятный сюрприз: литургических облачений на месте не оказалось. Когда вошел служка, падре Анхель растерянно переворачивал содержимое выдвижных ящиков, мысленно споря о чем-то с самим собой.

— Позови Тринидад, — сказал он служке, — и спроси, куда она засовала епитрахиль.

Он забыл, что Тринидад с субботы хворает. Служка предположил, что она взяла с собой несколько вещей для починки. Тогда падре Анхель оделся в облачения, приберегаемые для погребальных служб. Сосредоточиться ему так и не удалось. Когда, взбудораженный, часто дыша, он поднялся на кафедру, он понял, что доводы, выношенные им в уединении комнаты, не покажутся здесь такими убедительными.

Он говорил десять минут. Спотыкаясь о собственные слова, захваченный нахлынувшими мыслями, не вмещавшимися в готовые фразы, он увидел вдруг окруженную сыновьями вдову Асис так, как если бы они были изображены на очень старой, поблекшей семейной фотографии. Только Ребека Асис, раздувавшая сандаловым веером жар своей роскошной груди, показалась ему живой и настоящей. Падре Анхель закончил проповедь, ни разу не упомянув прямо о листьях.

Вдова Асис какое-то время сидела, с тайным раздражением снимая и надевая обручальное кольцо, между тем как месса продолжалась. Потом она перекрестилась, встала и по главному проходу пошла к двери. За ней, толкаясь и топая, проследовали ее сыновья.

Вот в такое утро доктор Хиральдо однажды понял внутренний механизм самоубийства. Неслышно моросило, в соседнем доме пела иволга. Он чистил зубы, а его жена в это время говорила.

— Какие странные воскресенья, — сказала она, накрывая стол для завтрака. — Пахнут свежим мясом, будто их разделали и повесили на крюки.

Врач вставил лезвие в безопасную бритву и начал бриться. Веки у него были опухшие, а глаза влажные.

— У тебя бессонница, — сказала жена и с мягкой горечью добавила: — Проснешься в одно из таких воскресений и увидишь, что состарился.

На ней был полосатый халат, голова у нее была в папильотках.

— Сделай одолжение, помолчи, — сказал он.

Она пошла на кухню, поставила кофейник на огонь и стала ждать, чтобы он закипел. Услышала пение иволги, а через секунду зашумел душ. Она пошла в комнату приготовить для мужа чистую одежду. Когда она подала завтрак, доктор был уже совсем одет; в брюках цвета хаки и спортивной рубашке он показался ей немного помолодевшим.

Завтракали молча. Под конец он внимательно и с любовью посмотрел на нее. Она пила кофе, опустив голову, все еще обиженная.

— Это из-за печени,— извинился он.

— Для грубости не может быть оправданий,— сказала она, по-прежнему не поднимая головы.

— Наверно, у меня отравление,— продолжал он.— Во время таких дождей печень очень разлаживается.

— Ты всегда говоришь об этом,— упрекнула она его,— но никогда ничего не делаешь. Если ты не будешь за собой следить, тебе придется поставить на себе крест.

По-видимому, он был с нею согласен.

— В декабре,— сказал он,— пятнадцать дней проведем на море.

Сквозь ромбы деревянной решетки, отделявшей столовую от патио, словно подавленного нескончаемостью октября, доктор поглядел на дождь и добавил:

— А уж потом самое меньшее четыре месяца не будет ни одного такого воскресенья.

Она собрала тарелки и отнесла их на кухню, а вернувшись в столовую, увидела, что он, уже в соломенной шляпе, готовит чемоданчик.

— Так, значит, вдова Асис снова ушла из церкви? — спросил он.

Жена рассказала ему об этом, когда он еще собирался чистить зубы, но он тогда слушал ее невнимательно.

— Уже третий раз за этот год,— подтвердила она.— Видно, не могла придумать лучшего развлечения.

Врач обнажил свои безупречные зубы:

— Эти богачи с ума сходят.

У вдовы Монтель он застал женщин — они зашли навестить ее по дороге из церкви. Врач поздоровался с теми, кто сидел в гостиной; их приглушенный смех провожал его до самой лестничной площадки. Подойдя к двери спальни, он услышал голоса других женщин. Доктор постучал, и кто-то сказал, чтобы входили.

Вдова Монтель сидела в постели, прижимая к груди край простыни. Волосы у нее были распущены, а на коленях лежали зеркало и роговой гребень.

— Так вы, значит, тоже собираетесь на праздник,— сказал врач.

— Она празднует свой день рождения, ей исполнилось пятнадцать лет,— сказала одна из женщин.

— Восемнадцать,— с грустной улыбкой поправила вдова и, снова вытянувшись в постели, подтянула простыню к подбородку.— И конечно,— лукаво добавила она,— ни один мужчина не приглашен. А уж вы и подавно, доктор,— это была бы дурная примета.

Доктор положил мокрую шляпу на комод.

— Вот и прекрасно,— сказал он, глядя на больную задумчиво-удовлетворенным взглядом.— Теперь я вижу, что мне здесь больше делать нечего.

А потом повернулся к женщинам и, как будто извиняясь, спросил:

— Вы разрешите мне?..

Когда вдова осталась с ним наедине, страдальческое выражение лица, свойственное больным, вернулось к ней снова. Однако врач, казалось, этого не замечал. Выкладывая предметы из чемоданчика на ночной столик, он не переставал шутить.

— Прошу вас, доктор,— сказала вдова,— не надо уколов, я уже как сито.

— Для прокорма врачей,— улыбнулся доктор,— лучше уколов еще ничего не придумано.

Теперь заулыбалась и вдова.

— Честное слово,— сказала она, ощупывая через простыню ягодицы,— здесь сплошная рана. Я даже дотронуться не могу.

— А вы и не дотрагивайтесь,— сказал врач.

Она рассмеялась.

— Доктор, можете вы быть серьезным хотя бы по воскресеньям?

Врач оголил ей руку, чтобы измерить кровяное давление.

— Мне доктор не велит, — сказал он, — вредно для печени.

Пока он измерял давление, вдова с детским любопытством разглядывала круглую шкалу тонометра.

— Самые странные часы, какие я видела в своей жизни, — заметила она.

Наконец, перестав сжимать грушу, доктор оторвал взгляд от стрелки.

— Только они показывают, когда можно вставать с постели, — сказал он.

Закончив все и уже сматывая трубки, он пристально посмотрел в лицо больной; потом, поставив на столик флакон с белыми таблетками, сказал, чтобы она принимала по одной каждые двенадцать часов.

— Если не хотите больше уколов, — добавил он, — уколов не будет. Вы здоровей меня.

Вдова с легким раздражением передернула плечами.

— У меня никогда ничего не болело, — сказала она

— Верю, — отозвался врач, — но ведь надо же мне что-нибудь придумать, чтобы оправдать свой счет.

Ничего не ответив на это, вдова спросила:

— Я еще должна лежать?

— Наоборот, — сказал врач, — я это строго вам запрещаю. Спуститесь в гостиную и принимайте, как полагается, визитерш. К тому же, — иронически добавил он, — вам с ними о стольких вещах надо поговорить!

— Ради бога, доктор, — воскликнула она, — не будьте таким насмешником! Наверно, это вы наклеиваете листки.

Доктор Хиральдо захохотал. Выходя, он остановил взгляд на кожаном чемодане с медными гвоздиками, стоявшем наготове в углу спальни.

— И привезите мне что-нибудь на память, — крикнул он, уже перешагивая порог, — когда вернетесь из своего кругосветного путешествия!

Вдова, снова принявшаяся расчесывать волосы, ответила:

— Непременно, доктор!

Так и не спустившись в гостиную, она пролежала в постели до тех пор, пока не ушла последняя визитерша. Только после этого она оделась. Когда появился сеньор Кармайкл, вдова сидела у приоткрытой двери балкона и ела.

Не отрывая взгляда от цели, она ответила на его приветствия.

— Если разобраться, — сказала вдова, — эта женщина мне нравится: она смелая.

Теперь и сеньор Кармайкл смотрел на дом вдовы Асис. Хотя было уже одиннадцать, окна и двери по-прежнему оставались закрытыми.

— Такая у нее природа, — сказал он. — Она создана рожать мальчиков, так что иной быть и не могла. — И добавил, повернувшись снова к вдове Монтель: — А вы тоже цветете прямо как роза.

Сеньору Кармайклу показалось, что свежестью своей улыбки она его слова подтверждает.

— Знаете что? — спросила вдова и, не дожидаясь, пока он справится со своей нерешительностью, продолжала: — Доктор Хиральдо убежден, что я сумасшедшая.

— Что вы говорите!

Вдова кивнула.

— Я не удивлюсь, — сказала она, — если он уже обсуждал с вами, как отправить меня в психиатрическую больницу.

Сеньор Кармайкл не знал, как ему выйти из этого затруднительного положения.

— Я за утро ни разу не вышел из дому.

И он рухнул в мягкое кожаное кресло рядом с кроватью. Вдова вспомнила, что в этом же кресле Хосе Монтелья за пятнадцать минут до смерти сразило, как молния, кровоизлияние в мозг.

— В таком случае, — отозвалась она, стряхивая с себя дурное воспоминание, — он, может быть, зайдет к вам с этим во второй половине дня. — И, меняя тему, с ясной улыбкой спросила: — Вы говорили с моим кумом Сабасом?

Сеньор Кармайкл утвердительно кивнул головой.

Да, в пятницу и субботу он прощупывал дона Сабаса, пытаясь выяснить, как бы тот реагировал на распродажу наследства Хосе Монтьеля. Дон Сабас — такое осталось у сеньора Кармайкла впечатление — судя по всему, не против того, чтобы купить ее собственность.

Вдова выслушала его, не обнаруживая никаких признаков нетерпения. Если не в ближайшую среду, то в следующую, спокойно рассуждала она, но все равно. — еще до того, как кончится октябрь, она обязательно уедет из городка.

Молниеносным движением левой руки алькальд вырвал из кобуры револьвер. Все мышцы его тела собрались для выстрела, когда, проснувшись окончательно, он узнал судью Аркадио.

— Черт!

Судья Аркадио остолбенел.

— Чтобы больше этого не было! — выкрикнул алькальд и, засунув револьвер в кобуру, опять повалился в брезентовый шезлонг. — Когда я сплю, слух у меня еще острее!

— Дверь была открыта, — сказал судья.

Алькальд забыл закрыть ее, когда возвращался на рассвете. Он тогда так устал, что, плюхнувшись в шезлонг, тут же заснул.

— Который час?

— Скоро двенадцать, — ответил судья Аркадио дрогнувшим голосом.

— До смерти хочется спать, — пожаловался алькальд.

Когда он, потягиваясь, широко зевнул, ему показалось, будто время стоит на месте. Несмотря на все его старания, несмотря на все бессонные ночи, листки по-прежнему появлялись. Этим утром он увидел бумажку на двери своей спальни: «Лейтенант, не стреляйте из пушек по воробьям!» На улице говорили вслух, что листки расклеивают развлечения ради сами патрульные. Городок — алькальд был в этом уверен — помирал со смеху.

— Придите в себя, — сказал судья Аркадио, — и пойдемте съедим что-нибудь.

Однако алькальд голода не чувствовал и хотел до выхода из дому поспать еще часок и принять ванну, тогда как судья Аркадио, выбритый, свежий, уже возвращался домой обедать. Проходя мимо дома алькальда и видя, что дверь открыта, он зашел попросить для себя пропуск, чтобы иметь возможность ходить по улицам после наступления комендантского часа.

Алькальд сразу сказал:

— Нет. — И наставительно добавил: -- Вам приличней спать у себя дома.

Судья Аркадио закурил сигарету и, остановив взгляд на пламени спички, не зная, что сказать в ответ, стал ждать, чтобы обида улеглась.

— Не обижайтесь, — продолжал алькальд. — Честное слово, я был бы рад оказаться на вашем месте — ложиться в восемь вечера и вставать когда захочу.

— Кто в этом сомневается? — сказал судья, не скрывая иронии, и добавил: — Только этого мне не хватало — нового папаша в тридцать пять лет.

Он отвернулся и стал разглядывать готовое пролиться дождем небо. Алькальд упорно молчал. Потом резко окликнул:

— Судья!

Судья Аркадио повернулся к нему, и их взгляды встретились.

— Я вам не дам пропуска, понятно?

Судья прикусил сигарету и хотел было сказать что-то, но промолчал.

Алькальд слушал, как он медленно спускается по лестнице, и вдруг крикнул:

— Судья!

Ответа не последовало.

— Мы остаемся друзьями! — крикнул алькальд.

Он не получил ответа и на этот раз.

Алькальд стоял, перегнувшись через перила, и ждал ответа судьи Аркадио, пока не закрылась наружная дверь и он не остался опять наедине со своими

воспоминаниями. Уже не пытаюсь заснуть, он мучился от бессонницы. Он застрял, увяз в этом городке, и теперь, спустя много лет после того, как он взял его судьбу в свои руки, городок по-прежнему оставался далеким и непостижимым. В то утро, когда со старым, обвязанным веревками картонным чемоданом и прищазом подчинить себе городок любой ценой он сошел, воровато озираясь, на берег, ужас испытывал он сам. Надеялся он лишь на письмо к неведомому стороннику правительства, который, как его предупредили, будет сидеть на другой день в трусах у дверей крупорушки. Благодаря его советам и беспощадности трех наемных убийц, прибывших в городок тем же баркасом, цель была достигнута. Сегодня, однако, хотя он и не замечал невидимой паутины, которой его оплело время, достаточно было бы одного мгновенного озарения — и он бы задумался над тем, кто же кого на самом деле себе подчинил.

Возле двери балкона, по которому хлестал дождь, он продремал с открытыми глазами до начала пятого. Потом встал, умылся, надел военную форму и спустился в гостиницу поесть. Совершил обычную проверку полицейского участка, а потом оказалось вдруг, что он стоит на каком-то углу, засунув руки в карманы, и не знает, чем бы еще заняться.

Уже вечерело, когда он, по-прежнему держа руки в карманах, вошел в бильярдную. Хозяин приветствовал его из глубины пустого заведения, но алькальд не удостоил его ответом.

— Бутылку минеральной, — сказал он.

В холодильнике загремели передвигаемые бутылки.

— На днях, — попытался сосричь хозяин бильярдной, — холодильник придется оперировать, и тогда станет видно, что в печени у него полно пузырьков.

Алькальд посмотрел на стакан, сделал глоток, рыгнул, сидел немного, облокотившись на стойку, не отрывая глаз от стакана, и рыгнул снова. На площади не видно было ни души.

— Почему так? — спросил алькальд.

— Сегодня воскресенье, — напомнил хозяин.

— А!

Он положил на стойку монету и не попрощавшись вышел. На углу площади кто-то, ступавший так, словно волочил за собою огромный хвост, пробормотал что-то непонятное, и только чуть позже алькальд начал осмысливать сказанное. Охваченный смутным беспокойством, он снова зашагал к полицейскому участку, в несколько прыжков поднялся по лестнице и вошел, не обращая внимания на толпящийся в дверях народ.

Навстречу ему шагнул полицейский. Он протянул алькалду бумажный лист, и тому достаточно было беглого взгляда, чтобы понять, о чем идет речь.

— Разбрасывал на петушиной арене, — сказал полицейский.

Алькальд бросился в глубь коридора, открыл дверь первой камеры и, держась за щеколду, стал вглядываться в полумрак. Наконец он разглядел там юношу лет двадцати, лицо которого, угрюмое, с заостренными чертами, было в крапинах оспы. На нем были шапочка бейсболиста и очки с толстыми стеклами.

— Как тебя зовут?

— Пепе.

— Дальше как?

— Пепе Амадор.

Алькальд смотрел на него, словно пытаюсь что-то вспомнить. Юноша сидел на бетонном возвышении, заменявшем заключенным кровать. Не обнаруживая никакого беспокойства, он снял очки, протер их краем рубашки и, щурясь, посмотрел на алькальда.

— Где я тебя видел?

— Здесь, — ответил Пепе Амадор.

Алькальд по-прежнему стоял, не переступая порога камеры. Потом, все так же задумчиво глядя на заключенного, начал не спеша закрывать дверь.

— Ну что же, Пепе, — сказал он, — по-моему, ты допрыгался.

Заперев дверь, он опустил ключ в карман, пошел в служебное помещение и там перечитал листовку несколько раз.

Сидя у открытой двери балкона, он убивал ладонью москитов; на безлюдных улицах в это время загорались фонари. Он знал эту тишину сумерек: когда-то в такой же вечер он впервые испытал во всей полноте ощущение власти.

— Значит, снова, — сказал он вслух.

Снова. Как и прежде, они были отпечатаны на стеклографе на обеих сторонах листа, и их можно было узнать где и когда угодно по неуловимому налету тревоги, оставляемому подпольем.

Он долго стоял в темноте, складывая и разгибая бумажный лист, прежде чем принять решение. Наконец он сунул листовку в карман, и там его пальцы наткнулись на ключ от камеры.

— Ровира! — позвал он.

Его самый доверенный полицейский вынырнул из темноты. Алькальд протянул ему ключ.

— Займись этим парнем, — сказал он. — Постарайся уговорить его назвать тех, кто доставляет к нам пропагандистские листовки. Не удастся добром — добивайся по-другому.

Полицейский напомнил, что вечером он дежурит.

— Позабудь об этом, — сказал алькальд. — До нового приказа не занимайся больше ничем. И вот что, — добавил он так, словно его осенила вдруг блестящая мысль, — отправь-ка ты этих, во дворе, по домам. Сегодня ночью патрулей не будет.

Он вызвал в бронированную канцелярию трех полнейских, сидевших в ожидании его распоряжений в участке, и велел им надеть форменную одежду, хранившуюся у него в шкафу под замком. Пока они переодевались, он сгреб со стола холостые патроны, которые давал патрульным до этого, и достал из сейфа горсть настоящих.

— Сегодня ночью патрулировать будете вы, — сказал он, проверяя винтовки, чтобы выбрать для полицейских лучшие. — Не делайте ничего, но пусть люди знают, что вы на улице.

Снабдив каждого винтовкой и раздав патроны, он стал перед ними и предупредил:

— Но смотрите — первого, кто выстрелит, поставлю к стенке.

Алькальд подождал ответа. Его не последовало.

— Понятно?

Все трое (два ничем не примечательных метиса и гигантского роста блондин с прозрачными голубыми глазами) выслушали последние слова алькальда, укладывая патроны в патронташи. Они вытынулись.

— Понятно, господин лейтенант.

— И еще вот что, — добавил уже неофициальным тоном алькальд. — Сейчас Асисы в городке, и может статься, кто-нибудь из них напьется и полезет на рожон. Так вы с ним не связывайтесь — пусть идет своей дорогой.

Алькальд снова подождал ответа, но его не последовало и на этот раз.

— Понятно?

— Понятно, господин лейтенант.

— Вот так-то, — заключил алькальд. — А ухо держать востро.

Запирая церковь после службы, которую он начал на час раньше, чтобы успеть закончить до сигнала трубы, падре Анхель почувствовал запах падали. Вонь появилась и исчезла, так и не заинтересовав его, но позднее, когда он поджаривал ломтики зеленых бананов и подогревал молоко к ужину, падре понял, чем она вызвана: Тринидад заболела и с субботы никто не выбрасывает дохлых мышей. Он вернулся в храм, очистил мышеловки и отправился к Мине, жившей метрах в двухстах от церкви.

Дверь ему отворил сам Тото Висбаль. В маленькой полутемной гостиной, заставленной раскиданными как попало табуретками с сиденьями, обитыми ко-

жей, стены были увешаны литографиями. Мать и слепая бабушка Мины пили из чашек какой-то горячий ароматный напиток; Мина делала искусственные цветы.

— Уже прошло пятнадцать лет, падре,— сказала слепая,— как вы последний раз были у нас в доме.

Это и вправду было так. Каждый день проходил он мимо окна, у которого делала свои бумажные цветы Мина, но в дом не заходил никогда.

— Как летит время!— сказал падре, а потом, давая понять, что торопится, повернулся к Тото Висбалью.— Хочу попросить вас о любезности: пусть Мина с завтрашнего дня последит за мышеловками. Тринидад,— объяснил он Мине,— с субботы больна.

Тото Висбаль был согласен.

— Только время тратить попусту,— вмешалась слепая.— Все равно в этом году конец света.

Мать Мины положила старухе на колено руку, чтобы та замолчала, однако слепая ее руку сбросила.

— Бог наказывает суеверных,— сказал священник.

— Написано,— не унималась слепая,— кровь потечет по улицам, и не будет силы человеческой, которая могла бы ее остановить.

Падре обратил к ней полный сострадания взгляд. Она была очень старая, страшно бледная, и казалось, что ее мертвые глаза проникают в самую суть вещей.

— Будем тогда купаться в крови,— пошутила Мина.

Падре Анхель повернулся к ней и увидел, как ее такое же бледное, как у ее слепой бабушки, лицо, обрамленное иссиня-черными волосами, вынырнуло из облака лент и разноцветной бумаги. Она казалась аллегорической фигурой из живой картины на какой-нибудь школьной вечеринке.

— Воскресенье, а ты работаешь,— упрекнул он ее.

— Я уж ей говорила,— снова вмешалась слепая.— Дождь из горячего пепла просыплется на ее голову.

— Бог труды любит,— с улыбкой возразила Мина.

Падре по-прежнему стоял, и Тото Висбаль, пододвинув табуретку, снова предложил ему сесть. Он был тщедушен и от робости двигался суетливо.

— Спасибо,— отказался падре Анхель,— я спешу, а то комендантский час застанет меня на улице.—И, обратив наконец внимание на воцарившуюся в городке мертвую тишину, добавил:— Можно подумать, что уже больше восьми.

Только сказав это, он понял: после того как камеры пустовали почти два года, Пепе Амадор опять за решеткой, а городок снова отдан на милость трех убийц. Поэтому люди уже с шести сидят по домам.

— Странно.— Казалось, падре Анхель разговаривает сам с собой.— В такое время, как теперь,— да это просто безумие.

— Рано или поздно это должно было случиться,— сказал Тото Висбаль.— Страна расплзается по швам.

Он проводил падре до двери.

— Листовки видели?

Падре Анхель остолбенел.

— Снова?

— В августе,— заговорила слепая,— наступят три дня тьмы.

Мина протянула старухе начатый цветок.

— Замолчи,— сказала она,— и кончи вот это.

Слепая ошупала цветок и стала доделывать его, продолжая в то же время прислушиваться к голосу священника.

— Значит, опять,— сказал падре.

— Уже с неделю как появились,— сказал Тото Висбаль.— Одну подсунили нам, а кто — неизвестно. Сами знаете, как это бывает.

Священник кивнул.

— Там написано: как было, так все и осталось,— продолжал Тото Вис-

баль. — Пришло новое правительство, обещало мир и безопасность для всех, и сначала все ему поверили. Но чиновники какими были, такими и остались.

— А разве не правда? — сказала мать Мины. — Снова комендантский час, и опять эти трое убийц на улице.

— Обо всем этом написано, — подала голос слепая.

— Чепуха какая-то, — задумчиво сказал падре. — Ведь положение теперь другое. Или, по крайней мере, — поправил он себя, — было другим до сегодняшнего вечера.

Прошло несколько часов, прежде чем он, лежа без сна в духоте москитной сетки, спросил себя, не стояло ли время на месте все те девятнадцать лет, которые он провел в этом приходе. Перед домом слышался топот сапог и звон оружия, предшествовавшие в другие времена винтовочным выстрелам. Только на этот раз топот стал слабеть, вернулся через час и удалился снова, а выстрелы так и не прозвучали. Чуть позже, измученный бессонницей и жарой, он понял, что уже давно поют петухи.

IX

Матео Асис попытался установить по крикам петухов, который час. Наконец его словно на волне вынесло в явь.

— Сколько времени?

Нора Хакоб протянула в полутьме руку и взяла с ночного столика часы со светящимся циферблатом. Ответ, которого она еще не дала, разбудил ее совсем.

— Полпятого, — сказала она.

— Черт!

Матео Асис соскочил с постели, однако головная боль и металлический вкус во рту заставили его умерить стремительность своих движений. Он нащупал в темноте ногами ботинки.

— Еще чуть-чуть — и меня бы застал рассвет, — сказал он ей.

— Вот бы хорошо было, — отозвалась она и, включив ночник, снова увидела его знакомый хребет с выступающими позвонками и бледные ягоды. — Тогда тебе пришлось бы просидеть здесь до завтра.

Она была совсем нагая, край простыни едва прикрывал ее пах. При свете лампы ее голос терял свое спокойное бесстыдство.

Матео Асис обулся. Он был высокий и плотный. Нора Хакоб, уже два года принимавшая его от случая к случаю, мучилась, что ей нужно молчать о мужчине, который, казалось, создан для того, чтобы женщины о нем рассказывали.

— Ты растолстеешь, если не будешь за собой следить, — сказала она.

— Это от хорошей жизни, — ответил он, силясь скрыть досаду, а потом улыбнулся. — Наверно, я забеременел.

— Неплохо было бы, — сказала она. — Если бы мужчины рожали, они бы не были такие бесчувственные.

Он прошел в ванную и помылся, стараясь не вдыхать воздух глубоко — любой запах сейчас, на рассвете, был ее запахом. Когда он вернулся, она уже сидела.

— Как-нибудь на днях, — сказала Нора Хакоб, — мне надоест играть в прятки и я расскажу обо всем всему свету.

Он взглянул на нее, только когда оделся совсем. Она вспомнила о своих отвислых грудях и, продолжая говорить, подтянула простыню к подбородку.

— Не верю, что придет время, — сказала она, — когда мы сможем позавтракать в постели и остаться в ней до вечера. Впору вывесить самой на себя листок. Матео Асис весело рассмеялся.

— Старый Бенхаминсито тогда умрет, — сказал он. — Кстати, как он поживает?

— Представь себе — ждет, чтобы умер Нестор Хакоб.

Она увидела, как он, уже в дверях, поднял в знак прощания руку.

— Постарайся приехать на сочельник, — сказала она.

Он обещал, а потом пересек на дыпочках патио и вышел на улицу. Его кожу смочило несколько мелких холодных капель. На площади его остановил окрик:

— Руки вверх!

Перед глазами вспыхнул свет карманного фонарика. Он отвернул лицо в сторону.

— Фу ты черт! — выругался невидимый за светом алькальд. — Поглядите только, кого мы встретили! Сюда или отсюда?

Он погасил фонарик, и Матео Асис увидел алькальда и трех полицейских. Алькальд был свежевыбритый и умытый, и на груди у него висел автомат.

— Сюда, — сказал Матео Асис.

Чтобы разглядеть время на своих часах, алькальд подошел поближе к фонарному столбу. До пяти оставалось десять минут. Безмолвным взмахом руки он подал знак полицейским прервать комендантский час и стал ждать, пока замрет сигнал трубы, внесший в рассвет печальную ноту.

Прощавшись с полицейскими, он пошел вместе с Матео Асисом через площадь.

— Ну, все, — сказал он, — с писаниной покончено.

Усталости в его голосе было больше, чем удовлетворения.

— Поймали?

— Нет еще. — ответил алькальд, — но я только что закончил последний обход и могу сказать, что сегодня впервые за все время не наклеено ни одного листка. Достаточно было припугнуть.

Когда они были уже у двери, Матео Асис прошел вперед привязать собак. В кухне потягивалась и зевала прислуга. Алькальда встретил лай рвущихся с цепи псов, сменившийся через секунду мирными прыжками и сопением.

Когда появилась вдова Асис, они сидели около кухни на перилах галереи и пили кофе. Уже рассветало.

— Полуночник, — сказала вдова, — будет хорошим отцом семейства, но никогда не будет хорошим мужем.

Несмотря на шутку, лицо ее не могло скрыть следов мучительного и долгого бодрствования. Ответив на приветствие, алькальд подобрал автомат с пола и повесил его через плечо.

— Пейте сколько хотите кофе, лейтенант, — сказала вдова, — но ружей мне в дом не приносите.

— Наоборот, — улыбнулся Матео Асис, — тебе самой надо просить у него ружье, чтобы ты могла ходить к мессе.

— Я и без этой палки могу себя защитить, — отозвалась вдова. — Божественное провидение с нами. Мы, Асисы, верили в бога еще тогда, когда на много лиг вокруг не было ни одного священника.

Алькальд встал и попрощался.

— Надо выспаться, — сказал он, — такая жизнь не для христиан.

Он пошел, лавируя между утками, курами и индюшками, постепенно заполнявшими патио. Вдова погнала птиц прочь. Матео Асис ушел в спальню, принял ванну, переоделся и вышел сесть на мула. Его братья уехали еще на рассвете.

Когда он снова появился в патио, вдова Асис возилась с клетками.

— Не забывай, — сказала она, — беречь свою шкуру — одно, но допускать панибратство — совсем другое.

— Он зашел только выпить кофе, — стал оправдываться Матео Асис. — Мы шли и разговаривали, и я даже не заметил, как пришли к дому.

Он смотрел на мать из своего конца галереи, но она, когда заговорила, снова осталась стоять к нему спиной. Казалось, она обращается к птицам.

— Больше я говорить с тобой об этом не стану, — сказала она. — Не приходи ко мне в дом убийц.

Покончив с клетками, она посмотрела в упор на сына:

— А где, интересно, околачивался ты?

Этим утром дурные предзнаменования мерещились судьбе Аркадио в самых обычных и малозначительных событиях дня.

— Даже голова заболела,— сказал он, пытаясь описать жене овладевшее им беспокойство.

Утро было солнечное. Река впервые за несколько недель приняла мирный вид и уже не пахла невыделанными кожами. Судья Аркадио отправился в парикмахерскую.

— Правосудие,— встретил его парикмахер,— хоть и хромает, но приходит.

Пол был до блеска натерт мастикой, а зеркала намазаны свинцовыми беллами. Пока судья усаживался, парикмахер начал протирать их тряпкой.

— Понедельников не должно быть на свете,— сказал судья.

Парикмахер начал его стричь.

— Во всем виноваты воскресенья,— сострил он.— Не будь воскресений, не было бы и понедельников.

Судья Аркадио закрыл глаза. На этот раз после двенадцатичасового сна, бурного акта любви и долгого пребывания в ванне ему не в чем было упрекнуть воскресенье. Однако понедельник выдался тяжелый. Теперь, когда часы на башне кончили бить девять и слышно было только постукивание швейной машины в соседнем доме, судью Аркадио бросило в дрожь новое предзнаменование — безмолвие улиц.

— Призрак какой-то, а не городок,— сказал он.

— Ваши желания исполнились,— отозвался парикмахер.— К этому часу по понедельникам у меня всегда бывало пострижено не меньше пяти клиентов, а сегодня вы первый.

Судья Аркадио открыл глаза и бросил взгляд на отраженную в зеркале реку.

— «Ваши»...— повторил он вслед за парикмахером и спросил:— А чьи это «наши»?

— Ваши,— неуверенно сказал парикмахер.— До вас наш городок был такой же дерьмовый, как остальные, а сейчас хуже остальных.

— Ты говоришь мне это,— возразил судья,— только потому, что знаешь: я ко всем этим делам не имел никакого отношения. Осмелился бы ты,— без всякого раздражения спросил он,— сказать то же самое лейтенанту?

Парикмахер признал, что не осмелился бы.

— Вы не знаете,— сказал он,— что такое подниматься каждое утро и ждать, что сегодня тебя убьют, и так проходит десять лет — ты ждешь, а тебя все не убивают.

— Не знаю,— подтвердил судья Аркадио,— и знать не хочу.

— Делайте все, что в ваших силах,— сказал парикмахер,— чтобы не узнать этого никогда.

Судья опустил голову, а потом после долгого молчания спросил:

— Знаешь, что я тебе скажу, Гвардиола?— И, не дожидаясь ответа, продолжал:— Лейтенант пускает в городке корни. И пускает их с каждым днем все глубже, потому что открыл для себя удовольствие, от которого, когда его узнаешь, невозможно отказаться: мало-помалу и без шума он богатеет.

Парикмахер молчал, и судья Аркадио заговорил снова:

— Готов поспорить, что больше на его счету не будет ни одного убитого.

— Вы так думаете?

— Ставлю сто против одного,— сказал судья.— Мир сейчас для него самое выгодное дело.

Парикмахер перестал стричь, подвинул кресло назад и, не говоря ни слова, сменил простыню. Когда он наконец заговорил, голос его звучал немного удивленно.

— Странно, что это говорите вы,— сказал он,— и еще более странно, что вы говорите это мне.

Если бы судьбе Аркадио позволила поза, он пожал бы плечами.

— Я говорю это уже не в первый раз,— заметил он.

— Но ведь лейтенант ваш лучший друг,— сказал парикмахер.

Он говорил понизив голос, и тот звучал теперь напряженно и доверительно. Казалось, парикмахер поглощен работой, а выражение лица у него было, как у малограмотного человека, ставящего свою подпись.

— Скажи мне, пожалуйста, Гвардиола,— значительно спросил судья,— что ты обо мне думаешь?

Парикмахер, уже начавший его брить, помедлил, прежде чем ответить.

— До этого разговора я думал, что вы человек, который знает, что он уйдет, и хочет уйти.

— Думай так и впредь,— улыбнулся судья.

Он дал побрить себя с таким же мрачным безразличием, с каким позволил бы себя обезглавить. Пока парикмахер тер ему подбородок квасцами, пудрил его и чистил ему одежду мягкой щеткой, глаза судьи Аркадио оставались закрытыми. Снимая с него простыню, парикмахер словно невзначай сунул ему в карман рубашки сложенный лист бумаги.

— Только в одном вы ошибаетесь, судья,— сказал он.— У нас в стране еще будет заваруха.

Судья Аркадио огляделся — ему хотелось удостовериться в том, что, кроме них, в парикмахерской никого нет. Палящее солнце, постукивание швейной машины в безмолвии позднего утра и неумолимый понедельник вызывали у него такое чувство, будто они с парикмахером одни в городке. Он вытащил из кармана засунутый туда лист и стал читать.

Парикмахер, повернувшись к нему спиной, наводил порядок на столике.

— «Два года обещаний,— процитировал он по памяти,— и все то же чрезвычайное положение, та же цензура, те же чиновники».— Увидев в зеркале, что судья Аркадио все прочитал, он сказал ему:— Передайте другому.

Судья Аркадио снова спрятал листовку в карман.

— А ты смелый!

— Если бы я хоть раз в ком-нибудь ошибся,— сказал парикмахер,— меня бы уже давным-давно продырявили.— А потом, став совсем серьезным, добавил:— Смотрите, судья,— никому ни слова!

Выйдя из парикмахерской, судья Аркадио почувствовал, что во рту у него совсем пересохло. Он попросил в бильярдной две двойных порции крепкого и, выпив их одну за другой, понял, что времени впереди у него еще много.

Когда он попросил четвертую двойную порцию, дон Роке налил ему меньше.

— Если вы будете двигаться такими темпами,— улыбнулся хозяин заведения,— вас, как тореадора, придется выносить на плечах.

Судья Аркадио тоже улыбнулся, но одними губами — глаза его оставались потухшими. Через полчаса он пошел в уборную, помочился и, перед тем как выйти, скомкал листовку и бросил ее в дыру.

Вернувшись к стойке, он увидел рядом со своим стаканом бутылку, на которой чернилами был отмечен уровень жидкости.

— Это я сделал специально для вас,— сказал дон Роке, лениво обмахиваясь веером.

Они были одни в заведении. Судья Аркадио налил себе полстакана и не спеша начал пить.

— Знаете что? — сказал он. Не поняв, слышит его дон Роке или нет, судья Аркадио продолжал:— Еще будет заваруха.

Дон Сабас сосредоточенно отвешивал на кухонных весах свой маленький, как у птички, обед, когда жена сказала, что снова пришел сеньор Кармайкл.

— Скажи ему, что я сплю,— шепнул он ей на ухо.

И правда, уже через десять минут он спал. Когда он проснулся, воздух был горячим и жара парализовала весь дом. Шел первый час.

— Что тебе снилось?—спросила у него жена.

— Ничего.

Она не будила его, дожидаясь, чтобы он проснулся сам. Через минуту она вскипятила шприц, и дон Сабас сделал себе в бедро укол инсулина.

— Уже года три как тебе ничего не снится,— сказала жена, запоздало выражая разочарование.

— Черт побери!— крикнул он.— Чего ты от меня хочешь? Нельзя видеть сны по заказу!

Как-то раз несколько лет тому назад дон Сабас, задремав ненадолго после обеда, увидел дуб, на котором вместо желудей росли бритвы. Правильно истолковав этот сон, жена выиграла по лотерее.

— Не увидел сегодня, увидишь завтра,— примирительно сказала она.

— Ни сегодня, ни завтра!— раздраженно ответил дон Сабас.— Не воображай, что я буду видеть сны специально для твоих глупостей.

Он опять прилег на постель, пока жена наводила порядок в комнате. Все режущие и колющие предметы были уже давно отсюда изгнаны. Через полчаса дон Сабас медленно поднялся, стараясь не дать воли гневу, и стал одеваться.

— Так что же сказал Кармайкл?— спросил он.

— Зайдет позднее.

Они заговорили снова, только когда сели за стол. Дон Сабас клевал по крошке свою нехитрую диету, а она поставила перед собой обильный завтрак — явно непомерный для нее, если судить по ее хрупкой фигурке и томному выражению лица. Она долго раздумывала, прежде чем решилась задать вопрос:

— Чего он хочет?

Дон Сабас даже не поднял головы.

— Чего он может хотеть! Денег, конечно.

— Так я и думала.— вздохнула жена и с сочувствием продолжала:— Бедный Кармайкл! Через его руки проходят груды денег, и уже столько лет, а ему приходится жить на подаянья.

Говоря, она постепенно утрачивала интерес к завтраку.

— Дай ему, Сабасито,— сказала она,— бог тебя наградит за это.

Жена положила на тарелку крест-накрест вилку и нож и с любопытством спросила:

— А сколько ему нужно?

— Двести песо,— невозмутимо ответил дон Сабас.

— Двести песо?

— Представь себе!

В отличие от воскресений, которые были самыми загруженными днями, понедельники у дона Сабаса были обычно спокойными. Он мог часами дремать у себя в конторе перед электрическим вентилятором, в то время как скот в его стадах рос, тучнел и умножался. Сегодня, однако, не выдалось ни одной свободной минуты.

— Все из-за жары,— сказала она.

В бесцветных зрачках дона Сабаса снова сверкнула искорка раздражения. В узкой комнате со старым письменным столом, четыремя кожаными креслами и грудями сбруи по углам жалюзи были опущены, и воздух был теплый и клейкий.

— Возможно,— согласился он.— Никогда в октябре не бывало такой жары.

— Пятнадцать лет назад в такую же самую жару было землетрясение,— сказала жена.— Помнишь?

— Не помню,— рассеянно ответил дон Сабас.— Ты прекрасно знаешь, что я никогда ничего не помню. А к тому же,— неожиданно зло огрызнулся он,— сегодня у меня нет никакого желания говорить о несчастьях.

Он закрыл глаза и, скрестив руки на груди, сделал вид, что засыпает.

— Если придет Кармайкл,— пробормотал он,— скажи ему, что меня нет.

Взгляд жены стал умоляющим.

— Ты плохой человек,— сказала она.

Он не ответил ей. Она вышла, бесшумно затворив за собой дверь из проводочной сетки.

Уже вечерело. когда дон Сабас, поспав по-настоящему, открыл глаза и, словно сновидения не кончились, увидел перед собой алькальда, терпеливо ожидающего его пробуждения.

— Такому человеку, как вы, — улыбнулся алькальд, — ложась спать, следует закрывать дверь.

Дон Сабас ни одним мускулом лица не выдал своей растерянности.

— Для вас, — ответил он, — двери моего дома всегда открыты.

Он протянул было руку, чтобы позвонить в колокольчик, но алькальд остановил его.

— Не хотите кофе? — спросил дон Сабас.

— Сейчас не хочу, — сказал алькальд, обводя комнату тоскующим взглядом. — Здесь было так хорошо, пока вы спали. Будто я был в другом городке.

Дон Сабас потер глаза.

— Сколько сейчас времени?

Алькальд посмотрел на свои ручные часы:

— Скоро пять. — А потом, выпрямившись в кресле, мягко спросил: — Поговорим?

— Похоже, — сказал дон Сабас, — что ничего другого мне не остается.

— Как и мне, — уверил его алькальд. — В конце концов, это уже ни для кого не секрет. — И с той же спокойной непринужденностью, без единого резкого слова или жеста продолжал: — Скажите мне, дон Сабас, сколько голов скота, принадлежащего вдове Монтель, угнали по вашему приказу из ее стойл и переклеймили вашим клеймом с тех пор, как она предложила вам купить его?

Дон Сабас пожал плечами.

— Не имею ни малейшего представления.

— Я думаю, вы помните, — сказал алькальд, — как это называется.

— Кража скота, — отозвался дон Сабас.

— Именно, — подтвердил алькальд. — Предположим, например, — все так же спокойно продолжал он, — что за три дня вы угнали двести голов.

— Если бы! — вздохнул дон Сабас.

— Значит, двести, — сказал алькальд. — Вы знаете условия: с каждой головы пятьдесят песо муниципального налога.

— Сорок.

— Пятьдесят.

Молчание дон Сабаса было знаком согласия. Он сидел, откинувшись на спинку пружинного кресла, вертел кольцо с черным блестящим камнем, и его взгляд был прикован к воображаемой шахматной доске.

Алькальд смотрел на него пристально и без малейшего намека на жалость.

— Но это еще не все, — продолжал он. — С сегодняшнего дня весь скот из наследства Хосе Монтеля, у кого бы он ни оказался, находится под защитой муниципалитета.

Ответа не последовало, и он продолжал:

— Эта бедная женщина, как вам известно, совсем рехнулась.

— Ну, а Кармайкл?

— Кармайкл, — сказал алькальд, — уже два часа находится под охраной.

Дон Сабас окинул его взглядом, который можно было считать при желании и восхищенным и растерянным, и вдруг, затрясшись в неудержимом беззвучном смехе, навалился всем своим большим мягким телом на письменный стол.

— Какой случай, лейтенант, а? Вам, наверно, такое и не снилось!

К вечеру у доктора Хиральдо появилось отчетливое чувство, что к нему возвращается его прошлое. Миндальные деревья на площади снова покрылись пылью. Еще одна зима подходила к концу, и ее тихие, крадущиеся шаги оставляли глубокий след в его памяти.

Падре Анхель возвращался с вечерней прогулки, когда увидел, как доктор пытается просунуть ключ в замочную скважину своей приемной.

— Вот видите, доктор, — улыбнулся он, — даже дверь не откроешь без воли божьей.

— Или без карманного фонарика,— углыбнулся ему в ответ доктор Хиральдо.

Он повернул в замке ключ, и теперь все его внимание принадлежало падре Анхелю. В сумерках лицо священника казалось расплывчатым багровым пятном.

— Минутку, падре,— сказал доктор и взял его за локоть.— Мне кажется, у вас не в порядке печень.

— Вы так думаете?

Врач включил свет над входом и оглядел лицо священника скорее с человеческим, нежели профессиональным участием, а потом отворил затянутую сеткой дверь приемной и включил свет в комнате.

— Не будет ничего плохого, падре, если вы пять минут уделите вашему телу. Давайте-ка проверим ваше кровяное давление.

Падре Анхель торопился; однако, уступая настояниям врача, прошел в приемную и стал закатывать рукав.

— В мое время,— сказал он,— этих штук не было.

Доктор Хиральдо поставил напротив него стул и сел прилаживать тонометр.

— Ваше время, падре, продолжается по сей день,— улыбнулся он.

Пока врач смотрел на шкалу прибора, падре оглядывал комнату с тем наивным любопытством, какое вызывают обычно приемные врачей. На стенах висели пожелтевший диплом, литография фиолетовой девочки с разъеденной голубой щекой и картина с изображением врача, оспаривающего у смерти обнаженную женщину. В глубине кабинета, за железной койкой, выкрашенной в белый цвет, стоял шкаф с пузырьками. На каждом пузырьке была этикетка. У окна располагался застекленный шкаф с инструментами, рядом — два таких же с книгами. Едва уловимо пахло денатуратом.

Когда доктор Хиральдо кончил измерять давление, по лицу его нельзя было ничего прочесть.

— В этой комнате не хватает святого,— пробормотал падре.

Доктор обвел взглядом стены.

— Не только здесь,— сказал он.— Во всем городке.

Он убрал тонометр в кожаный футляр, энергичным рывком задернул «молнию» и продолжал:

— Должен сказать, падре, что давление у вас в норме.

— Я так и думал,— отозвался священник и немного удивленно добавил.— Никогда еще не чувствовал себя так хорошо в октябре.

Падре Анхель начал медленно спускать рукав. Его заштопанная сутана, рваные ботинки и обветренные руки с ногтями будто из обожженного рога сейчас особенно ясно подчеркивали в нем самое существенное: что он человек крайне бедный.

— И все-таки,— сказал врач,— ваше состояние меня беспокоит. Надо признать, что для такого октября, как нынешний, ваш образ жизни не наилучший.

— Что поделаешь — господь взыскателен,— сказал падре.

Повернувшись к нему спиной, доктор посмотрел в окно на темную реку.

— Интересно, до каких же пределов?— сказал он.— Неужели богу угодно, чтобы кто-то девятнадцать лет подряд старался заковать чувства людей в панцирь, ясно при этом сознавая, что внутри все остается по-прежнему?— И после долгой паузы продолжал:— А не кажется ли вам в последние дни, что плоды ваших неустанных трудов начинают гибнуть у вас на глазах?

— Мне это кажется каждую ночь на протяжении всей моей жизни,— ответил падре.— И потому я знаю, что наутро должен приняться за работу с еще большим усердием.

Он уже встал.

— Скоро шесть,— сказал он и направился к двери.

Врач у окна не шевельнулся, и все же казалось, будто он, когда начал говорить, вытянутой рукой преградил священнику дорогу.

— Падре, как-нибудь ночью положи руку на сердце спросите себя, не пытаетесь ли вы лечить моральные раны пластырем.

Падре Анхель не мог скрыть страшного приступа удушья, сдавившего ему грудь.

— В час кончины, — сказал он, — вы узнаете, доктор, сколько весят эти ваши слова.

Он пожелал доктору спокойной ночи и вышел, тихо закрыв за собою дверь.

Ему никак не удавалось сосредоточиться на молитве. Когда он уже запер дверь, Мина подошла к нему и сказала, что за два дня попала только одна мышь. У него было впечатление, что мыши в отсутствие Тринидад очень расплодились и теперь грозят подточить самое основание храма, хотя Мина ставит мышеловки, отравляет сыр, разыскивает следы помета и заливают асфальтом новые гнезда — ей помогал их находить сам падре.

— Вложи в свой труд хотя бы немного веры, — сказал он, — и мыши пойдут в мышеловки как овечки.

Он долго ворочался на голой циновке, прежде чем уснул. Нервы его от долгого бодрствования были напряжены до предела, и он с неумолимой остротой ощущал горькое чувство поражения, которое заронил в его сердце доктор. Это чувство, беготня мышей в храме и гробовая тишина комендантского часа с неодолимой силой увлекали его в водоворот того воспоминания, которого он больше всего боялся.

Его, только недавно прибывшего в городок, разбудили среди ночи, чтобы он дал последнее напутствие Норе Хакоб. В спальне, готовой принять ангела смерти — там уже не осталось ничего, кроме распятия, повешенного над изголовьем кровати, и ряда старых стульев у стен, — он выслушал трагическую исповедь, спокойную, точную и подробную. Умиравшая рассказала ему, что ее муж Нестор Хакоб не отец девочки, которую она только что родила. Падре Анхель согласился дать ей отпущение грехов, только если она повторит свой рассказ и произнесет слова покаянья в присутствии мужа.

X

Повинуясь энергичным командам директора цирка, рабочие вырвали из земли шесты, и купол шапито величественно опал, издав звук, похожий на жалобный свист ветра в деревьях. Когда взошло солнце, все уже было упаковано, мужчины грузили на баркасы зверей, а женщины и дети завтракали на сундуках. Раздался первый гудок, и следы очагов на пустыре остались единственным свидетельством того, что через городок прошло нечто похожее на доисторическое животное.

Алькальд в эту ночь не спал. Сперва он наблюдал с балкона, как грузились баркасы, потом смешался с толпой на набережной. Он был по-прежнему в форме, глаза его от недосыпания покраснели, а лицо от двухдневной щетины казалось мрачнее обычного.

С палубы баркаса его увидел директор цирка.

— Всего наилучшего, лейтенант! — крикнул он. — Оставляю вам вance царство!

Он был в широком блестящем халате, придававшем его круглому лицу что-то священническое, а на руку у него был намотан хлыст.

Алькальд подошел к самой воде.

— Очень сожалею, генерал! — разводя руками, весело отозвался он. — Скажите, пожалуйста, почему вы уезжаете?

Он повернулся к толпе и громко объяснил:

— Я отменил разрешение, потому что он не захотел дать бесплатное представление для детей.

Последний гудок баркасов и шум двигателей заглушили ответ директора цирка. От воды запахло взбаламученным илом. Директор цирка подождал, пока баркасы развернутся на середине реки, и тогда, перегнувшись через борт и сложив ладони рупором, прокричал во всю силу своих легких:

— Прощай, полицейский ублюдок!

Выражение лица у алькальда не изменилось. Он подождал, не вынимая рук из карманов, пока замрет в отдалении шум двигателей, а потом протолкался, улыбаясь, через толпу и вошел в лавку сирийца Мойсеса.

Было около восьми утра, а сириец уже уносил внутрь лавки разложенные перед дверью товары.

— Вы уходите?— спросил алькальд.

— Ненадолго,— ответил, глядя на него, сириец.— Собирается дождь.

— По средам дождя не бывает,— сказал алькальд.

Облокотившись на прилавок, он стал смотреть на черные тучи, плывущие над набережной, и оторвал от них взгляд, только когда сириец убрал весь свой товар и велел жене подать им кофе.

— Если так пойдет дальше,— со вздохом и словно обращаясь к самому себе, сказал алькальд,— нам придется просить у других городков людей взаймы.

Он начал медленными глотками пить кофе. Из городка уехали еще три семьи. Всего, по подсчетам сирийца Мойсеса, за последнюю неделю их уехало пять.

— Вернутся,— сказал алькальд.

Взгляд его задержался на загадочных пятнах кофейной гущи в чашке, а потом, словно думая о чем-то другом, он продолжал.

— Куда бы ни поехали, им все равно не забыть, что их пуповину зарыли здесь, в городке.

Несмотря на свои предсказания, алькальду пришлось переждать в лавке яростный ливень, на несколько минут погрузивший городок в воды потопа. После этого он отправился в полицейский участок, где сеньор Кармайкл, промокивший насквозь, по-прежнему сидел на скамеечке посередине двора.

Алькальд им заниматься не стал. Приняв рапорт от дежурного, он приказал открыть камеру, где Пепе Амадор, казалось, крепко спал ничком на кирпичном полу. Он перевернул его ногой и посмотрел с тайным состраданием на обезображенное побоями лицо.

— Когда его кормили в последний раз?— спросил алькальд.

— Позапрошлым вечером.

Алькальд приказал его поднять. Подхватив Пепе Амадора, двое полицейских проволокли его через камеру и посадили на выдававшуюся из стены бетонную скамью. На том месте, где он лежал, остался влажный отпечаток.

В то время как двое полицейских держали Пепе Амадора, чтобы он не упал, третий поднял за волосы его голову. Только прерывистое дыханье и бесконечно усталая складка губ говорили о том, что Пепе Амадор еще жив.

Когда полицейские отпустили его, юноша открыл глаза, нащупал руками край скамьи и с глухим стоном опустился на спину.

Выйдя из камеры, алькальд велел покормить арестованного и дать ему поспать.

— А потом,— приказал он,— продолжайте работать над ним, пока не расколется. Думаю, что надолго его не хватит.

С балкона он увидел сеньора Кармайкла, который, закрыв лицо ладонями и съежившись, все так же сидел на скамейке во дворе участка.

— Ровира!— крикнул алькальд.— Пойди в дом Кармайкла и скажи его жене, чтобы она прислала ему одежду. А потом,— торопливо добавил он,— приведи его в канцелярию.

Он уже засыпал, облокотившись на письменный стол, когда в дверь постучали. Это был сеньор Кармайкл, одетый в белое и совершенно сухой, если не считать ботинок, мягких и разбухших, как у утопленника. Прежде чем им заняться, алькальд сказал полицейскому, чтобы тот сходил к жене сеньора Кармайкла и принес другую пару ботинок.

Сеньор Кармайкл жестом остановил полицейского.

— Не надо.— А потом, повернувшись к алькальду и глядя на него с суровым достоинством, объяснил:— Они у меня единственные.

Алькальд предложил ему сесть. За двадцать четыре часа до этого сеньор

Кармайкл был препровожден в бронированную канцелярию и подвергнут долгому допросу об имущественных делах семейства Монтель. Он подробно обо всем рассказал. Когда же алькальд выразил желание купить наследство за цену, которую установят уполномоченные муниципалитета, сеньор Кармайкл заявил с своей твердой решимости препятствовать этому до тех пор, пока имущество не приведено в порядок.

И сейчас, после двух дней голода и пребывания под открытым небом, он оставался все таким же непреклонным.

— Ты осел, Кармайкл.— сказал ему алькальд.— Пока ты будешь дожидаться приведения наследства в порядок, этот бандит дон Сабас переклеймит своим клеймом весь монтелевский скот.

Сеньор Кармайкл только пожал плечами.

— Ну хорошо,— сказал алькальд после долгого молчания.— Мы знаем, что ты человек честный. Но вспомни вот что: пять лет назад дон Сабас передал Хосе Монтелью список тех, кто был тогда связан с партизанами, и потому оказался единственным руководителем оппозиции, которому позволили остаться в городке.

— Остался еще один,— сказал с ноткой сарказма в голосе сеньор Кармайкл.— Зубной врач.

Алькальд сделал вид, что не слышал.

— По-твоему, ради такого человека, способного продать своих ни за грош, стоит торчать сутками под открытым небом?

Сеньор Кармайкл опустил голову и стал разглядывать ногти на руках. Алькальд присел на письменный стол.

— И потом,— вкрадчиво добавил он,— подумай о своих детях.

Сеньор Кармайкл не знал, что его жена и два старших сына накануне вечером побывали у алькальда и тот обещал им, что не пройдет и суток, как сеньор Кармайкл будет на свободе.

— Не беспокойтесь о них,— ответил сеньор Кармайкл.— Они сумеют постоять за себя.

Он поднял голову, только когда услышал, что алькальд снова прохаживается по комнате. Тогда сеньор Кармайкл вздохнул и сказал:

— Можно попробовать еще одно средство, лейтенант.— Он почти ласково посмотрел на алькальда и закончил:— Застрелите меня.

Ответа он не получил. Чуть позже алькальд уже крепко спал, а сеньор Кармайкл снова сидел на скамеечке.

Секретарь, находившийся в это время у себя в суде, недалеко от полицейского участка, был счастлив. Он продремал первую половину дня в углу, а потом совершенно неожиданно для себя увидел роскошные груди Ребеки Асис. Будто сверкнула молния среди ясного дня — внезапно отворилась дверь ванной, и прекрасная женщина, на которой не было ничего, кроме намотанного на голову полотенца, издала сдавленный крик и бросилась закрывать окно.

С пол часа секретарь горько переживал в полутемном суде, что прекрасное виденье так быстро скрылось, а около двенадцати повесил на дверь замок и отправился поддержать свою память пиццей.

Когда он проходил мимо почты, телеграфист помахал рукой, чтобы привлечь его внимание.

— Будет новый священник,— сказал он секретарю,— вдова Асис написала письмо апостолическому префекту.

Секретарь не поддержал его.

— Высшая добродетель мужчины,— сказал он,— это умение хранить тайну.

На углу площади он увидел сеньора Бенхамин, раздумывавшего, как ему перепрыгнуть через лужу, отделяющую его от лавки.

— Если бы вы только знали, сеньор Бенхамин...— начал секретарь.

— А что такое?

Ничего,— сказал секретарь.— Я унесу эту тайну с собой в могилу.

Сеньор Бенхамин пожал плечами, а потом, увидев, с какой юношеской легкостью секретарь прыгает через лужи, последовал его примеру.

Пока его не было, кто-то принес в комнату за лавкой три судка, тарелки, ложку с вилкой и ножом и сложенную скатерть. Сеньор Бенхамин стал готовиться к обеду — расстелил скатерть на столе и все на нее поставил. Движения его были педантично точными. Сперва он съел суп, где плавали большие желтые круги жира и лежала кость с мясом, потом, из другой тарелки, стал есть жаркое с рисом и южкой. Зной усиливался, но сеньор Бенхамин не обращал на это никакого внимания. Пообедав, он составил тарелки одна в другую, собрал судки и выпил стакан воды. Он уже собирался повесить гамак, когда услышал, как в лавку кто-то вошел.

Глухой голос спросил:

— Сеньор Бенхамин дома?

Вытянув шею, он увидел одетую в черное бледную женщину с обмотанной полотенцем головой. Это была мать Пепе Амадора.

— Нет, — сказал сеньор Бенхамин.

— Но ведь это вы, — сказала женщина.

— Да, — отозвался он, — но меня все равно что нет, потому что я знаю, зачем вы ко мне пришли.

Женщина остановилась в нерешительности в узком и невысоком дверном проеме, в то время как сеньор Бенхамин вешал гамак. При каждом выдохе легкие ее издавали тихий свист.

— Не стойте в дверях, — сурово сказал сеньор Бенхамин. — Или уходите, или войдите внутрь.

Женщина села у стола и беззвучно зарыдала.

— Простите, — сказал он ей. — Вы должны понять, что, оставаясь на виду у всех, вы меня компрометируете.

Мать Пепе Амадора сняла полотенце с головы и вытерла им глаза. По привычке сеньор Бенхамин, повесив гамак, проверил, крепки ли шнуры. После этого он переключил внимание на женщину.

— Значит, — заговорил он, — вы хотите, чтобы я написал вам прошение.

Женщина кивнула.

— Так я и думал, — продолжал сеньор Бенхамин. — Вы еще верите в прошения. А ведь в нынешние времена, — он понизил голос, — суд вершат не бумагами, а пулями.

— Так говорят все, — сказала она, — но ведь сын в тюрьме у меня одной.

Говоря это, она развязала носовой платок, который до этого прижимала к груди, и достав оттуда несколько засаленных бумажек — восемь песо, — протянула сеньору Бенхамину.

— Это все, что у меня есть, — сказала она.

Сеньор Бенхамин посмотрел на бумажки, потом, пожав плечами, взял их у нее и положил на стол.

— Я точно знаю, пользы это не принесет, — сказал он. — Напишу только для того, чтобы доказать богу свое упорство.

Женщина благодарно кивнула ему и зарыдала снова.

— Обязательно, — посоветовал ей сеньор Бенхамин, — постарайтесь добиться у алькальда свидания с сыном и уговорите мальчика сказать все, что он знает. Без этого можете сразу выбросить в мусорный ящик любое прошение.

Она утерлась полотенцем, опять покрыла им голову и не оглядываясь вышла из лавки.

Послеобеденный отдых сеньора Бенхамина продлился до четырех часов дня. Когда он вышел умыться в платно, погода была ясная, а в воздухе было полно летающих муравьев. Переодевшись и причесав те немногие волосы, что у него оставались, он пошел на почту купить лист гербовой бумаги.

Он уже возвращался с ним в лавку, чтобы написать прошение, когда понял: в городке что-то произошло. Вдалеке раздались крики. Он спросил у пробежав-

ших мимо мальчишек, что случилось, и они ответили на бегу. Тогда он вернулся на почту и отдал гербовую бумагу назад.

— Уже не понадобится,— сказал он.— Пепе Амадора только что убили.

Все еще полусонный, сжимая в одной руке ремень, а другой застегивая гимнастерку, алькальд в два прыжка спустился с лестницы. Необычный для этого часа цвет неба заставил его усомниться во времени. Он не знал, что происходит, но сразу понял: надо поспешить в участок.

Окна на его пути закрывались. По середине улицы, раскинув руки, навстречу ему бежала женщина. В прозрачном воздухе носились летающие муравьи. Еще не зная, что случилось, алькальд вытащил из кобуры револьвер и побежал.

В дверь участка ломались несколько женщин, мужчины их оттаскивали. Раздавая удары направо и налево, алькальд пробился к двери, прижался к ней спиной и направил на толпу револьвер:

— Ни с места, стрелять буду!

Полицейский, державший дверь изнутри, открыл ее и, появившись с автоматом низготовку, свистнул в свисток. Еще двое полицейских выскочили на балкон и сделали несколько выстрелов в воздух; люди бросились бежать кто куда. Тут, воя как собака, женщина показалась на углу, и алькальд узнал в ней мать Пепе Амадора. Одним прыжком он скрылся внутри участка и уже с лестницы приказал полицейскому:

— Займись ею!

Внутри царила мертвая тишина. Только отстранив полицейских, загораживавших вход в камеру, алькальд узнал, что произошло. Пепе Амадор лежал, скорчившись, на полу, и руки его были зажаты между колен. Лицо его было белым, но следов крови видно не было.

Убедившись в том, что никаких ран обнаружить нельзя, алькальд перевернул труп на спину, заправил ему рубашку в штаны, застегнул их и затянул пряжку ремня.

Когда он выпрямился, его обычная уверенность вернулась к нему, но на лице, обращенном к полицейским, можно было прочесть первые признаки усталости.

— Кто?

— Все,— сказал белокурый великан.— Он хотел бежать.

Алькальд посмотрел на него задумчиво, и какое-то время казалось, что ему нечего сказать.

— Этими небылицами никого уже не обманешь,— сказал он и, протянув руку, шагнул к белокурому великану:— Отдай револьвер.

Полицейский снял с себя ремень и отдал алькальду. Заменяв в револьвере две стреляные гильзы новыми патронами, алькальд положил использованные себе в карман и отдал револьвер другому полицейскому. Белокурый великан, который вблизи казался очень инфантильным, дал отвести себя в камеру.

Там он разделся догола и передал одежду алькальду. Делалось все без спешки, будто они участвовали в какой-то церемонии, где каждый знал, что ему надлежит делать. Наконец алькальд собственноручно запер камеру, в которой лежал убитый, и вышел на балкон. На скамеечке по-прежнему сидел сеньор Кармайкл.

Когда сеньора Кармайкла привели в канцелярию, он оставил без внимания приглашение алькальда сесть. Насквозь мокрый, он застыл перед письменным столом и лишь едва заметно кивнул, когда алькальд спросил, все ли он понял.

— Ладно,— сказал алькальд.— У меня еще не было времени решить, что именно я сделаю и стоит ли мне делать что-нибудь вообще. Но что бы я ни решил, помни одно: ты увяз.

Сеньор Кармайкл стоял все с таким же отсутствующим видом. Одежда у него прилипла к телу, лицо начало распухать, как у утопленника, еще не всплыв-

шего на третьи сутки пребывания в воде. Алькальд тщетно ждал хоть каких-нибудь проявлений жизни.

— Так что, Кармайкл, пойми одно: мы теперь с тобой компаньоны.

Он сказал это серьезно, даже драматично, но сеньор Кармайкл, видно, ничего не слышал. Бронированная дверь закрылась уже за алькальдом, а он еще стоял перед столом такой же опухший и печальный.

На улице перед входом в участок двое полицейских держали за руки мать Пепе Амадора. Со стороны могло показаться, что все трое отдыхают. Женщина дышала спокойно, глаза у нее были сухие, но когда в дверях появился алькальд, она издала хриплый вопль и начала вырываться с такой силой, что ее не удалось удержать. Тогда один из полицейских ударил ее ключом, и она, потеряв сознание, рухнула на землю.

Алькальд даже не взглянул на нее. Взяв с собой полицейского, он направился на угол, к толпе, наблюдавшей эту сцену, и, не обращая ни к кому в отдельности, сказал:

— Говорю всем: если не хотите, чтобы было хуже, унесите ее домой.

Вместе с полицейским он миновал людей и пошел в суд. Там никого не было. Тогда он пошел к судье Аркадио домой и, без стука распахнув дверь, позвал:

— Судья!

Вымотанная беременностью жена судьи ответила из темноты:

— Он ушел.

Алькальд словно прирос к порогу.

— Куда?

— Куда ему идти?— ответила женщина.— Наверно, к этой поганой шлюхе.

Алькальд мигнул полицейскому, чтобы тот шел за ним. Не глядя на женщину, они прошли внутрь, перевернули спальню вверх дном и, убедившись окончательно, что никаких мужских вещей в ней нет, вернулись в гостиную.

— Когда он ушел?— спросил алькальд.

— Позавчера вечером,— ответила женщина.

Алькальд замолчал, раздумывая.

— Сукин сын!— крикнул он вдруг.— Спрячься хоть на пятьдесят метров под землей, снова влезь в утробу своей шлюхи матери — мы и тогда тебя доставим живого или мертвого! У правительства рука длинная!

Женщина вздохнула:

— Услышь вас бог, лейтенант.

Уже смеркалось. Полицейские держали на прицеле людей, все еще стоявших на углах улицы по обе стороны участка, но мать Пепе Амадора унесли, и казалось, что городок успокоился.

Алькальд прошел в камеру, где лежал убитый, приказал принести брезент и надел на труп шапочку и очки. Полицейский помог ему завернуть тело Пепе Амадора в брезент, и алькальд стал разыскивать по всем помещениям куски веревок и проволоки. Набрав побольше и связав их один с другим, он обмотал ими тело от шеи до щиколоток.

Когда он закончил, с него ручьями лил пот, но было видно, что он испытывает облегчение — как будто труп был ношей, которую он с себя сбросил.

Только после этого он включил в камере свет.

— Достань лопату, заступ и фонарь,— приказал он полицейскому,— потом позови Гонсалеса. Пойдете с ним на задний двор и выроете глубокую яму подальше, на задах — там суше.

Слова звучали так, словно он придумывал каждое по мере того, как его выговаривал.

— И зарубите себе на носу,— добавил он,— этот парень не умирал.

Прошло два часа, а могилу все еще не выкопали. Алькальд с балкона увидел, что на улице только полицейский, прохаживающийся от угла к углу. Включив свет на лестнице, он рухнул в шезлонг в самом темном углу большой ком-

наты и перестал слышать доносящиеся издалека редкие пронзительные крики вышн.

Его вернул к действительности голос падре Анхеля. Сперва алькальд услышал, как на улице падре говорит с полицейским, потом с кем-то еще, и наконец узнал этот второй голос. Он оставался в шезлонге, пока не услышал этих голосов снова, теперь уже в участке, и не услышал шагов на лестнице. Тогда он в темноте протянул левую руку за карабином.

Увидев алькальда на верхней площадке лестницы, падре Анхель остановился. Двумя ступенями ниже стоял в коротком белом накрахмаленном халате, с чемоданчиком в руке доктор Хиральдо. Доктор улыбался, и его острые зубы обнажились.

— Я разочарован, лейтенант,— весело сказал он.— Ждал целый день, что меня позовут делать вскрытие.

Падре Анхель посмотрел на него своими кроткими прозрачными глазами, а потом перевел взгляд на алькальда. Алькальд тоже заулыбался.

— Вскрывать некого,— сказал он,— поэтому вскрытия не будет.

— Мы хотим видеть Пепе Амадора,— сказал священник.

Алькальд опустил карабин дулом вниз и ответил, по-прежнему обращаясь к доктору Хиральдо:

— Я тоже хочу, но что поделаешь?— И уже без улыбки добавил:-- Пепе Амадор убежал.

Падре Анхель поднялся еще на ступеньку. Алькальд направил на него дуло карабина:

— Остановитесь, падре.

Врач тоже поднялся ступенькой выше.

— Слушайте, лейтенант,— все еще улыбаясь, сказал он,— у нас в городке ничего невозможно сохранить в тайне. С четырех часов дня всем известно, что с этим мальчиком поступили так же, как дон Сабас поступал с проданными ослами.

— Пепе Амадор убежал,— повторил алькальд.

Он следил за доктором, и потому когда падре Анхель, воздев к небу руки, переступил две ступеньки разом, это едва не застало его врасплох.

Он щелкнул затвором и застыл на месте, широко расставив ноги.

— Стой! — крикнул он.

Врач схватил священника за рукав. Падре Анхеля затрясло в кашле.

— Давайте играть в открытую, лейтенант,— сказал врач. Впервые за долгое время голос его звучал жестко.— Вскрытие должно быть сделано. Сейчас мы раскроем тайну сердечных приступов, которые происходят у заключенных в этой тюрьме.

— Доктор,— сказал алькальд,— если вы сделаете хоть шаг, я вас пристрелю.— Он чуть скосил глаза в сторону священника.— И вас тоже, падре.

Все трое замерли.

— А к тому же,— продолжал алькальд, обращаясь к падре Анхелю,— вам, падре, надо радоваться: листки наклеивал этот парень.

— Заклинаю вас богом...— начал падре Анхель и снова судорожно закашлялся.

Алькальд подождал, пока приступ кашля у падре стихнет.

— Ну вот что,— заговорил он опять,— считаю до трех. При счете «три» начинаю с закрытыми глазами стрелять в дверь. Раз и навсегда,— теперь он обращался только к врачу,— с шуточками покончено, доктор,— мы с вами воюем.

Врач потянул падре Анхеля за рукав и, пятясь, начал спускаться с лестницы. Вдруг он захохотал.

— Так-то лучше, генерал! Вот теперь мы друг друга поняли.

— Раз,— начал считать алькальд.

Продолжения счета они не слышали. Когда падре Анхель прощался с доктором на углу возле полицейского участка, ему пришлось отвернуться, что-

бы скрыть слезы. По-прежнему улыбаясь, доктор Хиральдо хлопнул его по плечу.

— Не удивляйтесь, падре,— сказал он,— такова жизнь.

У своего дома он остановился под фонарем и посмотрел на часы. Было без четверти восемь.

Падре Анхель совсем не мог есть. После сигнала трубы, возвестившей наступление комендантского часа, он сел написать письмо. Полночь миновала, а он все еще сидел, склонившись над столом, в то время как мелкий дождь, словно резинка, стирал вокруг него мир. Писал он самозабвенно, выводя ровные и немного вычурные буквы с таким рвением, что вспоминал о необходимости обмакнуть перо, уже нацарапав на бумаге одно, а то и два невидимых слова.

На следующее утро после мессы он отнес письмо на почту, хотя знал, что до пятницы его все равно не отправят. Было сыро и туманно, и только к полудню воздух стал прозрачным. Залетевшая невзначай в патио птица около получаса ковыляла, подпрыгивая, среди тубероз. Она пела одну и ту же ноту, но каждый раз брала ее октавой выше, пока нота не начала звучать так высоко, что ее можно было слышать только в воображении.

Во время вечерней прогулки падре Анхель не мог отделаться от впечатления, что весь день начиная с полудня его неотступно преследует какой-то осенний аромат. В доме Тринидад, пока он говорил с выздоравливающей об обычных в октябре болезнях, ему почудился запах, исходивший однажды вечером от Ребеки Асис.

Возвращаясь с прогулки, он зашел в дом сеньора Кармайкла. Жена и старшая дочь были безутешны, и при каждом упоминании о заключенном голос у них дрожал. Однако младшие дети радовались, что не испытывают на себе отцовской строгости, и сейчас пытались напоить из стакана чету кроликов, присланную им вдовой Монтгьель. Вдруг падре прервал разговор и, начертив в воздухе рукою какой-то знак, сказал:

— А, знаю, это аконит.

Но это не был аконит.

О листьях никто и не вспоминал. Рядом с последними событиями они выглядели самое большее курьезом из прошлого. Падре Анхель подтвердил это во время прогулки и потом, после молитвы, когда беседовал у себя в комнате с дамами из общества католичек.

Оставшись один, падре Анхель ощутил голод. Он поджарил зеленые бананы, нарезанные ломтиками, сварил кофе с молоком и заел все куском сыра. Приятная тяжесть в желудке помогла забыть о неотступно преследующем запахе. Раздаваясь, чтобы лечь, и уже потом, под сеткой, охотясь за пережившими опрыскивание москитами, он несколько раз рыгнул. Падре чувствовал изжогу, но в душе у него царил мир.

Спал он как убитый. В безмолвии комендантского часа он услышал взволнованный шепот, первые аккорды струн, настроенных предрассветным холодком, и наконец песню из тех, что пелись прежде. Без десяти пять он проснулся и снова понял, что живет. Величественно приподнявшись, он сел, потер глаза и подумал: «Пятница, двадцать первое октября». А потом, вспомнив, вслух сказал:

— Святой Иларнон.

Не умывшись и не помолившись, оделся. Застегнув одну за другой все пуговицы сутаны, обулся в потрескавшиеся ботинки на каждый день, у которых уже отрывались подошвы. Распахнув дверь настежь и увидев за ней свои туберозы, вспомнил строку песни.

— «И там я останусь до смерти», — вздохнул он.

Мина сильным толчком приоткрыла дверь церкви в тот самый миг, когда он в первый раз ударил в колокол. Подойдя к купели, она увидела, что мышеловки по-прежнему открыты и сыр в них цел. Падре отворил входную дверь до конца.

— Пусто,— сказала Мина, встряхнув картонную коробку.— Сегодня ни одной не поймалось.

Но падре Анхель ее не слушал. Словно оповещая, что и в этом году, несмотря на все, в назначенный срок придет декабрь, рождался ослепительно ясный день. Никогда еще падре не ощущал так остро молчания Пастора.

— Ночью была серенада,— сказал он.

— Да, винтовочная,— отозвалась Мина.— Только недавно перестали стрелять.

Падре впервые на нее посмотрел. На ней, такой же бледной, как ее слепая бабушка, тоже была голубая лента светской конгрегации, но в отличие от Тринидад, которая была немного мужеподобной, в ней начинала расцветать женщина.

— Где?

— Везде,— ответила Мина.— Будто с ума посходили, разыскивая листовки. Говорят, в парикмахерской случайно подняли пол и нашли там оружие. Тюрьма переполнена, но говорят, что мужчины бегут в лес и кругом партизаны.

Падре Анхель вздохнул.

— А я ничего не слышал,— сказал он и двинулся в глубину церкви.

Она молча последовала за ним к алтарю.

— И это еще не все,— продолжала Мина.— Хотя был комендантский час и стреляли, ночью снова...

Падре Анхель остановился и, прищурившись, посмотрел на нее прозрачными голубыми глазами. Мина, с пустой коробкой под мышкой, остановилась тоже и, нервно улыбнувшись, договорила.

Перевел с испанского РОСТИСЛАВ РЫБКИН.



О ЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

В. РОСЛЯКОВ

★

ВТОРАЯ ВСТРЕЧА

1. ГОЛУБАЯ ЖИЗНЬ

Тогда, два с половиной года назад, в размокших городских штиблетах я шлепал под летним проливным дождем по этой степи, по первой бетонной дороге, утопавшей в глубоких лужах и в грязи, занесенной сюда колесами самосвалов. Сто квадратных километров стройки было изрыто котлованами, рвами и канавами, залито дождем, лившим третьи сутки подряд. Я поднял руку, и ревущий «МАЗ» остановился, впустил меня в кабину. Потом снова пробирался я уже без дороги, промокший и счастливый оттого, что чувствовал себя хоть и не строителем, но все же причастным и к этим котлованам, и к этой взрытой земле, к разноплеменным молодым людям, приехавшим сюда строить завод-гигант. С высокого глинистого гребня смотрел в огромную ямину, забитую железной арматурой, и представлял себе, как из этой ямины поднимется двухсотпятдесятиметровая труба будущей ТЭЦ.

В прорабской, сколоченной из сосновых досок, оклеенных плакатами и броскими лозунгами, толпились ребята и девчонки в стеганках и плащах, в косынках, кепочках, в резиновых сапогах. Их загнал сюда ливень. Они не хотели уходить с объекта, ждали конца разыгравшейся стихии или хотя бы небольшой паузы в проливном дожде, чтобы снова выйти к работе. Тесно сидели за тесовым столом, стояли, прислонясь к стенкам, дымили сигаретами. Юный камазовец с пушком на щеках и вздернутой губе пел под гитару сложенную им самим песенку:

Я знаю городов больших науку,
Премудрости житья с людьми постиг...

Слушали ребята и девчонки, слушал и я, растрогавшись тем, что этот опущенный юнец — не иначе как прикатил сюда после школы-десятилетки — уже все постиг — и премудрости, и городов науку, и разное другое.

Но здесь все проще: подними лишь руку —
Любой тебя подбросит грузовик.

А вот это верно, думал я, это лично мной уже проверено не один раз.

Ведь как ни говорите, все же можно
Быть одиноким и в толпе людей,
А здесь мне нравится, здесь все же так несложно
И потерять и новых находить друзей.

Черноглазая татарочка в красной косынке ближе придвинулась к русскому пареньку, к его стеганке, прикрыла своей ладонью его руку.

Забыв родительскую ласковую ругань
И с чьих-то глаз не смытую вину,
Мы выпьем с новым спутником и другом
За ждущую в Челябинске жену.

Ну, ну, прямо-таки сразу и выпьем. Не рановато ли, мой юный современник? А печочка его, небрежно брошенная, лежала на тесовом столе, а сам он ловко поддразнивал струны своей мужественной рукой и пел чуть смущенным и ломким глосом, и я видел, как всем в эти минуты было хорошо.

Ребята из степей, лесов и с моря,
Из городов, селений — малых и больших.
Мы строим на КамАЗе собственный свой город,
Не то, что где-то строят для других.

Дождь нахлестывал и барабанил в крышу прорабской, но не бездонно же было небо, есть же конец этим тучам и этому ливню. Кто-то открыл дверь, выглянул наружу и оттуда весело крикнул в прорабскую:

— Кончай, Саня, дождь перестал!

...А теперь вот весна. Ручьи текут, последний снег дотаивает в укромных местах, лужи талой воды, смешанной с глиной, мутно стынут в низинах, на улицах и дорогах, перед выросшими в степи корпусами КамАЗа. Опять распутица, опять режут по дорогам грузовики и самосвалы, вспарывают густые лужи автобусы и легковые автомобили, забрызганные по бортам и стеклам жидкой грязью. Но я теперь не шлепаю по этим лужам, не тяну руку перед грузовиками, а выхожу на проспект имени Мусы Джалиля, сажусь в трамвай и еду куда мне надо.

Трамвай. С утра до вечера его красно-желтые челноки снуют по проспекту через развороченную степь к самым дальним корпусам. Трамвай в Набережных Челнах! Это непривычно и прекрасно!

Тогда поселок КамГЭСа состоял, собственно, из одной улицы и нескольких каменных домов, поднимавшихся в разных местах как бы без всякого плана, поселок с магазинами, кинотеатром «Чулпан» и общежитием для приезжих. Теперь я выхожу из гостиницы «Кама», сворачиваю за угол и по той же улице Гидростроителей, где кинотеатр «Чулпан» уже затерялся, почти незаметен, спешу на проспект Джалиля и тут, перед новым Дворцом культуры, на остановке «Трансагентство», сажусь в этот прекрасный красно-желтый трамвай. Отзвонив молодым звоночком, он трогается, уже порядком набитый такими же, как и сам, молодыми камазовцами. Сквозь шум голосов, приглушенный говорок, сквозь гуденье колес и скрежет железа об железо на поворотах я слушаю один только голос, девушку в цветной косынке за голубым стеклом, вагоновожатую. Она живет там одна, отгороженная от всех этим голубым стеклом. Выдвинув ящичек, девушка достает микрофон и — ей это очень нравится — делает свои объявления. Остановка «Дирекция КамАЗа», следующая — «Студенческая». Да, студенческая. Потому что напротив — здание филиала Казанского политехнического института. «Товарищи пассажиры, не забудьте о проездных билетах, на дороге работает контроль! «Универсам», следующая — «Центральная»! «Проспект Мира», следующая «Продмаг»! «Санэпидемстанция», следующая «Орловка»!»

Я слушаю это как музыку и смотрю на цветную косынку, и все, что вижу впереди — дома, столбы электропередачи, рельсы, эту Орловку, доживающую свои последние денечки, степь за нею, горы чернозема, пятна залежалого снега, — все окрашено в голубой цвет. И небо изумительно голубое. И вот она, двухсотпятидесятиметровая труба ТЭЦ, тоже голубая, и дым курится над нею голубой.

Можно позавидовать этой девчонке. Голубая жизнь. В боковых же стеклах — серая размокшая земля, серый дотаивающий снег, серое в тучах небо, распутица ранней весны. А голубая девчонка продолжает свое: «„Новый город“, следующая — «Промзона»! «Автозавод», следующая — «РИЗ»!» И я вижу слева от трамвайного пути действительно новый город, белый — белый даже за этими мутными боковыми стеклами, и недостроенные дома, тоже белые, будто куски рафинада... «Эти дома без крыш словно куда-то шли, шли, плыли, как будто были не дома, а корабли»... Но трамвай, отвернув от него, от белого города, уже несет нас дальше по степи, останавливается на минутку перед новыми корпусами, и

кто-то сходит на этих остановках и по грязи, по распутице пробирается в резиновых сапогах к тем корпусам.

Тогда, два с половиной года назад, их еще не было. В моем блокноте инженер Широких Евгений Кузьмич рисовал квадратики; они, эти корпуса, были еще квадратиками на бумаге, котлованы копали, подколонники и колонны из железобетона ставили, и лишь кое-где уже поднимались железные каркасы. Теперь я вижу из трамвая длинные корпуса — стекло и бетон. Они еще не работают, но ко всем заводам комплекса уже подведено тепло, их сердце, ТЭЦ с гигантской трубой, уже бьется. Хотя что же я говорю?! Один из пяти заводов комплекса, ремонтно-инструментальный завод, уже с прошлой осени вошел в строй. На его фасаде можно прочесть: «РИЗ — первенец КамАЗа!»

— «РИЗ!» — объявляет голубая девушка остановку.

Нет, я не сойду здесь, не могу я сразу после этих квадратиков в блокноте, после котлованов, колонн и подколонников, после того, как он жил все только в воображении, вот так взять и войти в уже готовый, уже действующий этот завод. Как же он там выглядит, как он действует, этот первенец КамАЗа? Надо сначала привыкнуть, настроить себя, что ли. Ведь столько говорено об этом, столько ждали люди, вся страна ждала, все газеты писали, мечтали — и вот он уже готов. Нет, я не могу сейчас пойти на РИЗ, лучше поеду куда-нибудь еще, на БСИ, например, на строительство жилых домов, в Новый город, есть тут что посмотреть. А они, ребята и девчонки, одетые чисто, даже нарядно, сошли быстренько и уже идут к главному входу, пробираются по доскам, по настилам через весенние ручьи, по тропкам, по раскисшей весенней земле. Они уже не строители, а заводчане, рабочие и служащие этого первенца. Утренняя смена.

База строительной индустрии, БСИ. На неприбранных еще, неуютных подходах, среди мокрой глины, среди мутных луж и взбитой грязи стоят временные штоки с временными вывесками, например такая: «КПД-240». Это завод крупнопанельного домостроения, его мощность 240 тысяч квадратных метров крупных панелей в год. Сегодня он уже дает 60 тысяч квадратных метров. В первый приезд мой тут гнали нулевой цикл, то есть бетонировали пол. Теперь я хожу по пролетам, между рельсами, по которым вывозят плиты, перекрытия, готовые стены и полы для новых домов, смотрю, как в формы заливают бетон, как эти формы заправляют в шипящие паром камеры, как выходят оттуда новенькие, еще горячие стены, потолки и полы к домам для камазовцев. Хожу и вспоминаю, угадываю какие-то точки, какие-то места из того нулевого цикла. Вот тут, на месте этой стены, плотники-бетонщики рыли тогда траншею, ставили опалубку, тут в кирзовых сапогах и в робе шуровал тогда лопатой мой сын, десятиклассник, прикативший сюда с только что полученным аттестатом зрелости, а вот в этой колонне пристреливал металлические пластины Костылев Вячеслав Петрович, и после каждого выстрела из его монтажного пистолета шел едкий дымок.

Штабелями стоят панели, есть и такие, что выложены мелкой декоративной плиткой, с узорами, с выдумкой. В свободном пространстве рядом поставлены уже собранные туалетные комнаты, ваннные комнаты — цепляй их краном, грузи и ставь в новый дом. Хожу, смотрю, вспоминаю, и все мне вроде интересно, а из головы не выходит, стоит все время в голове этот РИЗ! Тянет меня к этому РИЗу.

Хожу по Новому городу, месяа сапогами временную грязь на его улицах, удивляюсь этим белым домам, магазинам; стою под ветром на строительной площадке будущего дома-гиганта, разговариваю с прославленной бригадой; кран опускает первую стенку, и ребята предлагают на память бросить под стенку, в сырой еще бетон, небольшую денгу, монетку какую-нибудь, и я кладу эту монетку, и стена вдавливает ее в бетон навсегда, а из головы моей не выходит первенец КамАЗа, мой РИЗ.

И вечером я думал о нем, когда шел на встречу с лучшими строителями КамАЗа, и во время встречи, когда они сидели вокруг стола, ждали вопросов, отвечали на них, понемногу разговаривались, о себе стали рассказывать — такие

современные, красивые, интересные люди, бригады комсомольско-молодежных бригад.

Немного, конечно, узнаешь о человеке, проведя с ним два или три часа — и не в бою, не в какой-нибудь критический момент жизни, а всего-навсего в обыкновенной беседе, и тем старательнее вглядываюсь я в каждого из них, вслушиваюсь в то, что они говорят, силюсь разгадать каждого, запомнить. Моментальные фотографии — пятиминутки — ничто в сравнении с художественным портретом мастера, но и они бывают необходимы и к ним прибегают по обстоятельствам. Прибегнул и я. Вот они, несколько таких снимков-пятиминуток.

Фомичев Вячеслав Григорьевич. Можете называть меня Славой. Ну что же, Слава, будем называть тебя Славой, хорошее имя, хорошее лицо, отчетливое, мужественное. Русский, родился и вырос в тихом латышском городке Цесис, на высоком берегу сказочной речки Гауя, и в удлинненном лице его под косой челной, в глазах загадочных и глубоких невольно улавливаешь что-то от милой мне Латвии, от ее нежной суровости. Когда-то с бывшим другом своим бродил я по гористым улочкам Цесиса, любовался и песчаными косами Гауи, и теперь мне приятно сказать: «Лабдиен, Слава! Лабдиен!»

Его бригадой гордится КамАЗ. В ней 88 человек. Строили завод двигателей — от котлована до корпуса. Сегодня ведут пешеходные туннели, как в метро, как на крупных вокзалах. С двух сторон к заводскому корпусу будет проложено по пять туннелей.

Слава Фомичев — член КПСС, его жена — партийный работник, сыну шесть лет. Молодая челнинская, вернее — камазовская семья. Положительный герой нашей литературы. Пока не описан.

Маша Попова. После школы-десятилетки приехала из Башкирии строить КамАЗ. Высокая, тонкая, красивая, по внешнему виду вполне балерина, но Маша руководит бригадой производственной технологической комплектации, труд ее тяжел, физически тяжел. Бригада разгружает щебень, кирпич, панели, оконные и дверные балки. Четыре девушки и семь парней. Слушают ли парни юную бригадиру? Да, разумеется.

Маша Попова — также героиня нашей литературы. Но автор будущего романа хотя бы в финале где-нибудь должен позаботиться о ней и подобрать Маше занятие не такое трудное, как занятие грузчика, а что-нибудь более подходящее для хрупкой девушки.

Ганеев Раис, с черными усиками на смуглом красивом лице, бригадир монтеров подкрановых путей. Не тех, говорит, монтеров, что шнуры проводят, с пробками, выключателями имеют дело, мы подкрановые пути монтируем. Родился и вырос недалеко от Набережных Челнов, в деревне Красный Бор, раньше называлась Пьяный Бор. Может быть, слышали, под Пьяным Бором погиб легендарный матрос гражданской войны, организатор и комиссар Волжской флотилии Маркин Николай Григорьевич? Как же, Раис, слышали, даже плавали по Волге на пароходе «Имени тов. Маркина». Этот балтийский матрос с детства стал любимым героем Раиса. Возможно, и усы Раиса пошли от него, от легендарного комиссара далеких лет. В прошлом году Раис женился на юной камазовке Галине и получил как свадебный подарок ключи от квартиры.

Рядом с Раисом сидит щеголеват одетый знаменитый каменщик, бригадир бригады коммунистического труда Вазых Мавликов. Я уже видел его вместе с бригадой на сцене Дворца культуры, им тогда был посвящен молодежный вечер.

Дина Легкая, из Ейска, бригадир комсомольской бригады коммунистического труда. Маляр Соцкультбытстроя. Приехала Дина четыре года назад с матерью и сыном, получила квартиру. Сыну мечтает после школы работать на автозаводе.

И еще один Раис. Раис Салахов, строитель-монтажник, бригадир комплексной бригады. Показывали нам дома, построенные бригадой Салахова, те самые белые дома в Новом городе.

Я уже знал тогда про его знаменитость, но не мог предположить, и никто из сидящих рядом со мной в тот вечер не мог предположить, что пройдет несколько месяцев — и Раис Салахов станет депутатом высшего законодательного

органа моей родины. А потом, когда узнал я эту новость, только порадовался, но не удивился, потому что каждый из бригадиров вполне мог стать депутатом...

Мы прощаемся, а я начинаю думать о завтрашнем дне, как поеду на этот РИЗ.

2. НА РИЗе

Сперва, как и все заводчане, я взял квач (палка такая с тряпкой на конце) и в железном корыте тщательно вымыл ноги — свои резиновые сапоги. Посмотрел — блестят. Почти бессознательно поправил галстук, смахнул с плеч невидимые пылинки и вошел в проходную. Предъявил девушке-вахтеру пропуск, сделал еще два-три шага, поднял голову и остановился.

Между прочим, я догадывался примерно, что так оно и будет. Когда-то один восторженный газетчик написал заметку об открытии детских яслей.

— Что же с вами будет, — сказал редактор, — когда доживете до коммунизма?

— А что со мной будет?

— Вы же израсходовали весь свой восторг на ясли и ничего не оставили коммунизму. Чем его воспевать будете?

Стоял я и чувствовал себя тем газетчиком. Все израсходовал, все слова, весь восторг при первом знакомстве с КамАЗом, когда он еще только начинался, а для РИЗа, для первенца автогиганта, для встречи с ним ничего не оставил.

Передо мной было пространство длиною с километр, пространство индустриального дворца с километровым проспектом. Слева стена в три этажа, облицованная плиткой с металлическим отливом, справа — не знаю, как сказать, — лес или огромная роща новеньких зеленых станков, а над головой — строгая путаница переплетов, балок, массивных подкрановых мостов и сквозные, в разных горизонтах и в разных наклонах полосы стекла, через которые спокойно и сильно падал весенний свет. Смотрел я на все это и не находил слов. Потом пошел медленно сквозь этот свет, сквозь негромкое, какое-то слаженное гуденье по проспекту. И путь мой казался мне необычным, значительным, словно бы и в самом деле шел я не по узорной плитке заводского проспекта, а по неведомому мне будущему. Вот уже прошел с полкилометра, то задирая голову вверх, то глядя по сторонам, и все никак не мог найти, с чем бы сравнить свое удивление. Может, в впервые увиденным морем, или с римским Колизеем, или с Лувром? Ни Лувра, правда, ни Колизея я никогда не видел. Слышал лишь от других людей. Но то было все из глубокого прошлого, передо мной же было будущее.

В этой стене слева, облицованной как бы металлической плиткой, были просторные проемы, заканчивались они воротами. В самом начале с двух сторон, сходясь и расходясь, поднимались на второй и третий этажи лестницы. Когда я поравнялся со вторым проемом, завернул в него, прошел до самых ворот. Эту толщу пересекали во всю километровую длину узкие коридоры, сперва один, за ним второй. Тут было множество дверей, склады всякие, тылы завода. Вернувшись назад, поднялся по бетонной лестнице и со второго этажа снова взглянул в этот зал, имевший — теперь назову точные цифры — 890 метров в длину и 680 в ширину, такой зал. И открылся передо мной с высоты второго этажа индустриальный интерьер, а лучше сказать — пейзаж.

Тут я должен признаться. Будучи сыном степей и лесов, я никогда не любил заводских пейзажей ни с их внешней стороны, ни с внутренней, ни захламленных всяким железом дворов, ни заполненных скрежетом и громом, а также дурным воздухом цехов. Мне приходилось бывать на заводах и у нас и на металлургических заводах Хёша в Западной Германии, но никогда, ни одного раза не потянуло меня к заводскому труду. Я не видел в том заводском мире ничего такого, что тронуло бы душу, как трогает ее, скажем, степь, где пасутся стада, или поле, где работает земледелец. И первый раз в жизни при виде этого ризовского индустриального пейзажа дрогнула сельская душа моя и потянулась к нему, к этому пейзажу. Он захватил меня своей красотой. Зелено было от моря станков, и среди свежей станочной зелени радостно для глаза выделялись оранжевые пят-

на и полосы. Металлические ящики с заготовками, со стружкой и готовыми деталями были выкрашены в оранжевый цвет, оранжевыми были подкрановые мосты и балки, оранжевые носились по пролетам электрокары, голубым отсвечивал металл перекрытий, потолочных конструкций, свежим небесным воздухом заполнено было все пространство, и красивый молодой народ стоял у станков.

За всем этим чувствовалась не только мысль конструкторов, ученых, инженеров, но и талантливого художника-колориста. Что бы там с тобой ни было за воротами завода, вступив сюда, к своему рабочему месту, у тебя непременно сложится хорошее настроение. Все здесь устроено по законам красоты, как и положено будущему.

Настоявшись и наглядевшись, я прошел с лестничной площадки в коридор второго этажа. За стенами из толстого стекла работали управленцы, конструкторы, технологи, партийный, профсоюзный и комсомольские комитеты, на третьем этаже столовые на две тысячи пятисот мест, бытовое помещение с бесконечными рядами шкафчиков для одежды, с умывальниками в виде эмалированных круглых чаш, какие бывают, возможно, только в богатых дворцах. Нажал педальку, умылся, переделся и чистый возвращаясь домой после смены, опять же в хорошем настроении.

За тем же толстым стеклом вижу крупного молодого мужчину, склонившегося над столом, над деловыми бумагами. Это директор. Тоже весь на виду.

— Как-то все у вас странно, все на глазах, — сказал я Юрию Гавриловичу, войдя в его прозрачный кабинет.

Улыбнулся, сам не совсем еще привык. Примерно таким и представлялся мне этот молодой директор молодого завода.

— С одной стороны, — ответил он, — очень удобно, видишь, кто чем занят, но иногда люди отвлекаются, особенно девушки, нет-нет да и оторвется от дела, смотрит, кто по коридору идет. Тут у нас работает группа немецких специалистов, не смогли под стеклом, попросили шторами отгородить их от посторонних глаз. Отгородили.

Юрий Гаврилович Кузнецов приехал сюда с Магнитки. Там прошел свою школу от мастера до главного инженера.

— Почему именно вас, Юрий Гаврилович, пригласили директором на этот РИЗ?

Немного смутился директор, задумался.

— Возможно, потому, что все-таки Магнитка. Опыт Магнитки — большое дело, в особенности по организации производства. Перенесли сюда почти в готовом виде. Вот смотрите. — Юрий Гаврилович на чистом листе бумаги начертил схему организации производства. — Вот что там и вот что здесь, полная аналогия. Только РИЗ — это сверхсовременный завод во всех отношениях.

Юрий Гаврилович провел меня по заводу, по его двадцати четырем цехам, которые отделялись друг от друга только дорожками — по ним то и дело носились эти оранжевые электрокары. Только в трех местах директор остановился, обратил внимание на то, чем, видно было, гордился сам. Установки для кондиционирования воздуха; термоконстантный цех, единственный замкнутый во всем заводском пространстве цех, где стояли станки особо точной обработки деталей, в этом цехе поддерживались постоянная температура и влажность; а также цех, где работали гигантские станки. Это, сказал директор, как бы наша тяжелая индустрия, мне, машиностроителю, ближе всего остального.

В Америке нынче вышла книга о нашем КамАЗе, в «Литературной газете» приводились слова из нее: «КамАЗ, — пишут американцы, — начинает оказывать заметное влияние на экономическую жизнь Соединенных Штатов». Вот так обстоят дела сегодня.

Беглый осмотр завода только разжег во мне любопытство, желание поехать сюда, походить по его цехам не день и не два. Когда мы вернулись в дирекцию, Юрий Гаврилович познакомил меня с заместителем главного инженера Геннадием Валентиновичем Воробьевым и Колей Чернышевым — заместителем секретаря комитета комсомола. Колю попросил быть моим гидом, чтобы тот взял меня под

свою опеку при ознакомлении с заводом. Оба они, и Воробьев и Коля, были замечательными людьми сами по себе. Геннадий Валентинович так же молод, как и директор, так же, как и он, спокоен, несуетлив и даже тих. С полчаса я просидел у него на летучке. Хотя из технического разговора почти ничего не понял, мне открылось другое, может быть более важное: там, где отличная организация дела (с Магнитки же!), там горлу делать нечего. Между прочим, Коля Чернышев тоже показался мне тихим человеком. Но о нем после.

Родители Геннадия Валентиновича когда-то давно уехали из Белоруссии строить Хибинны, там и родился Геннадий. После школы окончил Минский политехнический институт, работал на витебском заводе, потом послан был в Кострому главным инженером завода автоматических линий, два года назад прибыл на КамАЗ заместителем главного инженера РИЗа. Участвовал в разработке технологической части РИЗа в Москве. Ездил в Швейцарию принимать закупленное там оборудование. С октября прошлого года на месте. Привез из Швейцарии не только станки, но кое-что перенял там, что понравилось. Например, вот этот «Альбом оргнастки из унифицированных элементов». Создали его вместе с управлением главного конструктора по заметкам, вывезенным Геннадием Валентиновичем из Швейцарии. Из определенного набора элементов можно собрать любую оснастку, необходимую на рабочем месте: ящики, тумбочки, шкафы для инструмента и прочий необходимый инвентарь. Чисто, надежно, культурно. Но ведь это же только альбом, только бумага? Нет, пожалуйста. Геннадий Валентинович показал на шкаф, стоявший рядом с его рабочим столом. Замечательный, культурный шкаф. Начиная с этой комнаты и кончая цехами, везде можно найти инвентарь из этих элементов. Как в детском конструкторском наборе — из одних и тех же деталей собирается и микроскоп и подъемный кран.

Вот он сидит за своим столом, Геннадий Валентинович, собранный, некрупного сложения человек, светленький такой белорус, тихий, простой. А нет же, не простой, время простых людей кончилось, а может, его и не было никогда, с виду лишь простой советский инженер с уровнем международной инженерной мысли. Когда принимал в Швейцарии станки прославленной фирмы «Рейсхауэр», предложил фирме довести станок до кондиции. Геннадия Валентиновича не удовлетворил он по точности и производительности, пришлось доводить — так сказал советский инженер Геннадий Валентинович Воробьев.

Да, время простых людей, простых биографий кончилось. Вот Коля Чернышев, совсем еще юноша, недавно из армии, заочник Ленинградского университета по факультету психологии. А за плечами уже сколько! Повезло ему родиться в Уржуме, там ведь Киров родился. Имя это осеяло его, светило ему с самого детства. Окончив школу, пошел работать воспитателем в санаторий. Потом поступил в Кировский политехнический, прошло несколько месяцев — нет, не то, не его стихия. Вернулся на прежнее место, что-то смутно угадывалось в этой работе воспитателя. Еще смутно. Уехал в Ленинград. Большой город, легче определить себя, найти свое место. Работал на стройке, приглядывался. Потом армия. Еще в школе получил специальность тракториста-механизатора. В армии стал водителем тягачей. Отслужил, стал сварщиком, вернулся на стройку. Наконец снова работа воспитателя в исправительной колонии для малолетних. Каждый подросток — это целый мир, который волновал его; стал изучать характеры, наблюдать. Обрадовался своему открытию, своему призванию. Поступил на факультет психологии. Учеба и работа сошлись в одной точке. Приехал на КамАЗ, специальностей много, с ними не пропадешь. Выбрали в комитет комсомола. Заканчивает четвертый курс, без пяти минут психолог. И опять работа и занятие психологией сошлись в одной точке. Можно сказать, человек сформировался.

— Интересно работать в комсомоле, — говорит Коля. — Молодые, судьбу свою делают. Личности. Интересно.

Вообще я заметил, что в этом молодом городе, на молодом КамАЗе многие ищут себя и, дай им, как говорится, бог счастья, — находят. Тот же Коля или станочники, с которыми пришлось разговаривать, вагоновожатая трамвая Катя Пескова и этот Гена, красивый парнишка из ресторана «Кама». Я любовался им:

стройный, чернявый, с ухоженной шевелюрой, галстук-бабочка, костюмчик и белая сорочка отменно сидят на нем. Движения его легки, работает красиво, с улыбкой и явным удовольствием.

— Гена,— говорю,— как-то странно мне смотреть на тебя. Кругом, так сказать, романтика, великая стройка и так далее, а ты в ресторане, кушанья подаешь, а?

Гена стройненько стоял передо мной и, ничуть не смущаясь, говорил вполне серьезно и достойно. Да, сказал, я вас, говорит, понимаю. Работал и я плотником-бетонщиком, когда приехал сюда. Но что-то во мне, говорит, такое копошилось, сам плохо понимал, что-то жило во мне другое. Вы знаете, когда еще маленький был, в шестом классе, очень любил дома обслуживать своих за столом, любил взять вот так тарелку и на трех пальцах пронести ее по комнате к столу. Вот так. И Гена показал, как пронести. А тут, говорит, объявили набор на курсы официантов. Вот, сказал я. И пошел.

— А скажите,— спросил Гена,— только вполне откровенно. Вам приятно, как я обслуживаю вас?

— Да,— сказал я,— конечно, приятно, я просто люблю твою работой и тобой.

— Ну вот,— сказал он, хорошо улыбнувшись, и быстро и красиво ушел с порожним подносом.

А у меня даже в горле защемило. Человек нашел себя. Может быть, это самое большое счастье в жизни.

Отвлёкся я немного от РИЗа. Да и смена заканчивалась, и вместе с этой сменой я вышел к трамваю.

3. МОЛЧА ПО РИЗУ

Назавтра, явившись с той же первой сменой, я сказал Коле Чернышеву: хочу один пройтись по заводу, молча походить. Спустился вниз и стал ходить. Тут кругом стенды, надписи, лозунги, «молнии» и так далее. Много наглядной агитации. И все интересно, через всю эту писанину тоже видна жизнь.

Медленно продвигаюсь по проходам, по дорожкам между цехами, останавливаюсь, читаю, курю сигарету. Стал переписывать со стендов кое-что. Ни с кем не разговариваю, а вроде разговариваю, слышу голоса. Вот наткнулся на оранжевые буквы: «Жизнь энергоцеха», «Задача на сегодня: монтаж и пуск ротоклонов. Монтаж электрооборудования окрасочной камеры ЦНО».

Одно дело, конечно, точить какую-то свою детальку и не знать, кому она нужна, для чего — еще с войны я невзлюбил эту неизвестность, куда идем, зачем идем, одному начальству ведомо, не любил я этого, да и не я один, — а тут точишь малость какую и знаешь: сегодня эти ротоклоны надо пустить, для них точишь, и на душе у тебя полный порядок. Назавтра опять другая задача, и ты опять знаешь, для чего ты стоишь у станка. Это показалось мне вполне гуманно, вполне отвечает нынешнему сознательному рабочему, хозяину, в общем, всему здесь существу. Поэтому я с удовольствием переписываю эти «задачи на сегодня». Хорошо.

Потом идут показатели, обязательства и разное другое, тоже все нужное. И — оранжево — «Лучшие люди». Не какие-то там застывшие портреты-мумии, а в хороших живых позах хорошие современные ребята и девчонки. Очень похожи на лучших людей. А сами вот они стоят, каждый за своим зеленым станком, молча, сосредоточенно, никого не замечая, ушли в свое дело. Сейчас говорят за них эти красочные стенды, витрины, «молнии», белые ватманские листы пресс-центра.

«Группа релейной защиты ЭСУ досрочно смонтировала
и пустила установку по эксплуатации защитных средств.
МОЛОДЦЫ!»

На одном стенде чеканка по меди — портрет Ленина и эмблема РИЗа из букв в виде инструментов. Сделано самими ребятами. Еще дальше — фото-витрина.

«У нас в гостях народный артист СССР — Борис Андреев».

Хорошо знакомый всей стране артист в тесном окружении ризовцев. Борис Андреев — бывший электрик, здесь, на РИЗе, он зачислен членом одной из бригад электроцеха.

А тут вот надо остановиться. Стенная газета «Трудовой РИЗ», выпущенная к празднику, к 8 Марта. Еще вчера в обеденный перерыв я видел, как толпились тут девчонки, заметил место, где они толпились. Оказывается, вот что: «Говорят мужчины. Предпраздничное интервью. В шутку и всерьез».

Что же такое они, эти мужчины, говорят? Интересно. Пока они работают у своих станков, не будем отрывать их от дела, а молча побеседуем с ними на одну из самых животрепещущих тем молодежи, в том числе и ризовской.

1. Какую роль играет женщина в жизни мужчин?

Думаю, что самую первостепенную (Б. Бочкарев).

Вообще-то все женщины неплохие артистки, но хотелось бы, чтобы в нашей жизни они играли только положительные роли (В. Потапов).

Предупреждать ошибки и направлять мужчину на путь истинный (Ю. Морозов).

2. Что вы больше всего цените в женщине?

Ум и доброту (Б. Бочкарев).

Женственность — в самом широком понятии этого качества, а вообще-то им цены нет (Б. Потапов).

Скромность и бережное отношение к мужчине (Н. Семенов).

3. Какими качествами должна обладать хорошая жена?

Главное — чтобы при ней дом наш был всегда открыт друзьям и гостям. Ум, красота, доброта.

4. Как вы думаете, что больше всего нравится женщине в мужчине?

До сих пор не пойму.

Мне кажется, способность мужчины оставаться в этом качестве в любой ситуации.

5. Как вы относитесь к капризам женской моды?

Главное — чтобы не получилось «куклы из магазина».

6. Что вы собираетесь делать 8 Марта?

Совершить уйму хороших поступков во имя женщины, а возможно, и подвигов.

А вот что говорят сами женщины.

Цель женщины — воспитать хороших детей, которыми можно гордиться. Быть умной женой.

Простота, скромность, обаяние.

Следовать моде — смешно, не следовать — глупо.

Стоя перед своими зелеными станками, они и не подозревали, сколько я узнал о них хорошего из молчаливого разговора с газетой.

Мимо этого сообщения пресс-центра надо пройти. Слишком не в тон всему сообщается с большого листа бумаги — «ГЛАВНЫЙ ПРОГУЛЬЩИК ЗАВОДА»...

Нет, оставим это до другого раза, может быть более подходящего. Главное тут все же другое.

Цех нестандартного оборудования, ЦНО.

«ДЕНЬ ПЕРВОЙ ДЕТАЛИ

март

20

1973—1974

20 марта 1973 года изготовлена первая деталь — крюк буксирного прибора для автомобиля «КамАЗ».

Первую в ЦНО деталь изготовили — токарь Ватагин В.
и электросварщик Анисимов Г.»

Это читать интересней. «Поздравляем с первым, отмеченным напряженным трудом и радостью побед годом жизни цеха. Желаем закрепления хороших традиций, новых успехов».

Незаметно идет время. Вот уже половина двенадцатого. По всем дорожкам потекли ризовцы цепочками, группками, одиночками — к проемам в стене, к лестницам, на третий этаж, в столовые. Минута-другая проходит, и во всех двадцати четырех цехах не остается ни одного человека. Но где-то посередине заполненного станками пространства торгует буфет: молоко, кефир, сосиски, хлеб. Кормятся в буфете главным образом строители, которых со временем тут не будет. За стойками пьют свое молоко или кефир, крошки бросают на пол голубям. Директор дал указание изготовить ловчие сети и выловить птиц, на новенькие станки гадят, жалко. А голубей тоже ведь жалко. Указание дал, а они все еще клюют носами по металлическим плиткам, крошки подбирают. И смотрится это красиво: люди, металл, голуби.

После тех обеденных минут по-за станками до половины первого слышатся знакомые удары с наשלепом — «козла» забивают; в проеме, в уголке, толпа девчонок — апельсины привезли; рядом водительница подкрашивает свой электрокар свежей оранжевой краской. На главном проспекте, совершенно пустом в этот обеденный час, двое совсем юных ризовцев в спецовочках подфутболивают замасленный шматок пакли. Мимо проходит на каблучках — тук, тук — девушка с гордо поднятой головой, скривила красный рот в улыбке (ха, детский сад!) и дальше пошла — тук, тук, тук.

Это же РИЗ, первенец великого гиганта, — и все в нем, каждая безделица кажется мне значительной.

4. ОДА СТАНКУ

После долгих хождений под ажурной крышей завода, по бесконечным улочкам и переулочкам, заселенным самыми разными, не похожими друг на друга станками, я наметил себе занятие к следующему дню. На одном из перекрестков заводских дорог было написано, что первое место за минувший месяц (февраль) занял по заводу цех приспособлений, ЦПР. Не отвлекаясь ни на что другое, с самого утра я и направился к этому ЦПР, к палатке из полиэтиленовой пленки. В таких палатках временно размещались цеховые управления. Вообще здесь, кроме прочно стоявших станков, почти все носило неокончательный, временный характер. Временно стоял этот буфет с голубями, временно теснились конструкторы и технологи в ожидании новых помещений, временно в обеденный перерыв люди во множестве своем забивали «козла» или играли в настольный теннис, пока в культурных центрах завода шла отделка помещений, временно пустовали на втором и третьем этажах прекрасные фойе для отдыха, временно в палатке ЦПР представлял всю власть в одном лице бывший мастер, потом и. о. заместителя начальника цеха молодой интеллигентный мужчина Юрий Георгиевич Свиридов. Начальник цеха находился в это время в Соединенных Штатах, принимал оборудование, заместитель только что переведен в отдел главного технолога, а Юрий Георгиевич был пока один в трех лицах, потому что избран еще и председателем цехкома. За соседними столиками сидели, вставали, уходили и приходили еще два-три человека. Появлялись, разговаривали с Юрием Георгиевичем и по одному исчезали разные другие люди. Свиридов держался спокойно, рассудительно, но все же в глазах его была заметна известная очумленность, что ли, потому что с утра до вечера его дергали за троих. Он смотрел на меня и со смирением (стал привыкать к своей роли один в трех лицах), и с чуть уловимым удивлением (вам-то чего от меня надобно?), и все-таки с готовностью (ну, слушаю, говорите). Я сказал, что хотел бы просто посидеть, посмотреть, послушать. Сидите, слушайте — и тут же отвернулся к другому посетителю.

— Я даю вызов на соревнование, — говорит посетитель, бригадир одной бригады.

- Кому? — спрашивает Юрий Георгиевич.
- Носкову.
- Ну?
- А он не подписывает.
- Почему?
- Я, говорит, сам тебя вызываю.
- Ну и что?
- Так мы же решили, что я вызываю Носкова.
- Ну и вызывай.
- Дак он не подписывает вызов, говорит — я сам тебя вызываю.
- Во дети. Какая разница, кто кого вызывает? Иди и подписывай, пусть он тебя вызывает, лишь бы ты в победители вышел. Иди подписывай.
- Ушел. Другой вразвалку подходит к столу, лицо широкое, улыбается.
- Чего улыбаешься?
- Юрий Георгиевич, вы тут без меня провели ее четвертым разрядом.
- Провели, ты же в отпуске был, без тебя провели.
- Мнется, переступает с ноги на ногу, улыбается. Дело, говорит, не в том, что без меня. А в чем? Неудобно перед парнями, Юрий Георгиевич. Ну кто она? Девчушка. Приехала — и сразу четвертый разряд. Перед мужиками неудобно.
- А ты видел ее диплом? Техникум окончила, в дипломе стоит четвертый разряд.
- Видел, понятно. Я тринадцать лет, Юрий Георгиевич, с металлом, а она — раз, приехала и привет — сразу четвертый разряд.
- Что ж ты хочешь? Техникум выпустил с четвертым, а ты хочешь снизить, так?
- Я понимаю, но неудобно перед мужиками. Они вкальвают, а она сразу раз-два — и четвертый. Не сможет.
- Проверь, дай испытательный срок, разрешаю. Попробуй, посмотри, как она.
- У меня, Юрий Георгиевич, ставка сто двадцать, а она по четвертому больше меня будет получать, а я тринадцать лет с металлом.
- Ладно, попробуй. Такая судьба мастера — получать меньше рабочего. Попробуй, она общественница, активная, ведь человека вырастишь нужного.
- Веду ее по цеху, по заводу. Страшно? — спрашиваю. Страшновато, говорит. Ну ведь совсем девчушка, где ей.
- Привыкнет. Ладно, не жмись, выращивай человека.
- Вертит головой, улыбается, уходит.
- Сережа, ну что там случилось? Просто не поверил, не мог поверить. Комсомолец, передовик, помогать должен, а ты... не понимаю, рассказывай.
- Это уже новый человек стоит перед Юрием Георгиевичем, Сережа, паренек с челкой, виновато голову опустил.
- Ну, что?
- Да ничего особенного, Юрий Георгиевич.
- Значит, врут дружинники? Оштрафовали за что? Штраф взяли же?
- Взяли.
- За что? Выпимши был, так?
- Совсем нет.
- Ну, говори тогда все как было.
- Да ничего не было, Юрий Георгиевич. — Несмело, вполголоса рассказывает Сережа, комсомолец, передовик. — Пошли мы с дружкой во Дворец, артисты приехали, ну, билетов нет, отошли, покурили, потом это... зашел я за угол, темно, ничего не видать, а они дежурили, что ли, сразу цап меня под руки, повели, ну, штраф.
- Ну как же ты, прямо на улице... ведь выпимши был?
- Не был, Юрий Георгиевич. Я же за угол, и темнота была, ничего не видать, по-малому же я, подумаешь — дело, а они вроде специально подкарауливали, цап — и повели.

Ладно, поговорили.

Потом подсел еще человек, развернули с Юрием Георгиевичем бумаги, таблицы, стали разбираться с новыми условиями социалистического соревнования, балльная система, кто наберет больше баллов, тот победитель. Например, за дисциплинарное нарушение снимается два балла, за возврат продукции — опять два балла, за окончательный брак — пять баллов. Все учтено.

Да, конечно, когда ходишь и читаешь эти стенгазеты, витрины, показатели, приветствия и так далее, получаешь представление о жизни, но, так сказать, в очищенном виде, в плюсовом выражении, а когда сидишь в этой палатке и слушаешь все эти разговоры, тут течение неприбранной жизни, ее простые хлопотливые будни, ее плюсы и минусы, ее радости и огорчения, а в целом все же течет она к хорошему, к одному большому плюсу.

Пришла и моя очередь сесть к столу Юрия Георгиевича, посетителей на какое-то время не оказалось, и я присел к нему. Вопросов особых у меня еще не было, и разговор пошел нестройный — о том, о сем. Передовой, мол, цех и так далее. Да, передовой. Юрий Георгиевич покосился на переходящее знамя, стоявшее у полиэтиленовой стенки. Но при этом он не выразил никакой радости, а даже незаметно вздохнул, и лицо его выражало не радость, а скорее угнетавшую его озабоченность какую-то.

— Передовой, — повторил он, несколько не изменив выражения лица. — Вот знамя за февраль получили и опять идем хорошо, ритмично, с программой справляемся... Подвел тут нас один, сильно подкосил.

Пока не стал я спрашивать, кто и чем именно подвел и подкосил, вижу — не до этого ему, Юрию Георгиевичу, хотел только посоветоваться, к какому станку подойти, с каким станочником познакомиться, чтобы случайный человек не попался бы, а достойный, хороший работник.

— Подходите к любому, — ответил он, — не ошибетесь. Можете к девушкам, к ребятам — нормально работают, можете к Адлеру, в термоконстантный, шлифовальщик высокой квалификации, из Кирова специально выписали, пригласили.

Пошел я в термоконстантный, к Адлеру. Между прочим, еще в первые дни, когда я просто, без всякого плана ходил по заводу и радовался этому индустриальному пейзажу, зеленому станочному парку, мне все хотелось подойти к отдельному станку, к отдельному человеку, я не знал, но догадывался, что в этом маленьком мире — станок и человек — должно содержаться что-то мало мне знакомое, какая-то тайная жизнь наподобие той, лучше знакомой мне, которая существует или возникает между чистым листом бумаги и человеком, сидящим перед этим листом со своими думами. И подошли мы тогда с директором завода, с Юрием Гавриловичем, к 1К-62 и к работавшему на нем человеку — Михаилу Иванкевичу. Он закончил обработку детали и только тогда повернулся к нам и немного посторонился, чтобы мы лучше видели станок. Так посторонился, так давал разглядывать его, словно бы себя показывал, вторую половину самого себя, без которой он сам — не он, не весь целиком. Потому и вид у него был одновременно и довольный и немного смущенный. Первую стружку, говорит, на нем снимали, я снимал. Первая стружка на РИЗе. И собрали его самым первым из всех станков, вот эти ребята собирали. Иванкевич показал на пластинку, впаянную в чело станка. На этой пластинке было выгравировано:

«Первый станок КВЦ-1 8 января 1973 г. смонтировали

1. Акиншин А. С. — слесарь
2. Морозов А. А. — эл. сварщик
3. Дедков В. М. — слесарь
4. Фалалеев А. С. — слесарь
5. Киреев А. И. — слесарь»

Я переписал фамилии. Все эти ребята, и первая стружка, и первый год работы на легендарном КамАЗе уже вошли в биографию токарного станка 1К-62 и в биографию Михаила Иванкевича. А станок был последней моделью «Красного пролетария», хорошо мне знакомого московского завода.

— Как он? — спросил я.

— Во станок!

Чьи-то незнакомые руки добыли руду, потом выплавляли из нее металл, потом отлили формы, где-то в Москве, в районе Донских улиц, на «Красном пролетарии», выточили детали, отшлифовали, собрали в узлы, родили этот станок. А Михаил Иванкевич, покинув родной городок Илан в Красноярском крае, рассчитавшись с родным Иланским депо, уехал на КамАЗ, крыл крыши, ямы копал, а когда пришел из Москвы 1К-62, они сошлись в этом сияющем зале РИЗа, и судьбы их соединились, у них началась общая биография. Живет Михаил в трехкомнатной квартире, и уж, наверное, о станке его знают и жена и дети.

Рядом с Иванкевичем работал Николай Ягуткин, который изготовил первую деталь на РИЗе — кронштейн задней рессоры для автомобиля «КамАЗ». И мы оставили один как бы отдельный мир 1К-62 — Иванкевич и прошли к другому. Николай вытачивал шестерню к автозаводскому конвейеру. Почти неслышно, по-шмелиному жужжал станок, в сторонке стояла пожилая женщина, влюбленно смотрела за работой.

— Мама приехала, познакомьтесь.

Анна Михайловна, бухгалтер, приехала с Урала навестить сына на знаменитый КамАЗ, к станку пришла, смотрит, любитесь.

Когда я шел в термоконстантный, к Адлеру, вспомнил про Иванкевича, про Ягуткина, как мать стояла в сторонке, и опять подумалось об этом вот, о человеке и станке, за которым стоит человек весь трудовой день, много трудовых дней, всю жизнь.

Еще не закончился обеденный перерыв, и в термоконстантном тоже забивали «козла». Где Адлер? Вон в углу. За выступом входных дверей, в углублении стоял художник, лысеющий молодой мужчина, перед навесным шкафчиком причесывал редяющие белокурые волосы, прилипшие к голове. Потом аккуратно утопил расческу в кармашек, повернулся к инструментальному шкафу, открыл один ящичек, другой. Они легко и мягко выкатывались на подшипниках. Стал инструмент перебирать. Видно, без нужды пока перебирал. Возьмет, в руках повертит, назад положит, на свое особое место. Привыкал к чужому, заграничному. На столике лист бумаги лежал, углы начерчены, ось координат, цифры понаписаны.

Я стоял за спиной. Здравствуйте! Здравствуйте. Повернулся. Мне нужен Адлер. Это я.

Весь его станок светился зеленой покраской, колесиками своими, рычажками. Черные гармошки кожухов предохраняют от пыли салазки и направляющую по вертикали. Станина чистенькая, блестит, главный стол. Потом еще два стола под гармошками. На главном лежит толстая плита с десятком отверстий. Плита ни для чего не предназначена, пока Сергей осваивает станок, шлифует эти отверстия в ней. Точность до двенадцати тысячных миллиметра.

Над плитой коротким хоботом нависает мотор с шлифовальным камнем, наконечником. Сергей подключает энергию, справа на пульте нажимает красные и синие кнопки, мотор с большой скоростью начинает вращать наконечник, абразив, вращается и сам мотор, подаваясь вниз, вверх и по кругу. Вращение у него сложное, называется планетарным. Как переместить плиту и поставить необходимое отверстие под абразив? Нужны расчеты. Сергей показывает на бумажке. Можно вычислить с помощью оси координат, можно рассчитать по углам. Дело не простое, но Сергей выполняет это легко, привычно.

Показывая работу, он то и дело пальцем то там, то здесь снимает невидимую пыль со станка. Может, и не снимает, потому что никакой пыли тут нет, а просто ему хочется прикоснуться к станку рукой.

Иностранный этот «хаузер» легко подчиняется каждому движению руки, и его теперешний хозяин, Сергей Адлер, отвечает на послушность станка признательностью. Между ними складываются свои отношения, тайные, интимные, на долгие годы. Я только догадываюсь об этом, но кажется мне, что так оно и есть.

Сергей приехал из Перми. Отец его, инженер-механик, умер давно, вырастила Сережу мать. После восьмилетки пошел работать. Окончил техникум и снова на завод. Этим летом с мамой приехали на КамАЗ. Сергею тридцать пять лет. Был ли женат? Да, было такое дело. Взял девочку, в парфюмерном магазине работала, оказалась со слишком высокими запросами, выше, говорит Сергей, моих возможностей. Через год разошлись. А потом как-то вот так шло...

Мне представилась в эту минуту грустной какой-то его расчесочка, как стоял перед шкафчиком, волосы редкие причесывал, прилипшие к голове, не топорщились, не волновались, смиренно ложились под расческой, оттопорщились, отволновались, а семьи нет.

Есть люди, сами бросаются в глаза, лезут своими статьями и статьями, а этого, Сережу, редкого мастера, тихого, неброского человека, надо открывать. И я чувствую: есть что в нем открывать.

Сергея Адлера я знаю совсем мало. Биография же станка его и вовсе мне неизвестна, но в складывающихся отношениях между моим соотечественником Сергеем и этой иностранной машиной, в их общей теперь судьбе видится мне что-то интересное и показательное для наблюдений современного художника.

Рядом со станком «хаузер» стояли еще два станка, меньшей мощности и другой системы, основанной на оптическом принципе. И с ними познакомил меня Сергей. А дальше еще были станки, а за перегородкой термokonстантного цеха еще целый парк, целая роща других станков — американские «джидинг льюис», английские «черчилль», японские «мицубиси», немецкие «вернер», итальянские, бельгийские, шведские, чехословацкие, венгерские, а больше всего нашего «Красного пролетария». И за ними стояли советские ребята, мужчины, женщины, девушки, мои современники, образованные, хорошо знающие свое дело рабочие. Признаться, я растерялся перед обилием этой сложной техники. Станки окружали меня со всех сторон. Там крашеный хобот выставился вперед, там изогнул металлическую шею и загадочно смотрел на меня красными и синими очами, но люди, стоявшие перед ними, хорошо понимали их, легким движением руки могли заставить их или замолчать, или прийти в движение и делать то, что нужно человеку. Я вспомнил, как на строительстве Днепрогэса смотрел на первые экскаваторы знаменитый писатель Алексей Толстой и не знал, с чем сравнить ковш экскаватора, и сравнил его с комодом. В его опыте не было тогда ничего подходящего, кроме комода.

Я хотел теперь написать оду станку, но тут же понял, что затея моя мне не под силу. Чтобы прирученные человеком лошади из простого средства передвижения, из тягла превратились в гоголевскую птицу-тройку, понадобилась не одна тысяча лет.

В постоянном труде люди очеловечивают все, что их окружает, и тогда море начинает смеяться, а сердце наше сжимается от грусти, когда мы читаем, что «отговорила роща золотая», и сад у нас после дождя «капнет и вслушается: все он ли один на свете?», и травы шепчут, и ветер поет, и «постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом», и «звезда с звездой говорит». Сегодня не прекращается, а, напротив, с еще большей, чем прежде, силой идет очеловечивание свалившегося на нас огромного мира новых вещей. «Мимо санатория реют мотороллеры», и «автопортрет мой — аэропорт», и «как воздушные шары, над ним висят антимирры». А станки — от «Красного пролетария» до «черчилля» — пока еще молчат.

«Что ты ржешь, мой конь ретивый, что ты шею опустил?» Плохо ли, хорошо ли, но я могу художественно, с чувством описать корову, лошадь или «покатились глаза собачьи золотыми звездами в снег», а вот станок смотрит на меня загадочно какими-то красными и синими пятаками, а я еще не знаю, как подступиться к нему, как описать его, чтобы он и пел, и разговаривал, думал или сердился, одним словом, жил. Пока он молчит в ожидании своего гения, который сумеет извлечь из него не промышленную пользу, а неизмеримо большее — скрытую в нем поэзию.

5. ПЕТЯ СЕХИН

На другой день, после Адлера, после этих станков, я снова заглянул в папку из пленки, к Юрию Георгиевичу, и теперь уже спросил, кто же тот человек, который так подкосил цех.

— Есть тут у нас один, Сехин. Петя Сехин.

И мне сразу вспомнился этот пресс-центр, лист ватмана, мимо которого я прошел, не захотел остановиться. Там было написано крупными буквами: «Главный прогульщик РИЗа — Петр Сехин». И помельче: «Пьянствовал 3 дня».

— И что же теперь?

— Гнать таких надо, вот что, — сказал Юрий Георгиевич, взглянул коротко на Красное знамя и снова рассердился. — У него же вся трудовая книжка исписана, больше десятка мест сменил. Летун.

— Гнать будете «по собственному желанию»?

— Какой там черт! Воспитывать будем. Выращивать.

Почему-то меня нестерпимо потянуло к этому Пете. Тут, на РИЗе, было так хорошо, чисто, увлекательно, и героев труда была тьма, а меня почему-то потянуло к главному прогульщику — три дня пьянствовал — к Пете Сехину, в Новый город, где сидел он теперь на бюллетене.

Петя Сехин. Жена его Надя, фрезеровщица, живет в Калининграде. С трехлетним Сашенькой они живут в заводском общежитии, ждут, когда папа получит квартиру на КамАЗе и перевезет к себе.

Родился Петя «под немцем», в оккупации, в сорок втором, отец погиб в сорок третьем, до войны председательствовал в колхозе на Брянщине. Отца Петя не помнит. Отчим увез его с матерью в новую область, Калининградскую, в Гусевский район, в колхоз имени героя войны Гусева, деревня Красногорское. Сводного братишку Васю, восьмиклассника, убило грозой в пятьдесят третьем. Родилось от отчима еще три девочки. Когда они подросли, Петя сказал, чтобы ни одна не выходила без него замуж, он сам будет смотреть женихов. Пошутил так. Сестренки всерьез приняли, ведь он у них был старший. Первого жениха Петя одобрил, теперь уж у старшей дети. Когда играли ее свадьбу, Петя пригласил своего дружка-приятеля, баяниста. Играл, играл баянист и влюбился во вторую сестру, Катю. Вышла и Катя замуж, и у нее дети. Третья, младшенькая, уехала в город Ростов-на-Дону. Завез ее туда паренек один, Женей зовут. Служил он в армии, а Рая после десятилетки по комсомольской путевке была направлена в эту часть телефонисткой. И познакомилась там с Женей. В Ростове работы по специальности пока не нашлось для Раи, написала брату, может, на КамАЗ к нему податься? Приезжай, ответил Петя, тут для всех дело найдется. Однако первым явился Женя, жених. Показаться, говорит, приехал, без твоего, говорит, утверждения Рая не согласна. Пожил жених у Пети две недели, понравилось, возвращаться не хотелось. Как можно поглядеть на КамАЗ и назад возвращаться? Это невозможно. Устроился на прессово-рамный, сам он электрик, по электронно-вычислительным машинам специалист. Пока завод не запущен, отправили Женю вроде на стажировку по месту жительства. Стажируется на Ростсельмаше, а трудовая книжка здесь, на КамАЗе. Пустят завод, и Женя вернется, конечно, вместе с Раей, теперь женой уже. Между прочим, оценивали его как жениха всей командой. Нормальный парень. У Пети если хорошо, значит, — нормально. Директор РИЗа Кузнецов Ю. Г. у Пети — нормально; начальник цеха Александров В. Я. в Америке сейчас, станки принимает, — тоже нормально; РИЗ — нормально; КамАЗ — тоже нормально. Все в норме. Вот только сам Петя вышел из нормы.

Петя — это вот что. Маленького роста, крепенький такой корешок, смешливое симпатичное личико, челочка и совершенно круглые пыльно-голубые глаза, как летнее небо. В тот день я не застал его дома, бюллетень закрывать уехал. В следующий раз поднялся на этаж лифтом, спросил: дома. Дом этот, как и другие, пока отвел: лед общежитие. В трехкомнатной квартире проживали

десять ребят с РИЗа. Кто-то провел меня в одну из комнат — вот он! Сидел Петя с дружкой одним.

— Мне Сехина, — сказал я.

— Ну, — сказал он, не разжимая губ, но поднялся, встал. Смотрит своими круглыми пыльно-голубыми глазами, молчит, но видно: что-то такое в нем бьется. Тут уборщица вошла убирать, попросила перейти на кухню. И опять дружок Петин не отстает от него. Стул подают, сами садятся. Потом опять в комнату вернулись и как-то незаметно разговорились. А когда уж разговорились, Петя первый раз засмеялся какой-то шутке. И сказал. Прихожу, говорит, вчера, а ребята: писатель, говорят, к тебе приходил. Ну, думаю, влип. И решил: если, думаю, придет, наберу в рот воды, рыбой стану — и все. Ни слова не скажу. А ему, Витьке, говорю. Ты, Вить, не отходи от меня, скажи там ему что спросит, — а я рыбой буду. И опять засмеялся. Очень симпатично он смеется, немножко стесняется вроде, и смешок короткий такой получается. Улыбка вообще не сходит с его лица, глаза тоже улыбаются, совершенно круглые. Первые минуты насупленным был, но это трудно ему давалось, насупленность, природа боролась с ним в эти минуты. И, конечно, поборол. Разговорился, про рыбу забыл, улыбаться стал, смешок этот симпатичный появился. Стал Петя самим собой. Про себя начал рассказывать. Главного пункта мы пока не касались, но он помнил о нем все время, помнил и я. Я, говорит, с девятого класса прилип к станку. У дружка был брат — токарь, и мы в шестом классе поспорили, кто раньше токарем станет, очень хотелось. Ну, друг после семилетки бросил школу, на шофера выучился и сейчас шоферит, а меня после девятого на практику послали, к станку поставили. Так понравилось, что перестал ходить в школу, совсем на завод ушел. Отчиму не сказал, боялся обидеть его, мы дружно с ним жили, и обижать его не хотелось. Десятилетку все же закончил, вечернюю. Заочно техникум окончил, учился неважно, от станка не хотелось отходить, с техникумом надо же дальше двигать, а мне не хотелось дальше. Правда, мастером ставили, не получилось, не смог, не по душе это мне. Нравится просто за станком стоять — и все.

До шестьдесят шестого все в Гусеве работал, а техникум окончил калининградский, в Калининград перешел, ребята переманили. Вот первое увольнение.

Раз перечислять стал увольнения, значит, думаю, помнит про тот пункт, ведь больше десяти увольнений в книжке записано.

Дальше такое пошло дело. Проработал на «Газприборавтомате» четыре года, тут женился. До рождения сына по разным общежитиям жили, Надя в одном, я в другом. Потом жене дали комнату в общежитии, меня не прописывают. Стал квартиру просить, пообещали. Время идет, а все обещают, и живем мы как-то не по-людски — я в одном месте, Надя в другом. Потерял терпение, ушел с этого завода. Вот уже второе увольнение. Уехал в Липеау, там дали квартиру, а жена с тещей уперлись, не хотят в Липеау, вплоть до развода. Все же семью хотелось сохранить, оставил квартиру, вернулся в Калининград. Жил незаконно, без прописки. В общежитие не берут, потому что в паспорте — женат. На одном заводе поработал, как отдел кадров засечет (без прописки, без прописки? — нет, не имеем права) — подаю на другой завод, а там обратно та же история. И пошли мои увольнения. Намотался по этим заводам, никакого выхода. Потом ребята подсказали город на Украине, Павлоград, написал туда, вызывают, через год твердо дают квартиру. Уехал. Через три месяца — хлоп, телеграмма, мать при смерти, то есть теща. Вылетаю самолетом — все живы, здоровы. Как, говорю? А так, нечего бегать, без семьи жить, живи с семьей. И опять пошла старая карусель. Годы идут, а жизни нет. Живу тайно в комнате жены, как проверка — так скандал. Общежитие-то женское. Ну, договорились мы с Надей. Поезжай, Петя, на КамАЗ, там все новое, люди едут, может, там подвезет тебе, устроится все хорошо. В семьдесят третьем поехал. На РИЗ взяли, все же тринадцать лет за станком, шестой разряд. Приняли сперва по пятому. Через два месяца посмотрели, восстановили шестой разряд. К маю надеялся получить квартиру, обещали, а тут вот что получилось. Уж ухватил за хвост эту жар-птицу, все, думал, конец

собачьей жизни, а теперь еще вы напишете, Надя узнает. Не пишете, она ведь сразу на развод пойдет, это уж точно говорю. И так уж все поломалось. Из списка на квартиру выбросили, отпуск с лета на декабрь передвинули. Да я и без отпуска могу, совсем он не нужен мне, а вот из списка выбросили — это опять все сначала.

— Что же делать, Петя? — Это я спрашиваю.

— А что, работать, смывать буду, смою за год, я ведь мученый и закаленный. Смою. А тут еще этот остался за начальника, Юрий Георгиевич, не ладим с ним, много берет на себя, ну, придирается. Сажу на столе, с мастером разговариваю, подходит, что, говорит, расселся, с мастером же разговариваешь. Ну и что? Как что? С мастером разговариваешь. А то руку поранил, резьбу на червяке нарезал, шестерню менял для нарезки, ключ сорвался, руку поранило. Ты что, говорит? Не имел, говорит, права, пораниться, у тебя шестой разряд. И вообще. Этот, конечно, и отпуск перенесет — да он и не нужен мне, без отпуска буду работать — и выкинет из списка.

Петя не знал, что Юрий Георгиевич и отпуск не перенес, и из списка не выкинул. Пускай, говорит, не знает пока, немного помучается, осознает как следует, а квартиру он получит, только пусть работой покажет, что осознал. Выращивать будем.

— А что у тебя за бюллетень, Петя? После этого, что ли?

— Нет, у меня порок сердца, после ангины получился. Приехал сюда, сразу на учет взяли.

Да, ангина. И эта его не обошла. А возможно, не только от ангины. Нет, говорит, от ангины, врачи сказали.

— А как же это дело? Вредно же.

— Тут так получилось. Написала жена, что отпуск берет и к праздникам, к Восьмому марта, хочет приехать, поглядеть. Что, пишет, взять с собой, какая, мол, у вас погода? Я посчитал, ответ мой не успеет прийти, не ответил — пускай едет, а что надеть по погоде, на месте разберемся. Ну, жду. В цехе сказал, жену, мол, жду, Восьмое, а ее нет, ну, отметили праздник. На другой день не выхожу на работу, жду, может, думаю, задержалась на день. На третий жду. Тут вызывают. Почему не на работе? Жена, говорю, приехала. Нету, говорят, жены. Нет, говорю, есть. Поехали, проверили — нету. Ну и началось.

— Зачем же ты неправду говорил, Петя?

— Честно? Заврался, занесло меня. Сперва вырвалось, сказал, а потом понесло, заврался, а признаться вроде стыдно. Вторым письмом сообщает, не пустили, мол, в отпуск, а ты, пишет, не ответил на письмо, может, уже другую нашел себе на своем КамАЗе. Они ж, бабы, не понимают, сколько мы намучились с ней, как же я другую искать буду, не понимает. Да вот письма.

Петя показал письма Надины. Ладно, говорит, смою.

Тема вроде исчерпалась, и я стал поглядывать по сторонам. На шкафу книги навалены, на столе, на тумбочках. Книгочел, говорю? Кто это читает у вас?

— У нас все читают. Тут один нашелся, никогда книжки в руки не брал. Заставили. Купил ему толстую книгу, читай, говорю. Читает. Он ее под подушкой держит. — Петя кинулся к койке, полез под подушку. — Вот она, так, на тринадцатой страничке заложено. За неделю, значит, тринадцать страниц.

Опять этот симпатичный смешок, засмеялся, назад положил книгу. Только, говорит, книг настоящих маловато, доставать трудно. Вот купил прошлый день, не то, прочитал за день, нет, не то. Я взглянул на книгу — действительно не то.

Поговорили о книгах. Вызвался Петя проводить меня. А то, говорит, вы по нашей грязи не пройдете, тут знать надо, где полегче пройти. Буфет показал на первом этаже, богатый буфет, прямо московский, красный уголок показал в соседнем подъезде, тоже понравилось мне. А грязь, говорит, у нас временная, скоро ничего этого не будет. Между прочим, говорил Петя по дороге, наш город — единственный в мире, где не будет ни одного светофора. Подземные переходы. Только так. И вроде позабыл про свои несчастья. О станке стал рассказывать. Станочек у меня — дай бог, «Красный пролетарий», 1К-62. Сперва один

работал, без сменщика. Оставался на вторую смену, надо срочное что — остаюсь. Хороших станочников вообще-то маловато пока, а станочки классные, жалко. Тут дали мне одного, старше меня, а вот не то что-то. Прихожу — кулачки побиты. Чем побиты? Стружкой. Значит, резец близко подводил, сразу понял — неопытный мужик. Жалко стало, кулачки побиты уже.

Так он говорил об этих кулачках, что и мне как-то стало жалко.

Недавно я получил два письма, от Пети и от Юрия Георгиевича. Петя пишет, что в списке его восстановили и отпуск летом дают. И жена обязательно с Сашей приедут, и квартира у меня обязательно будет, и принимать вас в другой раз буду уже в своей квартире и в своей семье. А прогул тот, пишет, смываю, и больше таких сдвигов в моей жизни не будет, даю слово. К сему — Петя Сехин. Да, Юрий Георгиевич книжки просил у меня почитать. Дал ему, конечно. Юрий Георгиевич в своем письме подтвердил все это и еще пишет, что с Петей мы, кажется, подружились.

Провожал меня Петя тогда до самого поселка Камгэстроя, до гостиницы. Ехали мы в трамвае. И в который раз я смотрел на девушку за голубым стеклом, и опять, как всегда, мне хотелось заглянуть за это стекло. Поскольку проезжал я в последний раз, то, преодолев неловкость, все же прошел к дверце, открыл ее. Спросить бы хоть фамилию. Сюда нельзя, сказала девушка в цветной косынке, не оглянувшись, потому что смотрела вперед, на свою дорогу. Я объяснился, хоть бы фамилию, говорю, записать. Покажите документы. Ах ты! — воскликнула она, мы деревню проезжали, чуть, говорит, из-за вас собаку не задавила.

— «Санэпидемстанция!» — объявляла голубая девушка в микрофон. — Следующая «Продмаг».

Катя Пескова. Работала связисткой, как только узнала о наборе на курсы вагоновожатых, сразу побежала записываться. Прошла в Куйбышеве курсы, а тут провели камазовский трамвай, как раз поспела на первый. Очень люблю, говорит, свою работу, все время в дороге, людей возишь.

— А как получается?

— Пока с премии ни разу не снимали, — ответила Катя.

Каждый раз, когда я вспоминаю в Москве о КамАЗе, все видится мне там через это Катино голубое стекло, в голубом свете. Завидный город, завидный этот КамАЗ, где все, кого встречал, добиваются всего, где и Петина жизнь, уверен, сложится наконец счастливо.



ВАЛ. РУШКИС

★

ДЕТАЛЬ

Они идут по дорогам страны, разглядывая широко расставленными фарами то горы Армении, Забайкалья, Памира, то бесконечные пески Туркмении, то придорожный ольшаник прибалтийских шоссе.

На капоте автомобилей марка «КамАЗ», но экспериментальные большегрузы собраны еще не на КамАЗе — на заводе имени Лихачева в Москве, моторы для них родились в Ярославле, многие приборы, детали и узлы изготовлены очень далеко и от Ярославля и от Москвы. Своим внешним видом и скоростью машины напоминают современные междугородные автобусы. Но это именно грузовики, несущие на себе по восемь тонн груза, а с прицепами — и того больше. До шестнадцати.

Под стать автомобилю и рейсы: Москва — Сочи, Ереван — Таллин, даже Москва — Чита. Больше восьмидесяти километров в час на гладких современных асфальтах и бетонах, медленнее — по бездорожью, но всюду уверенно: в гору и под гору, сквозь раскаленные солнцем пустыни и сквозь глубокие снега.

Четвертый год исследуются эти машины, четырежды устранялись все — даже малейшие — недочеты, замеченные испытателями, четырежды улучшалась конструкция автомобиля. Последняя модель блестяще выдержала главный экзамен: на государственных испытаниях осенью прошлого года большегрузы КамАЗа отнесены к категории машин высшего качества.

Водителей порадует и кабина с удобными креслами, спальным местом, ровной, «комнатной» температурой, и легкость управления, и надежность усовершенствованной тормозной системы. Двигатель почти бесшумен, несмотря на свою мощность — двести десять лошадиных сил. А заводится он легко и быстро, даже в лютый мороз.

Шоферы хорошо знают, как мучительно бывает пустить застывший мотор: в ход идут костры, фанелы, ведра горячей воды. Приходится долго прокручивать двигатель от руки, буксировать особенно норовистый автомобиль. От всего этого было необходимо избавиться. Но именно быстрого запуска на морозе конструкторам долго не удавалось добиться. Теперь вопрос решен. Двигатель легко запускается и после ночевки машины на улице, когда температура доходит до минус тридцати градусов. Стоит нажать кнопку, и тут же заработает электрофакельный подогреватель. На то, чтобы разогреть воздух в коллекторах, требуется всего три минуты.

В более жестокие холода включается предпусковой нагреватель, который поднимает температуру охлаждающей смеси. На это уходит, естественно, больше времени.

Однако первые детали камского большегруза обработаны уже год назад, в августе 1973 года, в Набережных Челнах — на РИЗе. Здесь же в экспериментальном цехе, которым руководит Юрий Андреевич Остроушко, сейчас проводятся «тактические учения» по сборке еще одной опытной партии камазовских грузовиков. Эти машины создаются уже не в Москве, а на камских берегах.

Оборудование литейного завода еще стягивается в Набережные Челны: ка-

тится по рельсам железных дорог из Азии; идет через Ленинград и Волго-Балт; качается на океанских волнах по пути от Сан-Франциско до Одессы.

Бетонируются фундаменты под это оборудование, в корпусе цветного литья еще кое-где просматриваются между рядами колонн далекие холмы и рощи, а по междуэтажному перекрытию (до чего же крепка конструкция!), укладывая недостающие плиты и панели, ходит гусеничный кран.

И все-таки в экспериментальный цех — на сборку — поступает среди прочих и отлитая здесь же, на КамАЗе, алюминиевая деталь. Тройник пускового подогревателя — того самого, что так долго не давался конструкторам. Деталь 5320—1015186.

Вот она у меня в руках, поблескивающая, как двойная звездочка, только что снятая с автоматической линии, еще теплая, словно живая, первая из деталей, отливаемых на КамАЗе.

Маленькое чудо в бесконечном ряду творимых в Набережных Челнах.

Автоматическая линия для литья под давлением собрана в единое целое, прикрыта общим предохранительным кожухом. Машина по камазовским масштабам совсем невелика: немного выше человеческого роста, метра четыре в длину; слева пульт управления, справа массивный цилиндр печи, где плавится алюминий.

Сегодня с работой машины начинает знакомиться новая группа будущих эксплуатационников-литейщиков. Назначенный дежурным, Габдул Сагидуллин к началу утренней смены разогрел машину. Теперь к ней подходит литейщик Виктор Толчков. Поднялась тяжелая крышка раздаточной печи, дохнувшей упругим жаром. Металл, как видно, готов: чуть розоватая, поразительно прозрачная жидкость, потерявшая сходство с привычным алюминием.

Высокий, чернявый, буйноволосый наладчик Владимир Грядкин внимательно оглядывает приборы, сверяется с записями в блокноте. Группа новичков, стоя поодаль, уважительно следит за каждым его движением, и, быть может, Володя чуть-чуть «работает на публику».

В стороне, возле окна, деловито и, я бы сказал, красиво шабрит деталь слесарь высшей квалификации Алексей Кобелев. На машину он даже не смотрит: свое дело у этой машины он уже выполнил, а если вдруг возникнет в нем, Кобелеве, надобность — вот он, рядом.

Молодой, розовощекий мастер Юрий Шаталин быстрым шагом направляется в конторку:

— Борис Николаевич, прессформы нагреты. Можно пускать?

— Пускайте, — разрешает Романов.

Команда передана Грядкину. Владимир, выполняя приказ, нажал соответствующую кнопку. Но, кажется, сам собой отъехал в сторону светло-зеленый кожух, раздвинулось, разошлось стальное чрево машины, позволив наладчику подойти с длинной изогнутой трубкой, из которой на обнаженные плоскости прессформы набросилась струя сжатого воздуха.

Принимается за работу Виктор Толчков. Дело свое он знает дотошно: ему приходилось отливать и восьмицилиндровые блоки, да и не на таких совершенных машинах, на старых-то много труднее. Часа через три Толчков будет обучать «новобранцев» и словно по писаному перечислит операции запуска: «Осмотреть машину, воду открыть, воздух... — и так далее, до фразы: — Затем сделать шесть — восемь отливок вручную: повернуть ключ на пульте управления...»

«Повернуть ключ на пульте» — теперь это называется «сделать отливку вручную». Видел я и в Таллине, на заводе «Вольта», и на Кировском в Ленинграде, и даже на современномшем, казалось бы, Волжском автозаводе в Тольяти, как вручную, ковшами или этакими уполовниками, литейщики-цветники набирают и заливают в формы такой же алюминий: жаркий, нелегкий труд...

Толчков поворачивает светло-кремовый ключик вроде привычных наших домашних выключателей телевизора или радиоприемника. И заливочная дозирующая установка неспешно протягивает к раздаточной печи «руку» с черпаком,

осторожно опускает черпак в расплавленный металл, а набрав до краев, бережно поднимает, несет к машине и выливает в воронку, или на языке литейщиков в «стакан пресс-агрегата».

Словно обжегшись, машина сдвигает прессформу, тихонько вздыхает и охает. И все, готово: там, внутри, между матрицей и пуансоном, уже отлита деталь. Отлита под давлением в сто сорок атмосфер. Если бы струйка металла вдруг прорвалась при таком сжатии, она прожгла бы литейщика насквозь.

Вот почему все таинство литья совершается еще и под защитой предохранительного кожуха, автоматически наползающего при каждом включении машины.

А сейчас опять отодвигается кожух, опять, скользя по могучим стальным цилиндрам, отходит от матрицы пуансон. Стальная рука бросается внутрь, в пышущую жаром форму, зажимает готовую отливку, выхватывает ее и, откинувшись в сторону, кладет на услужливо поднимающийся столик. Столик тут же сбрасывает отливку в воду, оттуда небольшой транспортер тянет к обрубочному прессу уже охлажденную деталь. «Обрубку» произведет приставленный рабочий, и речь об этой последней операции еще впереди.

А в раскрытую пасть машины с четырех углов врывается масляная эмульсия, она шипит, брызжет, машина со всеми ее стальными шатунами становится похожей на паровоз, выпускающий пар.

Нет, на что бы она ни походила, это, конечно, отличная машина.

— Переходим на автоматику,— говорит Романов.

Толчков поворачивает другой ключик, отходит на несколько шагов и теперь наблюдает издали. А литье продолжается. Все так же степенно лазают в тигель черпак, до того степенно, что розоватый алюминий в этом черпаке даже успевает на ходу покрыться тончайшей серебристой пленкой. Кожух влево, деталь на стол. Заклубилась, зашипела эмульсия. Кожух вправо. И снова, снова...

Сирена. Сагидуллин подбегает к пульту. Он суживает глаза, словно целится в циферблаты приборов. Хотя, может быть, такое впечатление создают его узкие модные очки в золоченой оправе.

— Что случилось? Помочь?

— Отступление от заданной технологии,— спокойно читает Грядкин показания пульта.— Ничего, это детали учебные, все равно пойдут в переливку.

Технолог Нина Сухова согласно кивает: все в порядке. Вот если бы шла промышленная партия деталей...

Что-то исправлено, сирена умолкает, а я смотрю на машину с еще большим уважением: вот умница-то, не только выполняет абсолютно все операции, но еще и контролирует на ходу свою работу, голосом подзывая человека, если ей без него не справиться!

Хотя, конечно, самое удивительное здесь не машина, а люди — те самые, которые командуют ею, а если нужно, приходят на помощь.

— После обеда начнем теоретические занятия,— говорит механик Виктор Котик.— Грядкин, ты схемы дочертил?

Володя раскручивает листы ватмана. Сагидуллин помогает ему. Очень сложные схемы автоматической линии, отличный чертеж.

— Повесьте на стенку,— говорит Котик. И вдруг удивляется: — Габдул, а ты что здесь делаешь? Ты же в ночную смену дежурил?

— Машина на ходу, вдруг что-нибудь понадобится.

— А когда машина будет работать ежедневно, ты что же, в цех переселишься?

— Тогда посмотрим. А сейчас — освоение!

После обеда «ветераны», знакомые с машиной кто три месяца, а кто и «с самого начала» — с прошлой осени, начинают обучать новичков теории. Кобелев и Толчков ведут со своими группами этикие дружеские беседы, отнюдь не заботясь о строгой научности словесного оформления. Грядкин, напротив, прямо-таки читает лекцию:

— Прессформа. Давайте запишем: формирование объема под давлением осуществляется в металлических формах...

А ближе к вечеру самих преподавателей одного за другим вызывают на экзамен: без соответствующего удостоверения никого попросту не допустят до работы. Грядкин отвечает гладко, с блеском, Кобелев — попроще, по-домашнему, хотя, пожалуй, обстоятельнее.

Когда же закончится очередной экзамен, Борис Николаевич начнет телефонные «дипломатические» переговоры:

— Мы здесь экзаменуем, удостоверения нужно выдавать. Но ведь у нас самих, у всего техперсонала, удостоверения старые, не камазовские... Обязательно? Опять?.. Хорошо, будем сдавать. Когда?.. Нет уж, давайте сразу назначим день и час.

Романов кладет трубку, оборачивается ко мне:

— Вот поставим еще тридцать машин — таких и помощнее, да еще полстолько для литья под низким давлением... И всюду нужны люди, грамотные, культурные... Отбираем, пока есть возможность, готовим на других предприятиях и здесь, у себя. Набрали новую двадцатку, а первую, «старичков», вот выпускаем...

Заглядываю в экзаменационную ведомость. Отыскиваю фамилии своих знакомых. И даже эта случайная, в общем-то, ведомость с десятком граф позволяет сделать если не социологическое исследование, то хотя бы прикидку.

Средний возраст — тридцать лет, несколько выше среднего для Набережных Челнов. Естественно: здесь рабочие высшей квалификации.

Все двадцать человек приезжие, половина из европейской части страны, в том числе Сагидуллин и Сагит Белалов — ближние, из Татарии. Половина из Сибири, с Урала.

Образование: один с семилеткой, у семерых восемь классов, шестеро с аттестатом зрелости, столько же дипломированных техников. Толчков окончил десятилетку. Сагидуллин — восемь классов.

Вот они — такие счастливые! — на маленькой любительской фотографии: первые двадцать рабочих этого участка, их начальство; на переднем плане Сагидуллин, в руках у него отливка, полученная на КамАЗе.

Романов достает эту деталь из шкафа. С уважением беру ее в руки. Она совсем такая, как отлитые сегодня при мне. Только на латунной дощечке выгравировано: «Первая...»

Первая отливка первой машины.

Всего в корпусах литейного завода КамАЗа будет установлено 4403 единицы оборудования.

— Звучит? — спрашивает меня Борис Николаевич.

— Звучит.

Борис Николаевич гордится, что именно ему был доверен выбор оборудования для цветного литья. Конечно, не ему одному. Работали такие великолепные консультанты, как, например, инженеры Рудник и Коротков, окончательное решение принимали самые высокие инстанции КамАЗа.

Затем волею судеб и начальства Романову, заместителю начальника цеха литья под давлением, — пока не было ни цеха, ни его начальника, ни тем более литья — приказом вменили в обязанность возглавить подготовительную работу по контрактации и закупке оборудования для корпуса цветного литья литейного завода КамАЗа. В том числе, разумеется, и для «своего цеха».

Почему остановились именно на нем? Романов смеется:

— Наверное, потому, что неуравновешенный. Мне в одной из характеристик так и написали — неуравновешенный. Уравновешенному здесь бы не справиться.

Он, видимо, доволен этим своим недостатком, хотя не столь уж благотворно сказывалась неуравновешенность на биографии Романова.

Борис Николаевич родился в Чите, в институт поступил в Омске, окончил в Москве. Работал в Новосибирске, потом в Миценске, где достиг должности главного металлурга, но однажды разошелся во мнениях с главным инженером.

— Знаете старый анекдот: входишь в кабинет начальника со своим мнением,

а выходишь с его мнением... А я так не умею. Я ему сказал... Короче — решил уйти. Не отпускали, не отпустили — уехал. В Мелитополь.

Три месяца Романова не снимали с партучета, а когда прилетел сниматься, получил выговор с занесением в личное дело и улетел обратно в Мелитополь налаживать литье под давлением.

— Наказывают обычно тех, кто работает, неработающего наказывать не за что. Если дали выговор за отъезд, значит, отпускать не хотели, правда? Своеобразная форма благодарности за проделанную работу.

Производственные дела в Мелитополе наладил отлично, но... без выговора не обошлось и там. Легко и дату запомнить: выговор получил как раз в день рождения, стукнуло ему тридцать три года. Ушел на КамАЗ, сначала приняли в Московскую дирекцию, потом приехал в Набережные Челны. Женился, родилась дочь Наталья. Прошло время, оба выговора сняли — легко и дату запомнить, как раз в день рождения дочери. А он на КамАЗе, как и раньше, как всегда, с головой ушел в работу.

Понадобилось несколько десятилетий для того, чтобы мир, оглохший было от грохота войн, вновь расслышал труднопроизносимое для многих иноязычных людей слово «существование». Товарооборот между нашей страной и, например, США был долгие годы мизерным. В 1971 году составлял примерно двести миллионов долларов.

Только весной 1973 года американский Экспортно-импортный банк, созданный в 1934 году специально для кредитования торговли с Советским Союзом, после почти сорокалетнего перерыва подписал новые соглашения о долгосрочных кредитах на закупки оборудования — в частности для КамАЗа.

Но даже после июньских переговоров 1973 года между Л. И. Брежневым и Р. Никсоном, после опубликования коммюнике, где ставится цель довести общий объем торговли между нашими странами в ближайшие три года до двух-трех миллиардов долларов, отдельные конгрессмены продолжали «пугать» американских бизнесменов: «Как? Вы собираетесь помогать Советам строить коммунизм!» Продолжают пугать и сейчас.

И все-таки слова остаются словами, дело — делом. Деловые люди Америки, да и Европы, конечно, не только высказывались за, но попросту заключали договоры. Товарооборот между нашей страной и США уже в 1973 году достиг полутора миллиардов долларов. О КамАЗе заговорили на всех языках мира.

Президент фирмы «Даймлер—Бенц» (ФРГ) господин Цаан заявил: «Для нас такие масштабы являются «новой землей», нами еще не открытой. Ваш план строительства такого комплекса превосходит все заводы грузовых машин ФРГ, вместе взятые. Ничего подобного нет и в США». За океаном почти то же самое повторил Генри Форд. Президент банка «Чейз Манхэттен» Д. Рокфеллер отметил высокий технический уровень нового завода, его равноправие с самыми высокоразвитыми производственными комплексами мира; а информационная фирма этого банка издала справочник о КамАЗе, где говорится: «Человека из делового мира не могут не поразить масштабы: по производству КамАЗ превзойдет все американские заводы тяжелых грузовиков, вместе взятые».

Генри Форд: «Строительство подобного предприятия не под силу никому в Соединенных Штатах или в Западной Европе. Тут мы не можем конкурировать».

Генри У. Динст, президент фирмы «Нэшнл инжиниринг», заявил: «Нравится мне это или нет, вы все равно будете строить в своей стране коммунизм — это один факт. А второй заключается в том, что, если я не продам вам то, что вам нужно, вы купите то же самое в Европе или в Японии. Кто же окажется в убытке? Я и только я...»

Но, кроме желания торговать, нужен товар. Чтобы оборудование было действительно на высочайшем техническом уровне, да еще чтобы и цена была сходная... В Московскую дирекцию КамАЗа поступали роскошные проспекты различных фирм. Инженеры «влезали» в каждую из предлагаемых литейных машин.

Сначала, разумеется, — наши, советские. Ведь любой сложности машины и станции мы можем сконструировать и построить сами, у себя дома. И не просто можем — строим, вывозим, успешно конкурируя на мировом рынке с любыми иностранными поставщиками. В прошлом году комиссия палаты представителей США опубликовала доклад о советско-американских экономических связях, где говорится, что фирмы США «проявляют все больший интерес к передовой советской технологии в таких отраслях, как металлообработка, станкостроение, электроника, энергетические установки, производство алюминия, добыча полезных ископаемых и другие». Но разумно ли нам отказываться от чужих достижений, изобретая подчас изобретенное?

Специалисты справедливо отмечают, что сегодня ни одна страна мира не может развивать сразу все отрасли науки и техники. Часто бывает выгоднее не вести изыскания своими силами, а купить лицензию или готовое оборудование. И потому, прежде чем остановить свой выбор на том или ином варианте, инженеры любой страны тщательно изучают мировую патентную литературу.

Литейщики искали оборудование не только современное — нужны были станки и машины завтрашнего дня. Научно-техническая революция не прощает ошибок: машина, созданная на основе устаревших тенденций, неизбежно устареет, может быть уже в процессе строительства и монтажа. Камазовцы не только прорабатывали проспекты, но и осматривали, «примеряли» оборудование в натуре. Одни обследовали отечественные и импортные машины, работающие на заводах нашей страны, но даже оборудование литейных цехов, установленное всего пять лет назад на Волжском автомобильном, сегодня дублировать уже не хотелось. Другие осматривали новейший завод Форда в Детройте — и снова не находили ничего себе по вкусу. Третьи знакомились с предложениями Европы — именно здесь Романов нашел нечто близкое к искомому.

Швейцарская фирма «Бюлер» разработала интересную модель. Итальянская «Идра» в том же направлении ушла значительно дальше, улучшив все показатели, кроме одного: машина стала необычайно сложной. Западногерманская фирма «Вотан», взяв за основу тот же принцип...

— А что, это близко к тому, что нам нужно, — сказал Борис Николаевич. — Современней, чем «Бюлер», и проще, чем «Идра». Вот если бы они в ФРГ сумели еще улучшить эти узлы... И здесь нужна доработка... Если немцы согласятся...

— Ох, смотри, Борис, втянешь ты нас в международный конфликт! — морщился ровесник Романова, директор литейного завода КамАЗа Аркадий Васильевич Лобанов. — Американцы предлагают машины фирмы «Принц».

— Ну что они, право, — разочарованно тянул Романов, — там сложная гидроаппаратура собственной конструкции, а тут — универсальная... И опыта у «Принца» мало. Вот если бы немцы согласились доработать свою модель...

Деловые люди Запада видели: советские специалисты отбирают самое совершенное.

Тот же Генри У. Динст заметил: «На меня и моих коллег произвели большое впечатление деловитость и отличная подготовленность специалистов Металлургиипорта. Я сказал председателю этого объединения, что готов принять к себе вице-президентом любого из его работников, с которыми мне пришлось иметь дело».

Немецкие конструкторы внесли в свою модель предложенные камазовцами существенные улучшения, научили ее «говорить на русском языке» вплоть до надписей на пульте. Стремительно изготовив головной образец, фирма отправила его в Москву на прошлогоднюю выставку Интерлитмаш — была такая выставка на территории ВДНХ. Прямо в павильоне машину смонтировали, пустили, и она начала выдавать отливку для камского большегруза. Представляете себе? Из ФРГ машина приехала уже с прессформой для КамАЗа!

Литейщики сразу перекрестили машину «Вотан» в более понятное «Вот она», в смысле — искомая.

В Набережные Челны понеслась телетайпограмма механику Виктору Котику: вылетайте в Москву, принимайте машину, отправляйте на КамАЗ.

Виктор Котик в недалекой своей молодости занимался боксом, однако классного боксера из него не получилось. Механик — да. Даже есть авторское свидетельство — в Перми, на заводе имени Дзержинского, изобрел он с двумя друзьями-соавторами установку для автоматической очистки деталей — обрубки.

Он добродушен, как большинство физически сильных людей. В разговор пускается охотно и весело.

— На КамАЗе? Давно, с семидесятого года, здесь это считается большим стажем. Иной проработает месяца три и тоже говорит: «Давно». Жена? Есть жена, работала в Перми продавщицей, потом у меня в цехе литья под давлением разметчицей. А сейчас оканчивает техникум и работает в экспериментальном бюро. Дети? Есть один вундеркинд — пять лет. Александр Котик, уроженец все той же Перми... Как доставляли машину? Ну, это целый роман!.

«Роман с доставкой» он рассказывает обстоятельно, со многими подробностями. Еще не закончили демонтаж и упаковку автоматической линии, как в том же павильоне открылась выставка тканей.

— Ну, там такие красивые ткани вывесили — кажется, ах! Но посетители все больше толпились возле машины, возле ящиков: адрес-то «КамАЗ», это всем интересно...

— Хорошая машина?

— Отличная.

— А как с обрубкой?

— Поставлен пресс, будет работать. Это совсем простая установка, отдельная, обслуживается другим человеком.

— А обойтись без такого обрубщика нельзя?

— Можно, есть такие решения: механическая рука может окунуть отливку в бак для охлаждения и, не отпуская ее, поставить на пресс для обрубки. Только нужно очень много фотозащитных элементов, чтобы правильно установить деталь. И трудно синхронизировать работу машины и прессы.

Странный человек! Я жду, когда же он начнет говорить о своем изобретении, а он об этом молчит. Рассказывал мне Романов, что обрубочный пресс, предложенный пермяками, «отличается простотой и надежностью, причем может быть синхронизирован с любой машиной для литья под давлением», примерно так и в авторском свидетельстве записано. Пресс подключается трубками к самой машине, и управляют им перепады давления при литье...

Другой на месте Котика, возможно, бегал бы здесь по всем инстанциям: «Внедряйте!» Что же он, не понимает, что ли, важности собственного предложения?

— Значит, тот пресс, что поставили, вас устраивает?

— Не совсем. Один литейщик обслуживает целую линию, сложнейшую, выполняющую уйму операций. А потом другой рабочий, низкой квалификации, должен каждую отливку взять в руки, уложить под пресс... Уложил — удар — отбросил, и так весь день. Ну, наверно, он сможет обслужить два-три прессы, однако суть от этого не меняется. Впрочем, и это шаг вперед: такие прессы, как у нас, насколько я знаю, установлены только в Тольятти, а обычно обрубочно-защитные операции производятся вручную, напильником.

— А ваше изобретение здесь применимо? — спрашиваю напрямик.

— Да, по нашей схеме все синхронизируется. Можно применить при любых машинах гидравлического действия. Но сначала надо все смонтировать, наладить, всех обучить...

Теперь Романов был назначен «ответственным за монтаж, пусконаладку и эксплуатацию комплексной линии для литья под давлением».

Не сразу решился вопрос — где же эту линию монтировать? Металлургстрой ответил:

— Корпус цветного литья мы в этом году закроем, в конце года сдадим тридцать семь тысяч квадратных метров площадей под монтаж.

— Нам бы хоть тридцать семь метров — но завтра!

Вопрос решился «на высшем уровне», в дирекции КамАЗа: литейщикам временно отвели площадку в работающем ремонтно-кузнечном цехе, РКЦ. Это был дальний, временно пустовавший угол чужого цеха чужого завода. Однако это был КамАЗ, и литейщики обживали свой «угол» накрепко.

— Жильцы угловые, но, вероятно, надолго, — говорил Романов. — Программу, как видно, начнем выдавать здесь.

Говорят, свято место пусто не бывает. Временно пустовавший участок РКЦ успел превратиться в нечто среднее между складом и свалкой строительных и кузнечных материалов и отходов.

Литейщики не только перетаскивали мусор и материалы: они за два с небольшим месяца подвели в свой угол воду, газ, воздух, смонтировали шинопровод от подстанции, причем все это не на одну линию, а с запасом.

А потом прибыли два шефмонтажника.

В далекое прошлое ушли времена Днепростроя, когда американский консультант господин Купер хронометрировал работу наших грабарей-подводчиков и доброжелательно заявлял: «О! Русский Форд!» Теперь уже не господин Купер, а сам (очередной) господин Генри Форд говорит о КамАЗе: «Нам такая стройка была бы сейчас не по плечу». И президент фирмы «Пуллман» Самюэл Кейси, в этом году побывавший в Набережных Челнах, свидетельствует: мол, он хотя и «не новичок в таких делах», но «прежде не представлял, что мыслимо подобное строительство, что за два года можно так продвинуться в сооружении этого, наверное, самого большого в мире промышленного комплекса. И все-таки самое сильное впечатление, — продолжает он, — на нас произвели строители КамАЗа. Преимущественно молодые люди, двадцатипятилетние и моложе, они поразили нас своей целеустремленностью, широтой взглядов. Вы можете гордиться ими».

Шефмонтажники в 30-х годах смотрели свысока на наших слесарей, что были и одеждой попроче и техничкой грамотой пониже.

Теперь не то. Один из представителей фирмы только тихонько ахал и одобрительно кивал, когда «герр Котик» рассказывал о своем обрубочном прессе: «Зер гут». А Котик на всякий случай втолковывал ему через переводчицу: запатентовано...

Словом, монтаж с честью завершили. Начались дни бесконечных тренировок, когда в машину умышленно вносилась та или иная неисправность, рабочие-специалисты должны были ее обнаружить и устранить. Эта работа-игра увлекала всех ее участников.

— Юра, тебе придется съездить за жидкостью ОМТИ в Башкирию, — говорит Романов, — через недельку. Учти, дело деликатное...

Молоденький инженер Шаталин понимающе кивает головой: ну еще бы! Жидкость Вилианской!

Совсем не похож Юра Шаталин на своих друзей: тем довелось потрудиться у станков, у машин, а Юре ничего делать руками не приходилось, родители его родили, поили-кормили и обхаживали. Из школы в институт, оттуда по распределению на КамАЗ.

Словом, «типичный молодой специалист». Знаний — хоть отбавляй. Любое распоряжение поймет на лету, «довеет до ума», проследит за исполнением. А вот самостоятельности — откуда ей пока взяться?

Может быть, как раз повышенный интерес Юры ко всему окружающему, восторженность при деловитой безотказности привели к тому, что избрали его и в цехом профсоюза, и комсомольским вожаком корпуса цветного литья, и членом заводского комитета комсомола. Отвечал он за многое, в том числе и за спорт.

Попутно скажу, что спорт в Набережных Челнах в почете. Даже «старички» занимаются «в группе здоровья», то на стадионе, то в школьных гимнастических залах. Видал я этих «старичков» и эти занятия: «старички» и «старушки» бегали

резво, сражались у волейбольной сетки. Правда, людей особо почтенного возраста и в этой группе не обнаружил: одним из самых «пожилых» и, пожалуй, самых азартных ее участников был все тот же Борис Николаевич Романов, 1937 года рождения.

— Ребята, завтра все на субботник! Сбор возле нашего дома, — объявляет Юра Шаталин.

И все являются дружно. Причем «наш» дом — это отнюдь не тот дом, где литейщики живут, нет, это их подшефный объект. И в день Всесоюзного субботника 19 апреля исчезли в Новом городе гигантские лужи, а вдоль тротуаров протянулись шеренги молодых деревьев. Романов и на следующий день вывел соседей на работу: пожалел березки, которые накануне привезли к дому, где он живет, но посадить не успели.

И только закончив работу, Борис Николаевич расположился со мной в большой комнате своей уютной, хотя и пустоватой пока квартиры за шахматами. Впрочем, двухлетняя Наташа проявляла к шахматным фигурам столь большой интерес, что вскоре игру пришлось передать в ее руки: Людмила Антоновна занялась приготовлением обеда и Ната оставалась на нашем попечении.

С будущей своей женой Романов познакомился в поезде. Потом несколько лет переписывались, женились только в 1971 году, уже в Москве. Специальность у Людмилы Антоновны всюду необходимая — учительница, математик, сейчас ведет шестые и седьмые классы. Хотя здесь одновременно открылись три школы, Людмила Антоновна преподает, конечно, не в ближайшей, а в подшефной литейного завода. Школа экспериментальная, здание прекрасное, два спортивных зала — там и Романов с друзьями занимается. А вот кортов в Набережных Челнах пока нет, и это очень обидно: Борис Николаевич неплохой теннисист, в Белоруссии год был главным судьей по теннису среди юношей и секретарем «взрослой» секции.

— Вы хотели узнать историю с жидкостью ОМТИ? Пожалуйста. Во-первых, ко всем этим жидкостям, заполняющим гидравлические системы машин под давлением, предъявляются жесткие требования. Раньше, например, такие системы заполняли маслами, при разрыве шланга вспыхивал пожар, бывали несчастные случаи. А в нашей линии залито нечто импортное и весьма дорогостоящее... Ната, оставь в покое зажигалку! Возьми в ящике игрушки... И вдруг в ежегодном каталоге нашей научной литературы наткнулся на строчку: доктором наук Вилянской, Теплотехнический институт имени Дзержинского, предложена гидрожидкость. Находим журнал, статью, читаем: жидкость почти не токсична, испытана при давлении девятисто атмосфер, все сходится, остается испытать при нашем давлении — сто сорок...

— Боря, что она там рвет? — доносится из кухни голос встревоженной хозяйки.

— Какие-то бумажки. Короче говоря, мы заинтересовались, отыскал я Вилянскую, пришлось проверять свойства жидкости, сжимать, сгущать — работа большая...

— Где ты их взяла? — появившись в комнате, допрашивает дочку Людмила Антоновна. Она с трудом нагибается — у нее декретный отпуск, — подбирает бумаги, щедро высыпаемые Наташей из ящика серванта, читает первую попавшуюся и почти вскрикивает:

— Боря! Она рвет наши подъемные!

— Ну что ж, сама останется без денег.

— Не она, ей-то хватит, мы останемся без денег! Как ты ей все позволяешь!

— Такой день — выходной, специально для нарушения режима дача и всех режимов вообще... Наташа, нельзя их рвать, давай соберем и спрячем.

— Тю-тю?

— Именно. Тю-тю. Слетали мы с Вилянской в Донецк — там сырье, одна из составляющих, больше нигде не достать. Донецк согласился дать сырье в Тольятти, где химики начали налаживать производство. Уже осваивают! А ведь совершенно случайно, листая каталоги, узнали, что у нас дома, рядом, имеется

такая вот умница, Евгения Давыдовна Вилянская, сидит и ждет, добивается, ищет, кто бы ее жидкость произвел, кто бы ее применил.. Ведь все заслуги-то ее, их института, мы только помогли кое в чем организационно.. До Совета Министров дошли.

— Ну теперь получите?

Борис Николаевич торжественно подвел меня к окну своей комнаты, даже на балкон вывел:

— Видите? Ну что вы, право! Не там, возле дома!

Ничего паразитального я не увидел, так что Романову пришлось пояснить:

— Конечно, с виду обыкновенная автомашина с цистерной. Но знаете, что там? «Ивиоль-три», жидкость ОМТИ, Вилянской! Вечером Юра привез, решили поставить здесь, у себя под окнами, самое надежное... Теперь проведем испытания. А года через два мы эту жидкость будем получать на наших установках в промышленном масштабе. Уверен.

Грядкины поднялись на вторую ступень камазовского благополучия — хотя у них еще нет квартиры с жилой площадью, рассчитанной на полный состав семьи, но это уже не общежитие, а малосемейка; очень маленькая пока малосемейка, меньше девяти квадратных метров комнатка в двухкомнатной квартире. Зато здесь официально прописаны все трое Грядкиных — и сам Владимир, и Надя, и Андрюшка. И это, во всяком случае, не сравнить с тем, что было раньше, на первой ступени благополучия, когда Надя работала вахтером в женском общежитии, Володя ночевал в мужском, а к жене ходил обедать.

Когда родился Андрюха, выделили вот эту комнатку. Володя забежал, открыл форточку, через два дня явился со всей семьей и вещами. За это время отопление временно отключили, лифт временно сломался, в комнате гулял ветер и стоял лютый мороз. Дом отличный, лестничные клетки экспериментальные — на каждом нечетном этаже площадки вынесены в лоджии, так что в мороз при неработающем лифте, поднимаясь на тринадцатый этаж с ребенком на руках, приходилось пять раз выходить на балкон, открывать одиннадцать дверей, которые вырывал из рук ошалелый степной ветер.

Но так хотелось иметь собственные стены — остались. И вернулось тепло, и заработал лифт...

Надя угощала меня пирожками с яйцами и зеленым луком, а Володя приговаривал: ешьте, пожалуйста, домашние! Он очень нажимал на слово «домашние».

Угощал меня Грядкин и домашними фотографиями, вырезками из газет.

— Вот газеты за двадцать первое декабря семьдесят второго года, все, какие смог достать. Ведь Андрюшке будет интересно, что происходило в мире в день, когда он, Андрей, появился на свет? А здесь у меня много фотодокументов: вот наша свадьба дома, в Златоусте, двадцать восьмого августа семьдесят первого года. А вот мы точно через год на КамАЗе. И еще, тоже точно через год.

Еще на одной фотографии Володя танцует. Оказывается, и в школе, и в техникуме, и в армии занимался он хореографией. В смотрах участвовал и дипломы получал. В 1967 году их школьный ансамбль занял в Златоусте первое место и ребята были премированы поездкой по Каме на теплоходе. Кстати, вот тогда-то Грядкин впервые побывал в Набережных Челнах. Но семь лет назад никакого впечатления этот районный городок не произвел: так, самая натуральная деревенька, по-прикамски скученная, с домиками чуть вразброс да наискось, с темными крышами и серо-голубыми наличниками окон. Редкие тополя, клены, кое-где яблони. А в палисадниках, перед торцами домиков (как по уговору, в три окна), кусты сирени. Только в центре неширокие улицы, двухэтажные кирпичные дома.

Фотография Нади — они в школе вместе учились. И выпускная группа — где Надя есть, а для Володи рядом с ней так и осталось пустое место — уже пробовали подклеивать другие Володины фото, не получается. История романтическая: долгая полудетская любовь, по семь километров ночным Златоустом домой

после каждого провожания... Выпускной вечер, и после вечера этого — признание, и ссора, и примиренье, в общей сложности с шести часов вечера до трех следующего дня. А в четыре нужно было идти сниматься, забежал домой переодеться, прилег на минутку и...

Он спал, а Надя берегла для него место рядом с собой. То самое место, что на групповом снимке осталось пустым.

Грядкины, кажется, сами вдруг удивились, глядя на собственные фотографии. Был Златоуст, школа, потом завод, вечернее отделение техникума, стали металлургами... У Володи еще была военная служба. Вернулся — зарегистрировали брак и вместе с несколькими парнями с того же завода, из того же цеха — на КамАЗ. Теперь техник Грядкин работает наладчиком, техник Грядкина, как и многие молодые матери, ждет, пока для Андрея найдется место в яслях или детском саду. Грядкины сами виноваты, что Андрей до сих пор не пристроен: все нелепые предрассудки. Здесь делают как: только-только зарегистрировались — сразу записывайся на очередь в детские ясли. Надя с Володей побоялись пророчить раньше времени, да и неловко было... Теперь Андрюшке скоро полтора года, а очередь его триста девяносто восьмая...

Когда планировали весь этот город, наверно, просчитались. Володя читал в газете, что до 1 января этого года строители уже сдали десять дошкольных учреждений на две тысячи шестьсот мест. И теперь детсады и ясли все время строятся, сдаются в эксплуатацию... Но кто же мог предвидеть, что челнинцы начнут устанавливать рекорды и рожать по шестьсот младенцев ежемесячно? Хотя нужно бы кому-то предвидеть и такое...

А пока Надя печет домашние пирожки из покупного теста — теперь иначе никто не поступает, не месить же тесто дома.

Вот построят здание нового детсада, тогда техник Грядкина...

Не раз бывал я в строящихся корпусах КамАЗа, главным образом литейного завода, то в одиночку, то с Михаилом Глазыриным, главным инженером треста, знакомым мне еще по ВАЗу. Видел, как ежедневно и ежечасно менялась картина стройки: когда устойчивое ежедневное выполнение плана работ превышает миллион рублей, конструкции «возникают» неожиданно, словно сами собой.

Подгоняя строителей, широким потоком поступает оборудование для всех корпусов.

Идет оборудование и к нашим литейщикам — прессформы для отливки других деталей, вторая, более мощная, автоматическая линия.

По-мальчишески стриженная, по-мальчишески бойкая Нина Сухова подает Романову очередную сводку: какие детали для опытной партии грузовиков будут отливаться в Мценске и на других заводах, какие нужно отлить здесь. Всего сорок три наименования. Одну из деталей здесь пока не изготовить, тяжела. Остальные нужно быстро осваивать, переводя их производство на КамАЗ.

— И освоите, Борис Николаевич, и получите благодарность... Как обычно, ко дню рождения, своего или дочери!

Романов не принял шутки.

— Каждый день кто-нибудь рождается...

Кобелев, не выпуская моей руки из крепкой большой ладони, сообщает сенсацию:

— А мы уже в малосемейку переведены. Приходите!

Недавно вечером заходил я к нему домой, а поговорить толком не удалось: слишком было многолюдно. Разговор шел в одной из комнат трехкомнатной квартиры на двенадцатом этаже мужского общежития, где по неписаному праву уборщицы этого общежития поселилась вместе с Алексеем и его жена Маша. И, разумеется, их дочка, ученица четвертого класса, Таня и сын Юра, который осенью пошел в первый класс. Кроме них, присутствовал «коренной» жилец этой комнаты, казанский плотник-бетонщик Ильдар. Маша отгородила его койку цветастым пологом, но все равно он остался тут же, таким приемным дядей. А когда

Леша включил телевизор, пришли еще и парни из соседних комнат, набились как салака в банку.

— Здесь неплохо,— успокаивала меня Маша.— Вот до этого мы жили — в одной комнате три семьи... Ничего, устроимся!

И вот — «устроились»!

— Я его догоню,— уверенно говорит Володя Грядкин.— Как-то повелось сравнивать меня и Кобелева. Леша опытнее, с ключом в руках он меня обгоняет. И разряд у него шестой, а у меня пятый, сначала даже четвертый был. Но ничего: мастерство придет.

Сдается мне, что как раз Грядкин — типичный камазовец. Двадцатипятилетний отец семейства, спортсмен, танцор, начальник поста комсомольского прожектора, техник по образованию, рабочий-наладчик по должности. Виноват, «суперналадчик» — так и написано в приказе о переводе.

Молодость... Именно здесь, в Набережных Челнах, впервые за время долгих скитаний я почувствовал себя старым: постоянно мне уступали место в трамваях и автобусах — я оказывался старше всех остальных или почти всех остальных пассажиров. Даже девушки поднимались и уговаривали меня сесть. Это удобно. Но грустно.

И на одном ответственнейшем совещании в Генеральной дирекции КамАЗа, в штабе, где собрались директора и главные инженеры шести грандиозных заводов, генеральный директор всего гигантского объединения Лев Борисович Васильев, его заместители, секретари многотысячных парторганизаций, руководители строительства — и здесь все оказались людьми достаточно молодыми. Директорам заводов — таких заводов! — лет по тридцать пять, сорок... Не собирая анкетных данных, просто подсчитав присутствовавших в зале и придирчиво разглядев их, я установил, что сединой или, простите, лысынами поблескивали лишь четыре товарища из шестидесяти четырех.

А ведь это собрались вершители судеб КамАЗа!

Сильна и счастлива молодость, вооруженная опытом могучей страны.

Рядом с литейщиками другие специалисты и группы специалистов также выбирают по каталогам, отечественным и зарубежным, наилучшие, наисовершеннейшее оборудование, продумывают технологию, увязывают воедино технологические процессы своих производств. Огромные коллективы достраивают огромные корпуса, в бой за камский большегруз вводятся все большие подразделения монтажников, наладчиков, эксплуатационников, готовятся кадры на том же высочайшем уровне — на гребне научно-технической революции.

И все это великолепно. Хотя и очень трудно: ведь целое — камазовский большегруз — состоит из тысяч узлов и деталей. Примерно треть из них будет поступать с предприятий шестнадцати других министерств (только шин больше миллиона штук ежегодно!) да с двадцати заводов автомобильной промышленности, где специально для поставок КамАЗу создаются новые мощности, а, например, колесный завод в Заинске, в сорока километрах от Набережных Челнов, практически является филиалом, спутником — дело не в названии, — седьмым заводом КамАЗа.

Но две трети — тысяч пять наименований — будут изготавливаться здесь, на месте! И вся сборка — здесь.

Пока я пишу эти строки, наверняка на КамАЗе закрыты еще какие-нибудь пролеты и корпуса, выпущены новые — опять первые! — детали грузовика. Скоро сборка потребует каждую из них, и затеряется между ними сегодняшнее маленькое чудо: деталь 5320—1015186.

В добрый час!



ЕКАТЕРИНА ЛОПАТИНА



ПО ЗНАКОМЫМ АДРЕСАМ

Хорошо время от времени возвращаться в знакомые места! Новизна обычно оглушает, ошарашивает. Особенно если сталкиваешься с делом таким необычным, свершаемым впервые в истории, как создание пригородной сельскохозяйственной зоны одновременно со строительством крупного промышленного центра, — не в отдаленном будущем, не вслед за ним, а шаг в шаг.

Возвращение в одни и те же места дает возможность наблюдать процесс становления, подмечать детали, ускользающие от случайного, поспешного взгляда, мелкие и мельчайшие изменения. Изменения во всем — в пейзаже, в людях, в методах хозяйствования.

Хорошо возвращаться в знакомые места!

Однако ж порой и грустно. Кого-то, увы, уже не застаешь. Кого-то застаешь иным, совсем не таким, каким он рисовался тебе по первым впечатлениям. Что-то, казалось бы, твердо рассчитанное и уверенно ожидаемое, не получилось. Что-то получилось, но дало совсем другой, непредвиденный результат.

Хорошо и грустно возвращаться в знакомые места. Но возвращаться надо. Надо! Потому что только так можно познать свершаемое во всех аспектах, во всех измерениях. В поисках и ошибках, разочарованиях и отступлениях, в новых, более продуманных и решительных наступлениях и победах. В непрестанном, неодолимом движении, каким и является сама жизнь.

Давно ли — и двух лет не прошло¹ — писала я о том, что нового внесло строительство камского автогиганта в жизнь окрестного сельского населения, какие вызвало хозяйственные сдвиги, породило общественные и семейные коллизии.

Давно ли стояли мы вот тут, у одного из крайних подворий деревни Новые Гардали. КамАЗ с его недостроенными цехами и службами тогда еще почти не был виден отсюда, он только еще подступал, подбирался издали, выслав перед собой, в разведку, насыпь железнодорожного полотна, — плавно изгибаясь, она упиралась в низенькие заборчики.

Сейчас железная дорога — вот она, перед самыми окнами, и уже движутся, грохочут по ней составы с грузами для великой стройки. Уходят вдаль ажурные мачты высоковольтной линии электропередачи. За ними — теперь это, кажется, совсем рукой подать — поднялись, сверкают окнами корпуса литейного комплекса. Позади, за огородами, — здания станции водоочистки. Деревня как бы взята в полукольцо бетоном, стеклом и железом. Железо нависает и сверху: через улицу над домами тянутся, блестя под солнцем, толстые трубы теплотрассы. Несколько домов снесено... Ну а жители этих снесенных домов?

В ту пору они еще, как правило, боялись города. В ту пору они бы предпочли остаться селянами, всем миром перебраться в обещанный им новый совхозный поселок. Этот поселок в прошлый свой приезд я видела и в чертежах и в макете, и даже первые фундаменты видела. Да вот подзадержался Новый...

¹ «Новый мир», 1973, № 1. «Не на пустом месте».

Сейчас я разыскала их уже в Набережных Челнах, в одном из новеньких, празднично белеющих микрорайонов.

Худой голубоглазый тракторист — он тогда больше всех горевал и тревожился («Семья-то — сам-восьмой, попробуй-ка вознесись с нею на какой-нибудь поднебесный этаж, без молока своего, без овоща») — сегодня со снисходительной усмешкой вспоминает свои недавние страхи: чего, чудак, дрожал? И здесь устроились неплохо. Квартира — замечательная, трехкомнатная, на втором этаже, со всеми удобствами. Хозяйке — рай земной — дров не носить, печь не топить, воду на мытье или стирку не греть.

Работа? А что работа? Если хорошая специальность в руках — ты везде на месте, что в деревне, что в городе. Здесь он — автогрейдерист, строит дороги. Заработок почти вдвое выше совхозного. Расходы, конечно, тоже возросли, но он этого, по правде сказать, пока не почувствовал: не зря слыл хозяином рачительным, запасливым — вот уже, считай, полтора года как из деревни, а картошка пока своя, и масло, и мясо, и яички.

Трудно ли приравниваться к городскому образу жизни? А что тут особенного? На деньги, вырученные от продажи скота и птицы, купили и диван, и сервант, и прочие полированные штуки, есть и холодильник, и ковровые дорожки, все как у настоящих горожан. Ребятам обновки не пришлось заводить: и там одевались не хуже. Правда, учиться им пока тяжело — здесь спрос посерьезней, однако ж ничего страшного, деревенские дети к труду привычные, нагонят...

В том же доме, в том же подъезде, только этажом выше живет друг его, токарь — плотный, широколицый, неразговорчивый. Впрочем, неразговорчивым, подавленным был он в ту нашу первую встречу — от затянувшейся неопределенности: когда переезжать? И куда? Сейчас он говорит охотно, много, и пошутить горазд, и в лирику удариться.

Все у него хорошо — и с жильем и с работой. Одно плохо — по природе скучает. Там-то он в мастерскую на центральную усадьбу за пять километров топал, весь «круговорот природы» на его глазах совершался: и первый снежок оседал, и первый ручей звенел, и первая травка проклеивалась, и зеленая дымка окутывала деревья, и сады расцветали, и колосилась пшеница, и падал золотой лист. А тут, если в календарь не заглянешь, не поймешь, какое время года.

И еще — досуг его тяготит. В деревне, сами знаете, с рассвета до темна человек занят, а тут отработал свои семь часов и не находишь, куда себя девать. Вот и сидишь у телевизора, пока в глазах не зарыбит.

В том же доме, в том же подъезде, с матерью и младшими братишками-сестренками обосновался сельский учитель. Он все так же юн и, как лозинка, гибок, но следов растерянности уже не видно на его по-мальчишески округлом и мягком лице. Все утряслось, семье, как он тогда боялся, не пришлось «расползаться» — брат с женой на той же лестничной площадке получили двухкомнатную квартиру, сестра с мужем — однокомнатную. Учитель заканчивает заочный пединститут, преподает математику. В той же самой сельской школе. И пока не собирается из нее уходить — надо же довести до выпуска свой класс!

Из всех мужчин, что сходились тогда в смятении у крайнего подворья, один завскладом — смешливый, белозубый — остается пока на старом месте.

Дом его оказался за эстакадой теплотрассы, отрезан от деревни горами перевороченной, вздыбленной земли. Огорода нет, он под опорой эстакады. Надворные постройки разваливаются — что их жалеть? Все равно бросать не сегодня-завтра. Скот частью продали, частью порезали, оставили себе только немного птицы.

— Эх, вроде и на земле, а вроде и настоящий пролетарий, — с какой-то веселой лихостью говорит он.

Отчего же задержка? Квартиру не дают? Нет, дают. Но в последний момент проснулось, взыграло в нем исконное, древнее, мужицкое: «Я из-за них все по-

рушил, все потерял. Пусть они теперь мне все компенсируют, сполна». Вот и выжидает, и выбирает, пока предоставят ему квартиру в желательном районе, на желательном этаже, желательной площади. И чтоб взрослый, женатый сын — рядом, на той же лестничной площадке. Весь клан чтоб вместе, как у учителя. Иначе он отсюда не двинется, нет, дудки!..

У Марии Матвеевны, свиарки, как и прежде, идеально прибран двор, нежно голубеют резные оконные наличники и рафинадно белеют вышитые занавески, и буйно, ало цветет на подоконнике герань. Посмотреть со стороны — ничего не изменилось в этом доме.

А в нем — все на перепутье, все, кто мысленно, а кто и в буквальном смысле, сидят на узлах, будто на вокзале, и никто толком не знает: когда придет его поезд? И в какую повезет сторону?

Ну сама-то она ладно, она-то, можно сказать, определилась, ей теперь все равно — останется в совхозе свиноферма или нет, она уходит на пенсию, будет детям помогать, возиться с внуками. А где, скажите на милость, будут ее дети? Где будут внуки?

Старший, женатый и детный, сын сколотил во дворе времянку и выделился из семьи. С совхозом пока не порвал, работает механизатором, ждет переселения в поселок Новый, ну, а если еще затянется строительство Нового, что тогда?

Средние сыновья, те, что с военной службы вернулись и на КамАЗ устроились, за это время тоже обзавелись женами, здесь же, в Гардалях, взяли девочек. Один уже перешел жить к теще — считай, отрезанный ломоть. Другой жалеет мать, мыкается между двумя домами, своим и жениным, а надолго ли его хватит?

А наш славный ветеран, Александр Иванович Асанов, завфермой, тот, что вопреки болезням стоял, как солдат на бессменном посту, — что с ним?

А его уже нет. Нет больше Александра Ивановича! Худенькая Анна Яковлевна, жена его, не замечая слез, ползущих по щекам, повторяет спокойно, без надрыва, без жалоб, просто констатируя факт: «Беспощадный он был к себе... для самого себя беспощадный».

Да, себя он совсем не щадил. Тянул из последних сил, мечтая: вот-вот переедут в новый поселок, вот-вот бросят всех животноводов на молочный комплекс, и отпадет нужда в свиноферме, и с чистой совестью он сможет уйти на покой. Но так и не дождался, не дотянул.

Анна Яковлевна — пусть и трудно ей одной — содержит пока и корову, и кур, и огород, все, что он оставил, содержит, чтоб «было, как при нем». И молодых бесквартирных строителей собирается держать, чтоб шумно было в доме, как он любил. Пусть все будет как было, пока она жива и пока стоят на месте Гардали. А уж построят Новый — переселится туда, поближе к родной могилке.

Когда-то он еще будет, поселок Новый, а уже тянутся в него люди, как и предвидел мудрый Александр Иванович.

Тянутся прежде всего свои, «возвращенцы» со стройки. Не все, далеко не все так удачно устроились, как наши друзья из снесенных домов. Какие-то энтузиасты вроде сыновей Марии Матвеевны ездят на свои объекты из старых домишек, и, конечно, устают за долгую дорогу, и рады бы уже получить работу и квартиру в одном месте, там, где раньше дадут: в городе так в городе, в поселке так в поселке. Кто-то, помышлявший о легких и длинных строительных рублях, разочаровался в своих надеждах. Кто-то просто был захлестнут общим потоком — «на КамАЗ! на КамАЗ!», а огляделся — и затосковал о привычном образе жизни. Кто-то обиделся на грубость и несправедливость управляющего отделением, а сменили управляющего — и он попросился назад.

Это все понятно, этого следовало ожидать.

Но вот мне показали в отделе кадров совхоза «Гигант» толстенную пачку писем — с Вологодчины, Рязанщины, Брянщины, из Карагандинской, Амурской, Ивановской, Челябинской, Пермской областей, с Кубани, из Армении и Азербей-

байджана. Пишут не какие-нибудь «голубые» романтики, не легкомысленные охотники к перемене мест, пишут солидные, семейные люди, высококвалифицированные специалисты: механик-практик, работающий на инженерной должности; кузнец свободнойковки, он же медник и электросварщик; шофер, он же слесарь и сантехник; бульдозерист, он же шофер и слесарь шестого разряда; дипломированный инженер-электрик; зоотехник с большим стажем, работающий в настоящее время заведующим фермой; учительница с высшим образованием, опытная медицинская сестра, бригадир — от имени комплексной бригады строителей («Умеем делать все»).

Их-то что сюда потянуло? Селянская душа, как думал Александр Иванович, в них заговорила?

И так. И не совсем так. И совсем не так.

«По всесоюзному радио я слышала, что близ Набережных Челнов создается пригородная сельскохозяйственная зона. Я хотела бы своими руками построить совхозный городок и ту ферму, на которой мне придется работать».

«У нас в городе благоустроенная квартира, но мы оставим ее без сожаления. Мы привыкли жить вблизи леса и держать свое подсобное хозяйство».

«В деревне у нас всего 6 дворов, почти каждый житель — пенсионер, скучно».

«Работой своей здесь довольны, но нет у нас ни детсада, ни яслей».

«Все у нас хорошо, но нет школы-десятилетки, а ребята уже подрастают».

«Работаю на заводе, работа меня устраивает, но очень трудно получить квартиру».

«Совхоз у нас отстающий, и не видим никакой перспективы».

«Предлагаю рабочие руки. Готов на любую работу, была бы соответствующая оплата».

«Никуда бы с места не двинулись, да ликвидируется наш леспромхоз из-за отсутствия сырьевой базы».

Я почему привожу эти наиболее часто встречающиеся причины? Они, вероятно, будут безынтересны для социологов, изучающих проблемы миграции, а главное, потому, что в них, в эти причины, тщательнейшим образом вникает руководство совхоза.

Александр Иванович, ожидая наплыва людей в поселок Новый, говорил, что будут принимать их со строгим отбором — самых трезвых, самых «трудолюбивых», мастеров на все руки. Так и поступают ныне дирекция совхоза, партком, профком. Что скрывать, стройка поглотила преимущественно ценных совхозных работников, молодых и лучшего зрелого возраста. Необходимо достойно восполнить этот отток, укрепить, усилить коллектив, чтоб было с кем развивать в дальнейшем совхозное производство, налаживать новый быт.

Приглашают с осторожностью, очень немногих — ведь нет еще должного фронта работ и квартир нет еще; приглашают пока в старые деревеньки, оставляя за собой право до сдачи в эксплуатацию Нового проверить деловые и человеческие качества приезжих.

— Случайных людей, искателей приключений, шатунов всяких у нас, в нашем замечательном поселке, быть не должно, — говорит директор совхоза Назиб Зиятдинович Зиятдинов.

Зиятдинов? Позвольте, а Закиров Зия Закирович, старый директор? В прошлом своем очерке я рассказывала о том, как он раньше других в районе начал бить тревогу, писать «наверх» и требовать на ответственных заседаниях, чтобы быстрее, как можно быстрее строить производственную базу и жилье, пока не разбежался народ из деревень, подлежащих сносу. Где же он?

А он давно уже не директор. Стал, как сказали мне, сдавать, прибалывать начал, попросил отпустить. Сам, подчеркнули мне, попросил, никто ему ни слова, ни намек... Просьбу, конечно, уважили. Проводили как следует, со всеми положенными почестями, дали персональную пенсию, комфортабельную квартиру в Новом городе...

Там в огромнейшем доме — на его четырнадцати этажах могла бы разместиться большая половина жителей совхоза — я и встретилась с ним. И, признаваясь, в первый момент не узнала его. В прошлый мой приезд он был такой бодрый, быстрый, деятельный, переполненный планами, он так молодецки носил свою велюровую шляпу. Теперь передо мной стоял несколько погрузневший человек в стандартной зеленой куртке с нарукавной нашивкой «Камгэсэнергострой».

Да, он работает... Да, на стройке... Должность? Так себе должность... Разумеется, не ради денег работает, пенсии им со старушкой вполне хватает, а дочкам уже не требуется помогать, они в этом году кончают, дочки, одна медицинский, другая педагогический институты, третья — университет. Просто очень трудно сразу переключиться — такой громадиной командовал, и вдруг не у дел...

— Так вы же сами!..

Говорю это и тут же мысленно ставлю себя на его место: конечно, сам понимал — пора уходить. Но сердце... сердце, как видно, не может с этим смириться. Закиров между тем продолжает:

— Там сейчас руководитель хороший... Энергичный и делу преданный... Совхоз в надежных руках... Я за него спокоен...

Я замечаю: человек прежде властный, привыкший решать большие и сложные дела, управлять множеством людей, теперь, в новой своей роли, он как-то еще не нашел себя.

— Не знаю, не знаю, — отвечает он на мой вопрос о дальнейших планах, — вот съедутся дочки, зять придет, соберемся всей семьей, обсудим, посоветуемся.

А где-то перед самым моим уходом, выглянув в окно, произносит тихо, для себя самого:

— Опять дождь...

И — после долгой паузы:

— Как на заказ... Все в рост пойдет — и хлеба и травы... Прекрасный в этом году будет урожай!

Ну конечно же — зачем было спрашивать? — он весь там, в своем «Гиганте», всеми своими мыслями, всей душой там, в совхозе, которому отдал молодость, силы, мечты и горение!..

Так, стало быть, новый директор...

Не знал он, Назиб Зиатдинович, не догадывался, давая согласие на эту должность, в какую трудную и сложную попадет обстановку. Его прежний совхоз — далеко, в Бавлинском районе, на стыке Татарии, Башкирии и Оренбургской области — был хозяйством крепким, процветающим. Десять лет он в том совхозе директорствовал, вытаскил его из прорыва. Только бы, как говорится, пожинать урожай и вкушать плоды. Да не принято у коммунистов отказываться от «невыгодных» назначений, тем более если сам секретарь обкома предлагает тебе такое ответственное и важное дело, как участие в создании прикамазовской сельскохозяйственной зоны.

Приехал, посмотрел, схватился за голову (само собой, мысленно, чтоб люди даже во взгляде не заметили и тени сожаления). Животноводческие помещения все старые, механизации на фермах никакой, кормов не хватает. Овощеводство только-только начали разворачивать, а под всю новую отрасль — один-единственный дождевальная агрегат, и тот маленький, непроизводительный. А с людьми? Доярок, скотников мало, в теплицах работать некому. Тракторы простаивают из-за отсутствия механизаторов.

Он на прежнее руководство вины не валил, о Закирове отозвался с уважением и сочувствием: на его месте всякому было бы трудно — и год предыдущий оказался неурожайным, да к тому ж четыре года подряд в ожидании переселения ничего в совхозе не строилось, не улучшалось. Какая-то была всеобщая... Как бы это точнее сказать? Какая-то сплошная зачарованность: «Вот построят Новый — там все будет, все, и на самом высшем уровне...» А пока держались на том, что хотя бы худо-бедно выполняются планы.

— Совхоз... как бы это правильнее выразиться? Совхоз был как тяжелый больной, — вспоминает теперь Зиятдинов. — Больной, которого поддерживали на кислородных подушках, на искусственном питании, видали в клиниках? Кап... кап... А ему нужна была радикальная операция...

Он внезапно смущается: а вдруг нескромно получилось? Говорит поспешно:

— Вы не подумайте — моей заслуги тут никакой нет... Тут не надо семи пядей во лбу... Это понял бы любой человек, если б он пришел со стороны и на все взглянул свежим глазом. Ну, конечно, и окружающих надо было заставить посмотреть на все реально, не зачарованно. И кой-кого из вышестоящих товарищей убедить: никаких «капельниц», никаких «пипеток», помогать так помогать...

За время работы в «Гиганте» Зиятдинову многое удалось сделать («многое» — это мои слова, он говорит «кое-что»). Главное — в совхозе создана кормовая база настолько прочная, что прошлой зимой окрестные хозяйства приходили сюда на поклон: «дайте силоса», «выручите с сеном», «подбросьте витаминной муки». Увеличилась урожайность всех без исключения культур. Продано государству в 1973 году по сравнению с 1972 годом в 8 раз больше картофеля, в два с половиной раза больше овощей, молока почти на полторы тысячи центнеров больше.

Доярок теперь в совхозе достаточно, даже резерв есть, и все они обучены, имеют звание мастеров машинного доения первого и второго классов. На теплице людей избыток, можно расширить ее еще хоть на гектар. Трактористов хватает для двухсменной работы. Все дождевальные установки (а число их многократно возросло) обслуживаются своими специалистами.

Что же — пришел, увидел, победил?

О нет, и для него далеко не все было ясно и понятно, и он работал не без внутренней ломки и преодоления привычного — в себе самом и в других, — ведь с таким размахом, в таком темпе ему еще не доводилось двигать вперед хозяйство. И — куда там! — далеко еще не «победил», нерешенных задач — уйма, и не все он точно знает, как решать, и не все от него зависит.

Ну хотя бы...

Хотя бы та же кормовая проблема. Решить-то он ее сегодня решил, так ведь пока только для теперешнего стада, а со строительством комплекса оно станет в три раза больше. Значит, на тех же землях надо утроить урожай. И утроить не по «валу», а именно таких кормов, на которые рассчитано содержание скота в комплексе. Значит, необходимы и новые капитальные вложения, и новая техника, и пересмотр структуры посевных площадей.

Или: в прошлую зиму он перебил с капитально отремонтированными коровниками, с приспособленными под коровники овчарнями (овец пришлось размещать в других совхозах и колхозах района). Этой зимой, если не будет сдана хотя бы первая очередь молочного комплекса в Новом, ему уже некуда будет девать возросшее поголовье. Совершенно некуда! Все забито «под завязку»...

Или: этот год он держал приглашенных работников в тесных общежитиях и холодных времянках, держал под честное директорское слово: «К будущей зиме вы переедете в благоустроенные квартиры». А если к зиме не будет сдана хотя бы часть поселка? Что он скажет людям? Как посмотрит им в глаза? Какими доводами удержит еще на год? С кем останется, если они уедут?

И наконец, проблема из проблем — судьба коренных жителей деревень, подлежащих сносу. С ними ведь тоже не все так просто, как виделось вначале. То, что они на несколько лет оказались в «подвешенном» состоянии и частично разбрелись, — это одна сторона дела. Очень существенная сторона. Чтобы и дальше не произошло оттока потомственных селян, чтобы не остались там одни лишь пенсионеры, надо скорей, как можно скорей переселять их в Новый.

Однако у этой «медали» видится Зиятдинову и вторая, не менее важная, сторона. А все ли деревни следует сносить и переселять? Не слишком ли... как бы это поделикатней определить? — не размахнулись ли мы с нашими аппетитами? Ну, Новые и Старые Гардали или Сарайли — это дело бесспорное, они

оказались непосредственно на площадке заводского комплекса или в зоне действия КамАЗа. А Азьмушкино, нынешняя главная усадьба совхоза? Оно ведь далеко в стороне, ему ничто не угрожает. Оно хорошо обстроено — здесь и средняя школа, и Дом культуры, и добротные жилые дома, которые спокойно простоят полсотни лет. Зачем все это бросать? Зачем всех без исключения азьмушкинцев тащить в Новый, если бóльшая часть из них может и хочет — хочет! — остаться в собственных домах, на обжитых усадьбах? Не по-хозяйски это, считает Назиб Зиатдинович. Тем более комплекс-то рассчитан только на молочное стадо. Две тысячи дойных коров и ничего более! А телят-отъемышей где держать? А ремонтных телок для пополнения дойного стада — их ведь потребуется ежегодно не менее четырех сотен? Знает он, слышал: трест собирается для этой цели создавать специализированное хозяйство, но... — он лукаво прищуривается — но это еще вопрос, успеют ли? И как еще он будет работать, этот новый спецхоз? Не проще ли, не надежнее ли будет поставить этот «шлейф» в наши животноводческие постройки, которые мы капитально отремонтировали и механизировали? Сюда же временно и свиноферму из Новых Гардалей можно перевести, молоко пока не очень выгодно, свинина нас поддержит. И теплицы здешние тоже немало стоили, пусть и они еще нам послужат... Одним словом, как арифмометр ни крути, прямой расчет: оставить в Азьмушкине отделение совхоза.

Вот какой широченный круг проблем — ожидаемых и непредвиденных — встал в процессе создания зоны перед одним только директором совхоза. Встают они — в том или ином виде — и перед другими работниками. Перед всеми независимо от их ранга. И, в частности, перед строителями.

Пример? Тот же Новый.

Вы спросите: почему опять он? Это же не единственный объект пригородной зоны? Далеко не единственный! Но самый крупный. И наиболее характерный. В нем как в фокусе сосредоточились многие судьбы и надежды, просчеты и уроки на будущее.

Итак, Новый. Поселок, о котором Юлдуз Вагизович Курмашев, сельский деятель и любитель истории, с присущей ему экспансивностью сказал: «В Древнем Риме Катон требовал: «Карфаген должен быть разрушен!» Мы требуем: Новый должен быть построен!»

Да разве он одним селянам нужен? Он и самому КамАЗу не сегодня-завтра понадобится, чтобы освободить площадки под промышленное строительство.

Но и с этим поселком все гораздо сложнее, чем представляется многим.

Поначалу заказчиком поселка являлась Генеральная дирекция КамАЗа. Поселок иначе и не называли: подарок автогиганта пригородной зоне. Так обстояло дело до конца 1972 года, когда решением вышестоящих органов функции заказчика были переданы Министерству совхозов РСФСР. Сделано это было, как нетрудно понять, по инициативе Генеральной дирекции.

Тех, кто ждал красивого и щедрого подарка, это несказанно обидело: «отреклись», «отмахнулись», «сделали широкий жест и...».

А если разбираться, «жест»-то был широкий, да не до конца продуманный. Камазовцы, безусловно, непревзойденные знатоки своего дела. Но специфика сельскохозяйственного производства, конкретней — специфика содержания скота в комплексе для них, 1972 года называется, темный лес. В результате был принят к исполнению проект комплекса крайне низкого качества, с совершенно устаревшей технологией кормления, доения, уборки. Заказали какие-то переделки, и они получились не совсем удачными.

Так что второй «жест», «жест отречения», по существу, был абсолютно правильным. Но...

Решение состоялось в декабре 1972 года. Фактическая передача произошла в феврале 1973-го. А слухи о передаче «витали в воздухе» еще в августе, когда я там была. Готовясь к «отречению», дирекция КамАЗа уже как бы не отвечала за Новый, а производственное объединение совхозов Татарии и вновь созданный челнинский трест еще не отвечали.

Длительное «безначалие», «межведомственность» дорого обошлись поселку: притормозились и без того нешибкие в ту пору темпы текущих работ, задержались заказы на 1973 год технической документации, комплектующих изделий, оборудования, не было должного контроля за качеством.

Новый хозяин — российское Министерство совхозов начало с того, что заказало еще один проект комплекса. Более современный. Учитывающий последние достижения науки и опыт уже действующих предприятий подобного рода.

— Этот последний проект пока находится на техэкспертизе. А мы продолжаем строить, не зная, то или опять не то, — поделился со мной своей заботой начальник СМУ, ведающий сооружением Нового.

Два года назад начальником этого СМУ был Сычев Сергей Иванович. Он тогда, помнится, клялся-божился, что не только «сделает» план 1972 года, но и «доведе до ума» своего «красавца» и первым накануне официальной сдачи поселка разобьет о фонтан бутылку шампанского. Не сделал. Не довел. Не дождался сдачи. Вскоре после нашего знакомства он перебрался на какую-то другую великую стройку, куда-то на Север, вроде бы на тюменскую нефть. Одни оправдывают его: «Что поделаешь, такова уж натура искателя трудностей, первопреходца, первоначинателя». Другие усмеваются: «Рыть котлованы и монтировать кубики легче, чем вести отделку или начинать оборудованием. Эффекта больше!»

Поселок достраивает Такир Шакирович Мухутдинов.

«Достраивает» вы, конечно, поняли буквально, в смысле «заканчивает»? Нет, до этого еще далеко, очень далеко. Хотя с высоты, с дороги, когда за поворотом вдруг распахнется огромная зеленая поляна, окруженная лесом, и на ней несколько улочек коттеджей, и группа двухэтажных зданий, и знакомый по проекту «крестик» детсада, и трехэтажная школа, может показаться, что поселок готов принять какое-то количество новоселов. Но вблизи видишь, что дома в большинстве своем не отделаны, и школа не достроена, и улицы завалены горами земли и мусора, перерыты траншеями. Приглядевшись, замечаешь, что котельная стоит пока без «начинки», во многих помещениях не установлено сантехническое и электрооборудование. И на будущем комплексе — это и профану ясно — дел невпроворот: на одном корпусе заканчивается кладка стен, на другом стоят пока только металлические конструкции.

Сдадут ли они до конца года хотя бы первую очередь комплекса?

Мухутдинов легким, изящным прикосновением пальцев поправляет очки в роговой оправе.

— Должны сдать...

— А жилье, котельную, школу, детсад?

То же касательное движение, та же осторожная формулировка:

— Делаем все, что от нас зависит...

Это не пустая отговорка. Мухутдинов, как мне кажется, просто не умеет «пускать пыль в глаза», органически не выносит обещать больше, чем он видит реальную возможность дать.

Но и другие его коллеги сознают необходимость быстрее завершения Нового. В том числе и Крупный строитель — был у меня в первом очерке такой человек, многоопытный, выдавший виды, острый на язык. Он еще тогда разделял общего высокого мнения о проекте поселка: «слишком все пресно, обыденно», «уже не телега — еще не автомобиль»...

Прошлый раз я не решилась назвать его: уж больно он «шагал не в ногу», «дудел не в дуду». Теперь можно сказать: это Болдырев Алексей Анатольевич, начальник Металлургстроя.

Термин «крупный» как никакой другой определяет его сущность. У него крупная фигура, крупные черты лица, большой, размашистый шаг, привычка широко и независимо мыслить. Он участвовал в крупных стройках — Цимлянской и Саратовской ГЭС, Асуанской плотины. Теперь он возводит крупнейший в мире литейный комплекс. Именно ему под корпуса и службы «литейки» необходимы площадки, занимаемые сейчас деревеньками Новые и Старые Гардали.

Именно его подразделение в качестве подрядчика осуществляет строительство Нового.

Нет, Болдырев не изменил своего мнения о проекте. Отнюдь! Чем дальше, тем больше он убеждается: его делали «убогие проектировщики», «какие-то лапотники от архитектуры». Но он привык сдавать объекты, «не краснея за качество». И он — хотя у него, право же, хватает дел на «литейке» — едет на уже действующие комплексы: «Надо же представлять себе, какую игрушку строишь и как на ней будут играть!» И он — хотя, согласитесь, это не его обязанность — ведет переговоры с архитекторами, художниками, чтобы как-то «облагородить» уже готовые здания.

План 1973 года СМУ-26 Металлургстроя закончилось со значительным превышением. Первый квартал этого года выполнило почти на 300 процентов.

В 1974 году по Новому необходимо выполнить строительно-монтажных работ на 3 584 тысячи рублей — в три с половиной раза больше, чем планировалось на 1972 год. А план-задание, выдвинутый областными организациями, — 6 695 тысяч рублей. Обком КПСС, Совет Министров Татарской АССР поставили перед строителями боевую задачу: сдать в этом году не только первую, но и вторую очередь комплекса.

Между тем по плану Министерства совхозов РСФСР этот объект в 1975 году... только должен начать строиться. И в этом министерство винить нельзя. Существует незыблемый закон: стройка начинается с проекта. А проект (третий проект!), как мы уже знаем, в 1973 году только заказывался, он еще не прошел техэкспертизу, его еще как бы не существует в природе...

Вот ведь какая парадоксальная ситуация!

Ну, а непосредственные организаторы создания зоны, «аграрный корпус», как называет первый секретарь горкома Раис Киямович Беляев своих товарищей, ведающих сельским хозяйством? С чем столкнулись они? Какие перед ними встали проблемы?

Мы едем по хозяйствам Челнинского района. Дорога то спускается в широкие долины, то выносит нас на просторные плато или округлые холмы. Далеко окрест видны поля и перелески. Изумрудно зелены после обильных дождей леса, лишь кое-где мелькнут пунцовые брызги бузины, розоватые мазки цветущего шиповника. Ходит волнами, переливается под солнцем приспевающий ячмень. Легкой желтизной покрывается рожь, еще немного — и поплывет над нею золотистый туман. Высокая, ровная, с крепким колоском, радует глаз пшеница. Густеет, сливается в строчки пунктир кукурузы. Белые соцветия выкинул усатый горох. Густолистые, глянцевиные, тянутся в рост подсолнухи. Уверенно кустится по земле картофель. Природа как бы компенсирует людей за недород семьдесят второго года и засуху семьдесят третьего, засуху, что продолжалась до самой уборки и сменилась во время уборки сплошными дождями. Все, что в это время года может расти и цвести, растет и цветет в самом лучшем виде.

А уж травы-то, травы! Мои попутчики то и дело просят остановить машину, выскакивают, забыв про свои чины, со счастливыми лицами бредут по высокой, выше колен, траве, бьют ладонями по ее густоющей щетке: «Смотри, не гнется!», «Э-э, стоит, как Чапай перед каппелевцами!» И, сияя глазами, спрашивают друг друга: «А помнишь, как мы залужали этот участок, первый в районе?», «Еще бы! Председатель колхоза хватал нас за руки: ничего на этом месте не росло и не вырастет, зря деньги вбиваем?», «Что ж, горько добудешь, да сладко поешь...», «Или — по-суворовски: тяжело в учении — легко в бою. Вот он, наш бой, выигранный!»

Это — Сулейманов и Курмашев. Бывший второй секретарь Челнинского горкома и бывший начальник районного управления сельского хозяйства. Зачинатели зоны. Ее энтузиасты. Не часто им теперь доводится выезжать вот так вот, вместе — у одного на плечах огромный трест молочно-овощных совхозов, другой — председатель райисполкома. И если Юлдузу Вагизовичу есть дело до сулеймановских совхозов (коли они на челнинской территории, значит, все равно

его, Курмашева, «епархия»), то уж Архимеду Александровичу в колхозах совсем нечего делать. Это я упростила его поехать: очень интересно мне было увидеть их вдвоем — как они? Не изменились? Не потускнела их бывшая дружба?

Нет, все как прежде: понимают друг друга с полуслова, незатейливо подшучивают один над другим. Вернее, «подначивает» Курмашев — Сулейманов отбивается.

Вот какие-то ядовито-желтые цветы мелькнули на обочине. «Смотри, Архимед, это явно ваш, трестовский сорняк». — «Известно, в чужом глазу соринку видно...»

Вот машину мягко подбросило, плавно занесло на неподсохшей луже. «Ничего не скажешь, хороша трестовская черная «Волга», не то что моя, исполкомовская». — «Соседская курица, Юлдуз, всегда жирнее...»

На культурных пастбищах, на овощных плантациях тут и там видны сверкающие под солнцем струи поливальных установок. А вот только что наладили огромный ажурный «фрегат», и начальник ПМК, возглавлявший эту работу (пожигой, лысеющий человек!), в азарте бросается под рукотворный дождь, по медвежьей топчется под ним, хлопает себя по мокрой одежде. «Не хочешь ли, Архимед, чтоб и тебя полили? Быстрее будешь расти». — «А мне дальше некуда. Мне теперь только сокращаться...»

Проезжаем совхозные и колхозные поселки. В них на каждом шагу приметны зоны: тут достраивается молочный комплекс, а рядом с ним — уже действующий склад активной вентиляции сена. Там поднимается мехмастерская или механизированный зерносклад с сушкой и калибровкой зерна. Здесь только еще светлеют фундаменты будущей улицы, а при въезде в соседнюю деревню — вот они, заселенные двухэтажные дома, и типовая школа, и Дворец культуры — дай бог любому городу! А вот перед нами летний лагерь для коров, электрифицированный и механизированный, а вдали высоченные, в тридцать метров, сенажные башни в серебряных шапках куполов.

— Будто мавзолеем Гур-Эмира. — Юлдуз Вагизович кивает на купола и тут же друга локотком в бок: — А зря ты загордился, Архимед, не поехал со мной в Среднюю Азию...

— И рад бы в рай... не до поездок мне, Юлдуз, ты же знаешь...

Вроде бы так себе, забавляются друзья, перешучиваются. Но что-то в их тоне, а если уж точно говорить — в тоне Сулейманова заставляет насторожиться. Какая-то затаенная грустинка. Какой-то глубокий подтекст. Какой? Такое ведь прямо не спросишь, если люди сами не говорят.

И лишь постепенно, очень постепенно, исподволь и главным образом через других людей узнаю причины.

Неодинаково пришлось нашим друзьям их жизненные перемены.

Курмашев легко и непринужденно «вписался» в свою новую должность, быстро освоился с ней и теперь в исполкомовских «сферах» чувствует себя как рыба в воде. Мне довелось наблюдать его на заседаниях бюро горкома, слушать его выступления на исполкоме. Он все так же прост и демократичен, так же смешлив и охоч до литературно-исторических реминисценций, но нет-нет да и проглянет в нем начальственная солидность, чуть-чуть, самую малость, да и прорвутся начальственные нотки. То он добродушно пригрозит пальцем: «Ты нас не уговаривай, как горьковский Лука», а то и сведет к переносице свои соболиные брови: «Смотри, ботинки у меня сорок пятого размера, могу и наступить...»

Новая должность не отразилась на курмашевском характере, не изменила его образа жизни. Работает он, как всегда, много, работает с удовольствием, у него даже сентенция по этому поводу есть, он уж не помнит, своя или вычитанная: человек должен быть нагружен трудом, как корабль грузом, иначе, пустого, его будет качать на самой малой волне. Но вместе с тем и живет он полно, вкусно, радостно. Отпуск — так уж интересная поездка на машине через всю страну, по всей Средней Азии. Курорт — так уж в самое лучшее время года. Свободный час — так уж любимая (историческая!) книга, умный (исторический!) фильм.

У Сулейманова на новой должности как-то не совсем ладно получается. Хорошо помню, какой он окрыленный был тогда, при организации треста, как много собирался сделать. А теперь?.. Нет, он не остыл к зоне, совсем нет, и рук не опустил! Зона для него по-прежнему — главное дело жизни. Но такого морального удовлетворения, какого он ожидал, он, мне кажется, не испытывает.

Формально говоря, за два неполных года своего существования трест кое-чего добился. Взять хотя бы овощи, с которыми — считал Архимед Александрович — можно заявить о себе быстро и весомо. За один прошлый год площади под овощами увеличились почти вчетверо, урожаи, несмотря на крайне неблагоприятную погоду, почти удвоились. Это в открытом грунте. А теплицы дали городу почти восемьсот тонн огурцов, вместо двухсот, полученных в 1972 году. Если бы не трест — признают многие, — такого сдвига с овощами, конечно бы, не было. Однако ж мечталось-то не об этом! Могло-то быть больше, гораздо больше!

Могло?.. Но ведь и это не так просто, не так однозначно. Ведь и тот не ахти какой урожай, что вырастили в 1973 году, хозяйства не сумели полностью реализовать, больше пяти тысяч тонн скормили скоту. При том, что горторг завозил овощи из Молдавии, из Азербайджана.

Торгующие организации не обвинишь: они не верили, что так вот, враз, будут свои овощи, застраховали себя дальними договорами (и правильно сделали). И хозяйства тоже не виноваты: с площадями-то они размахнулись, а обрабатывать их некому, убирать тоже, вся надежда на горожан; что могли, собрали, а специального транспорта для вывозки нет, все навалом, все чохом, никакого товарного вида; вывезли — да все разом, а их не принимают: куда девать? А девать-то и в самом деле некуда: хранилищ у самого горторга недостаточно, а в хозяйствах и подавно не предусмотрено и базы для переработки нет никакой.

Это одна непредвиденность. А их оказалось много, ох как много. Самых разнообразных.

Стали, например, глубоко разбираться с вошедшими в трест хозяйствами близлежащих районов: что они собой представляют? как ресурсы этих хозяйств полней, эффективней влить в зону? И увидели: где-то из чисто местных побуждений запланировали молочный комплекс в отстающем глубинном совхозе, дорога к которому обойдется втрое дороже самого комплекса (а без дороги не вывезешь молока!). Где-то из тех же побуждений заложили такой комплекс, который и три совхоза не прокормят (а на привозных кормах это молоко влетит уже не в копейчку, а в золотой рубль!). Можно понять руководителей этих районов: они жаждут поднять свои хозяйства вместе со всей зоной. Но «груз» пока получается неподъемным. Если с чисто государственной точки зрения подходить, не ясно ли: деньги следует вкладывать прежде всего туда, где они быстрее дадут отдачу. А уж потом, создав на столе камазовцев изобилие, подтягивать запущенные «тылы».

Где-то, в каких-то моментах интересы треста вступили в буквальном смысле в непримиримые противоречия с интересами включенных в зону районов.

Ну, скажем, должен трест, согласно своей специализации, во вновь принятом совхозе всемерно увеличивать производство молока. А по старой, дотрестовской специализации этот совхоз определен как птицеводческий. И воздвигнута там образцовая птицефабрика — гордость местных руководителей. Как тут быть? Ломать? Приспосабливать под комплекс? Но Сулейманов сам был «районщиком», он прекрасно понимает, какими муками досталась эта птицефабрика району, где нет солидной стройбазы, нет таких могучих шефов, как в Челнах. И еще он знает, что эта кровью доставшаяся фабрика должна делать «птичий» план всего этого района и без нее — просто зарез. Но, с другой стороны, ему-то зачем эта птица? С него-то молоко спрашивают, мо-ло-ко!

Мечется Сулейманов из одного района в другой (а их у него четыре!), летает из Челнов в Казань и обратно — утрясает, увязывает, согласовывает; прежде белокожий, теперь потемнел лицом то ли от загара, то ли от переживаний.

А в районах — что ни дальше, то больше — нарастают «центробежные» на-

строения. Мне товарищи так и говорили: «Нам от этого треста, как от козла молока», «Никакого нам от него навара...»

Один из моих собеседников, председатель райисполкома, решительно стукнув кулаком по столу, столь же решительно заявил:

— Лозунг должен быть, как в семнадцатом году: «Вся власть Советам!» Межрайонный трест — совершенно ненужная нашивка в структуре управления сельским хозяйством! Третье звено! Долой его — управимся сами!..

Другой район от слов перешел к делу: добился создания собственного, подчиненного непосредственно республике хозрасчетного объединения совхозов. Всех без исключения совхозов, находящихся на территории района, независимо от их специализации — молочно-овощных, Племотреста, Птицетреста, Плодопрома. И накрепко «привязал» это объединение к местному органу власти, поставив во главе его заместителя председателя исполкома.

У челнинских товарищей та же тенденция, да они ее и не скрывают: Раис Киямович Беляев об этом на одном из областных совещаний говорил. Даже Курмашев признает: «Трудно Архимеду, очутился он между многих стульев. Так дальше нельзя...»

Ну, а кто вместо Курмашева возглавляет районное управление сельского хозяйства?

А там человек для района новый — Фаяз Музагитович Музагитов. Он по рождению тоже деревенский, примерно одних лет с Сулеймановым и Курмашевым. Правда, опыта работы в «низовке», как, скажем, у Юлдуза Вагизовича, десять лет возглавлявшего колхоз, у Музагитова нет. Вскоре после окончания института он попал на административные посты: старшим, а затем и главным агрономом, заместителем начальника производственного управления. Последние четыре года перед переездом в Челны был секретарем райкома партии по сельскому хозяйству в крупнейшем районе, называемом татарской Кубанью.

В своем зерновом Актаныше чувствовал он себя среди «сельхозников» фигурой номер один. Сам первый секретарь райкома обычно начинал рабочий день с того, что спрашивал: «А ну, Фаяз, какая там у нас сегодня сводка? Что нынче будем делать, чтобы помочь селу?»

Здесь, в Челнах, под «началом» у Фаяза Музагитовича оказались как бы только колхозы, их всего-навсего четыре.

Конечно, по своей должности он ведает и совхозами и за них душой болеет: они ведь тоже работают на районный план, тоже дают процент — и немалый! — в районной сводке. Но вот именно только «ведает» и «болеет». А реальная-то власть в руках у директора треста. Любое мероприятие, которое тебе кажется полезным, надо проводить через трест. А там не всегда с тобой согласны. То вежливо скажут: «Мы как раз это мероприятие наметили на другой день, давайте подключайтесь», а то и недвусмысленно дадут понять: «За совхозы — наша ответственность, мы и разберемся...»

А может, и не дают этого понять. Может, Фаязу Музагитовичу так только кажется, он с детства страдает болезненной мнительностью.

Пусть кто-нибудь, говорит он мне, пусть любой человек встанет на его место, войдет в его положение. Здесь, в Челнах, все свои, все старые знакомые, а Курмашев с Сулеймановым такие друзья — водой не разольешь. Он же, как говорится, человек со стороны. Новая метла иногда чисто метет. Вон Зиатдинов в «Гиганте» как все повернул круто! Фаяз Музагитович не из таких, он в чужой монастырь со своим уставом лезть не решается и мнение свое, особенно резкое мнение, как правило, держит про себя. Думает: одного поkritикуешь — другие обидятся...

Курмашев, правда, несколько раз, посмеиваясь, обращался к нему: «Что ты помалкиваешь, Фаяз? Давай выкладывай свои замечания, я же чувствую, они есть у тебя!» И второй секретарь горкома Нагаев тоже поддерживает его, всячески поднимает его авторитет: на «малых» бюро, где обсуждаются вопросы села, на «сельских» оперативках в горкоме Миргалим Ахметович тактично говорит: «Это

вопрос пусть решит наше сельхозуправление», «Эту акцию мы поручим лично Фаязу Музагитовичу...»

Но все же... все же...

Что решишь, если штат у тебя вместе с машинистками, шоферами, истопниками, уборщицами семнадцать единиц, а в тресте одних только специалистов больше четырех десятков? Какую «акцию» провернешь, если реально «под тобой» четыре колхоза, а в финансовую и хозяйственную деятельность совхозов ты не имеешь права вмешиваться?

Вот если бы создать крупный и ответственный сельхозорган с правами бывших производственных управлений... А трест бы — со всеми его материальными ресурсами! — сделать районным и подчинить производственному управлению... Вот тогда бы в руках Фаяза Музагитовича была не только инициатива, но и реальная сила! Вот тогда можно было бы существенно повлиять на создание пригородной зоны!..

Мне осталось рассказать о последнем из «аграриев», как называет их Беляев, о главном из четырех товарищей, непосредственно ведающих в Челнах вопросами сельского хозяйства, о Миргалиме Ахметовиче Нагаеве, тактичность которого только что отметил начальник сельхозуправления.

Эту черту в Нагаеве увидела и я. Его удивительный такт — первое, что бросилось мне в глаза в прошлый приезд.

Это были дни, когда Сулейманов только-только перешел в трест, а Нагаев занял место в его горкомовском кабинете. Встречались они часто, почти ежедневно, и за то время, что я там была, Нагаев при Сулейманове ни разу не опустил в его секретарское кресло. Ни разу! Обычно, обсуждая насущные для них вопросы, он садился не за письменный стол под большим портретом, а рядом с Архимедом Александровичем, за приставной столик. Не знаю, не спрашивала, обратил ли на это внимание сам Сулейманов, или его друг, или кто иной, но меня тогда, помнится, эта деталь очень тронула и расположила к начинающему партийному руководителю.

Зато другая его черта в тот раз показалась мне совсем не симпатичной: выходя на еженедельных планерках городского и районного актива, созывая совещания руководителей шефствующих организаций, он очень уж «сверлил» людей своими черными, глубоко запавшими глазами, говорил очень уж строгим голосом очень уж непререкаемые вещи.

Как-то не сочетались эти две черты... Но постепенно, приглядевшись к нему, я догадалась: это же не он сам, это же все наносное.

Дело в том, что Беляев, умный и тонкий воспитатель кадров, на следующий же день после того, как Нагаев принял дела, уехал в отпуск. Взвалив на новичка всю полноту власти и всю тяжесть ответственности. В самый трудный момент — уборка кормов еще не кончилась, уборка хлебов уже начиналась, подходил и картофель. Сделал он это вполне сознательно, преднамеренно: хочешь научить человека плавать — толкни его в воду, да не в заводь, а лучше всего на быстрину...

Поступок несколько рискованный — уж очень большой и ответственный «заплыв» предстоял товарищу, но Беляев верил в него, в его такт, организаторский талант, умение работать с людьми: ведь в прошлом Нагаев много лет находился на ответственных постах в комсомоле, возглавлял совхоз.

Человек — выплыл. Выплыл, как он сам теперь говорит, пуская пузыри и вдоволь наглотившись воды. Очень он тогда боялся, чтобы окружающие не заметили эти «пузыри» и эту «воду». Он ведь приехал не со стороны, не с равноценной должности, не с нажитым уже авторитетом. Он же только вчера был одним из них, таким же точно, как они, директором совхоза, притом не самого большого, не самого громкого. И лишь вчера он не без робости входил в кабинеты крупных строителей — этих «всесильных богов», от которых в немалой степени зависело обустройство его «Чулпана». А теперь все они — товарищи-директора, главные специалисты совхозов, председатели колхозов, командиры

промышленных подразделений — сидели перед ним (и даже несколько ниже, если смотреть из-за стола президиума!) и он должен был их «озадачивать», «нацеливать», «отмобилизовывать»...

В ответ на откровенность я рассказываю Нагаеву, каким он мне представлялся в те первые дни, и он, ничуть не обидевшись, совсем по-мальчишески хохочет, выговаривая сквозь смех: «Да-да, вы правы... только что вылупился... Совсем желтый... И уже кукарекал...»

Так, значит, он умеет смеяться над собой? Еще одна положительная черта в его характере. Еще один штрих в мою «копилку» — в мой разбухший блокнот.

Заодно уж признаюсь: еще мне нравится его скромность. В прошлый раз я очень хотела о нем написать — он так «ложился» в очерк рядом со спокойным и мягким Сулеймановым, ярким и шумным Курмашевым, какая-то очень интересная «грань» выделась мне в тогдашнем «сельхозтреугольнике». А он настойчиво отговаривал меня, умолял и вырвал-таки честное слово: даже не называть его имени.

...Итак, Нагаев. Сегодня это собранный, уверенный в себе, деловитый товарищ. Сухощавое лицо и жестковатые губы в первый момент рождают мысль о его суровости, но живые, веселые глаза быстро снимают это ощущение. Говорит он емко, энергично, напористо.

В день приезда я ввалилась к нему в кабинет, когда там шло совещание «аграриев», своего рода «малый совет». Нагаев пригласил из Москвы виднейшего специалиста по типизации хозяйств, чтобы решить не ясные до конца вопросы, связанные с молочным комплексом в Новом.

— Да, да, да! До сих пор неясные! — отвечает он на мой немой вопрос. — Чего удивляться? Таких крупных комплексов в стране раз-два — и обчелся... Все мы своего рода пионеры. Все начинаем. Все ищем. Все учимся.

Он дотошно, вездливо выспрашивает профессора:

— Две тысячи коров ежедневно «произведут» сто тонн навоза. Навозосборник по проекту рассчитан всего на три дня. А потом куда девать, чтобы не заразить почву, не загрязнить реки? Где и как организовать хранение и переработку этих отходов, чтобы превратить их в высокоэффективные удобрения?

Для кормления этого стада потребуется огромная масса кормов. Хранилища для них почти не предусмотрены. В каком месте их лучше поставить? Как обеспечить бесперебойную доставку корма с полей? Бесперебойный вывоз продукции? Хватит ли для этого одной дороги или потребуется «кольцо»?

Комплекс запланирован на швицкую породу. Она в наших условиях удой свыше трех с половиной тысяч не дает. При таком удое мы наш комплекс и за сорок лет не окупим. Что же, навесить на шею государству эти убытки?

Он выспрашивает профессора у себя в кабинете, везет его на комплекс, на совхозные поля: посмотрите! подскажите! научите! Без знания этих «скучных деталей», считает он, сейчас невозможно руководить селом; без решения этих вопросов нельзя «запускать» зону и уж, конечно, нечего ждать от нее эффекта.

— Кричим «пригород», «ура», — саркастически произносит он, когда мы остаемся одни. — А что такое пригород в современном понимании? Москва, как известно, восемьсот лет строилась. Семьсот пятьдесят из них стихийно складывалась пригородная зона. А пятьдесят лет ее переделывают заново, вот так! У нас нет в запасе ни одного года. Нам надо сразу решать, сразу седлать трех китов. Каких? Правильная специализация. Правильное размещение. Оптимальные параметры. В чем-то уже просчитались? Ошиблись? Досадно. Но не мудрено. Давайте и исправлять сразу. Не прятать стыдливо, не рассчитывать на авось...

Наши беседы с ним проходили, как правило, в дороге, в «газике»: так нам не мешали звонки и посетители.

Выезжали мы обычно рано, едва светлела короткая июньская ночь. Еще туман сплошной белесой пеленой скрывал от нас Каму, курился в ложбинках, стлался по полям. Еще роса обильно лежала на траве и листьях.

Что это, прежняя, совхозная привычка? Нет, возражает он, обязанность руководителя. Директор совхоза, зная, что ты можешь приехать рано, не позволит

себе спать. Управляющие отделениями, главные специалисты, зная, что директор поднялся, постесняются оставаться в постели. Рядовой исполнитель, видя все начальство на ногах, тоже поспешит на свое рабочее место... Конечно, это в разгар работ, зимой мы «икру не мечем»...

Он не вез меня в лучшие хозяйства, не оповещал их, как это кой-где еще принято: «Готовьтесь, будем!» — он работал, делал свое заранее запланированное дело. В этом я убеждалась по тем «конфузам», в которые иной раз попадали отдельные незадачливые руководители хозяйств.

В одном колхозе председатель заверил Нагаева, что склад активной вентиляции уже действует. «Точно?» — «Вчера вечером запустили». Поехали туда, а там даже вентилятор не установлен. «Я же им велел... Они же мне твердо обещали», — залившись краской, бормотал председатель.

— Не загорелись вы еще как следует этой идеей, не вошла она у вас в мозг и кровь, — укоризненно качнул головой Нагаев и, не подав руки председателю, сел в «газик».

Когда немного отъехали, произнес хмуро:

— Отрыжки старого метода руководства: «велел», «приказал», «понадеялся»... Теперь с этим «арсеналом» далеко не уедешь. Вникать надо. Доводить до конца. Убеждаться в исполнении. Без этого не закрутишь дела на полную катушку... — И вдруг рассмеялся: — Теперь он землю копытами будет рыть, а к завтраму все сделает.

Действительно, на завтра мы были там, и вентилятор всюду гудел, и привядшая трава пахла сладковато, дурманно и немножечко грустно.

— Создавать зону — это не только строить комплексы, дороги, мастерские, склады, — говорил в тот день Нагаев. — Главное: перестраивать людей. Их поднимать до уровня новых задач... Почему мы сейчас «пикируем» на руководителей хозяйств, делаем такой нажим на уборке трав? Да потому, что надо преодолеть дедовскую традицию. Мужик, он ведь не имел представления о кормовых единицах, о каротине. Он сено на стога считал, на копны. Вот и выжидал, пока трава до пуза вырастет, массы больше станет... А косность преодолеть — это много трудней, чем на ура построить культурные пастбища или организовать полив...

Да, новое рождается совсем не просто. Новое рождается в муках и сомнениях, в поисках и ошибках, в борьбе и преодолении. Будь то новая структура хозяйства или непривычная технология. Будь то новое отношение к вещам и явлениям. Будь то пригородная зона, какой еще не строил никто. Вот так вот, одновременно с промышленным центром. Шаг в шаг.

...А все-таки хорошо возвращаться в знакомые места!

В этот свой приезд я познакомилась со многими людьми, которых в прошлый раз не успела узнать. Подружилась с теми, с кем в прошлый раз только познакомилась. Полюбила тех, с кем в прошлый раз только подружилась. И пусть не обо всех успела сказать, они простят меня, я сделаю это позже.

— Мы, конечно, далеко не герои, и вы напишите о нас как есть. Только правду, — просили товарищи. — Всякое честное свидетельство очевидца — документ для истории. Пусть все знают, как нам трудно, как сложно. Пусть других научит наш опыт и наши ошибки...

Им трудно. Им сложно. Но в этом и их радость и их гордость.

Великолепно сказано на обелиске у въезда в Набережные Челны:

Трудность забудется,
Чудо свершится,
Сбудется то,
Что сегодня лишь снится.

Набережные Челны — Нижнекамск — Елабуга, июнь 1974 года.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. ПЕРЦОВСКИЙ



ИСПЫТАНИЕ БЫТОМ

Пolemические заметки

В литературной жизни последних лет заметное место заняли произведения бытового жанра, в которых писатели изображают «частную» жизнь современного горожанина, причем в качестве героев своих выбирают людей подчёркнуто обыкновенных, ничем не выделяющихся, помещая их в ситуации вполне будничные, внешне не нарушающие привычного хода вещей. Мнения в оценке этих произведений и их героев резко разошлись. Острые споры возникли вокруг повестей Ю. Трифонова, романа С. Залыгина «Южно-Американский вариант», произведений Д. Гранина, С. Крутилина, И. Велембовской и других.

Споры вспыхнули и утихли не потому, что достигнуто согласие или проблемы, обсуждавшиеся тогда, потеряли свою актуальность. Требуется время для того, чтобы вновь выйти к нерешенным вопросам на более высоком уровне, с более вескими доводами, на широком литературном, социальном фоне. Да и сама дискуссионная энергия далеко не иссякла. Вот сравнительно недавно появилась чрезвычайно спорная рецензия В. Сахарова на книгу Ю. Трифонова «Долгое прощание». Называется она «Фламандской школы пестрый сор...», напечатал рецензию журнал «Наш современник» (1974, № 5). Начнем с полемики с этой рецензией, чтобы в дальнейшем приблизиться к проблемам, которые считаем чрезвычайно важными и далеко не исчерпанными.

Рецензируемая В. Сахаровым книга «Долгое прощание» под одним переплетом объединила повести Ю. Трифонова, составляющие так называемую московскую трилогию, ряд рассказов и киноповесть «Бесконечные игры». Книга образует собой не-

кое жанровое, тематическое единство. В. Сахаров справедливо увидел в «Долгом прощании» единство концепции. Стремясь дать общую характеристику эстетической позиции автора «Долкого прощания», критик определяет творческий метод Ю. Трифонова как «социологический». «Его вещи, — пишет он, — это социологический срез целого слоя, скрупулезное исследование определенного общественного явления». Его проза вызывает у читателя «радость узнавания — узнавания чрезвычайно знакомых, каждый день встречающихся жизненных ситуаций и черт людских характеров».

Что ж, по словам этим можно предположить, что критик хочет повести речь о знакомом нам «бальзаковском», социально-исследовательском начале литературы — оно в высшей степени свойственно реалистическому искусству вообще, с ним связаны начала социальной типичности, за которые яростно боролись критики — революционные демократы и которые сполна унаследованы советской классикой. Продолжая эти традиции, современная литература стремится всячески развивать в себе социологическое начало: в анализе конкретных социальных типов и явлений видела наша критика наиболее сильную сторону литературы о современной деревне — сегодня такой анализ все в большей мере распространяется и на жизнь современного города. В поле зрения авторов оказываются актуальные проблемы экономики, производства, культуры, быта. Такое исследование как воздух необходимо современной литературе: люди хотят положительного и надежного знания о себе, об обществе, о мире, в котором мы живем...

Все было бы понятно, если бы В. Сахаров, подтвердив, что именно социологичность трифоновских вещей стала основой читательского к ним интереса, не стал тут же предпринимать настойчивые попытки... скомпрометировать такой метод, объявив, что это находится вне серьезной литературы, вне искусства! «Ущербность социологического метода в литературе,— читаем мы у В. Сахарова,— в поверхностной описательности, в несколько наивном эмпиризме, в неспособности понять внутреннюю диалектику жизни». Все эти свойства якобы и присущи трифоновской прозе—его повести не более чем «жанровые картинки, зарисовки быта, „фламандской школы пестрый сор“». В жанровом отношении их можно определить как «бытовой детектив», «физиологические очерки» или «памфлет»; их ценность чрезвычайно преходяща и в лучшем случае может быть определена как ценность «человеческого документа». И все это потому, что Трифонов, «писателя-социолога», «человек интересуется как составная часть социальной среды», что его герои за пределы среды не выходят, что «среда заела» — главное объяснение их судьбы и их характеров, что интерес к «массовому», типичному преобладает над интересом «к индивидуальному, личному, неповторимому»...

Читая подобное, невольно вспоминаешь аргументы, которые некогда выдвигались противниками «натуральной школы»: и тогда говорилось о низменности типичного, о памфлетности, даже о фламандских художниках, о Теньере много писали и спорили. Странно читать сегодня, с какой явной снизойдительностью упоминает В. Сахаров о натуральной школе, как и о русских статистиках XIX века...

Может показаться, что в своей критике «социологического метода» в литературе В. Сахаров в отличие от оппонентов Белинского обладает неким сильным, внешне неотразимым доводом: ему представляется принципиально низменной та среда, которую описывает Ю. Трифонов. Критик определяет ее как мещанство. Данный «общественный слой», по словам В. Сахарова, «отличается своего рода живописностью, даже экзотичностью, здесь свои идолы и моды, своя специфическая мифология и мораль». В то же время мещанство как предмет исследования не может удовлетворить серьезного художника. «Внутри... мещанства рассыпаются жизнь, быт, человеческое „я“».

В самом деле, обращение к мещанству как понятию уже предполагает в себе нечто такое, что требует разоблачения, гневного отрицания, а вовсе не социологического исследования.

Однако что такое «мещанство как среда», особый малоизученный слой современного советского общества? Что это — класс, прослойка, общественная группа? В. Сахаров такого вопроса не ставит. Для него очевидно, что речь у Трифонова идет о мещанстве, и все тут. Тем более что и другие критики определяли тему этих повестей точно так же: разоблачение «современного мещанства», «интеллигентствующего мещанства» и т. д.

Сам писатель, однако, неоднократно выступал против подобной трактовки своих произведений. В журнале «Вопросы литературы» он писал, например: «...я знаю точно, о чем я не хотел писать. Не хотел я писать об интеллигенции и о мещанстве...— И продолжал: — Я имел в виду людей самых простых, обыкновенных. Ну, там, инженеров, скажем, домохозяек, преподавателей, научных работников, заводских мастеров, драматургов, домработниц, студентов и так далее. Как их можно назвать всех вместе? Может быть, так: горожане. Жители городов». И эти люди изображены в своей обычной среде, в быту. Свое выступление писатель заканчивал страстным словом в защиту быта: «Быт — это великое испытание. Не нужно говорить о нем презрительно, как о низменной стороне человеческой жизни, недостойной литературы. Ведь быт — это обыкновенная жизнь, испытание жизнью, где проявляется и проверяется новая, сегодняшняя нравственность».

Взаимоотношения людей — тоже быт. Мы находимся в запутанной и сложной структуре быта, на скрещении множества связей, взглядов, дружб, знакомств, неприязней, психологий, идеологий. Каждый человек, живущий в большом городе, испытывает на себе ежедневно, ежечасно неотступные магнитные токи этой структуры, иногда разрывающие его на части».

Доводы писателя убедительны. К сказанному им можно добавить, что исследование общества через его мельчайшую ячейку, через быт и «личные отношения» много раз приводило художников-реалистов к величайшим победам и свершениям; стоит только вспомнить «Сцены частной жизни» Бальзака, в которые входит и «Гобсек» и «Отец Горио», или такой семейный роман, как

«Анна Каренина» А. Н. Толстого. «Обыкновенный человек», «маленький человек» для Пушкина и вообще для классиков XIX столетия никогда не был мещанином в современном смысле этого слова; крайняя ограниченность интересов, порожденная средой и обстоятельствами, вовсе не уничтожала в героях высоких человеческих потенций и душевных стремлений. «Человек среды», при всех своих противоречиях, оставался человеком; это относится и к Гриневу, и к Евгению «Медного всадника», и к Акакию Акакиевичу Башмачкину, не говоря уж о героях Достоевского.

В то же время термин «мещанство», «мещанин» сегодня обладает свойством, которое можно назвать «отстраняющим». Скажешь — «мещанин», и уже никакой речи не может быть о собственной связи с этим человеком, об ответственности за него, вообще о каких-то точках соприкосновения; «мещанин» — это прежде всего «не я», «не человек»; он достоин только одного — небытия, уничтожения.

Под термином «современное мещанство» критики нередко подразумевают нечто расплывчатое и неопределенное, лучше всего передающееся словами «плохие люди», «не наши люди». Неясность социального адреса в сочетании с резко отрицательной эмоциональной окраской в таких случаях делает термин «мещанство» крайне ненадежным для социального анализа: представим только на минуту, что Добролюбов в своей знаменитой статье ограничился тем, что назвал Обломова «современным мещанином»...

Почему же все мы, однако, столь дружно обратились к этому термину? Скорее всего потому, что Ю. Трифоным изображены люди подчеркнута обыкновенные, даже заурядные, не «делающие жизнь», а просто плывущие по ее течению, живущие в подчеркнута «негероическом» быту; по мнению некоторых, такие люди и такая среда не заслуживают в советской литературе ничего, кроме последовательного отрицания и осуждения, ибо не соответствуют нормам нашего гражданского сознания. Данную инерцию суждений и пытается использовать В. Сахаров, рассматривая метод и художественную позицию автора «Долгого прощания».

Немалую роль здесь сыграли и отголоски той давней традиции, которая не принимала быт как полноправную и органическую часть нашего общественного бытия. Анализ

этой традиции потребовал бы от нас более или менее обстоятельного исторического отступления, ибо она уходит своими корнями еще в то героическое время, когда победители гражданской войны не хотели и органически не могли принять нэповский быт как закономерное следствие великого революционного потрясения; он был истине «низменен», этот быт с торопливым и жадным насыщением временно ожившего «собственника», с уродливыми контрастами послевоенной нищеты и разрухи, с судорожными попытками обывателя восстановить безнадежно разбитые революционной бурей благополучие и покой. В нэповском быте явственно ощущалось нечто краткосрочное, прозрачное, нереальное; недаром именно гражданская война как тема доминировала у революционно настроенных художников, недаром в тогдашнем бытописании господствовала сатирическая струя. Подлинную историческую реальность представляла воля и мысль класса-победителя, прочно удерживающего государственную власть среди громадного моря мелкобуржуазной экономики, психологии, жизненного уклада, его твердая решимость не подчиниться «стихии», возрождающей капитализм, во что бы то ни стало достичь поставленной в Октябре цели — построения справедливого, бесклассового общества. Быт тогда был именно выражением этой самой очень реальной и классово враждебной стихии, засасывающей слабых, забывших о бдительности бойцов. Как характерен был тогда гордый отказ от «потребления» жизненных благ, предоставляемых ожившему «буржуа», отказ от устроенности и покоя всякого рода — во имя будущего единственно истинного и прекрасного! Боец за новую жизнь должен быть свободен от быта; Глеб и Даша Чумаловы у Гладкова даже ликвидируют собственную семью, дочь отдают в детдом. Попытки изобразить коммуниста как «частное лицо», в кругу семейных проблем того времени (например, «Наталья Тарпова» С. Семенова, «Рождение героя» Ю. Либединского) встречены были тогда в штыки как недопустимое снижение духа и устремлений эпохи.

Маяковский был страстным и непримиримым «бытоненавистником»; традиционные формы «частного бытия» отрицались им яростно и последовательно. Могучий «жизнеделатель» поставил себе тогда задачу: «вырвать радость у грядущих дней»,

жить «будущим сегодня», творя его, приближая его, гороя, прищпоривая время. «...мы в новом, грядущем быту, помноженном на электричество и коммунизм», — восклицал поэт, призывая переделывать все формы жизни, все традиционные отношения между людьми, семью, самую любовь — все осветить пламенем нового, революционного сознания, красным цветом советских республик. Никаких компромиссов, никакого доверия обыденности — «отбивайся, крепись, бей быт!».

Исторические победы 30-х годов превратили социализм из волевого стремления масс в реальные, органические формы общественного бытия. Исчезла основа для противопоставления не только одних общественных групп другим, но и сознательно-трудовой сферы деятельности людей их быту; речь теперь шла лишь о различных сторонах одной и той же социалистической действительности. Единство советских людей было исторически реализовано в подвиге Великой Отечественной войны. Фигура «простого» человека оказалась в центре внимания писателей — его судьба, его духовный мир, его реальные нужды и интересы. В связи с этим и бытовое начало стало выглядеть по-иному в литературе военных и послевоенных лет, с ним теперь связывалось представление о жизненной правде, противопоставленной отвлеченным нормативам, о внимании к человеку.

Яркое воплощение эти принципы получили в творчестве Веры Пановой. В романе «Кружилиха» содержится прямая полемика с «антибытовыми» тенденциями 20—30-х годов. В одной из финальных сцен Уздечкин вспоминает о страстном нетерпении, охватившем его в годы «реконструкции». «И тогда все старое мне перестало нравиться, — признается он. — Все, что мешало, понимаешь... Быт, например: гиря на ногах!» Листопад возражает: «А что ж быт? Часть жизни. Чай вон пьешь? Бреешь? Детшки есть? Вот и быт. Ничего такого страшного...» Отказ от быта — ненормальность, несчастье; судьба самого Уздечкина наглядно доказывает это.

Реабилитация быта в общественном сознании — важная заслуга советской литературы 40-х годов. В последующие десятилетия углубляется процесс развития социалистического гуманизма и демократизма. Реальное счастье простого советского человека — сознательная цель общества, определенная Программой КПСС. В этих усло-

виях бытовое начало, наполнившись особым, созидательным смыслом, играет дозольно видную роль в литературном движении конца 50-х — начала 60-х годов. Художники разного плана стремились исследовать сложность и богатство реальных судеб обыкновенных советских людей, заполняющих заводские цехи и клубы, троллейбусы и трамваи, обитателей деревенских изб и городских квартир.

Однако и «антибытовые» тенденции оказались по-своему стойкими. Они особенно оживились в связи с приходом в жизнь современного города примет научно-технической революции. Иные писатели уходили от городской будничности в мир патриархальной деревни, на природу, изображая ее как некая мистерия «абсолютного бытия», или в величавую неподвижность бессмертных памятников национальной культуры, противопоставленную «мелькающей» сиюминутности, говоря словами автора «Писем из Русского музея». — «всеобщей, все более завихряющейся, все более убыстряющейся суете».

Если сопоставить современных противников «житейской прозы» с романтиками 20-х годов, то бросается в глаза полная противоположность мотивов их недоверия к быту. Тогда быт рассматривался как реакционное начало, как некая косная неподвижность, сдерживающая победоносное историческое развитие; тогда в основе ненависти к быту была борьба с мелкобуржуазным, косным, отсталым в русской жизни во имя индустриализации, урбанизации, переселения литейщика Ивана Козырева на новую квартиру со всеми радующими и облегающими жизнь удобствами. Сейчас, напротив, быт для иных писателей — универсальное, стремительное, «мелькающее» движение, угрожающее памяти, традициям. «Вперед, время! Время, вперед!» — таков лозунг «антибытовиков» прежних лет; «Остановись, мгновенье!» — взывают некоторые современные писатели, выказывая некую оторопь, смятение перед насущными, рвущимися в окна и двери проблемами «сиюминутности», перед бурным научно-техническим прогрессом, резко ускорившим жизненный ритм, революционизирующим будничные формы бытия.

Вернемся, однако, к рассуждению, возникшему в связи с «Долгим прощанием». Попытаемся взглянуть на книгу с той стороны, которая интересует В. Сахарова, —

со стороны авторской позиции, идейно-художественной концепции.

«Откуда эта толпа, прущая из-под земли, как вулканическая лава, заливающая улицы и аллеи, лестницы и площадки?.. Кто мы, откуда, куда идем?»

Целью тревожных, взволнованных вопросов начинается киноповесть Ю. Трифонова «Бесконечные игры»; и это настроение типично для последних произведений писателя. Лирический пафос повестей и рассказов, вошедших в книгу «Долгое прощание», связан с ощущением современной жизни огромного города как непрерывного движения, изменения, в которое вовлечены все и всё: дома, улицы, понятия, образ жизни, нравы, стремления и, конечно, судьбы миллионов людей, заполняющих до отказа городские кварталы. В этом движении неразрывно соединены «большое» и «малое». Одним дыханием, в ритме «временного потока» проносится перед нами жизнь героини рассказа «Был летний полдень» вместе с «приросшими» к ней великими событиями и бытовыми деталями: «Обещались писать, никогда не писали, все оборвалось навсегда, началась Россия, ссылки, вода к утру замерзала в ведре, дети росли здоровые, парход по Енисею бежал ярким июньским днем, и шла война, и потом был Питер, квартира на Лиговке, толпы людей во дворе Таврического, оружие всю ночь «ура»... потом фронт был три года, вагоны, митинги, пайки хлеба, Москва, «Альпийская роза», потом Гнездиновский, голод, театры, работа в книжной экспедиции; дети росли»... В том же ритме, в том же эмоциональном ключе передает Трифонов движение самого будничного, самого обычного московского быта: «Было лето, долгое и сухое, была осень с дождями, были холода, испортилось отопление в третьем подъезде, приходил Брыкин, составляли акт, две ночи спали в шубах, Клавдия Никифорова мучилась с зубами, Агния Николаевна с девочкой и старушкой Софьей Леопольдовной переехали куда-то на другой край Москвы, Борис Евгеньевич еще раньше в Якутск уехал, завербовался на три года... Сергею Ивановичу назначили пенсию, и он ушел с работы и теперь сидел за домино с раннего утра». Это тоже поток времени, грозный и безжалостный, влекущий людские судьбы... А позднее на той же интонации возникают превосходные отступления «Клио-72» в романе «Нетерпение», где внезапно перед читателем вырастают «финалы» судеб героев,

начертанные много лет спустя все тем же беспощадным временем. «Бытовая» проза оказывается интонационно, идейно, тематически тесно связанной с историческим романом. Тут всеобщность потока жизни и времени, соединяющего «большие» веки жизни с «малым» современным бытом, большую судьбу огромного города с обычными судьбами героев.

Каждая из частей московской трилогии подводит итог какого-то крупного временного отрезка в жизни героев: четырнадцать лет семейной жизни Дмитриева; двадцать лет второго брака Геннадия Сергеевича; восемнадцать лет после затянувшегося «прощания» Реброва и Ляли. Итоги горькие, неутешительные: уходит молодость, юный задор, скудеют жизненные силы, и оказывается, что планы не сбылись, мечты не осуществились, личное счастье не вышло и сам ты как человек «не состоялся». Но не в традиционно-элегических мотивах («как годы летят!») кроется драматизм трифоновских повестей. Главное другое: этих героев годы не только старят, но начисто, в корне изменяют, обменивают. «Ты уже обменялся, Витя. Обмен произошел... Это было очень давно. И бывает всегда, каждый день, так что не удивляйся, Витя. И не сердись. Просто так незаметно...» — шепчет в бреду Ксения Федоровна; и смысл ее слов как раз в том, что прежний Дмитриев, молодой студент с нелепым чубом, попросту исчез, не существует больше, а вместо него — усталый, тусклый человек, успокоившийся «на той истине, что нет в жизни ничего более мудрого и ценного, чем покой», привычно и жертвенно принимающий «беспощадность жизни», и что у этого человека уже нет будущего, нет надежды на то, что ему «когда-нибудь будет хорошо». Так вместо молодого фронтовика, энергичного, сильного, мечтающего о славе человека, который радостно «хватал и грабастал жизнь в веселых послевоенных вузах», перед нами «обменявшийся» Геннадий Сергеевич, «усталый раб» собственного ремесла и собственного покоя, с желтым лицом и мешками под глазами, с горькой безнадежностью глядящий вперед: «Теперь уж некогда. Времени не осталось. И другое: нет сил. И еще третье: каждый человек достоин своей судьбы». За восемнадцать лет исчезла юная актриса, легкомысленная, безалаберная, бесконечно добрая, став благополучной матроной, которая бегает по субботам на стадионе с пожилыми

полковницами. Исчез и молодой драматург-неудачник, ненавидящий, сомневающийся, превратившись в безнадежно сытого и процветающего сценариста, который часто меняет жен и любовниц...

В то же время действие всех трех повестей происходит на фоне бурно и необратимо меняющейся столицы наших дней: «А Москва катит все дальше, через линию окружной, через овраги, поля, громоздит башни за башнями, каменные горы в миллионы горящих окон, вскрывает древние глины, вбивает туда исполинские цементные трубы, засыпает котлованы, сносит, возносит, заливает асфальтом, уничтожает без следа». Этой символической картиной завершается вся московская трилогия.

Мы видим, что «обмен» у Трифонова — это не только синоним моральных компромиссов, как трактовал данное понятие М. Синельников, но и всеобщее изменение. В финале первой повести, например, происходят «тройной обмен»: второпях, с судорожными усилиями «не опоздать» обменивается комната Ксении Федоровны; окончательно, необратимо меняется сам Дмитриев, который даже внешне становится другим человеком: «...как-то сразу сдал, посерел. Еще не старик, но уже пожилой, с обмякшими щечками дяденька»; и, наконец, бесспоротно изменяется дачное Павлиново, где прошли детство и юность героя. Последние слова повести — «Дмитриевскую дачу в Павлинове, так же, как все окружающие дачи, недавно снесли и построили там стадион «Буревестник» и гостиницу для спортсменов, и Лора со своим Феликсом переехала в Зюзино, в девятиэтажный дом».

Какова связь «большого» и «малого» обменов, изменения общего облика Москвы и духовного изменения внутренне «перерождающихся» героев? Сами персонажи ощущают эту связь и даже склонны искать в ней оправдания своих «моральных компромиссов». Дмитриев, ошеломленный беспощадностью плана своей жены и, главное, той легкостью, с которой он сам решился на его осуществление, пытается что-то объяснить себе, что-то понять, «продумать что-то важное, последнее»; и он находит ответ и иллюзию оправдания в символической картине неузнаваемо изменившегося мира его детства. «И если это происходит со всем — даже с берегом, с рекой и с травой, — значит, может быть, это естественно и так и

должно быть?» Один из персонажей «Предварительных итогов» также связывает свою жизненную драму с могучей работой времени, перед которой бессилён не только он, слабый человек: «Не надо было жить вместе двадцать лет... шутка ли! За двадцать лет редуют леса, оскудевает почва. Самый лучший дом требует ремонта. Турбины выходят из строя. А каких гигантских успехов достигает наука за двадцать лет, страшно подумать! Происходят перевороты во всех областях научных знаний. Перестраиваются города. Октябрьская площадь, рядом с которой мы жили когда-то, совершенно изменила облик. Не говоря уж о том, что возникли новые африканские государства. Двадцать лет! Срок, не оставляющий надежд». И недалекая Ляля в упоении от своего первого успеха приписывает неожиданную удачу все той же «высшей» силе — изменению жизни под воздействием всемогущего времени: «Все вокруг продолжало меняться, и она менялась сама, она это чувствовала. Так и должно быть, ничего странного. Не нужно удивляться. Все, что ее окружало и было с нею связано, менялось, менялось неумолимо и ежесекундно, и люди, кажется, это чуяли, как птицы чуют перемену погоды».

Правы ли эти герои в своем ощущении? Их судьба действительно является частицей движения жизни и быта. Они и в самом деле испытывают давление объективных обстоятельств, над ними в самом деле «работает» время. Но они трижды не правы, пытаясь переложить на обстоятельства и время свою вину перед обществом и близкими людьми, перед своей совестью. Ссылаясь на стремительные изменения в жизни современного города, можно действительно внушить себе иллюзию такого оправдания — но только и л л ю з и ю. Время, казалось бы, все разрешает, все излечивает; но в том-то и драматизм трифоновского финала, что мы явственно чувствуем: это разрешение чисто внешнее, ложное, кажущееся. Прошлое исчезает из глаз мгновенно и бурно, как котлованы, вырытые на стройке, но на дне остаются живые, незавершенные драмы. И хотя внешне следы этих драм почти неразличимы, в душе человека они накапливаются, откладываются, как круги древесины, в конечном счете «обменивая» ее.

Формула «среда заела» вовсе не является для писателя всеразрешающей индульгенцией, как это утверждает В. Сахаров. Те

герои, о которых размышляет Ю. Трифонов, пассивны и покорны, они как бы предоставляют потоку жизни нести их по течению; между тем за каждый свой шаг, сделанный, казалось бы, «по инерции», они вынуждены отвечать и платить дорогой ценой, как за поступок. Не время, а сам Дмитриев оказывается виновен в том, что незаметно для себя обменял на покой и благополучие все самое ценное в себе, самого себя прежнего, свой духовный мир. Не «двадцать лет», изменяющие лицо большого мира, но сам Геннадий Сергеевич причина того, что он постепенно утратил главное в собственной душе, хватая то, что попроще, и откладывая серьезное на потом, на когда-нибудь; и оно ушло из его жизни, как теплый воздух из комнаты. Ляля наслаждалась успехом и новым для нее ощущением «богатой женщины», она «отключила» нравственное чувство, отдалась течению и спохватилась лишь на краю полного нравственного падения, утратив безвозвратно большое и важное — свою любовь. Всеобщее изменение, казалось бы, прикрывает подобную драму, делает ее незаметной; но все равно «человек за все платит сам», за каждое отступление от собственных моральных устоев. То, что писали о вражде Трифонова к нравственным компромиссам, о строгости его морального суда над героями, во многом верно — ссылака на время не облегчает их вины, не оправдывает, ведь даже мерзавец Смолянов бормочет о человеке, которого затравил: «Только я не причастен. Время его вышло, поняла? Запутался он, не годится, отстал безнадежно... От времени, моя милая!»

Вместе с тем моральный пафос этих произведений сложнее, чем «бой с компромиссом», нравственный приговор или разоблачение внутренних уверток героев не является единственной целью автора. Обвиняя своих героев, Трифонов в то же время презирает их. «Презрение — это глупость. Не нужно никого презирать», — говорит дед Дмитриева в «Обмене»; слова эти немаловажны для самого автора. Его персонажи, ничем не замечательные и во многом виновные перед собой и другими, для него люди, заслуживающие не только строгого суда, но и интереса, сочувствия, сострадания.

Такое отношение писателя к героям не только признак широты его гуманистических принципов. Все дело в том, что его подход к жизни не столько публицистиче-

ский и нравственный, сколько, так сказать, социально-исторический: его герои, их беды, сама их вина — это для него часть нашей жизни, часть общего потока, движения ее, которое так глубоко волнует писателя.

Драма этих героев Ю. Трифонова социально конкретна, она связывается с определенным историческим отрезком времени; главные события повестей «замкнуты» между послевоенными и нашими днями. Его герои — бывшие трифоновские «студенты». Исходный момент их биографий — полугодовалая, но праздничная Москва 1945—1946 годов; так же, как Вадим и Сергей, шли по ее мирным, радостным, вновь обретенным улицам демобилизованные Геннадий Сергеевич и Гриша Ребров. Все было прекрасным и светлым впереди, самые честолюбивые мечты казались реальными, и они были связаны со служением обществу, людям, с творчеством, серьезным, глубоким. Дмитриев «после войны... рисовал как помещанный. Не расставался с альбомом». О поэтической славе мечтал Геннадий Сергеевич; рвется на сцену Ляля; яркие, зовущие образы русской истории встают перед глазами Реброва... Но у этих людей (в отличие от многих других их сверстников) не вышло, не получилось, изошло, улетучилось. Кто виноват? Конечно, прежде всего они сами: не хватило таланта, воли и прежде всего нравственной стойкости, готовности бороться с обстоятельствами за главное в себе. Вспомним, однако, «Долгое прощание». Кажется, недавнее прошлое, но как фантазмагорична эта история смоляновского возвышения, когда полуграмотный пройдоха становится столпом театральной жизни, решает судьбы талантливых людей, более того — чуть ли не открыто нанимает литературных «рабов», издавая их труды под своим именем! Невольно втянутые в эту безобразную историю, Ребров и Ляля теряют не только чувство, связывающее их, но и что-то глубокое, делающее их творческими личностями. Так или иначе, конечно «усреднение» трифоновских героев, духовного содержания — тоже часть сложного движения культурной жизни последних десятилетий, одна из его незаметных и косвенных потерь...

Не найдя себя в труде, в творчестве, герои ищут самоутверждения в частной жизни, в семье, в «близости близких». «Можно болеть, можно всю жизнь делать работу не по душе, но нужно ощущать себя человеком. Для этого необходимо единствен-

ное — атмосфера простой человечности. Простой, как арифметика. Никто не может выработать это отношение сам, автономно, оно возникает от других, от близких». Так говорит Геннадий Сергеевич. Как пушкинский Евгений из «Медного всадника», он мечтает устроить себе своими руками «приют смиренный и простой», чтобы в кругу родных людей чувствовать себя человеком, способным «совершать поступки». Есть что-то трогательное в привязанности наших новоявленных Евгениев к близким, к семье; это теперь пафос, поэзия их бытия, главное в их жизни. Дмитриев год за годом живет как в чаду: «...ничем не мог жить, никого не видел, кроме Лены»; и позднее, когда прозрел и понял недостатки своей жены, по-прежнему предан ей: «...людей не любят не за их пороки, а любят не за их добродетели!» Геннадий Сергеевич глубоко, болезненно привязан к эгоистичным существам, живущим рядом с ним, использующим его, как недвижимость; он знает и понимает все, но в глубине души все-таки надеется связать разорванное, снова обрести гармонию, душевную целостность, уважение к себе — все то, что делает человека личностью.

Напрасные мечты! Герои Трифонова уходят в быт, чтобы избежать трудностей и сложностей большой жизни, большого творчества, с которыми не сладили, не совладали, но здесь, в этой скромной обыденности, они сталкиваются все с теми же проблемами времени, еще более сложными и запутанными. Современный быт в изображении Трифонова оказывается драматической формой движения. Каждый шаг, каждый поступок в нашей усложнившейся будничности связан с целым комплексом человеческих отношений, требует трудного, ответственного выбора. Вот у наших героев: обмен квартиры — драма, домработница в доме — драма, устройство сына в институт — драма... И каждая угрожает именно самому ценному, «близости близких», тому, что составляет смысл их жизни. «Все натянулось и треснуло оттого, что внезапно напрягся быт», — говорит Геннадий Сергеевич; увеличившееся напряжение связано с меняющимися «материальными» факторами. Жизнь меняется на глазах: вчера герой «Предварительных итогов» жил в коммунальной квартире, сегодня он с семьей — обладатель шестидесятиметрового кооперативного дворца... Растущий материальный достаток людей — отрадная черта на-

шего времени, но вот для Геннадия Сергеевича и его близких благосостояние оказалось серьезным нравственным испытанием, которого они не выдерживают.

Бурный рост потребления в советском обществе — не «благодетяние», но объективная необходимость, важное условие нашего социального и даже экономического развития; об этом говорилось на XXIV съезде КПСС. Социализм исключает потребление как самоцель; его закон — всестороннее развитие личности; вместе с тем речь идет об объективном общественном движении с присущими ему сложностями и противоречиями. Особое внимание, которое уделяется сегодня материальным сторонам жизни людей, не может не порождать порою известной «гипертрофии», оказывающей воздействие и на психологию людей, на то, что мы называем «ценностями». Еще лет десять назад вряд ли было бы возможно, чтобы герой пьесы, выходящий на сцену с требованием трехкомнатной квартиры и зарплаты в 280 рублей, не только не был бы уличен критиками в рвачестве, как, например, инженер Талмудовский, а, напротив, определен рядом критиков как «герой нашего времени». Но ведь именно так произошло с инженером Чешковым в пьесе И. Дворецкого «Человек со стороны!» Видимо, неверно считать «потребительскую психологию» чем-то неизменным.

Основа большинства конфликтов в московской трилогии Трифонова — столкновение «потребительской» этики с традиционными моральными устоями тех, кому присущи бескорыстие и презрение к материальным благам. Такое отношение к жизни тоже не лишено противоречий и слабостей; во всяком случае, свою практическую беспомощность, свое «неумение жить» представители семейства Дмитриевых уже не считают таким бесспорным преимуществом. «Неумеющие жить», — пишет Трифонов, — при долгом совместном житье-бытье начинают немного тяготить друг друга — как раз этим своим благородным неумением, которым втайне гордятся». Повышение общественного авторитета реального, практического мышления — черта сегодняшнего дня, и Ю. Трифонов обращает внимание на реальные противоречия, связанные с данным явлением. Чертой «настоящего мужчины» называет Трифонов практическую цепкость Лены Дмитриевой, но та же Лена объявляет «ханжеством» все моральные преграды, стоящие на пути к благополучию ее

и ее семьи. Дмитриев не случайно воспринимает «олукьянивание» как давление извне; не вечным «мещанством», а современными противоречиями порождены и «умеющая жить» Лариса, и наглый Кирка, оценивающий близких по стоимости подарков, которые они приносят ему на день рождения, и прочие «бесы» потребления во главе с последовательным индивидуалистом Гартвигом, который духовно потребляет людей как источник информации, а действительность — как сферу для проявления различных «потенций» своей незаурядной личности. Писатель словно сигнализирует: все это нещучная угроза для нравственного мира человека, для «близости близких людей».

Семейные отношения — одна из важнейших сторон социальной жизни, и здесь стремительно нарастают сложные изменения. Борьба за существование уже не в такой мере сплачивает миниатюрный социальный организм; наследство, имущественные отношения, власть земли, «династические» соображения — все это в социалистическом обществе не может иметь ведущего значения. Отношения внутри семьи все в большей мере зависят от духовной близости, глубины взаимопонимания, а это весьма тонкие и сложные вещи, требующие особого дарования. Геннадий Сергеевич с болью чувствует ослабление «объективных» связей, соединяющих его с женой. «Современный брак, — размышляет он, — нежнейшая организация. Идея легкой разлуки — попробовать все сначала, пока еще не поздно, — постоянно витает в воздухе... За двадцать лет, что я прожил с Ритой, не было, наверно, ни одной недели, чтобы я так или иначе не касался мыслями этой темы. Не всегда прорезывалось на поверхность, но где-то внутри, как догадка и тайное утешение, существовало всегда... Сознание возможности в любую минуту — отрадно, и оно должно быть, чтобы легче дышалось... Идея разлуки сидит погаенно в каждом, как дремлющая бацилла. Не надо спорить, это истина. Загляните в себя». У него с Ритой подписан своего рода «кодекс взаимной независимости». Принципы свободного брака, осуществить которые стремились Лопухов и Вера Павловна. Но приносит ли они счастье героям? Ведь Геннадий Сергеевич действительно любит Риту — и чувствует, как та постепенно все дальше уходит от него, замыкаясь в своей «независимости».

Глубокие перемены в обоих сделали их чужими друг другу людьми. Что связывает пожилого переводчика, усталого и больного, с еще красивой, «длинноногой» сорокалетней женщиной? Сын? Но он одинаково чужд обоим. Общность интересов, духовной жизни? Ее нет, как нет даже «замены счастью» — спасительной привычки заботиться друг о друге: Рита не любит, не умеет заниматься домашним хозяйством. Все, что заполняло жизнь прежней семьи, у этих ушло, отсутствует, а нового не народилось; нет общего поля деятельности, общих творческих, духовных исканий, как нет их вообще в жизни каждого из них. Что же осталось? Память о прежней Рите, которая работала, нянчила Кирку и еще была активной общественницей и которая так мало похожа на нынешнюю, увлекающуюся спортом, иконами и божественными писаниями разного рода «духовных отцов». Да еще деньги Геннадия Сергеевича — деньги, которые даже не окружены священным ореолом, как в буржуазном мире, которые внешне презираются — вместе с занятием мужа, — но без которых все же нельзя...

Все эти и другие проблемы существуют в московской трилогии слитно, нерасчлененно, они как бы взвешены в обобщенном чувстве значительности и недостаточной «познанности» объективных процессов, захвативших нашу обыкновенную, будничную жизнь. Нельзя, на мой взгляд, толковать трифоновские вещи в духе литературы 30-х годов — как призыв уйти от мелкого «быта» в «мир, открытый настежь бешенству ветров». Трифонов говорит: отсутствие гражданского, сознательного социального деяния — серьезное бедствие этих людей, источник страданий и внутренней пустоты. Но преодоление этого противоречия путем простого «географического перемещения» из «мира» в «мир», с точки зрения писателя, — бесплодная иллюзия. В миниатюре «Путешествие», написанной одновременно с «Обменом», герой, по роду деятельности литератор, мучительно отягощен драматизмом будней: «...мне почудилось, что я задыхаюсь, что мой мозг обескровел, что, если я не вырвусь завтра же из этой клетки, из сухой штукатурки, обоев с абстрактным рисунком, полированных книжных полок, переплетов, творожников, жидкого чая, газет, разговоров, звонков, квитанций, болезней, обид, надежд, усталости, милых лиц — я умру». Ему кажется,

что его может спасти только дальнейшее путешествие. Отчего же поездка все-таки не состоялась? Героем овладели сомнения: уехать? но зачем? В поисках конфликтов, страстей, характеров, драм? Зачем ехать в далекую Сибирь или Кондопогу, когда не менее интересно в Курске или Липецке? Зачем ехать даже в Липецк или Курск, если и Подмосковье плохо знакомо, да и в самой Москве есть улицы и районы, где никогда не бывал?.. Начинается «путешествие наоборот», возвращение в ближнее, хорошо знакомое и в то же время неизвестное. Вот в садике напротив дома, где живет писатель, тесно, по пять-шесть человек в ряд, сидят пенсионеры, подставив солнцу лица; «Я не знал никого из них». Незнакомые люди за стеной играют на рояле, жарят навагу. Наконец, «в зеркале мелькнуло на мгновение серое, чужое лицо: я подумал о том, как я мало себя знаю».

Круг замкнулся, герой пришел к самому себе. От себя пытался он уйти, стремясь вырваться из привычных будней, от собственной творческой немощи. Да, быть труден, он мешает привычной проясненности нравственных и эстетических критериев. Легко ли узнать негодя в усталом и обиженном немолодом человеке, который живет с безнадежно больной дочкой и полусумасшедшей женой? Как бы хотелось сбросить эту все усложняющую «стаю сердце раздиравших мелочей», чтобы любовь была Любовью, герой — Героем, а мерзавец открыто, на всеобщее обозрение ощерил бы звериную пасть. Но этот путь Трифонов отвергает; «обыкновенное» нельзя обойти; лишь взвалив всю громадную тяжесть близкого и обиденного на душу и сердце, может художник пробиться к подлинной правде, подлинному добру и красоте. Иного пути писатель не видит, по крайней мере для себя.

Но отчего эти герои почти никогда не уходят из привычной и тягостной жизни, хлопнув дверью? Исключение представляет разве что Григорий Ребров, который умчался в далекую Сибирь от своей непутевой Ляли и от всяческих «добрототов», но я думаю, что не победой, а поражением, бегством был отъезд Григория: он все равно оставил гораздо больше, чем приобрел, недаром же в последующем благоденствии он вспоминает ту полосу своей жизни как лучшую, счастливейшую. Дело опять-таки не во внешнем «уходе»; уйти от жизни некуда, как и от себя самого.

Автор не может и не хочет разомкнуть кольцо будничности, в котором заключены судьбы и характеры персонажей. После отчаянной исповеди Геннадия Сергеевича о распавшейся семье, о людях, единственно близких ему и в то же время непреодолимо чужих, после этого, кажется, должен грянуть гром, страдание разрешится поступком, криком, мрачной патетикой... Но нет, внешне ничего не происходит. Герой примиряется с семьей, едет с нею на Рижское взморье. «Балтийский климат, как всегда, действовал целительно: я дышал глубоко и ровно, давление пришло в норму, и в конце нашего пребывания я даже достал ракетку и немного играл в теннис». В рассказе «Был летний полдень» героиня, старая женщина, возвращается спустя полвека ненадолго в места своей юности, встречается с престарелой подругой молодости; вся ее большая, неопишимо трудная жизнь проносится перед нею. Момент патетический, скорбный, высокий... Вот тут бы и закончить — на грозных, символических словах: «...коридор был темен и не имел конца». Но нет, конец рассказа сугубо прозаичен: «А в понедельник утром Ольга Робертовна стояла в очереди за молоком в «Гастрономе» и рассказывала одной знакомой женщине из соседнего подъезда, какая погода в Прибалтике: все пять дней почти сплошь дожди». Что же это — фатальная непобедимость жизненной прозы? Отчаянное «ничего не случилось», которое выкрикивает несчастная Кабирия после своей исступленной молитвы милосердной мадонне? Мне кажется, в основе художественной позиции Трифонова лежит нечто другое. В том-то и дело, что быть для писателя не фатум, не мрачная неизбежность, не враждебная «стихия»; это реальная обыкновенная жизнь, уйти от которой нельзя, да и не нужно уходить. Вся трудность в том, чтобы внутри нее быть и остаться человеком, способным к гражданскому мужеству, к поступкам, к действительному добру.

Подлинная реальность поступков, характеров, доброго деяния существует лишь в обыденности, в быте, в обыкновенной жизни — эту мысль стремится реализовать Трифонов; «нажимая» на нее, он полемически замыкает своих героев в кругу будничности. Писатель как бы намеренно «сузил» на время поле своего зрения и круг своих персонажей, сосредоточив внимание прежде всего на семейных, частных отно-

шениях современных людей. Ограниченность, односторонность? В какой-то степени да, безусловно. Но только не в плане малозначительности круга жизни, изображаемого здесь! Мир, где обменивают квартиры, глотают по ночам дибазол, ездят отдыхать на Юг по горячей путевке, бреются над старым, пожелтевшим, с отбитым краем умывальником, бегают в магазин, убирают дачу, ищут, где занять денег, выясняют отношения с женой и тещей, с мужем и свекровью, с невесткой и сыном,— этот мир, так хорошо знакомый каждому, на деле загадочен, драматически непознан...

И человек в быту у Трифонова не столь мелок и ничтожен, как это может показаться на первый взгляд. Быт — грозное испытание для человека. «Как хороши, как свежи были розы» — прекрасный образ, волнующий любого; но каждому ли покажется поэтичным и заманчивым запахом свежеекрашенного пола в только что отстроенной квартире, с которым связано у Дмитриева его воспоминание о Таниной любви? Герои здесь появляются перед нами, по давнему выражению Белинского, в домашних туфлях и халате, им, естественно, гораздо труднее завоевать расположение читателя. Несчастный муж и отец, «незадачливый переводчик», обвиняющий без жалости во всем самого себя, — таким предстает перед нами герой «Предварительных итогов»; и мы презираем его, в лучшем случае снисходительно жалеем. Но ведь автор мог «повернуть» нам своего героя совсем другой стороной! Он мог показать нам военную юность его, когда он был ранен под Ленинградом; что касается переводов, то у Геннадия Сергеевича есть положение в литературном мире, он, по собственному выражению, «и то, и это, пятое, десятое»; он имеет право гордиться своей профессией, своей принадлежностью к литературе, пусть не к «корифеям», но к ее скромным рядовым труженикам. И мы тогда скорее всего поверили бы ему и относились к нему с уважением. Советь его говорит, однако, другое; именно в душевном непокое, во внутренней неудовлетворенности своей внешне благополучной жизнью, в полноте саморазоблачения можно увидеть очень серьезное достоинство героя.

Толстая восьмидесятикилограммовая женщина, держащая в руках сумку «с хлебом, помидорами, бутылками кефира и туфлями

мальчишек, взятыми из починки», задышавшись, карабкается в окошко, бормоча «господи, господи...». Так начинается рассказ «В грибную осень»; и эта картина сразу же перерастает в трагическую, грозную, символически-обобщенную: «Хромая от острой боли в ступне, она бросилась к двери, ведущей в комнаты: кухня была Надю, печка не горела, возле печки на железном листе, прибитом к полу, валялись лучинки и куски полубогоревшей газеты, в следующей за кухней комнате в странной позе на полу, прислонившись к краю кушетки и запрокинув голову, сидела Антонина Васильевна. В ее глазах оставалась жизнь. Антонина Васильевна ждала Надю, чтоб умереть. Но Надя осознала это позже, а в тот миг, когда она увидела мать сидящей на полу, когда бросилась к ней, нагнувшись, упала на колени, обняла ее за плечи, закричала: «Мама, я здесь! Я сейчас!» — когда оглядывалась по сторонам незрячим взором, ища что-то, еще в тот миг не определенное сознанием, но смертельно нужное — лекарство, или стакан воды, или книжку с адресом доктора, живущего на 3-й линии, который уехал в Серпухов, господи, он же уехал позавчера в Серпухов! — она все делала, повинувшись какой-то темной, надземной силе, возникшей внезапно, как ураган, которая с этого мига овладела ею».

Я никак не могу согласиться, когда такую прозу называют «эмпирической», «описательной» (В. Сахаров)...

Все, что происходит в жизни Нади, высокое и низменное, прекрасное и уродливое: смерть матери, «ураганный ветер» скорби, охвативший душу дочери, и ночной телефон, и нелепые поминки, и дикая бестактность тети Фроси — все это происходит в самой обыкновенной будничности; и эта будничность нередко приобретает в произведениях Трифонова суровую одухотворенность, даже высоту. Волнует встреча, которую устраивают Ольге Робертовне, вдове старого революционера, в родном городе («Был летний полдень»). Волнует сама Ольга Робертовна, очень старая женщина, жизнь которой так же, как и жизнь Надиной матери, под конец замкнулась в семье, в отношениях с невесткой, внучкой и мужем внучки; но и внутри этого круга она сохранила характер, достоинство, ум, суровую справедливость к людям. Она не «обменялась», не потеряла

себя, несмотря на бесчисленные испытания.

В киноповести «Бесконечные игры» со всей остротой ставится проблема гражданского, социального поведения человека в нашей будничной повседневности. Спортивный журналист Сериков, герой этой повести, внешне тоже лишь песчинка в огромном потоке людей, текущем по московским улицам, его судьба очень обыкновенна, его личная жизнь «не сложилась», как и у знакомых нам уже персонажей. Но в отличие от них он способен к поступкам; и его попытки спасти ребенка, и решение вступить за товарища по редакции — поступки (хотя и лишенные героического ореола). Неверно, что «бытовая проза» несомнима с положительными, даже героическими характерами: хоть разные вещи Трифонова и написаны в разных ключах, тем не менее у романов «Утоление жажды» и «Нетерпение», у «московских повестей» действительно один автор, пылливо следящий за драматической связью совести и воли человека с потоком времени, несущим его в себе.

Несомненно, что по отношению к современной действительности мир, ограниченный «бытом», «находится в односторонности» (выражение В. Г. Белинского). Но несомненно и то, что внутри этой односторонности заключены реальные, жизненные проблемы и характеры. Серьезность и значительность подобной прозы неоспоримы, как неоспорима ее связь с традициями русской и советской классики.

К быту, к личной, частной жизни обитателя современного города современные писатели обращаются все чаще. Их книги можно назвать «бытовой» прозой и драматургией 70-х годов. В художественном отношении здесь не все равноценно. Однако источник поверхностности, мелкотемья — всего того, что обычно называют «бытовщиной», — кроется вовсе не в социологии, не в исследовании среды; скорее можно говорить о недостаточном развитии этого начала у некоторых писателей. Отдельные вещи, например, явно заданны, тезисны; их герои не столько личности, сколько заранее продуманные «варианты» интересующей автора проблемы; исследование быта превращается в «бытовую публицистику». Так обстоит дело, например, в проблемно острой пьесе Э. Фоянковой «...И счастья в личной жизни», опубликованной в журнале «Си-

бирские огни». Главный же источник художественных неудач в решении бытовой темы сегодня связан с поспешностью оценок, с поверхностной морализацией писателя по поводу замеченных им серьезных, противоречивых явлений. А. Марченко не без основания упрекала в этом И. Велембовскую, которая все беды своей Ани Доброхотовой в повести «Сладкая женщина» стремится объяснить как наказание за ее эгоизм и бессердечие.

Но ведь морализация и исследование полностью противоположны друг другу! Главная сила бытовых произведений именно в их исследовательском пафосе. Их авторам удалось, правда с различной степенью художественной глубины, открыть и запечатлеть новые, непознанные явления современной общественной жизни.

В критике подвергались сомнению не только художественные, но и социально-проблемные достоинства бытовой прозы. Так, Ф. Кузнецов в статье «Человек „естественный“ и общественный», опубликованной в журнале «Литературное обозрение», упрекал авторов современных «бытовых» произведений «в ограниченности сектора наблюдения». По его мнению, первооснова человеческой природы закладывается в сфере трудовой и гражданской; впоследствии они преломляются и в личной жизни человека. «Следует по-настоящему понять... взаимоотношения людей в их общей трудовой деятельности как раз и становятся сущностью человека; они становятся его внутренней природой — не механически, конечно, но через сложнейшую диалектику его души, через разум и чувства, идейный и психологический «слои» сознания...» Именно эту связь, по мнению критика, должны показать писатели; глубокий психологический анализ здесь ничем не заменим. Вместо этого порой некоторые авторы вносят неясность, «затуманивают» связь труда и быта; Чижегов в повести Д. Гранина «Дождь в чужом городе» — эгоист в любви и отличный инженер. Как это может быть? — удивляется Ф. Кузнецов, «совесть у человека одна, и она равно проявляет себя и в отношении к делу, и в отношении к женщине, и в работе, и в любви».

Ф. Кузнецов, несомненно, прав, подчеркивая глубокую взаимосвязь всех сторон бытия человека в обществе, требуя многосторонности и широты в психологическом раскрытии характера современника. Вызы-

ваает возражение, однако, то, что в его концепции априорно решается характер этой многосторонности: отношения, возникающие в труде, всегда, в каждом данном случае являются основой человеческого характера. Здесь сказывается та же инерция пренебрежения к быту, частной и личной жизни человека, нормативное отношение к ней как к чему-то изначально вторичному и второстепенному. В сущности, социальными оказываются только трудовые и гражданские связи, в которые вступает человек: личное же социально постольку, поскольку отражает и преломляет эти свойства. Вне такой прямой связи личное — не что иное, как «биологическое», «естественное», связанное с природной основой человека.

С этим никак нельзя согласиться. «Личное» — это тоже социальная сфера жизни, причем сфера особая, выполняющая в обществе свою собственную функцию. Более того, именно на современном этапе нашего социального развития проблемы, возникающие в этой сфере, особенно значительны для общества в целом.

«Личное», «быт» современные социологи отождествляют с проблемой свободного времени. К. Маркс же, как известно, говорил о «свободном времени» как о специфическом факторе общественной жизни, принципиально отличном от времени, занятого производительным трудом. Это не просто продолжение производства и дополнение к нему, способ воспроизводства рабочей силы для труда; это великое богатство для общества, ибо в нем происходит развитие, обогащение личности. В коммунистическом обществе «настоящее богатство — такое время, которое не поглощается непосредственно производительным трудом, а остается свободным для удовольствий, для досуга, в результате чего откроется простор для свободной деятельности и развития». В этой сфере происходит качественное преобразование человека. «Свободное время — представляющее собой как досуг, так и время для более возвышенной деятельности, — разумеется, превращает того, кто им обладает, в иного субъекта, и в качестве этого иного субъекта он и вступает затем в непосредственный процесс производства». Как видим, Маркс предполагает социальные связи и иного направления по сравнению с теми, о которых говорилось в статье «Человек „естественный“ и общественный».

Удельный вес свободного времени и тем самым свободной от производства личной сферы человеческой жизнедеятельности, включающей в себя «удовольствия», «досуг», потребление всяческих жизненных благ и т. д., за последние годы резко возрос в нашем обществе. И это необходимый фактор для развития всех сторон социальной жизни, в том числе — и, может быть, даже прежде всего — экономики, производства. Ибо дальнейший наш экономический прогресс все в большей мере определяется культурным, духовным, нравственным развитием личности производителя; а оно то, как писал Маркс, в значительной мере происходит в той сфере, которую мы не так давно презрительно называли «бытом».

Современная бытовая проза фиксирует, пытается исследовать возросший драматизм и напряженность «личной» жизни современного рядового обитателя городских кварталов. И главное здесь — сложное переплетение нарастающего законного, социально необходимого стремления человека к счастью, личностному самоосуществлению с заметно усиливающейся потребительской этикой и психологией.

Мы долго в силу исторической необходимости отказывали себе очень во многом; мы привыкли выдвигать на первый план чувство обязанности, долга человека перед обществом, перед другими людьми; жить для других — нравственная норма, объективно существующая в людях. Сегодня к этому присоединяется новый долг — долг быть счастливым, осуществить свою личность. «Обязанность существует еще и перед самой собою, — размышляет залыгинская героиня, — перед своим собственным телом и душой... Чтобы самой собою быть». И это чувство не прихоть, не блажь, оно питается общей атмосферой нашей жизни, более того — реальными потребностями и целями общественного, даже экономического движения. Но здесь возникают свои противоречия.

Героиня пьесы Э. Фояковой «...И счастья в личной жизни» сравнивает свое полугодовое военное детство с нынешней вполне благополучной и нормальной семейной жизнью, дополняющей интересную и любимую работу. «Живем мы много лучше, чем жились нашим родителям. Не сравнить даже!» — говорит она. Но что-то ценное ушло у нее вместе с коммунальными коммунатками, бедной одеждой, недоеданием — живая радость родственной близости,

что ли? «Были милые домашние традиции, причуды, фантазии, игры... Где они?.. Эгоисты мы с тобой оба, вот что!.. Мы славные, симпатичные компанейские эгоисты. В сущности, мы даже не умеем любить своих друзей. Мы, разумеется, не оставим их в беде, подставим плечо. Это — есть. Это — да. Но я говорю о чувстве... Ведь мы же их не любим — тепло, нежно, грустно, как положено любить любимое... Мы плохо любим своего ребенка. Хорошо мы любим только свою работу. Это у нас в крови». И этот изъян, пустоту, ощущаемую в себе, женщина внезапно связывает с тем равномерным и таким схожим благополучием, которое окружает их и всех людей, живущих вокруг. «Сереженька! Милый! Родной! Мне плохо... Страшно... — говорит она мужу. — Мы тоже живем с тобой... как в кино! Квартира, торшеры, разносолы, на юг ездим, за границу... Платьев у меня — шкаф ломится!.. (Почти истерически.) В театры ходим! Телевизор — две программы! Лучшие книги читаем! Сына английскому учим! Сами — супруги-друзья! (Плачет у Сергея на плече.)»

Слезы эти могут показаться по меньшей мере странными; несчастье — и благополучие, во всех отношениях хорошая жизнь — и недовольство ею и собой. Не есть ли это то, что называется «с жиру беситься»? Не подражание ли это страданиям потребителя, живущего в буржуазном мире? Но ведь условия для счастья еще не есть само счастье; его осуществление прежде всего дело самого человека, личности. Общий рост материальных и духовных благ не просто облегчает бытие, но и увеличивает нравственную нагрузку на человека, «напрягая» его личную жизнь; в нем просыпается неудовлетворенность, стремление к лучшему. Где пролегал та зловещая черта, когда и у нас такое стремление, вместо того чтобы соединять людей, может кого-то из них разъединять, порождая мрачный «обмен» человеческой близости на потребление всяческого рода благ и наслаждений, то есть в конечном счете счастья на несчастье?

Переход за эту черту как раз и стал темой большинства бытовых произведений. Как стремится к своему счастью Ирина Викторовна Мансурова! Почувствовав пустоту в своей жизни, она не надеется на случай, она сама хочет быть кузнецом своей судьбы, она нисколько не сомневается в своем праве, даже обязанности сделать это. Но счастья не получается; его заменя-

ет «удовольствие», оборачивающееся несчастьем.

В то время как некоторые публицисты (например, Б. Каченовский, Г. Радов на страницах «Литературной газеты») выражают сомнение в том, что в нашем обществе существует проблема потребления и потребительства, писатели настойчиво показывают, как потребительская психология невольно прокрадывается в самые интимные, в самые личные отношения между людьми, разрушая «близость близких людей» — основу человеческого счастья. Циническая погоня за своим «интересом» не дает радости героям крутилинской «Пустошели», порождая в них лишь тоску и душевную пустоту.

Резкая активизация личности в борьбе за осуществление своего счастья значительно осложняет отношения в семье, в любви, вообще в интимных отношениях людей. И писатели в меру своих сил и таланта исследуют сложные переплетения самых различных тенденций, намечающихся в таких отношениях.

Рост материального благосостояния, «технизация» быта как следствие НТР — все оказывает активное воздействие на семейные отношения. Осуществляется важнейший принцип, определенный В. И. Лениным: свобода любви от материальных расчетов. Соображения зависимости или престижа перестают удерживать женщину на пути к соединению с любимым человеком; она не желает поддерживать отношения с тем, кто ей стал чужим, ради «сохранения семьи». «Люди должны быть счастливы. Это же так элементарно. Счастливы. Или нет, ты считаешь, не должны? Почему вы так боитесь, так прямо шарахаетесь от счастья?» — говорит дочь Анны Георгиевны, героини пьесы А. Гребнева «Из жизни деловой женщины», опубликованной в журнале «Театр». Она прогоняет мужа, молодого, красивого, любящего ее и еще к тому же «почти кандидата наук», сходится с немолодым женатым человеком...

Все чаще встречаются ситуации, когда на грани распада оказывается совершенно благополучная, во всех отношениях «образцовая» семья (например, в пьесе Э. Фоняковой, в повести В. Тублина «Доказательства»). Понятия «долг», «обязанность» все более отступают перед «правом на счастье».

Героиня рассказа Л. Жуховицкого «Летайте самолетами» говорит отцу своего ребенка: «Не надо замуж, не надо денег, не

надо моральной поддержки сыну. Проживет. Неприятно, конечно,— у всех папа с мамой, а у него мать-одиночка. Что же, будет бедней других». Женщина по собственной воле и даже инициативе избирает судьбу матери-одиночки; ситуация существенная и даже типичная, учитывая высокий процент «неполных семей» в современном обществе. И это ведь уже не следствие военного времени! Современная литература все более отчетливо начинает рисовать женщину-«мятежницу», протестующую против домашней кабалы. «Семья, Захар, к сожалению, ничего не дает,— говорит Щеголева в пьесе И. Дворецкого «Человек со стороны».— Это я говорю не потому, что у меня была плохая семья. У меня, по общему признанию, была идеально благополучная семья. Благополучнейшая! Ребенок— да, любимый— да, но не семья. Семья больше обкрадывает, чем дает. Семья— это просто для наведения порядка в бедном человеческом обществе». Еще жестче на эту тему высказывается Рита из повести М. Глушко «Ночной троллейбус». Она бунтует прежде всего против фактического неравноправия мужа и жены в быту: «Только непосвященным кажется, что муж и жена всегда вместе. На деле выглядит так: вечером он заваливается с книгой, а она готовит, стирает, штопает... Обязывает. Пол обязывает, понимаешь! Вот эта паршивая юбка!.. Она обязывает обслуживать! Тебя манит к столу закончить интересную работу, статью. У тебя начата диссертация. Или ты на все лето хочешь уйти с поисковой группой. Кому до этого дело? Ты обязана жертвовать. Причем самым любимым и интересным... Я знаю умных, талантливых женщин, которых семья превратила в поденщицу. Съела их талант... С борщом и котлетами... И получается: люди женятся, чтобы не обедать в столовых, не носить в стирку белье, чтобы иметь дома кухарок и прачек. А я не хочу!» И добавляет: «Все равно семья— пережиток. Все равно когда-нибудь женщины взорвут ее изнутри». И как бы осуществляя этот принцип, женщина «уже на равных» с мужчиной вступает с ним в кратковременную, добровольную, бескорыстную связь (как Кира Андреевна у Гранина), становится в любви «хорошим парнем» (как залыгинская Мансурова).

Что ж, может быть, речь идет о положительном явлении социального развития? Ю. Рюриков в популярной книге «Три влечения» рассуждает, что в будущем семья

в нынешней форме ликвидируется, отпадет, уступив место другим, неизвестным нам «видам человеческого сожития». Однако современная литература (за исключением отдельных, очень нетипичных случаев открытой гедонистической проповеди, о которых писал Ф. Кузнецов) иначе относится к этой проблеме; она буквально бьет тревогу, ибо «свобода от семьи» и традиционных отношений, в ней сложившихся (супружеская верность, ответственность, материальная забота друг о друге и о детях), на деле означает «свободу... от серьезного в любви» (В. И. Ленин), «потребительское» разрушение человеческой близости, рост разобщенности, эгоизма в интимных отношениях между людьми, то есть в конечном счете приводит к несчастью в высоком, подлинно человеческом плане.

В то же время литература показывает, что «напряжение» традиционных связей— это не злая воля отдельных скверных личностей, а реальный факт, следствие каких-то объективных закономерностей общественного движения. Что же делать, как выйти из противоречия? Сегодня наши писатели не всегда отвечают на этот вопрос; они, по выражению А. Марченко, выдвигают больше вопросов, чем ответов, стремясь показать и выразить, так сказать, остроту движения. Само недовольство героев своей судьбой— существенный положительный фактор общественного развития. Не следует в каждом случае упрекать писателя за отсутствие разрешения конфликта; ведь иногда явления, о которых идет речь, в самой жизни определились недостаточно.

Такая тенденция в литературе ищет своего «противовеса» в виде несомненных, испытанных ценностей духовной жизни человека. Не случайно в самое последнее время появились произведения о рабочих, инженерах, ученых, авторы которых страстно, талантливо утверждают работу, дело как главную сферу «осуществления личности» (например, роман О. Куваева «Территория», повесть Д. Гранина «Эта странная жизнь...» и другие).

Интересно, однако, что именно Даниилу Гранину, писателю, имя которого уже давно связано с темой нравственного подвига ученого, изобретателя, инженера, беззаветно преданного своему делу, принадлежит повесть «Дождь в чужом городе», главная цель которой— показать, что «не единой работой жив человек», что осуществление личности происходит не только в сфере

«дела». Чижегов — типично гранинский герой, инженер не только по должности, но и по духу, по призванию. Все, что происходит в нем, находит отражение прежде всего в работе: ворвавшееся в его жизнь чувство пробудило творческую мысль, привело к открытию. Но это же чувство показало неистинность всей его прежней жизни. Поглощенный собой и своим делом, он был глух и равнодушен к людям самым близким и любящим его. «...казалось, что прежняя жизнь его проходила в смутности чувств. Сыновей своих он любил, но никогда не думал об этом, он помнил, как они болели, как пошли в школу, но своих чувств не помнил. Да и были ли они? Волновался ли он, когда Валя рожала? Наверное, он не мог вспомнить—как; все прошедшие события казались приглушенными, неосознанными. Его поражало, как же он жил до сих пор, не видя, не страдая, не жил, а словно дремал, словно все последние годы прошли в полудреме. Что-то он отвечал, ходил на работу, но самого его при этом почти не было». «Как же так получилось, что людям, которых он любил, он же испортил жизнь, сделал их несчастными? Он ведь не хотел этого и сделал это. Случайность? Но он знал, что это не случайность, что это вышло из его жизни, и вся прошлая жизнь стала лишь причиной того, что случилось, и в ней не осталось ничего, что могло бы его оправдать и чем можно было бы гордиться».

Здесь, мне кажется, можно найти объяснение тех «странностей» в поведении Чижегова, которые бросаются в глаза. Снисходительно-равнодушный к Кире в начале их романа, он становится невыносимо груб и жесток по отношению к ней, полюбив ее. В сущности, мучая Киру, Чижегов инстинктивно стремится избавиться от «неудобного», ненужного ему чувства, так осложнившего жизнь, переложить боль, связанную с ним, на другого человека. И Чижегов преуспевает, в короткий срок задушив в себе любовь.

Все складывается так, что подлинное тепло, пафос, порожденные любовью, достаются работе Чижегова, в ней он лечит

тоску, которая остается от пережитого чувства; в ней он преуспевает после лыковской истории, значительно продвигаясь по службе. Но это не дает «катарсиса», разрешения; чувствуется, что речь идет опять-таки о какой-то «замене» подлинной жизни и подлинной личности героя, которая так поздно ощутила себя и так быстро погибла в этой внезапной любви,— поистине «дождь в чужом городе»!

Все это не значит, конечно, что Д. Гранин ставит под сомнение то, что утверждает в других своих вещах,— высокий общечеловеческий нравственный смысл творческого труда. Цель его — не «скомпрометировать» дело, чего опасается Ф. Кузнецов, а подчеркнуть сложность и многогранность проблемы человеческого счастья. Здесь, мне кажется, лежит общая цель авторов тех произведений, о которых шла речь: показать, как не просто осуществить на деле счастье конкретного, «обыкновенного» человека, сколько новых, неисследованных сложностей и препятствий встает на пути к нему. Вообще исторически оправданный в нашей литературе нажим на «личное», «бытовое» вовсе не приводит в конечном счете к «ограниченности сектора наблюдения», наоборот,— его следствием является многосторонность в художественном исследовании современного человека.

О недостатках бытовой прозы у нас писали достаточно; мне хотелось подчеркнуть идейные и художественные достоинства произведений этого ряда. Их исследовательский пафос не холоден, не бездушен; он согрет живым сочувствием к рядовому человеку. Может быть, сильнее, чем другие, они передают чувство «неоткрытости» современных людей для искусства, их несовпадение с готовыми характерами и стереотипами. Сегодняшний быт не только «великое испытание» (Ю. Трифонов) для нравственности, это еще и серьезное испытание для писателя, к этой теме обратившегося.

Новосибирск.



Б. БРАЙНИНА



ГЕРОЙ КОНСТАНТИНА ФЕДИНА

Сотрудники Всесоюзного научно-исследовательского и проектно-конструкторского угольного института предложили изготавливать затяжки крепи подземных «туннелей» из специальной стеклоткани, обладающей большой прочностью... «Стеклянные» затяжки гораздо легче металлических, удобны в работе, не подвержены воздействию шахтных вод.

«Правда», 14 апреля 1974 года.

Все, как всегда, в рабочем порядке: стопы книг, аккуратно сложенные листы бумаги, карандаши и ручки, зеленая цвет лампы.

Федин показывает мне только что полученные переводы романа «Города и годы» из Испании, Италии, Японии, Вьетнама, Монголии¹. Он проводит ладонью по суперобложкам книг, будто пожимает руки зарубежным друзьям.

— «Городам и годам» исполнилось пятьдесят лет, — говорит он медленно, тихо, прислушиваясь к своим словам, — Роман мне близок и сейчас. Очень близок. Это то, с чего стоило начинать литературную жизнь.

— Не считаете ли вы, что критики, в том числе и я, несколько односторонне толковали образ Андрея Старцова: болезненный эгоцентризм, сердце с волей не в ладу, абстрактность этического кодекса, как повелось говорить тогда, мелкобуржуазного интеллигента? На самом деле этот главный герой много сложнее, трагичнее и благороднее, чем нам казалось раньше. Наивны и споры, типичен или нетипичен Андрей Старцов, представляет он или не представляет дореволюционную интеллигенцию. Не выдерживают критики и разговоры о Курте Ване как о «положительном» герое, представляющем

революционера-большевика, или другая крайность, бытующая теперь, — что это якобы жестокий фанатик, сектант. Мне думается, что Курт Ван — образ, в известной мере противопоставленный Андрею, он как бы символизирует время великое и беспощадное к ошибкам. Потому что борьба была беспощадной — не на жизнь, а на смерть. Нельзя медлить, отступить на шаг. Только «вперед и вверх», как написал в последнем своем письме Андрей Старцов.

— Та пора содержала таких людей, как Андрей Старцов. Они не были ни правилом, ни исключением. Сначала я хотел написать нечто автобиографическое — не получилось. Андрей Старцов — гибель судьбы, которая не смогла по ряду обстоятельств выразить себя в романнике революционной борьбы. Образ сложный и трагический.

— Так называемое «переосмысление» образа Старцова в оптимистическом плане, как это, в частности, сделано в недавно вышедшем кинофильме по мотивам «Городов и годов», по-моему, означает и «переосмысление» всей идейно-художественной концепции романа.

— Возможно, и критики и читатель в свете современности увидят и новые грани образа Старцова, те, которые раньше ускользали от внимания, но которые содержатся в романе, а не привнесены извне. В толкова-

¹ Роман «Города и годы» переведен на двадцать иностранных языков, на многих из них он издавался неоднократно.

нии Курта Вана, мне представляется, вы правы.

— Теперь разрешите об «автобиографичности». В статье «К роману «Города и годы» вы искали: «Вопрос об «автобиографичности» романа «Города и годы», прямо или косвенно затрагиваемый критикой, может быть верно понят при оговорке, что в широком смысле слова редкий роман не автобиографичен. Было бы заблуждением непременно искать в сюжетах романиста повторение его житейских испытаний. Но основной характеристик героев всегда будет служить его знание жизни. Он раздает свой жизненный опыт, восполняемый домыслом, героям романа, как композитор раздает голоса инструментам оркестра». Но в оркестре есть первая скрипка. Будет справедливым сказать, что она отдана Старцову?»

— Возможно. Возможно,— ответил Федин с интонацией несомненного утверждения.

Этот диалог с Фединым побудил меня превратить в действие давно созревшее желание написать о «Городах и годах» еще раз. На столе у меня новое, только что вышедшее издание романа («Художественная литература». 1974). Полвека — пятьдесят лет — они живы, их горячее дыхание рядом, здесь.

Смятенная психология главного героя Андрея Старцова обусловила, как писал Федин еще в 1951 году, «смятенную» композицию романа: сюжет начинается с конца, многогранное сплетение, расхождение сюжетных линий, повествование неожиданно обрывается лирико-публицистическими отступлениями, события, города и годы сменяют друг друга в динамике резких контрастов. В советской литературе, пожалуй, нет ни одного романа о гражданской войне, где бы так отчетливо слышалась «музыка революции» и в праздниках победы и в самом трудном, роковом, губительном. По «ветряному», порывистому, переменчивому ритму «Города и годы» своего рода «Двенадцать» в прозе, но с тем философско-психологическим и социально-историческим размахом, который доступен только эпосу.

Предвоенная Германия, империалистическая война 1914 года, Великая Октябрьская революция, революция в Германии, гражданская война, начало нэпа в первой главе «о годе, которым завершен роман», — такова в общих чертах событийная канва романа.

Начнем с конца, или, вернее, с начала, — с первой его главы.

1922 год. Петербург. В одном из восьми-десяти пяти окон дворового колодца появляется «незастегнутый», трепанный гражданин, заявляющий, что ему скучно, что сердце его грызет тоска. Он произносит патетико-истерическую речь, которая заканчивается так: «Добрейшие обыватели, почтенные граждане! Это верно, что на дворе двадцать второй год. Это верно, потому что мы кушаем сметану и простоквашу, учимся играть на домре и проветриваем перины. Это верно, потому что против перечисленных занятий, как ни мало они революционны, республика не возражает. И, почтенные граждане, не кажется ли вам...» На этом речь гражданина обрывается, а вскоре обрывается и его жизнь — жизнь Андрея Старцова. Обрывается при трагических обстоятельствах: Старцова убивает его друг Курт Ван.

Так и остается неотправленным последнее его письмо-исповедь к любимой женщине Мари Урбах.

Из письма становится очевидным, что перед нами совсем не иронический гражданин, «ушибленный» нэпом, а нежный, любящий, несчастный человек, сознающий, что с ним «неладно», напрасно и растерянно мечущийся в поисках хотя бы призрачной надежды на перемены в судьбе.

«Мари, моя маленькая, мне стало ясно одно. Помнишь, раньше мне многое представлялось ясным. Сейчас одно: мне нужно сесть с тобой рядом и рассказать все по порядку».

И он рассказывает, правда не «по порядку» — слишком смятенна, растерзана его душа. Андрей сравнивает себя с собачонкой, которая в жесткую вьюгу царапает передними лапами запертую дверь, а хозяин спит или не хочет ее пустить. «Я подошел к двери и увидел на притоптанном снегу красные следы собачьих лапок. Собачонка, царапая дверь, раскровенила себе лапы.

Она не могла понять, что вовсе не нужна на этом свете».

Потом он пишет, что «бросил царапать» после того, как увидел новую радиостанцию, выстроенную во время революции. «Она сначала обрушилась. Ее вывели снова. Негодными инструментами, закусив губы. Вывели. Волны ее достигают Америки.

— Знаешь, — сказал мне мой приятель, — мы теперь выстроим станцию, волны которой опояжут весь земной шар. Москва подает — Москва принимает. Вокруг света».

Андрей тянется к этим строителям, которые «вечно впереди и вверху». Идти в ногу с ними означает для него «стать в круг», принять непосредственное участие в самом главном, жизненно необходимом. И в то же время его пугает их смелость, их упрямая решительность, и они начинают казаться ему какими-то «румкорфовыми катушками».

Он просит понять его и простить, но не говорит, в чем состоит его вина. Не раскрывают объективное содержание вины и финальные слова этого горького письма: «Моя вина в том, что я не проволочный». Возможно, из его спутанного сознания куда-то уплыл сам факт вины.

В подглавке «Формула перехода» Курт Ван сообщает «комитету», что убил Старцова потому, что тот спас жизнь врагу революции, предал дело, которому служат он, Курт Ван, и его товарищи. «Комитет» единогласно постановил, что Ван поступил правильно, и перешел к очередным делам.

Обвинительная речь Курта была книжной, и говорил он без запинки, но все же «крупинки пота обметали его верхнюю губу».

Так в чем же конкретно состояла вина Андрея и перед любимой женщиной, е д и н с т в е н н о любимой до конца, и перед революционеркой, которой он тоже хотел отдать себя и служить до конца? Иными словами, как и при каких обстоятельствах свершились две вины, две измены — и любимой и революции?

«Как раскроются события, — пишет один из корреспондентов Федина вскоре после выхода романа э свет, — куда приведет автор своих персонажей, какими нитями взаимоотношений свяжет их и в какую зависимость поставит одну подробность от другой — мы не знаем до последних страниц. А между тем события развиваются в логической последовательности, действующие лица поставлены в жизненно понятные и жизненно убедительные ситуации, и ни одна деталь не кажется случайно вставленной, вне связи с десятками других»².

Попробуем развязать тугой сюжетный узел первой главы, раскрыть события в их логической последовательности.

Вторая встреча читателя со Старцовым происходит в том же Петербурге, но на три года раньше — в 1919-м. Он приехал в столицу из далекой провинции — из Семидола, терзаемый желанием немедленно, тут же отправиться на фронт.

² Архив К. А. Федина.

Вопреки внутреннему надлому, который сразу угадываешь в нем; он шагает широко и уверенно по холодному и голодному городу с мрачными, слепыми домами. Мокрый, пронизывающий ветер не пугает, а подбадривает его. Но это лишь вначале. Незащищенный, одинокий, он тонет, путается, как слепец, в противоречиях, фантастических контрастах, со всех сторон обступающих его.

Враг революции у ворот. Бесстрашные слова приказа:

ЗА ДЕЛО!
ВСЕ В РЯДЫ!
БЕЙТЕ ТРЕВОГУ, ВРАГ У ВОРОТ!

А через несколько шагов под хмурой лампочкой:

ЗАЙДИ И ПОСЛУШАЙ
СЛОВО ЕВАНГЕЛЬСКОЕ,
ЗОВЕМ ТЕБЯ. ВХОД
ДЛЯ ВСЕХ СВОБОДНЫЙ

И вскрики, всхлипывания тупых, жадных, перепуганных мещан. А тут еще голод, мечта о краюхе хлеба. Но самое страшное — угрызения совести: «Если бы можно было начать жизнь сначала... Раскатать клубок, дойти по нитке до проклятого часа и поступить по-другому. Совсем по-другому». Но клубок затягивается все туже и туже — «каждый день добивал его, как ветер птицу».

Угнетаемый смутой противоречий и муками совести, Андрей все же не теряет детски-незащищенной чистоты сердца и способности сострадать людям.

Он пожалел даже хозяина квартиры, где остановился, — действительного статского советника Щепова, тупого обывателя, человека-коненавистника и скрягу, и пошел вместо него рыть окопы: «Знаете что? Я пойду вместо вас. Я выспался... Ступайте. скажите, что вместо вас идет другой человек, помоложе...» И, замученный, голодный, борясь со сном, он ринулся в черноту ночи — в «черную прорву холода».

А с какой глубокой человечностью и сердечной нежностью отнесся он к Рите, когда она внезапно приехала к нему из Семидола и сообщила, что беременна. Он никогда не любил Риту (его сердце навсегда полонено любовью к немецкой девушке Мари Урбах) и сошелся с ней лишь потому, что не мог противостоять силе ее любви к нему. И это неумение противостоять, покорность обстоятельствам, как мы узнаем впоследствии, тоже оказались роковыми и в личном и в общественном плане.

Но в этом 1919-м Андрей пережил все же и счастливейшие минуты романтической самоотдачи революции. Вот шагает он с маленьким профессором в такт революционной песне, которой нет равной, а потом музыку этой песни, музыку революции, слышат из уст необыкновенного этого профессора:

«Через сто лет родиться и вдруг сказать: а я жил тогда, жил в те годы! И однажды, сырой, холодной ночью, в Петербурге, в Петрограде, в Питере, рыл окопы вот этими руками, шел по пустынной улице, по городу, который умирал и дрался, дрался и умирал, шел под руку с солдатом Красной Армии, вот этой, вот, вот — смотрите! — вот этой рукой держал вот так красноармейца! Ведь вы красноармеец?»

Услышав утвердительный ответ, профессор внезапно обхватил затылок Старцова и трижды прижался к его щеке дрожащими губами. И этот поцелуй смыл всю смуту, всю тяжесть «проклятого часа» с души Андрея:

«Прекрасно, легко, бесконечно легко! О, если бы сейчас испытать, пережить, почувствовать, что пришло в полях под Саньшином!

— Гони, гони, гони!»

А в полях под Саньшином (семидольский этап жизни Андрея, о котором автор расскажет позднее) он в п е р в ы е пережил несравнимое счастье романтической отваги, когда впереди всех ринулся в бой защищать революцию.

Чудом появившийся на его пути «окопный профессор» оказался соседом его по квартире. И когда смута снова охватила Андрея, он встречает профессора второй раз. Тот «потряс Андрею руку и изумился:

— Какие чудеса! Знаете, прямо не верится. Будто не живешь, а обретаешься в книге, в замечательной какой-то книге. День за днем, страница за страницей — от чуда к чуду... Понимаете, я целую неделю ходил вокруг Смольного. Ходил и смотрел, только смотрел, больше ничего... Как гимназист на свиданье — каждый день в определенный час. И — поверите ли? — хожу, смотрю на дом и чуть не задыхаюсь».

Спустя некоторое время, взвинченный очередной истерической, злобной выходкой хозяина квартиры Щепова, Андрей бежит к профессору... и не может достучаться — профессор был мертв.

Андрей возвращается с похорон с горьким чувством безнадежности. Профессор, «так нечаянно появившийся в его жизни,

унес из нее какую-то последнюю возможность сказать о самом важном. Что это было — самое важное, Андрей едва ли знал. Но у него было такое чувство, будто чья-то жестокая рука держала его за горло, и он понимал, что она не отпустит его, пока он не выскажет самого главного.

Он покинул кладбище после всех... был похож на больного, которого выкинули из лазарета, едва он успел переломить болезнь».

Нет, «окопный профессор» отнюдь не эпизодическая фигура, как полагают некоторые критики. Именно в нем, в его великом даре слушать «всем телом, всем сердцем, всем сознанием» музыку революции, и заключалась возможность другой судьбы Андрея. Но тут же возникает вопрос: если бы профессор роковым образом не ушел из жизни, сложилась бы тогда по-другому судьба Андрея?

Не будем спешить с ответом. И, предостерегая от этой поспешности, автор перекладывает сюжет романа в девятьсот сорок одиннадцатый год.

Андрей Старцов — совсем еще юноша в Германии накануне первой мировой войны и во время этой войны. Он дружит с талантливым немецким художником Куртом Ваном. Веселые, полные надежд молодые люди поклялись друг другу в вечной дружбе...

Вот прогуливаются они по эрлангенской ярмарке, и Курт обращает внимание Андрея на один из балаганов. «Курт восхищенно вскричал:

— Смотри, Андрей! Эти усатые, а то и седые люди, эти отцы, матери, может быть, деды и бабки — все это дети, которым игрушка дороже всего. Такой праздник... Такая наивная веселость...

— Подожди, — остановил его Андрей, — что это? Что это, Курт?

— Тир.

Андрей метнулся вперед, потом схватил Курта за руку, прижался всем телом к нему, словно ища прикрытия и защиты.

— Что с тобой, что ты?»

То был совсем не обычный тир: мишенью служили бутафорские головы казненных преступников, а в центре страшная синяя голова убийцы и бандита, «знаменитого истязателя женщин» Карла Эберсокса. К ней под общий гогот обращались панибратски, с фамильярной ласковостью: «Карлочка, Карлуша, Карлик».

Андреем овладел испуг, переходящий в ужас, он почти не реагировал на то, что для Курта было наивной веселостью, детской игрой взрослых, вызывающей восхищение. Больше того: он именно у Курта ищет «прикрытия и защиты». И, опомнившись от страха, говорит, заглядывая ему в глаза: «Во всяком случае, дети так не развлекаются».

Этот эпизод очень значителен для понимания тех трагических противоречий в характере Андрея, которые привели его к гибели и которые определились в нем задолго до революции: с одной стороны, доброта и чистота сердца, сильная, всепоглощающая эмоциональная реакция на жестокость, а с другой — полнейшая незащитность, болезненная изнеженность воли. Ему нужен сильный, волевой друг, потому он любит Курта, тянется к нему, ища у него защиты. А Курт, при всей своей эмоциональной глухоте (в данном эпизоде!), любит нежное сердце Андрея, дружит с ним вопреки механически-рассудочному заявлению, которое он сделает впоследствии, что дружба — «мистическое что-то».

Курту придется долго воспитывать себя эмоционально, чтобы стать революционером в полной мере, вернее, революция будет воспитывать его.

Трагические противоречия в характере Андрея отчасти являются, как можно предположить, результатом сугубо тепличного интеллигентского воспитания, а эмоциональная глухота Курта — следствие подспудных влияний сытой, тупой шовинистско-милитаристской среды, которую он так органически возненавидел потом, пройдя через войну и вдохнув живительный воздух русской революции. Но дружба с Куртом ничего хорошего не сулит Андрею в будущем, когда действие романа перебрется в далекий Семидол 1919 года.

Империалистическая война застигает Андрея в Германии, где его задержали как гражданского пленного. Это был тоже «проклятый час» его жизни. Он изнывал под игом агрессивной и тупой жестокости, которую принесла людям война. И совсем стало невыносимо ему после встречи с пленными слепыми итальянцами, взятыми под Триестом.

«Ноги волочили оборванные тяжелые опорки и шаркали по земле, почти не поднимаясь над ней. Люди раскачивались из стороны в сторону, кучились, натывались друг на друга. Руки их непрерывно вытя-

гивались, оцупывая пространство и упираясь в спины и локти ступавших впереди.

Андрею бросился в глаза один солдат. Его голова была повернута вбок и подергивалась на длинной шее, как на нитке. Он точно вслушивался в то, что приближалось к нему с каждым шагом. Лицо его было сведено в гримасу, рот стиснут так крепко, что челюстные мышцы выпячивались, как скулы. В черном круге ресниц стекленели остановившиеся глаза».

Андрей закричал от ужаса. И ему помешалась страшная голова Эберсокса, а по синему лицу убийцы текли слезы.

Так эпизод с тиром в начале главы о девятьсот четырнадцатом превратился в символ милитаристской жестокости, символ проклятия войне.

Едва ли перенес бы Андрей с его болезненной неспособностью внутренне противостоять злу, с крайней незащитностью своего внутреннего мира плен в военной Германии, если бы не пришла вдруг страстная, всепоглощающая любовь к Мари.

Мари, Мари, Мари — отныне она завладела всем его существом, стала единственным счастьем и единственным спасением.

Что же произошло в Семидоле?

Однажды московской ночью в комнатке Курта состоялся такой разговор:

«—Послушай. Меня назначают в глушь, эвакуировать пленных, образовать из них совет. Это в Семидоле — заброшенный, забытый угол. Поедешь со мной. Там хватит работы, нужной для всех. Поедешь?»

— С тобой — да, — ответил Андрей, не отрывая глаз от неподвижной точки где-то в пространстве, за окном.

— Прекрасно, добрая душа! Мы заживем с тобой великолепно, мы сдвинем горы! Брось смотреть на ворон! Смешной человек! Оставайся ночевать, чтобы лишний раз не слышать над головой зловещего карканья. Чудак!..»

Курт, как и тогда, на эрлангенской ярмарке, не понял, что происходит в душе Андрея. Ему и в голову не приходило, что глаза Андрея были устремлены в Бишофсберг, к Мари, которой перед отъездом на родину он дал обещание тут же вызвать ее к себе. Да и где ему было понять, когда сам он, по его же словам, никогда не испытывал любви к женщине, для него не было «чувств, недоступных пониманию». Не понял Курт и того, что не «карканье ворон»

устрашало Андрея, а то, что он, Андрей, рвется к революции, но теряется, путается, не умеет, не может, как сказал Федин, «выразить себя в романтике революционной борьбы».

Для Курта Андрей только добрая душа, смешной, милый чудак с «растерянной улыбкой», нежность к которому ему не хочется преодолеть.

И вот друзья в Семидоле. Но прежде чем подойти к «проклятому часу», необходимо сделать маленькое отступление. В 1914-м Андрей предпринял неудачный побег из плена. Ему спас жизнь молодой немецкий офицер маркграф фон цур Мюлен-Шенау, маньяк и оголтелый шовинист. по видимому, сразу угадав, что Андрей вполне безвредный человек для кайзеровской Германии. Склонный к позерству, Шенау разыграл перед Андреем роль благородного мецената, объяснив свою внезапную милость любовью к живописи Курта Вана, картины которого висели в его кабинете. Андрей поверил.

На самом деле Мюлен-Шенау скупал «на корню» картины молодого художника, и тот за поругание своего таланта платил ему острой ненавистью.

Впоследствии Шенау, оказавшись в плену в России и обитая неподалеку от Семидола, возглавляет контрреволюционный мятеж, по выражению Федина, играет роль «карликового фюрера» контрреволюции.

В тот день, когда было назначено собрание военнопленных, чтобы опознать бежавшего маркграфа, Андрей по дороге на собрание увидел девушку, и жестами, и походкой, и одеждой напомнившую ему Мари. «О, бывают минуты, когда воображение пронесит через наши головы несравненно больше воспоминаний, догадок, доводов и картин, чем те ничтожные обрывки и клочки мыслей, которые ослепили Андрея, пока он смотрел на девушку через дорогу. Наверно, в нем не оставалось и капли сомнения, когда он прорвал невидимую веревку, преградившую внезапно его путь, и бросился через грязную улицу».

Но то была ошибка. Он повернул назад и едва не сшиб с ног какого-то пленного. Это был Шенау. Но как он был жалок: одутловатое от голода и холода, плохо вымытое лицо, изжеванная походками и ненастьями шинель. Пленный, вздрагивая от холода, говорит жалкие слова, зывает о помощи, доказывая, что он безвреден, не-

счастен, что он глубоко раскаивается, что его следует спасти из элементарного человеколюбия, тем более что и он когда-то спас Андрея. А он, Андрей, как во сне, как в чаду слушает лживые, лицемерные слова... и видит Мари, далекий Бишофсберг, где он ее повстречал. И вдруг — «клянусь, я ни о чем не думаю больше, как только о возвращении в Бишофсберг...». Эти слова маркграфа окончательно решили судьбу Андрея: он идет на преступление, чтобы передать с маркграфом письмо любимой. Из папки Курта Вана он выкрал удостоверение на имя одного из военнопленных, отправляемых в Германию, и передал его Шенау. Конечно, не только любовь к Мари, но и бесконечная жалость, желание отплатить добром за добро сыграли свою роль.

Свершив преступление, Андрей очнулся от той «глухоты», когда он «слышит только то, что происходит внутри него», от гипноза бесконтрольных эмоций и сознает весь ужас, все проклятье сделанного им рокового шага. Он рвется на фронт, чтобы искупить свою вину, утихомирить воставшую совесть. Таким мы и встречаем его в Петербурге 1919 года.

Почему же дружба с Куртом не предостерегла Андрея от этого рокового шага?

Вспомним коварные слова пленного Шенау: «За что так ненавидит меня Курт Ван?» Эти слова попали в самую точку, потому что Андрей знал, что Курт не всегда справедлив в оценке людей и событий.

Предостережь Старпова мог бы воинствующий гуманист Семен Иванович Голосов, председатель семидольского исполкома. Образ этот, тесно связанный с русской жизнью того времени, как и образ «окопного профессора», чрезвычайно важен для раскрытия идейно-эстетической концепции романа.

Если у Курта Вана нет никаких особых примет и зрительно его трудно представить, то сразу видишь круглое лицо Голосова, его чуть стыдливый, неловкий смежок, добрую улыбку, которую он прячет в ладонь, когда сердится, его удивительную находчивость, смелость, энергию. Видишь и его рубаху, которая во время быстрой скачки на велосипеде выбивается из-под пояса и лгузырится красными шарами за спиной, его волосы, зачесанные ветром на затылок. Ему присуще все человеческое: и любовь к женщине, и счастливое ощущение при-

роды, и способность немедленно откликаться на чужое горе и радость. Для него революция — свое, родное, каждодневное дело.

Семен Иванович Голосов — «оратор и противник частной собственности» — в известном отношении ничем не отличен от любого семидольца, достигшего двадцати двух лет».

Если бы Андрей смог стать другом и товарищем председателя семидольского исполкома!..

Но дружба с Голосовым не состоялась: между ним и Андреем встала Рита, которую любил Голосов.

Итак, сюжетный узел развязан, история Андрея Старцова подходит к финалу. И теперь уже можно ответить на вопрос, что было бы, если бы...? Да, если бы чудесный «окопный профессор», представитель лучшей части дореволюционной интеллигенции, и молодой большевик Семен Голосов остались подде Андрея.

Они, возможно, могли бы повернуть судьбу Андрея иначе, но только до преступления, до «проклятого часа». Спасение «карликового фюрера» маркграфа Шенау путем предательства доверия друга было для Старцова нравственным самоубийством. По существу, Старцова убил не Курт Ван, а он сам себя убил.

Трагическую развязку ускорили два обстоятельства — внезапный приезд Мари, ее отчаянный крик и бегство при виде беременной Риты и вскоре после этого издательское письмо маркграфа, которое, к несчастью Андрея, прорвавшись через пограничные заставы, пришло по адресу. Теперь-то Андрей окончательно убедился, что спас жизнь не жалкому безвредному военнопленному, а заклятому, всегда опасному врагу революции, который к тому же в «благодарность» за спасение усладил себя жестокой издевкой не только над ним, Андреем, но и над Мари. Андрей почувствовал себя трижды предателем. Субъективно оставаясь верным и революции, и Курту, и Мари, объективно он предал и любимую женщину, и друга, и святое святых, пережитое под Саньшином.

После письма маркграфа и случилось то потемнение сознания, которое сам Андрей определил словами «со мной неладно». Прав был Курт, когда заявил «комитету», что Старцов находился «в состоянии нравственного упадка» и «его умственные силы были также расшатаны».

«Вот мы кончаем повесть о человеке, с тоскою ждавшем, чтобы жизнь приняла его. Мы оглядываемся на дорогу, по которой ступал он следом за жестокостью и любовью, на дорогу в крови и цветах. Он прошел ее, и на нем не осталось ни одного пятна крови, и он не раздавил ни одного цветка.

О, если бы он принял на себя хоть одно пятно и затоптал бы хоть один цветок! Может быть, тогда наша жалость к нему выросла бы до любви, и мы не дали бы ему погибнуть так мучительно и так ничтожно.

Но до последней минуты он не совершил ни одного поступка, а только ожидал, что ветер пригонит его к берегу, которого он хотел достичь.

Стекло не сваривается с железом. Об этом не нужно было бы говорить, если бы на исходе дорог не пришло сознание, что жалость заслуживает больше снисхождения, нежели жестокость (разрядка моя. — Б. Б.). Не потому ли мы оправдываем жестокость только тогда, когда она освящена состраданьем?

Но стекло не сваривается с железом, и мы не в силах изменить что-нибудь в судьбе Андрея».

Это лирическое стихотворение в прозе в финальной подглавке романа — своего рода поэтическое признание автора в любви и сострадании к своему герою. Да, сострадание выше жестокости и любовь выше ненависти. Ненависть только тогда бывает оправдана, когда она освящена любовью, рождена любовью.

Октябрьская революция свершилась во имя любви и сострадания: люди шли на смерть, на самые жестокие испытания, вели беспощадную борьбу в ночь, вьюгу, ветер, сшибающий с ног, а сами видели синее небо, солнце, омытую росой землю. Тогда-то и родилась потрясающая сердца романтика революции, неизвестная миром, магическая «музыка революции». И даже тот, кто, находясь не «в круге» борьбы, хоть на миг услышал ее, как Андрей под Саньшином, считал этот миг самым счастливым в своей жизни. И кто услышал ее хотя бы на миг, не безнадежен и рано или поздно, опираясь на руку сильных, обладающих абсолютным слухом, должен встать «в круг». Судьба Андрея оказалась трагической еще и потому, что единственный друг, оставшийся с ним, не обладал этим слухом и не смог уберечь его от рокового шага.

Курт Ван идейно и эмоционально не созрел еще до подлинной, коммунистической революционности, ему прежде всего не хватает той замечательной воинствующей доброты, которая так характерна для большевика Семена Голосова. Он внутренне прямолинеен, негибок, подчас механически рассудочен, и автор за это осуждает его. Но Курт по-настоящему предан революционному делу, в любой момент готов сложить голову за это дело. Андрей спас жизнь лютому врагу революции в тот момент, когда революция находилась в тяжелой опасности, когда «враг у ворот» и малейший промах оплачивался ценой крови многих людей. Рассказывая «комитету» об убийстве Андрея, Курт внешне был спокоен, слишком спокоен («румкорфова катушка!»). Но вспомним крупинки пота, которые обметали его верхнюю губу. У Федина каждый физический жест героя получает интенсивную, эмоциональную характеристику, и «крупинки пота» выдают Курта, то внутреннее напряжение, с каким он вырвал из сердца любовь к Андрею и заменил ее ненавистью.

При всем глубоком сострадании к Старцову, Федин оправдывает Курта. И роман о городах и годах в гражданскую войну и революцию заканчивается словами: «Курт сделал для Андрея все, что должен сделать

товарищ, друг, художник». А в послесловии «К роману «Города и годы» через двадцать семь лет после выхода романа в свет Федин снова оправдывает Курта в его суде над Андреем: «Он (Андрей. — Б. Б.) не смог подчинить личную жизнь суровым, но и великим задачам времени, и это ему отомстилось. Слабость привела его к преступлению».

Но судьба Старцова не уходит в прошлое. Пересекая границы романа и границы того времени, она и через полвека волнует сердца и умы. Я бы сказала, волнует с нарастающей силой, потому что тема воинствующего гуманизма у Федина глубока и перспективна, время работает на нее, превращая в вечно живую тему. «Стекло не сваривается с железом», и тогда, в гражданскую войну, это звучало трагедийно. Федин ничего не мог изменить в судьбе своего героя, хотя ему и хотелось изменить. Художественный такт, безошибочное нравственное чувство подсказали писателю трагическую судьбу Андрея Старцова, чтобы в будущем доброта и сердечная нежность не пропадали даром, чтобы прозрачная чистота стекла стала крепче железа, крепче стали. Такова перспектива революционной, коммунистической нравственности в романе «Города и годы».



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Г. Трефилова. «Там, среди солнца и печали...» — **Дм. Молдавский.** Путешествие в монгольскую степь.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Ю. Соколов. Концентрированный опыт партии. — **Вал. Гольцев.** «...выше всякой похвалы». — **С. Троицкий.** Рассекреченные документы.

Литература и искусство

«ТАМ, СРЕДЬ СОЛНЦА И ПЕЧАЛИ...»

Грант Матевосян. Похмелье. Повесть. Перевод с армянского **Анаит Баяндур.** «Литературная Армения», 1973, №№ 9, 10.

Грант Матевосян. Хлеб и слово. Повести. Авторизованный перевод с армянского **Анаит Баяндур.** М. «Молодая гвардия». 1974. 334 стр.

Герой повести Гранта Матевосяна «Похмелье», слушатель высших сценарных курсов в Москве, он же рассказчик, смотрит картину Микеланджело Антониони «Ночь»: обитатель богатых миланских кварталов; несколько женщин-тигриц, помогающих его «мужского естества»; бетонные улицы с дырками для «обчкрыженных деревьев». И убийственная скука и тоска людей. «сытых сном, хлебом, радостью, им лень было ненавидеть друг друга, и они изнывали от беспричинной тоски».

Фильм навязывает герою желание побыть в холеной шкуре этого «интригующего журналиста и циника», и фильм возмущает. Борьба этих двух побуждений — реакция, нужная режиссеру.

Приходя постепенно в себя от испытанного им эстетического шока и возвращаясь к блеклой реальности зрительного зала, наш встревоженный, взбешенный герой произносит такую тираду: «Вот что я вам скажу: им надо было родить пятерых детей, они должны были быть рудокопами в

стеганых телогрейках, доильщиками в горах под градом, должны были переправлять бревна по рекам, уборщиками в яслях — вот кем им надо было быть. Чтобы их груди ссохлись, сжеванные младенцами, чтобы их бедра стерлись, а лица сморщились, покрылись бесчисленными морщинами, чтобы во время дождя они попрятались под навес, разожгли бы костер и грелись бы, отогревали промерзшие косточки».

План зрителя и план картины с самого начала взаимно резко отталкиваются. Их граница, обозначенная кинополотном, непостоянна: иной мир. Но все, что происходит по ту ее сторону, становится для повествователя как бы символом последнего устрашения, вроде геенны, которой пугала бедную Катериңу А. Н. Островского старая барыня с палкой: «Все в огне гореть будете неугасимом. Все в смоле будете кипеть неутолимой! Вон, вон куда красота-то ведет».

Этот символ задает повести и ее нарочитое формально-композиционное построение: контрасты и светотени, обнаженно-поле-

мический тон и подчеркнутую аллегорическую двуплановость (эпизоды городской жизни героя перемежаются сельскими: его недавнее прошлое, родина, родня). Оба плана вяжет и меж ними снует подвижная тоненькая ниточка, некое эстетическое новообразование «он, то есть я». Так обозначен здесь главный герой. И эта ниточка испытывается на большие психологически-каверзные натяжения.

К кому, однако, обращена грозная филиппика рассказчика, похожая то ли на колдовское заклинание «черного мага», то ли на прорицание отшельника-ведуна? Лишь мельком в изысканных уподоблениях и сравнениях автор касается некоторых нравственно неблагоприятных явлений позднебуржуазной действительности, равно как и их древнейших аналогий (бильярдные кии представляются ему вдруг живым строем молоденьких рабынь, предлагаемых римскому сенатору). Автор хоть и саркастичен, но хранит маску спокойной рассудительности.

Но это видное спокойствие тотчас взрывается бурным негодованием, захлебывающимся в собственной горячности, едва речь заходит о ближайшем окружении повествователя — например, о тех соседях-зрителях, собратях-литераторах, кто, примеривая свою жизнь и свои сочинения к эталонной киноиллюзии, ловко выкраивает из фильма удобную и выгодную «систему фраз». Один при этом расчетливо оценивает собственные шансы на производство литературной халтуры; другой, и фамилией Юнгвальд-Зусев и самой личностью чем-то неуловимо схожий с Гартвигом из повести Ю. Трифонова «Предварительные итоги», гарцует на фоне «тьмы низких истин», сотрясая воздух предерзко звучащими пассажами на темы какой-нибудь «тотальной аalienации» или «полового совокупления как акта насилия». Рассказчик полон нетерпения показать этакий убедительный художественный кукиш разным типам ловкачей-краснобаев, нацелившихся хорошо попаразитировать как на приятии, так и на неприятии чуждой системы идей и представлений.

Повесть «Похмелье» с большим запалом и наступательностью продолжает нескончаемый спор искусства о подлинности и мнимости как старых, так и новых жизненных ценностей,— спор, в который писатель Грант Матевосян вступил более десяти лет назад. Высотные селения армян-

ских скотоводов и землепашцев громко, на всю страну, перекликулись тогда в его книге «Мы и наши горы» о своих нуждах и заботах с селами Молдавии, Киргизии, Прибалтики, русского Севера и Юга. Голос села стал в ту пору слышимее в литературе, оно заставило о себе говорить. Вспомним «Председателя» Ю. Нагибина, первые части романа В. Фоменко «Память земли». С тех пор литература так называемой деревенской темы набирала силу, ее эстетическая аргументация развергивалась, укрупняла масштаб...

Недавняя, вышедшая почти одновременно с «Похмельем» книга избранных повестей Г. Матевосяна «Хлеб и слово» выносит в заглавие, как видим, понятия не менее существенные, чем поэзия и правда. В главе «Начало» книга рассказывает, как тринадцатилетнему мальчику из армянского поселка Цмакут открывается подлинная цена этих опор цивилизации. Хлеб: кусок пресной лепешки, забирая который с собой в неближний путь, мальчик чувствует себя вором, ограбившим шестерых других, младших, болезненных детей своего отца, «косоного Егиша», и своей много рожавшей, изможденной матери. Слово: его значение предстает ребенку в той же элементарной, но бесодержащей простоте. Сперва в примитивной надписи на стволе старого бука, надписи, полвека честно подтверждавшей подлинный факт биографии местного пастуха: «Был... Пас свиней». Затем — в традиционной эпитафии на помпезном могильном памятнике: «Прохожий, я достоин твоего доброго слова и благодарю тебя за него».

Имя, закрепленное в букве, способно существовать отдельно от предмета, подключаясь к энергии чужого сознания. Дать ему эту вторую жизнь — во власти носителя слова, грамоты, шире — письменной культуры. Но слово может приписать себе фиктивную значимость и «примазаться» к вечности. Тогда носитель слова — трудно изобличаемый шарлатан.

После такого открытия бесхитростная попытка ни с того ни с сего, от безделья вырезать на дереве рядом с именем свинопаса еще и свое кажется мальчику святотатственной, и он шепчет про себя: «Вернусь, сотру, вернусь, сотру...»

Пастушья надпись, надгробие умершего, младенческая люлька поэта Туманяна, хранящая народом как реликвия,— все это

знаки действительного достоинства. Крестьянка Агун корит родню забвением обычая: «Десять лет, как нет на свете моего свекра Абела, десять лет лежит бедняга на кладбище без камня. Другие вчерашнему покойнику сегодня уже памятник ставят...» Могила без памятника для нее как недовершенная, немолчаливая жизнь: не представленная в мире значений, она ничего в нем не значит, «ей нечем кричать и разговаривать».

Одна из повестей книги «Хлеб и слово» целиком посвящена раздумьям этой героини о своей жизни («Мать едет женить сына»). В некоторых редакциях повесть имела прозрачное заглавие «Жила земли». Этот «жила земли» — крестьянам Андро и Левону, Манишак и Цовинар, Санасару и Нересу, и старому коняге Алхо, еще одному воплощению безотказной тягловой силы, и буйволице Сатик, через горы и равнины едва прорвавшейся к величественной цели рода, и псу Басару, хранителю стада и дома, — всем им отдано писательское слово Г. Матевосяна.

Сама идея памятника подлинному значению — один из устойчивых мотивов книги «Хлеб и слово». Их несколько. Они часто находят для себя образы, в которых сочетаются и признаки конкретных, может быть, даже автобиографически достоверных реалий, и черты, близкие народной поэтической символике: цветущая яблоня, плодоносящее грушевое дерево, спелый помидор, клонящийся под собственной тяжестью подсолнечник, оживленная, гудящая пасека. В таких мотивах и образах явственно выступает родство художественного мышления автора с народным, национальным мироощущением. Они выстраивают сложный контрапункт повествования, относящегося в книге «Хлеб и слово» к тому роду прозы, который не до стиха, а как бы уже поза стихом, то есть к роду прозы поэтической, богатой — при всей естественности, при всем разнообразии ее фразировки — сложными ассоциациями и аллегорической инсказательностью в духе фольклорных легенд и библейских притч.

Вошедшие в «Хлеб и слово» повести «Оранжевый табун», «Мать едет женить сына» и «Буйволица» имеют общее место действия — горное сельцо Цмакут. Их герои — колхозники, озабоченные состоянием надоев, покоса, посевов. Но ни при-

вычное чередование сельских будней и праздников, ни страда, ни урожай, ни этапные события общенародного значения не составляют основу сюжета. Они прочно присутствуют в нем как необозначенная хронология, как непреложная реальность, определяющая судьбы персонажей. Но присутствуют лишь внутри этих судеб, отрезки которых, запечатленные в сознании героев как индивидуально значимые, определяют ход повествования, строящегося по законам лирического эпоса.

Мальчик собирает в лесу малину; его дядя мастерит телегу; брат, окончив институт, возвращается домой; родственник рвется уехать в Тбилиси к любимой девушке; сосед Гикор едет в дальнейе село на старой лошади Алхо; буйволице пришла пора найти себе буйвола, и она отправилась в длинное путешествие. Книга представляет собой серию эпизодов и воспоминаний, каждый раз воспроизводимых с максимальным приближением к точке зрения то одного, то другого героя, при полной свободе переходов от «есть» к «было» и даже «не было».

Каждое отдельное существование предстает не как некая закрытая «монада» в ограниченных рамках социальной, служебной или производственной структуры, за что мы часто корим наши «тематические» повести и романы, а как частица беспокойного, копошащегося кома жизни, наделенного сознанием исторической протяженности и значительности своего вечного кипения. Так от повести к повести длится и ширится сага Цмакута, вбирая в себя, как потоки с гор, ожидания, переживания, мироощущение старика, ребенка, женщины, рабочей клячи, домашней скотины, объединяя и направляя эти сливающиеся потоки сознания.

Повести сильны звучащими в них головами, то прорывающимися в речь и диалог, то внутренними; богато интонированный голос и необходимый жест лепят характер, обозначают его диапазон, его жизненную партию. Сказовый настрой всей книги акцентирован настойчивой глагольностью, что хорошо видно и в кратких, но страстных медитациях, далеких от созерцательности, и в «полногласии» чуждых статике пейзажей.

Преобладанием образов лета, цветения, плодоношения, зенита и теллых, громко и ясно «говорящих» красно-зеленых живо-

писных тонов усиливается общее ощущение торжества труда и жизнестворения, победительности тех, кто способен превозмочь все тяготы, устоять перед любой невзгодой: «Вот так. Мир, он приходит, уходит, а мы — крепкий род, мы наше существование продолжаем». Ведь есть это впечатление мощи и стойкости и в рассказе о нежных, болезненных, но живучих детишках из Египта «косога десятка»; и в повести о двужильной Агун, настроившейся на освоение города с той же неумностью, с какой провинциалы Балзака или Стендаля ехали покорять Париж; и в биографии повествователя («он — я»), и в трагической истории сухого, немощного деда Месропа Казаряна со всей его ломаной, корявой, но еще крепкой жизнью.

Вот, нагруженная неподъемной вязанкой сена, идет вдова Мариам. Ей тридцать шесть лет — «...вроде еще женщина должна быть, а она не женщина — под мешком с картошкой, под вязанкой дров, с топором в руках», «бедная Мариам», «плоская, беззадавая, в мужских ботинках...». Вот «завоевательница» Агун: «Тебе сорок лет, — говорит ей соседка, — а ты выглядишь на все семьдесят». Не такой была она смолodu, не таковы ее дети, совсем другой представляет она судьбу цмакутской девушки из нового, более счастливого поколения — десятиклассницы Седы, золотокосой, улыбающейся, «по колено в пшенице и чистый-чистый взгляд».

Что поглотило энергию матерей и отцов, отобрало здоровье и миловидность, иссушило тела? А то, что «каждую минуту может пойти дождь и попортить небурное еще сено, гуси могут ободрать фасоль, собака стара стала — того гляди уйдет в поле да там и подохнет, коршун курицу утянет». То, наконец, что независимо ни от чего — война ли, мор, небывалое лихое лето (а их-то хватало) — в любом из таких Цмакутов должны соблюдаться непременные условия максимального плодородия. И что «тайна» рождения всюду требует большого, надрывного, некрасивого сотворяющего усилия.

Не так давно писатель Федор Абрамов напомнил о «великом подвиге русской бабы, открывшей в 1941 году второй фронт, фронт, быть может, не менее тяжкий, чем фронт русского мужика». Но, как свидетельствует искусство, подвиг этот не знал у нас национальных границ. К нему также причастны жены и вдовы Цмакута.

Древняя суровая стратегия выживания, подкрепленная веками исторических испытаний страны Наири, еще сохранила здесь, в Цмакуте, и неформальность категорий родства, и неколебимый диктат интересов рода, произрастания, поддержания жизни, и высокий авторитет неписаных моральных установлений, в соответствии с которыми каждая минута праздности оценивалась как достойное презрения расточительство, никакое, самое малое, благо даром не доставалось, радость была сладка, но греховна и мимолетна, а любовные утехы, не связанные с трудами созидания жизни, были постыдны, как постыдна кража, и наказуемы как «блуд».

Часты, настойчивы, почти нарочиты в повестях Г. Матевосяна, особенно с точки зрения преобладающей традиции русской прозы, упоминания женского тела: колено, зад, спина, живот, лодыжка — нет, кажется, ни одной видимой и выдающейся его части, оставшейся незамеченной. Разумеется, здесь есть и большой полемический подтекст, и некоторая демонстративность, открыто заявленная в «Похмелье». Но в художественной реальности книги «Хлеб и слово» эта черта эстетически и нравственно глубочайшим образом мотивирована огромной потребностью Цмакута в телесной, мускульной силе, ее хроническим дефицитом и связанным с этим своего рода культом: торс, конечности, гениталии символизируют утоляющее и порождающее начало, подобно скульптурам каменных женских идолов иных архаических культур.

Поминутное сознание того, что каждое творение «один раз живет и расцветает на этой земле», преисполняет книгу патетической печалью, отголосками гимна живущему и живому: жеребенку, короткой змее, прогревающей на солнце «толику яда», «христианской общине форелей».

Просторная держава старого бога полей и буйволов, держава больших работ и щедрой отдачи застигнула в состоянии брожения, неустойчивости и перемен. Первоприродные потребности и условия воспроизводства жизни — воспроизводства леса, пчел, трав, кормов, овец, детей и рабочих рук — чувствительно уперлась в мощные тенденции современного промышленного развития со всеми его разнообразными последствиями.

Характерно, что старая, некогда имевшая такие низкие болевые пороги проблемати-

ка сочетания родовых и общинных интересов с социалистическим укладом (колхоз) и национальных с межнациональными (племенная рознь) в книге «Хлеб и слово» представлена как атавизм. Колхоз — в сознании цмакутского жителя — так же натурален, как местные климатические условия. В историях Агун и Месропа, в повествовании о Сатик дело курда, азербайджанца и армянина одно и то же.

Зато некоторые, иногда неожиданные, аспекты урбанизации — источники новых коллизий и драматических «разломов». При всей схематичности антитезы город — село, отрешиться от нее в этой книге невозможно. Однако противоречивое диалектическое единство этих понятий обнаруживает в повестях Г. Матевосяна свою подвижность и относительность, обрастает десятком других «оппозиций»: горы — равнина, тяготы — легкость, утроба — бойня и т. д.

Город поражает, притягивает, отпугивает. Город — сила. Он открывает возможность выбора, вызывает «утечку» села. Но он подлежит ревливой и строгой ревизии его самых сокрытых жизненных механизмов и телеологических основ.

Как тонкое, пронзительное жало — острие этого колосса, звенящее нежным смехом двух стройных девочек, — возникает в книге «Хлеб и слово» настойчивая тема дачников — в смене и столкновении мотивов изнуряющего плодородия, с одной стороны, и с другой — красивого или пышного, но праздного, несправедливого тела.

Нет такого прохожего, который бы не отреагировал на появление новых фигур у цмакутской речки. А и всего-то четыре дачницы приехали загорать и купаться. Вид толстой учительницы-«великаныши» приводит всех в состояние остоленения. «Белый буйвол», — говорит один не то с восхищением, не то с опаской. «Жалко вещь», «шлюха, наверно», — говорит другой. Хорошеет, тучнеет тело — обеспложивается чрево — такова их подсознательная уверенность.

Город соблазняет. Немощи, хозяйство и привычка держат старших у земли, но многие из тех, кто моложе и ловчей, покидают Цмакут. Старший сын Агун, Гикоров Генрик, коротышка Симон едут в город за благом, будь то диплом, должность, «местечко», недвижимость, подвижность. «Поди, поди... — напутствует автор одного из своих героев. — Пока город из тебя горожанина сделает — семь потов с него сойдет». Да, конечно, ког-

да «жила земли» обращает свою цепкость в сторону «благ», она может долго хватать их, хватать и хватать, пока не насытится до отвала, не утомится обладанием и потреблением: целый этап в эволюции дорвавшегося собственника, иногда затягивающийся на несколько поколений, иногда обрывающийся быстрее. В «Похмелье» есть образ можжевельника, идущего впереди леса к голому склону Синей горы: «А куст можжевельника, значит, зовет за собой лес, что в балке, чтобы вместе шествовать до... до самого...» Куда должен шествовать «лес»? — вот один из вопросов повести.

Действие «Похмелья» происходит в Москве; действие фильма «Ночь» — в Милане. Город разбегается, расширяется, как Вселенная, от равнинного поселка к Кировакану, Еревану, Москве — едва ли не тень некоего всемирного города уже витает над прочей землей, над «глобальной деревней», от имени которой значительный, как всякое символическое явление, хотя и маленький Цмакут бросает ему свой сельский вызов как парламентарий тесного естества. В непосредственной связи с этим голосом ущемленного естества, которое, как инфузория в карболовом растворе, скукоживается в условиях научно обоснованной стерильности, отвечающей идее гигиены и рационализации, находятся любовно-эротические мотивы повестей Г. Матевосяна. «Кто вас держит — бегите! Хоть сейчас бегите в свои Махачкалы, крутите там любовь!»

Любовь принадлежала городу, была городская штука, — комментирует автор реплику одной своей героини, «прокручивая» в виде иллюстрации серию интимных сцен, как городских — в «Похмелье», — так и сельских.

Внимание автора часто обращается к моменту «начала», замысла и завязи на неисповедимом пути страстей. И здесь своя градация нравственных оценок, свои полюса. Минутное солнечное ослепление двух надовших друг другу, в одну тачку впряженных тяжеловозов (Ашхен и ее муж Анд-ро) — и раздвоение Геворга Мнацаканяна между утонченным эротическим тяготением к аспирантке Еве Озеровой и торжествующим зовом взбунтовавшейся похоти в его случайной связи с некрасивой толстой-гостьей; поэма, какой еще не было, о походе буйволицы Сатик «за буйволом» — и сцены «Ночи»: извращенность влечений с элементами психопатологии, где самая

мысль о какой-то другой, вне их, цели актов близости не просто непереносимо вульгарна, но часто и медицински сомнительна или вовсе недопустима. Так пики цивилизации могут развернуть «подполье» совращения и блуда, природа же права, печальна и величава, а ее «темный инстинкт» прекрасен и плодотворен. Где она — там детеныши, отары, улы и травы. Где ее нет — там дохлые пчелы, засоренный родник и обмелевшая речка; там «красиво, лживо и мертво», как болтовня доброго кастрата Айрапетяна, что-то вращающее своим спутникам про любовь.

И книга повестей и, еще более, «Похмелье» заставляют задуматься о разнице в отношении героев к происходящему в зависимости от степени зрелости их сознания и меры принятой на себя ответственности. Бывает и так, что сильная эмоция и гневливость резко бегут по ложному следу.

В обеих книгах Г. Матевосяна повествователь — недавний ли это сельский школьник, ныне молодой специалист и литератор, или писатель, завершающий образование в Москве, — выступает как городской резидент, надежда Цмакута, «свой человек». На него как бы возложена миссия защитника и судии, вестника цмакутских страхов и упований. Но успешно, хоть безболезненно осваиваясь в городском окружении, он волей-неволей психологически раздваивается. Кто же он теперь? Чрезвычайный и полномочный посол своей малой родины? Или гляр, перебежчик, кандидат в дачники, ничем от них не отличимый?

Поединок «я — он» приобретает самостоятельный, отдельный интерес, ужесточая «контроверзы» нравственного самоопределения личности, характерные для нашей исповедальной прозы 60-х годов (А. Битов, В. Аксенов, А. Беляускас и другие). В этом ряду повесть «Похмелье» достаточно значительна.

Но она же обнаружила неосновательность и преждевременность миссионерских притязаний повествователя. Он не сносит возложенного на него груза и часто подводит автора, теряя самообладание, чувство юмора и чувство меры, так что искусство Г. Матевосяна в «Похмелье» как-то надрывно кричит, того гляди безвозвратно сорвет голос. Повествователь же, хоть и совершает на город, вернее на его литературно-богемные

уголки, несколько вольных набегов, более всего поглощен стычками своего цмакутского «я», в котором стонет п а м я т ь з е м л и, со своим городским, по видимости блистательным и преуспевающим «он», посрамляемым, однако, без пощады в самых деликатных ситуациях с помощью психологических и эстетических изощрений, известных еще мастерам романтической иронии, а также им не известных.

А город, огромный и неразгаданный, со всем, что придает ему такую победительную, иногда зловещую мощь так и остается где-то за порогами парадных подъездов и черных ходов, знакомых повествователю.

Этот город не объемлет ни мифологическими, ни романтическими истолкованиями, поскольку каждое из них, если не хочет быть мистификацией, никогда не ответит, но в о п р о ш е н и е, может быть очень пытливым, очень глубокое, даже грозное.

На стадии вопрошения мы и растаемся с повествователем, сопровождаемые настойчивой игрой мотивов бегства (рисунок-мечта художника Эльдара об одиноком домике на берегу быстрой реки Риони) и возврата. Что лучше, говорит себе герой, — быть косарем и мечтать о бильярде или играть по всем правилам в этот самый «бильярд» и мечтать о беспечной и тяжелой страде косарей?

Повести Г. Матевосяна несут в себе большой заряд эмоций, страстей и пафоса. Мертвая, надуманная материя никогда бы не потребовала столько душевных затрат. Она не смогла бы животворить искусство. Там, где философы, социологи, статистики-экономисты теоретизируют, интервьюируют, выстраивают колонки цифр, художник по-своему говорит о фундаментальном и корневом, без чего жизнь лишается смысла.

Наша современность никогда уже более не сможет довольствоваться ни эргономикой, ни пуританизмом Цмакута. Но те проблемы, которые он решал по-своему, применительно к собственному уровню развития производительных сил, решал стихийным опытом столетий и тысячелетий, — эти завещанные им проблемы р о д а и д у х а остаются насущны и жгучи.

Г. ТРЕФИЛОВА.



ПУТЕШЕСТВИЕ В МОНГОЛЬСКУЮ СТЕПЬ

Песни аратов. Из монгольской народной поэзии. Переводы Н. Гребнева. Составитель Г. Михайлов. Вступительная статья Ю. Розенблюма. М. «Художественная литература». 1973. 215 стр.

Молодые поэты Монголии. Составление, предисловие, примечания и подстрочные переводы К. Яцковской. М. «Молодая гвардия». 1973. 143 стр.

Начну не с Монголии. Начну с В. Маяковского. В статье «Как делать стихи?» он писал: «Можно рифмовать и начала строк:

улица —
лица у догов годов резче,

и т. д.

Можно рифмовать конец строки с началом следующей...»

О монгольском стихе и его переводчиках поэт, разумеется, не думал. А тем не менее предложенные им способы рифмовки были бы, пожалуй, ключом к воспроизведению монгольского стиха на нашей почве. Впрочем, вряд ли нашлось бы много поэтов (и, увы, читателей), которые сумели бы органично воспринять эту систему рифм.

Переводы, вошедшие в сборники,— это русский пересказ монгольских стихов. Задача, которую решали и Н. Гребнев («Песни аратов») и коллектив переводчиков (Г. Серебряков, Ю. Паркаев, А. Големба, Г. Куренев, Т. Бек, В. Корнилов, В. Костров, Е. Витковский, В. Виноградов, В. Куприянов, Ю. Мориц) в книге «Молодые поэты Монголии», — дать русский художественный эквивалент поэзии монгольского народа.

К. Яцковская пишет в предисловии к стихам молодых поэтов: «Тот, кто хоть раз побывает в Монголии, слышит потом своим сердцем ее постоянный зов. Это пробылено. Здесь нет преувеличений».

Могу подтвердить справедливость этих слов.

...Дома были крупноблочные, с остекленными плоскостями, как в Ленинграде на Гражданке или в новых районах Москвы, Ташкента, Анджана... И заводы, если не считать вынесенных из-под земли труб теплопровода (вечная мерзлота!), такие же, как в любом большом городе. И машины на улицах, и универмаги, и аэродром, и вокзал, и сады. Все это была Монголия деловая, очень современная, не похожая на тот образ, какой сложился когда-то в моем сознании по кадрам фильма «Сын Монголии» и описаниям хождений славного П. Козлова и еще многих путешественников.

Город, в котором я жил, был городом друзей. Я видел красивые улицы и красивых людей, с которыми успел познакомиться. Но вот той балладной, эпической, степной Монголии я еще не знал, хотя, впрочем, степь порой вторгалась в этот город, то польниным запахом, заглушающим бензиновый чад, то всадником в синем, наглухо застегнутом халате, умело лавирующим между самосвалами и «Москвичами», то белой юртой, вдруг возникшей в квадрате многоэтажных зданий.

...Машина выходит за город. Мы едем мимо больницы, и мимо музея, и мимо куполов «монгольского Пулково» — местной обсерватории.

Сворачиваем с шоссе.

Осторожно едем под мост, в степь, в траву, в ветер, медовый и горький. И вдруг я вижу, как недалеко от нас мирно пощипывает травку удивительное существо — такая смесь коровы, барана и лошади.

Як! Хватаю из рук спутника фотоаппарат и выхожу из машины.

Як прекращает щипать траву и внимательно смотрит на меня.

Обхожу животное слева, чтобы стать спиной к солнцу.

Я безусловно заинтересовал яка. Он медленно поворачивается вслед за мной.

Я — шаг. Як — шаг. (Прошу прощения за возникший спондей.)

В его глазах — величайшее любопытство. Даже голову слегка наклонил... И тут я начинаю чувствовать, что наши мысли идут как бы синхронно! Я думаю: «Вот уж зверь так зверь — и в зоопарке я такого не видел!» А он, конечно, думает: «Что за странный тип... Откуда взялся?» Я: «Да не вертись ты, дай сфотографировать!» Он: «Что ты бегаешь? Дай я на тебя погляжу».

Возможно, «наши» мысли переданы мной не очень точно — волновался.

Но как бы то ни было, я вдруг понял: ребята, я в Монголии!

Именно в той самой, что явилась в детстве и вот уже сколько лет со мной!

...От статьи Б. Владимирцова в сборнике «Литература Востока» (т. II. П. 1920) до краткого очерка Г. Михайлова и К. Яцковской «Монгольская литература», вышедшего в 1969 году, в десятках трудов, исследований, заметок ставились вопросы рождения письменности, связи монгольской литературы и народного творчества и взаимовлияния культур — русской и многонациональной культуры СССР и культуры МНР.

О монгольском эпосе написано у нас много. Были блестящие исследования и поверхностные работы, были публицистические очерки и поэтические переложения. Книга «Песни аратов» — поэтическое вторжение в фольклористику — дает поэзию в ее откристиализованном виде. В основном это лирика. Лирика, рожденная кочевниками. Автор предисловия к «Песням аратов» справедливо пишет: «Кочевка — это жизненно необходимый и исторически сложившийся принцип жизни: от зимовки до летовки. И поэтому само пространство, по которому кочевал монгол, было, в общем-то, весьма ограниченным. Но зато отрезок земли в пределах этого пространства он знал досконально». Эта доскональность превосходно передана Н. Гребневым.

Полынный запах степи врывается на страницы «Песен аратов». Строки трехстиший:

Кладка базальтовая крепка.
Крепка спина чужого быка.
Крепка и шея родного зятяка...
.....
Плохие псы родной позорят двор.
Плохие седла — для коней позор.
Плохие жены — для мужей позор.

Эти стихи не просто «переклад» на русский язык; это еще и то приближение к национальной форме, которое кажется нам уже «сверхзадачей» работы.

Но даже в тех случаях, когда переводчик сознательно идет иным путем, его опыт интересен. В песне «Хан Эрен-дага-дарья-тумен» рассказано о борьбе героя освободителя с девятиголовой драконом — мангасом. Переводчик идет от размера к размеру, от ритма к ритму. Соединение получилось, хотя меня смутили вдруг проявившиеся ритмические ходы (и лексика!) то ершовского «Конька-Горбунка» («Говорят, что у него из родни была сестрица — пятилетняя девица...»), то знакомых переводов «Ворона» Эдгара По («Так он путником невзрачным и предстал пред змеем мрач-

ным»). Но и эта эпическая песня вылилась в единое целое.

Монгольский эпос в русском переводе Н. Гребнева ни в коей мере не музейный экспонат и не тот «послушный» жанр, в который его некогда пытались превратить правители вроде Чойжин-ламы.

Чойжин-лама был государственным оракулом. В его функции входило ни больше ни меньше как предвидеть будущее: здесь он считался докой. Когда речь шла о современности, он чувствовал себя, по-видимому, не столь уверенно. Для собственной бодрости и для устрашения народа Чойжин-лама на стенах в своем монастыре изобразил кровоточащие торсы и отрубленные головы. Это была угроза грешникам аратам — терпи, молчи, повинуйся!

Увы, с будущим старик тоже не поладил. Думаю, что он попросту спятил бы, если бы вдруг перенесся на столетия в наши дни и попал в современный Улан-Батор с толпами людей, с десятками машин, со световой рекламой. Никакая из страшных ритуальных масок (даже знаменитая почти двухпудовая коралловая маска Жамсарана) не показалась бы ему столь страшной, как то, что вчерашние бедняки, рабы, нищие сегодня прохаживаются по залам его монастыря, теперь — музея! И что рассматривают они собранные здесь картины и литографии, статуи божеств ламанского пантеона, музыкальные инструменты, необходимые для ритуального служения, без содрогания фанатиков и со спокойствием знатоков искусства. И еще острят по поводу страшного чудища Жигжида с его десятью головами, тридцатью четырьмя руками и шестнадцатью ногами.

Я беру в руки книгу «Молодые поэты Монголии». И первое, что бросается мне в глаза, это особое, сыновнее отношение к нашей стране.

Октябрь, Москва, революция — это не «дальний свет», не эхо, донесшееся с другого конца земли, это из биографии и самого монгольского народа. Д. Дамбадаржаа писал:

С северо-запада солнце взошло в памятном
том году,
На северо-запад глядел мой народ,
нашедший свою звезду.
И видел — на весь планетный простор заря
протянулась большая:
Великий Ленин руку простер. Революцию
провозглашая.

Советский Союз — это еще и школа в обобщенном понимании (как в стихах Т. Очирхуу «Я знаю Москву» из «Песни о старшем брате») или конкретное, автобиографическое у Д. Нямаа «Моя школа» — рассказ о Литературном институте имени М. Горького в Москве: «О, сколько было языков! Но каждый для себя постиг один, пригодный для стихов, поэзии простой язык!.. Мой институт, моя любовь, Тверской бульвар, дом двадцать пять!» (перевел В. Корнилов).

Чьи стихи мы ни взяли бы — Д. Шагдарсурэна, или Д. Эльбруса, или Д. Цоодола, или Ш. Цогта — в них выражено чувство признательности Советскому Союзу, советскому народу.

Но своеобразие каждого из поэтов несомненно. Важно и другое: перед нами стихи именно монгольских поэтов. Степной широтой отмечены строки П. Бадарча:

...И волнами движется табун
 вслед за уходящим днем,
 Как будто в выветренной степи
 вдруг разлилась река,
 катится степью огромный табун,
 и поступь его легка.
 (Перевел Г. Куренев)

Полны лиризма иносказания прекрасного, к сожалению, рано умершего поэта Д. Гомбожава во «Встречах с любимой». Герой стихов хочет говорить о любви, о нежности, а задает вежливые вопросы: «Как отец? Как мать? Как брат?» В стихах этих жива одна из черт народного творчества — обрядовая, условная речь, иносказание...

Стихи С. Бат-Ульдзия не похожи на стихи С. Оюун, а Л. Дзундуй-Ёндона — на Т. Очирхуу. Разумеется, несколько стихотворений, да еще в переводе, не дают права говорить об индивидуальности поэтов. Но о новых горизонтах поэтической Монголии — дают. О новом быте ее. О новых мечтаниях.

Д. Гомбожав писал: «И пусть в стройку я лягу простым кирпичом». А в стихах И. Гур-Ринчина звучит:

Два этажа.
 Двадцать этажей —
 Возводим дворцы все просторней и выше.
 И вот огонь
 загорелся уже
 И свежий чай освещает жилище.
 Жизнь сама по себе хороша.
 Любовь и слезы,
 Улыбки и песни —
 Так оживает у дома душа,
 Которая меняется с нами вместе.
 (Перевел Г. Серебряков)

О стройке читаем и у Д. Дамбадаржаа: «Степь лежала, пустая, в духмяной долине, а теперь в ней стройки. Стройки, стройки, будто кирпичные строки, тянутся по долине. Высятся краны — машина к машине, — краны башенные... Хороши стройки — и жизнь хороша тоже!» (перевел А. Големба).

Д. С. Лихачев в работе «Развитие русской литературы X—XVII веков» применил термин «литература-посредница». Такой посредницей для нас в свое время была литература Византии. Славянские народы благодаря ей дышали воздухом мировой культуры. «Они развивали свою общую и местные культуры на гребне общеевропейского развития. Для своего времени их культуры в известной мере были итогами общеевропейского развития»¹.

Очень удачен этот термин — «литература-посредница». И в нашем контексте (при выяснении внешних связей нынешней культуры Монголии) он может быть применен к советской литературе, разумеется, с серьезной конкретно-исторической поправкой. Мои беседы с поэтами и прозаиками старшего поколения — Тудэвом, Тарва, Удвал, Чимидом, критиком Х. Цэвэгжавынгом подтвердили: русская литература для монголов стала не только литературой-наставницей, но и литературой-посредницей.

Новое понимание поэзии — через Маяковского, через современных советских писателей — встречаем у Д. Дансаражава:

В Поэзии
 Есть все.

В Поэзии

Ясность воздуха
 И слово Партии есть

В Поэзии

Мудрость возраста,
 Беспечность юности есть.

В Поэзии
 Есть все.

В Поэзии

Дёма отчего,
 Любимой дыхание есть.

(Перевел В. Виноградов)

Русская литература началась для монголов с произведений Пушкина, Гоголя, Тургенева, Толстого, Чехова... Классик монгольской литературы Д. Нацагдорж перевел «Мать» М. Горького, Б. Ринчен — фурмановского «Чапаева»... Стихи Маяковского, «Как закалялась сталь», «Поднятая целина», пье-

¹ Д. С. Лихачев. Развитие русской литературы X—XVII веков. Л. 1973, стр. 34.

сы К. Симонова и т. д. и т. п.— все это стало достоянием монгольского читателя.

Через русский язык пришли в Монголию Чингиз Айтматов и Расул Гамзатов, Кайсын Кулиев и современные прозаики Казахстана. Поэт Д. Гомбожав перевел «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Витязя в тигровой шкуре». И он же — «Листья травы» У. Уитмена. Через русские переводы в литературу МНР вошли Гольдони, Шиллер, Стендаль, Гейне, Эдгар По и другие классики мировой литературы, хотя, разумеется, были и есть переводы и непосредственно с языка оригинала — в частности, у Д. На-

цагдоржа, который не только хорошо знал немецкий язык, но, как пишет автор монографии о нем К. Яцковская, был знаком с театром Б. Брехта («Д. Нацагдорж». М. «Наука». 1974).

Карта Монголии висит у меня над рисунком Сэнгэцохио «Всадник». Скачущий в грядущее всадник — это символ такой далекой от нас и такой близкой нам страны Монголии. О стране этой рассказали нам правдиво и поэтично книги «Песни аратов» и «Молодые поэты Монголии».

Д. М. МОЛДАВСКИЙ.

Ленинград.



Политика и наука

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ОПЫТ ПАРТИИ

Справочный том к восьмому изданию «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК». Под общей редакцией П. Н. Федосеева и К. У. Черненко. М. Политиздат. 1973. 271 стр.

Важнейший источник политического опыта политического просвещения масс, всех наших кадров — история Коммунистической партии. Осмыслению боевого пути ленинской партии помогают сотни изданий, выпускаемых как в центре, так и на местах. Но есть среди всех этих изданий одно, которое в наиболее сжатом и, если можно так выразиться, в наиболее «чистом» виде показывает нам историю деяний партии, историю развития ее идей в практическом преломлении ее политики. Это «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК».

Впервые публикация важнейших документов нашей партии была осуществлена в 1922 году. Книга, выпущенная тогда пятидесятичным тиражом, называлась «Российская коммунистическая партия (большевики) в резолюциях ее съездов и конференций (1898—1921 гг.)». В последующие десятилетия вышло еще несколько изданий. В последнее, восьмое издание сборника документов «КПСС в резолюциях...» в отличие от предыдущего включен ряд документов, подготовленных непосредственно В. И. Лениным или при его участии. К ним относятся многие решения и резолюции съездов, конференций и пленумов ЦК, проходивших в дооктябрьское время и в первые годы советской власти. Характерной особенностью новой многотомной публикации

партийных документов является также то, что в нее включено значительное количество постановлений, обращений, писем, принятых между съездами и пленумами ЦК. Около сорока документов впервые увидели свет именно в этом издании.

В сборнике «КПСС в резолюциях...» представлены наиболее важные, имеющие программное значение документы. Они исходят от руководящих, авторитетнейших органов партии: съездов, конференций, ее Центрального Комитета.

В. И. Ленин высоко оценивал значение материалов съездов и конференций для политической информации членов партии, изучения положения дел в партии. Документы эти имеют важнейшее значение не только для коммунистов, но и для всего советского народа. Уже в первые годы советской власти, когда партия стала единственной руководящей силой нового, социалистического общества, Ленин подчеркнул: «Наша партия — правительственная партия, и то постановление, которое вынесет партийный съезд, будет обязательным для всей республики...»¹

Предыдущее, седьмое издание «КПСС в резолюциях...» завершилось постановлением ЦК КПСС от 9 января 1960 года «О

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 43, стр. 62.

задачах партийной пропаганды в современных условиях». Десятый том восьмого издания заканчивается постановлением ЦК КПСС от 21 декабря 1971 года «Об участии руководящих и инженерно-технических работников Череповецкого металлургического завода в идейно-политическом воспитании членов коллектива». За двенадцать без малого лет, прошедших между принятием этих документов, произошло много важнейших событий в жизни КПСС и Советского государства.

Одним из них был XXIV съезд КПСС, внесший огромный вклад в теорию и практику марксизма-ленинизма. Он дал характеристику развитого социалистического общества, глубоко обосновал пути и формы перехода к коммунизму. Съезд выдвинул задачу, ставшую ориентацией на длительную перспективу, — обеспечить значительный подъем материального и культурного уровня жизни народа на основе высоких темпов развития социалистического производства, повышения его эффективности, роста производительности труда.

Даже это напоминание о важнейших событиях партийной жизни только за одно десятилетие показывает, что опыт партии становится все обширнее и многограннее. Все шире круг людей, для которых документы партии — не только инструмент политического образования и самообразования, но и насущнейшая необходимость в повседневной работе.

Как же облегчить всем этим людям проникновение в сокровищницу партийного опыта? Как сделать его еще более доступным для повседневного использования? Видимо, именно об этом думали составители многотомника «КПСС в резолюциях...», когда пришли к решению снабдить это важнейшей политической значимости издание специальным Справочным томом.

Целый том — семнадцать печатных листов — одних указателей... Такие книги все меньше удивляют нас в век научно-технической революции и необыкновенно возросшего потока информации. Отвлечемся на минуту от непосредственного предмета нашей рецензии и напомним, что в нашей стране, так же как и во всем мире, непрерывно — и во все нарастающем объеме! — увеличивается выпуск книг и брошюр. Всего в мире ежегодно выходят миллионы книг, причем половина из них — по общественно-политической тематике и гуманитар-

ным дисциплинам. В СССР только по разделу «КПСС» в 1966—1970 годах издано 5123 наименования книг и брошюр общим тиражом 133,8 миллиона экземпляров. Цифры впечатляющие. Они в какой-то степени отражают резко увеличившийся за последнее время поток информации. Это явление получило выразительное название — «информационный взрыв». Для его характеристики приведем лишь одну цифру — свыше 90 процентов всей информации, выработанной человечеством за всю его обозримую историю, получено за семьдесят лет нашего столетия.

Но увеличение числа книг, естественно, затрудняет поиск нужных идей, сведений, фактов. Отсюда — все более возрастающее значение теории и методики ускоренного поиска информации, чем занимается сравнительно молодая научная дисциплина информатика, а также специальные научные учреждения. Они изыскивают и разрабатывают новые методы сбора, переработки, хранения, поиска и распространения научной информации. Новейшие устройства уже используются применительно к естественнонаучной и технической информации. В последнее время эти устройства начали применяться и в области общественно-политической информации, в гуманитарных науках. На XIII международном конгрессе историков (Москва, 1970) ученые из Советского Союза, Франции, Швеции сделали ряд сообщений об опыте машинных методов обработки исторической информации. Новые инструменты научного познания — количественный, качественный методы, применение вычислительной математики, математической логики — должны все больше осваиваться историками, в том числе и теми, кто занимается историей партии. Наряду с новейшими видами информационно-поисковых устройств широко используются такие традиционные справочные пособия, как энциклопедии и словари, каталоги и картотеки, вспомогательные указатели («ключи») к отдельным изданиям.

Возросшее значение методов информатики в гуманитарных науках недвусмысленно подчеркивается и образованием специального Института научной информации по общественным наукам. Научно-техническая революция настоятельно требует, чтобы информация в любой отрасли знания была разумно сконцентрирована, хорошо организована и, что очень важно, легко доступна. Думается, недалеко то время, когда любая

книга, предназначенная давать информацию, окажется, по сути, исключенной из научного и практического оборота, если не будет снабжена серьезным и умело организованным научным аппаратом. Точнее говоря, таких книг попросту не должно издаваться...

А пока что высококачественные указатели к изданиям мы воспринимаем как подарок судьбы. К сожалению, не все издатели радуют нас этим, казалось бы, бесспорно очень важным пособием для читателя. Хотя всем, кажется, ясно, что указатели помогают любому читателю, вне зависимости от его профессиональной подготовленности, разобраться в материале книги, с наименьшей затратой сил отыскать нужные ему сведения. Наличие указателей свидетельствует о культуре издания, о стремлении издателей максимально облегчить пользование книгой как источником информации.

Какое значение придавал В. И. Ленин культуре справочного аппарата книги, тщательности составления указателей, видно из его записки от 15 апреля 1922 года, предназначенной для Политбюро ЦК РКП(б):

«Только что получил книгу «Материалы по истории франко-русских отношений за 1910—1914 гг.».

...Нет цены. Нет подписи ответственного лица или лиц. Нет указателя!! Простой перечень имен, составлен *неряшливо*. И т. д.

Предлагаю:

...4) — подготовить указатель толковый; одним словом, к четвергу представить в ЦК *краткий доклад* о всех безобразиях — дефектах издания и о способах исправления»².

Еще в 1935 году в журнале «Красный библиотекарь» Н. К. Крупская писала: «Сейчас идет строительство социализма. Большинство читателей интересуется вопросом, что говорил Ленин о социализме, интересуют вопросы о войне, о международном рабочем движении, о коллективизации. Ответы на все эти вопросы читатель найдет в «Предметном указателе»³. Имелся в виду указатель, включенный в «Справочник к II и III изданиям сочинений В. И. Ленина». Современный читатель найдет ответы на вопросы о политике и истории нашей пар-

тии в указателях к пятому изданию собрания сочинений В. И. Ленина. Напомним также о подробных указателях как к отдельным томам, так и к собраниям сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса, к другим изданиям ИМЛ при ЦК КПСС.

Справочный том к восьмому изданию «КПСС в резолюциях...» не только немаловажное новшество, но и естественная необходимость. Такого рода книга впервые сопутствует изданию важнейших документов партии. В предыдущих изданиях (да и то не во всех) справочный аппарат ограничивался предметным и хронологическим указателями, но для восьмого издания этого было бы явно недостаточно. Добротного научного аппарата требовал сам масштаб издания: около трех тысяч резолюций, решений, постановлений съездов, конференций, пленумов ЦК, а также решений, обращений, писем ЦК, имеющих общепартийное значение, за период с 1898 по 1971 год, 10 томов, более 400 печатных листов! Без хорошего «компаса» в таком разнообразии материалов ориентироваться весьма затруднительно. Указатели, собранные в Справочном томе, облегчают использование в полном объеме того богатства идей нашей партии, которые содержатся в сокровищнице ее опыта. Поэтому очень большой и кропотливый труд коллектива сотрудников Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС — нужное и безусловно полезное дело.

Конечно, создание научного аппарата издания, равно как и сама по себе культура издания, не самоцель. В данном случае поиски способов лучшего донесения содержащейся в десятитомнике информации до читателя призваны помочь эффективно систематизировать и обобщить опыт истории партии, имея в виду потребность самой партии как руководящей политической силы общества в научном обобщении живой практики современного этапа ее развития.

Попробуем только на одном примере наглядно проследить, как «работает» Справочный том. Возьмем рубрику «Наука и техника, научно-технический прогресс, научно-техническая революция». Почему именно ее? Потому что вопросы ускоренного развития науки и техники с тех пор, как Коммунистическая партия стала руководящей силой советского общества, всегда стояли, стоят и будут стоять впредь в центре ее внимания. Более того, всемерное ус-

² В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 54, стр. 240—241.

³ «Красный библиотекарь», 1935, № 7, стр. 11.

корение научно-технического прогресса, максимальное использование его достижений — один из важнейших элементов экономической стратегии КПСС на весь обозримый период развития страны, построившей развитый социализм и неуклонно идущей вперед, к коммунизму. Научно-технический прогресс и коммунизм — неразделимы.

Большевики еще задолго до Октябрьской революции думали о техническом прогрессе, учитывая его тенденции, его влияние на положение трудящихся, на судьбы революции. В первой Программе пролетарской партии в России, принятой на II съезде РСДРП, говорилось: «...усовершенствование техники, означающее увеличение производительности труда и рост общественного богатства, обуславливает собою в буржуазном обществе возрастание общественного неравенства, увеличение расстояния между имущими и неимущими и рост необеспеченности существования, безработицы и разного рода лишений для все более широких слоев трудящихся масс»⁴.

Первая Программа партии не только показала те социальные бедствия, которые несет трудящимся технический прогресс в условиях капитализма. В ней содержался вывод о неизбежности и необходимости замены капиталистических производственных отношений социалистическими. Вывод — и призыв к борьбе за достижение этой цели. Она была осуществлена в результате победы Великой Октябрьской социалистической революции. Вторая Программа, принятая в 1919 году на VIII партийном съезде, определила курс перехода от капитализма к социализму. В области экономической выдвигалась задача всемерного развития производительных сил страны на основе единого общегосударственного плана. Подчеркивалась важнейшая роль науки.

Великий Октябрь положил начало историческому соревнованию двух противоположных общественно-политических систем — социалистической и капиталистической. В это соревнование социализм вступил с открытым забралом. В партийных документах четко определена эта позиция: поддержка и стимулирование научно-технического прогресса, раскрепощение творческой мысли от пут, налагаемых своекоры-

стными интересами частного капитала, всемерное повышение культурного и профессионально-технического уровня людей труда, полное и гармоничное развитие всего комплекса производительных сил общества при неуклонном повышении производительности общественного труда — решающего фактора утверждения нового социального строя.

Для капиталистических стран, даже наиболее развитых, научно-технический прогресс был и остается лишь одним из методов извлечения максимальной прибыли. Для Страны Советов, начавшей строительство социализма, вопрос о научно-техническом прогрессе стал вопросом жизни или смерти. Большевики это понимали хорошо. План ГОЭЛРО, разработанный по инициативе В. И. Ленина, недвусмысленно определил выбор. Государственный план электрификации России явился для страны — разоренной, голодной, окровавленной — программой создания в исторически кратчайшие сроки принципиально нового типа цивилизации. Цивилизации, в которой высокоразвитое промышленное производство в городе поднимает и индустриализует сельское хозяйство, навсегда сотрет с карты страны обширные зоны хозяйственной и культурной отсталости, будет служить интересам всех трудящихся. Научно-технический прогресс как материальное условие утверждения социализма и социализм как решающая предпосылка подлинно всестороннего развития и претворения в жизнь достижений науки и техники, идущих на благо человека, — такова исходная мысль плана ГОЭЛРО, всего комплекса ленинских идей о построении социализма в России.

За годы предвоенных пятилеток СССР — первое в мире государство, поступательное движение которого началось и продолжалось на основе познания законов развития общества, — превратился в подлинный бастион научно-технического прогресса. Пятилетки обеспечили победу в Великой Отечественной войне, победу, продемонстрировавшую всему миру преимущества социального строя, рожденного Октябрем, неодолимую мощь экономического и технического потенциала нового общества.¹

«Необходимо заботиться о дальнейшем развитии советской науки, всемерно поддерживать людей науки, добиваться широкого распространения научных знаний в народных массах, дальнейшего расширения и

⁴ «КПСС в резолюциях...», изд. 8-е, т. 1, стр. 61.

улучшения подготовки научных и технических кадров. Советская наука и техника должны непрерывно двигаться вперед и идти в первых рядах мировой науки и техники»⁵, — провозглашала Центральный Комитет ВКП(б) 2 февраля 1946 года в своем обращении к избирателям накануне первых послевоенных выборов. Тем самым партия заявляла, что всемерное стимулирование научно-технического прогресса в интересах всех трудящихся — генеральная линия СССР в возобновившемся после войны мирном соревновании со странами капитала. Научно-технический прогресс стал отныне одним из главных участков исторического соревнования социализма и капитализма, соревнования в обстановке резкого изменения соотношения сил в послевоенный период — в связи с образованием и упрочением целой социалистической системы, крахом колониализма, отказом ряда стран «третьего мира» от традиционного, буржуазного пути развития. Успех в этом глобальном соревновании во многом предопределяется тем, какая из социальных систем сумеет быстрее, эффективнее использовать завоевания научно-технической революции.

В середине XX столетия в жизнь человечества ворвалась научно-техническая революция, перевернув многие устоявшиеся представления, заставив по-новому взглянуть на мир. Она создала необъятные, поистине беспрецедентные возможности для удовлетворения людей необходимыми им материальными и культурными благами. «Если XX век — век колоссального роста производительных сил и развития науки — еще не покончил с нищетой сотен миллионов людей, не принес изобилия материальных и духовных благ всем людям на Земле, то в этом повинен только капитализм»⁶, — сказано в Программе партии, принятой на XXII съезде КПСС. Там же подчеркнута, что полное использование плодов научно-технической революции в интересах общества возможно только при социализме⁷.

XXIV съезд КПСС в своих решениях зафиксировал, что «решающим условием повышения эффективности общественного производства является ускорение научно-

технического прогресса»⁸. Съезд поставил исторической важности задачу: органически соединить достижения научно-технической революции с преимуществами социалистической системы хозяйства. Партия ориентировала советскую науку на то, чтобы «концентрировать усилия ученых на решения наиболее важных проблем, укреплять связь науки с практикой коммунистического строительства, ускорять применение ее достижений в народном хозяйстве»⁹.

Это краткое резюме развития идей партии лишь в одном аспекте — аспекте проблем научно-технического прогресса — очень нетрудно составить, имея под руками рецензируемый Справочный том. Предметный указатель в этом томе (а по нашему мнению, именно он наиболее значителен, важен и, несомненно, очень трудоемок при его разработке) дает возможность осмыслить многие проблемы общественного развития. Достаточно просмотреть такие рубрики, как «Планирование, народнохозяйственные планы», «Народное образование», «Воспитание коммунистическое», «Вооруженные Силы Советские...», «Культура социалистическая...», «Культ личности и его преодоление», «Рабочий класс...», «Крестьянство советское», «Интеллигенция», «Кадры в СССР», «Идеологическая работа партии» и многие, многие другие.

Предметный и тематический указатели вместе и создают логико-историческую поисковую систему концентрированного опыта партии. Предметный указатель выделяет многочисленные, в том числе и частные, небольшие проблемы, которые затрагивались в партийных документах, показывает опыт партии как бы сквозь призму, расчленяя на составные части весь спектр ее политики. Тематический, напротив, собирает, синтезирует отдельные решения и показывает нам исторические комплексы этих решений, собранные по наиболее важным проблемам.

В Справочном томе имеются также хронологические, алфавитные и другие «формальные» указатели. Отметим «Указатель Центральных руководящих органов партии и местных партийных организаций» — здесь легко найти любые решения высших органов партии, касающиеся ее организа-

⁵ Там же, т. 6, стр. 145—146.

⁶ Там же, т. 8, стр. 199.

⁷ См. там же, стр. 215.

⁸ Там же, т. 10, стр. 354.

⁹ Там же, стр. 359.

ций, а также «Географический указатель», вскрывающий «географию» политики партии.

Справочный том впервые сопутствует собранию документов партии. Видимо, отдельные небольшие недочеты здесь были неизбежны, и мы не стали бы их касаться, если бы... Если бы научный аппарат изданий Института марксизма-ленинизма не был своеобразным эталоном, по которому часто равняются составители и редакторы других книг. Ограничимся следующими замечаниями.

Во-первых, громоздкость некоторых рубрик в предметном указателе (например, та же рубрика «Наука и техника...» без какой-либо тематической разбивки содержит ссылки примерно на 450 текстов издания, свыше 400 ссылок — в рубрике «Воспитание коммунистическое», примерно около 400 — в рубрике «Совхозы», свыше 300 — в рубриках «Механизация и автоматизация производства», «Культура социалистическая...»). Трудности составления предметного указателя, вообще, а к многотомному изданию в особенности, хорошо известны. И все же хотелось бы, чтобы эти трудности остались на плечах составителей, а читатель был максимально разгружен от них при пользовании указателем.

Во-вторых, некоторая непоследовательность, да и неточность географического указателя. Например, от названия «Луганск» дана вполне правомерная отсылка — «см. Ворошиловград» (равно как и от «Кенигсберг», «Екатеринбург» и т. д.). А вот городу Чкалову не повезло: рубрики «Оренбург и Оренбургская область», «Чкалов и Чкаловская область» взаимными ссылками не связаны. Есть «Риддер», но нет «Лениногорска». Целесообразно было бы объединить рубрики «Петропавловск-Камчатке» (точнее, кстати, Петропавловск-Камчатский) и «Камчатка, Камчатская область», как это сделано в других случаях («Курск, Курская губерния и область», «Куйбышев, Куйбышевская область и край» и т. п.). Не совсем удачна рубрика «Россия, РСФСР», так как под «Россией», как правило, подразумевается вся Российская империя.

Замечания эти — лишь частности на фоне той огромной пользы, которую принесет Справочный том. Однако хотелось бы, чтобы они были учтены при подготовке аналогичных изданий и при последующих изданиях «КПСС в резолюциях...». Впро-

чем, обязательно ли ждать несколько лет до нового издания? Ведь Справочный том в улучшенном виде может быть переиздан и сам по себе — и это будет только на пользу читателям...

Итак, восьмое издание «КПСС в резолюциях...» завершено, и завершено весьма интересным и полезным новшеством — Справочным томом. Последний документ в издании, как мы уже упоминали, датирован 21 декабря 1971 года. С тех пор в жизни партии и всего советского народа произошел ряд новых важных событий. В мае 1972 года состоялся Пленум ЦК КПСС, на котором были заслушаны доклады Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева «О международном положении» и секретаря ЦК КПСС И. В. Капитанова «Об обмене партийных документов», приняты постановления по этим вопросам. Апрельский Пленум ЦК КПСС (1973), заслушав и обсудив доклад Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева «О международной деятельности ЦК КПСС по осуществлению решений XXIV съезда партии», целиком и полностью одобрил проделанную Политбюро работу по обеспечению прочного мира во всем мире и безопасности для советского народа, строящего коммунизм. Пленум отметил большой личный вклад Л. И. Брежнева в решение этих задач. На декабрьском Пленуме Центрального Комитета КПСС 1973 года были подведены итоги работы за три года девятой пятилетки, определены новые задачи и перспективы. Решения Пленума легли в основу Обращения ЦК КПСС к партии, к советскому народу, поставившего четкие, ясные задачи перед коммунистами, всеми трудящимися. В июле 1974 года Пленум ЦК партии рассмотрел вопросы работы первой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва — нового состава советского парламента.

...Мы сказали — издание «КПСС в резолюциях...» завершено. Нет, оно не может быть завершено, ибо жизнь продолжается и ни на минуту не прекращается деятельность партии. Документы партии, которые сегодня напечатаны в газетах или переданы по радио, завтра становятся достоянием истории. История же нашей партии служит будущему, опыт партии, заключенный в ее документах, будет постоянно служить строительству коммунизма.

Ю. СОКОЛОВ.

«...ВЫШЕ ВСЯКОЙ ПОХВАЛЫ»

И. Дубинский. Солдатский хлеб. Киев. «Радянський письменник». 1974. 294 стр.

В ряду легендарных частей и соединений Красной Армии, громивших с особым мужеством, героизмом и воинским мастерством интервентов и белогвардейцев на фронтах гражданской войны, почетное место по праву занимают червонные казаки.

Первый полк червонных казаков прошел по улицам Харькова 27 декабря 1917 года. Это была первая кавалерийская часть советской власти. Вскоре полк, пополняясь за счет донецких шахтеров и сельской бедноты, вырос в конный корпус. В него уже входило двенадцать конных полков.

Осенью 1919 года, когда белые армии Деникина подходили к Туле, по инициативе В. И. Ленина создали ударную группу. Она должна была преградить путь врагу к сердцу революции — к Москве. В нее вошли части Красных латышских стрелков и полки червонных казаков. На полях Орловщины червонные казаки смело вступили в бой с отборными офицерскими полками и заставили их отступать. Серго Орджоникидзе, в то время член реввоенсовета 14-й армии, доносил В. И. Ленину: «Червонные казаки действуют выше всякой похвалы». Затем они освобождали Харьков, Киев, Кременчуг, Полтаву от самостийников и денкинцев, сражались у Перекопа против Врангеля, громили банды Петлюры и Гютюнника, гнали с советской земли польских панов. В лихие рейды полки червонных казаков водил выдающийся военачальник Виталий Примаков. Выходец из среды трудовой интеллигенции, воспитанный классика украинской литературы Михаила Коцюбинского, В. Примаков юношей включается в революционную борьбу. В марте семнадцатого года он вступает в партию большевиков, с тех пор до конца жизни он клинком и пером верно служил ее ленинскому делу.

В числе очень немногих В. Примаков за подвиги на фронтах гражданской войны был награжден тремя орденами Красного Знамени. После гражданской войны он направляется на дипломатическую работу. Его перу принадлежит ряд блистательных трудов по вопросам военного искусства, где он пытался обобщить боевые действия красной конницы, а также интересные книги мемуарного жанра.

С особой признательностью следует отнести к принципиальной, настойчивой

и кропотливой работе украинского писателя Ильи Дубинского, который многие годы своей литературной деятельности посвятил изучению истории червонных казаков, прославлению их героических подвигов.

Заслуженный ветеран гражданской войны, командир 7-го полка червонных казаков в корпусе Виталия Примакова, И. Дубинский создал ряд книг, посвященных подвигам примаковцев. Среди них следует отметить романы «Контрудар» и «Золотая Липа», повести «Колокол громкого боя» и «Тертый калач». Им же в серии «Жизнь замечательных людей» написана биография Примакова.

Недавно вышла новая книга И. Дубинского «Солдатский хлеб». В ней автор остается верен избранной им теме — воинского и революционного подвига В. Примакова и его боевых соратников. Книга густо населена героями, которые мало известны широкому читателю. Тут и премьер советской Украины Влас Чубарь, и первый главком Советских Вооруженных Сил Иоаким Вацетис, и видный деятель международного коммунистического движения французский коммунист Марсель Кашен, и командарм Роберт Эйдеманд, командир 24-й Железной дивизии Г. Гай, и другие. Все они даны не сами по себе, а в прямой сопричастности с червонными казаками. Затем идет большая галерея литературных портретов червонных казаков. Здесь и сам Виталий Примаков. Ему посвящен взволнованно написанный очерк «Красный Витязь», и его боевые побратимы — «желтый кирасир» командир полка Василий Федоренко, лихой рубака комбриг Пантелеймон Потапенко, великан командир эскадрона Матюхин, бывший политкаторжанин артиллерист Михаил Зюка и другие.

Правда, автор скорее представляет, чем знакомит читателя со своими героями. Их портреты эскизные, даны штрихами.

Книге «Солдатский хлеб» предпослано теплое предисловие бывшего червонного казака, ныне Маршала Советского Союза П. К. Кошевого. Маршал отмечает, что ценный боевой опыт примаковцев содействовал успешному строительству конных и мотомеханизированных частей Советской Армии в предвоенный период, он был широко использован на полях сражений Великой Отечественной войны для достиже-

ния победы над врагом. Многие питомцы Примакова в боях с гитлеровскими армиями проявили себя как искусные военачальники. Это маршалы П. Рыбалко, С. Худяков, И. Пересыпкин, генералы А. Витошкин, А. Горбатов, К. Грушевой, Н. Гусев и многие другие.

В заключение маршал, дважды Герой Советского Союза П. К. Кошевой пишет: «Хочется пожелать нашему ветерану, быв-

шему комбригу червонного казачества и его летописцу Илье Владимировичу Дубинскому червоноказачьей бодрости, а его неумолимому перу — новых заслуженных успехов».

Думаю, что к этому пожеланию маршала присоединятся все читатели, которые прочтут эту небольшую и поучительную книжку.

Вал. ГОЛЬЦЕВ.



РАССЕКРЕЧЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Н. Я. Эйдельман. Герцен против самодержавия. Секретная политическая история России XVIII—XIX веков и Вольная печать. М. «Мысль». 1973. 367 стр.

До недавнего времени деятельность Герцена по изданию исторических материалов, в общем, мало привлекала внимание исследователей. Лишь в последнее десятилетие усилился интерес ученых к этой важной теме, о чем, в частности, свидетельствует появление факсимильного издания «Исторических сборников» Герцена и Огарева и ряда специальных работ. Среди них достойное место займет новая книга Н. Я. Эйдельмана «Герцен против самодержавия».

Как явствует из введения, автор этой работы поставил перед собой важную и весьма трудную задачу — показать «историческое прошлое в Вольной печати». Думается, такое лапидарное определение не раскрывает всей оригинальности авторского замысла и богатства содержания рецензируемого издания. По сути дела, работа Н. Я. Эйдельмана — многоплановое исследование истории бесцензурных публикаций о прошлом России. Ее проблематика находится как бы на пересечении целого ряда важных тем истории общественной мысли, литературоведения и историографии. Изложение событий истории России XVIII—XIX веков, привлечших внимание Герцена и Огарева, тесно переплетается с увлекательным рассказом об их рассекречивании в вольных изданиях, а описание деятельности тайных корреспондентов Герцена, снабжавших его материалами о «потанном» прошлом, органически увязано с острой идейной борьбой в различных кругах русского общества накануне отмены крепостного права и в период проведения буржуазных реформ в стране.

А. И. Герцен по праву занимает почетное место среди борцов против самодержавия.

«Герцен создал вольную русскую прессу за границей — в этом его великая заслуга»; благодаря Герцену «рабье молчание было нарушено»¹.

Вольная печать Герцена освещала с революционных позиций не только самые жгучие проблемы современной России, но широко обращалась к ее прошлому. Объясняя причины, побудившие его приняться за печатание исторических материалов, Герцен писал: «Всякое правдивое сказание, всякое живое слово, всякое современное свидетельство, относящееся к нашей истории за последние сто лет, чрезвычайно важно. Время это едва теперь начинает быть известным... История императоров — канцелярская тайна, она была сведена на дифирамб побед и на риторику подобострастия».

Публикуя материалы по истории, Герцен атаковал самодержавие не только в настоящем, но и в прошлом. Тем самым он способствовал пробуждению умов в России, формированию революционно-демократической концепции русской истории, направленной своим острием против установок официальной историографии. «Нашими устами, — писал он, — говорит Русь нарождающаяся, Русь вольная, юная, живая, скрывающаяся дома, но гласная в изгнании. Нашими устами говорит Русь мучеников, Русь рудников, Сибири и казематов, Русь Пестеля и Муравьева, Рылеева и Бестужева... Мы на чужбине начали открытую борьбу словом в ожидании дел».

Герцена и Огарева интересовал широкий круг вопросов отечественной истории. По подсчетам Н. Я. Эйдельмана, в Вольной пе-

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 21, стр. 258—259.

чати было помещено свыше 130 публикаций по истории России, в том числе более ста материалов, относящихся к первой половине XIX века. В качестве критерия отбора материалов для книги Н. Я. Эйдельман избрал типичность тех или иных событий русской истории, нашедших отражение в публикациях Герцена, и наличие у него новых архивных данных об этих событиях. В общем, эти критерии не вызывают сколько-нибудь серьезных возражений, ибо они позволяют автору сконцентрировать свои усилия на рассмотрении узловых вопросов избранной им темы и избежать простого повторения уже известных науке фактов. Правда, включение отдельных сюжетов в книгу из-за новизны данных в известной мере ставит исследователя в зависимость от случайных находок документов в архивах. Но весь вопрос заключается в том, как реализованы эти принципы в процессе написания книги.

В центре внимания Герцена и Огарева находились три большие темы. Это история общественного и революционного движения, развенчание правящей в России династии Романовых путем обнародования документов о дворцовых переворотах и борьбе за власть в верхах, дающих, по словам Герцена, материал «для уголовного следствия» над «петербургским периодом нашей истории». Эти же темы освещаются и в книге Н. Я. Эйдельмана, состоящей из девяти очерков, каждый из которых посвящен рассмотрению того или иного «сюжета» русской истории в Вольной печати.

Стремление Герцена публиковать в своих бесцензурных изданиях материалы по политической истории России XVIII—XIX веков объяснялось задачами идеологической борьбы с самодержавием, возможностью нанести ему наиболее острые удары, раскрывая правду о революционно-освободительном движении и разоблачая династические тайны. Внимание создателей Вольной печати к вопросам политической истории России определялось и тогдашним уровнем историографии, пренебрежительно относившейся к роли народных масс, когда, по выражению Герцена, «постоянно забывалось одно — Россия и народ, — о них даже не упоминали».

Н. Я. Эйдельман хорошо показывает, что многие факты и события «потаенного XVIII века» были весьма актуальны и в середине XIX столетия: их оживленно обсуждала и подцензурная, и особенно. Вольная печать

России. Размышления о месте XVIII века в русской истории находятся буквально во всех крупных сочинениях Герцена, ибо он не без основания усматривал некоторые истоки современного ему свободомыслия в событиях минувшего столетия. Как справедливо отмечает автор, «Герцен и Огарев придавали большее значение традиции для сегодняшней борьбы, стремились найти рациональное зерно даже в воззрениях и сочинениях деятелей, хронологически и идейно далеких; они высоко ценили процесс личного освобождения, в чем неперенное участие принимали смех, сатира, даже с виду бесполезные». Поэтому в бесцензурной печати впервые увидели свет такие разные и даже разнонаправленные произведения, как «Путешествие из Петербурга в Москву» первого русского революционера А. Н. Радищева и злой, ядовитый памфлет «О повреждении нравов в России» историка, публициста и дворянского идеолога князя М. М. Щербатова, осуждавший пороки правления императрицы Екатерины II и ее предшественников, ряд мемуаров той эпохи о нравах императорского двора и знати и т. д.

Обращаясь к событиям минувшего столетия, Герцен и Огарев намечали различные пути, связывавшие современное революционное движение середины XIX века с прошлым: один вел к А. Н. Радищеву, «бунтовщику, хуже Пугачева», другой — к Д. И. Фонвизину, первому в «фаланге великих насмешников». В Вольной печати Герцен и Огарев стремились осветить оба эти течения русской общественной мысли.

Увлекателен и насыщен интересными новыми подробностями рассказ об истории возникновения, публикации в Вольной печати и дальнейшей судьбе одного из любопытнейших памятников общественно-политической мысли второй половины XVIII века — «Рассуждения о неперенных государственных законах». Этот документ, составленный в начале 70-х годов XVIII века Д. И. Фонвизиним, близким к канцлеру Н. И. Панину и его брату генералу П. И. Панину, — важнейшее свидетельство разрабатывавшихся в высших сановных сферах екатерининской России планов ограничения самодержавия законами. «Рассуждение» содержало острую критику деспотизма и произвола верховной власти. После неудачи братьев Паниных их попытки ограничить абсолютную монархию пытались повторить другой крупный сановник — племянник

Н. И. Панина, вице-канцлер граф Н. П. Панин, активный участник дворцового заговора против императора Павла I в пользу его сына Александра I. Важно отметить, и на этом акцентирует наше внимание автор книги, что критика деспотизма с позиций дворянского либерализма в «Рассуждении о непременных государственных законах», призыв к ограничению абсолютной монархии законами находили отклик в XIX веке не только у либерально настроенных дворян, но и среди нового поколения революционеров — декабристов. Так, племянник Д. И. Фонвизина, известный декабрист М. А. Фонвизин воспроизвел в своих записках текст «Рассуждения» и живо интересовался намерениями графа Н. П. Панина ограничить деятельность императора Александра I «законно-свободными постановлениями».

Большое место в публикациях Вольной печати занимала история декабристского движения. Герцен и Огарев сделали очень много, чтобы познакомить общественность России и Западной Европы с подлинной историей восстания декабристов. Дело в том, что острый кризис феодально-крепостнического строя в России и усиление революционного движения в странах Западной Европы принудили Николая I приподнять завесу молчания над историей декабристов. По инициативе наследника престола, будущего императора Александра II, придворный историк барон М. А. Корф в 1848 году составил апологетическую работу «Восшествие на престол императора Николая I», в которой излагал события 14 декабря 1825 года с охранительных позиций, представляя восстание случайным событием. Первые два издания этой книги имели небольшой тираж, были сугубо секретными и предназначались для членов императорской фамилии. После «обкатки» и «высочайшей» апробации этой «концепции» Николаем I и его ближайшим окружением, уже после смерти Николая новый император Александр II приказал издать книгу Корфа для широкой публики.

Герцен и Огарев, «дети 14 декабря», начали решительную борьбу за создание «Антикорфики» — обнародование правды о восстании декабристов. Помимо публикации в «Полярной звезде» цикла запрещенных в России стихов, среди которых были сочинения К. Ф. Рылеева и А. С. Пушкина, и отдельных воспоминаний декабристов, Герцен напечатал в 1857 году в «Колоколе» «Письмо к императору Александру II (по

поводу книги барона Корфа)». Через несколько месяцев вышла в свет его и Огарева книга «14 декабря 1825 и император Николай», а позже — его статья «Русский заговор 1825 года». В этих сочинениях для воссоздания действительной истории восстания и правильной его оценки блестяще использованы материалы декабристов и сведения, почерпнутые из книги самого Корфа. Разбор книги Корфа получил высокую оценку передовых кругов русского общества и нового поколения революционеров, которые в начале 60-х годов XIX века тайно перепечатывали книгу «14 декабря 1825 и император Николай», считая ее важным агитационным документом.

История общественной мысли последнедекабристского времени была для Герцена и Огарева частью их собственного былого. Из материалов этого периода руководители Вольной печати отводили важную роль неизвестным ранее страницам биографии и творчества А. С. Пушкина, обстоятельству его трагической гибели. Тому, как Герцен и Огарев знакомили с ними общественность России через Вольную печать, посвящены две главы книги Н. Эйдельмана, в которых тщательно проанализировано также значение десяти новонайденных в 1972 году автографов А. С. Пушкина.

Вот два документа, напечатанных Герценом и Огаревым и касавшихся «пушкинских сюжетов» в истории: воспоминания генерал-майора Н. И. Панаева о волнениях новгородских военных поселян в 1831 году и «Замечания о бунте» А. С. Пушкина. Протокол — сухие, по-военному скупые записки Панаева позволяли читателю представить внутривластную обстановку в России с тем большей наглядностью, что писаны они преданным царю генералом, товарищем его юношеских лет. Целый ряд ассоциаций — как тонко подмечает автор книги — связывает записки Панаева с историческими изысканиями Пушкина. Становится ощутимым, как под свежим впечатлением от волнений военных поселян 1831 года мог созреть у поэта замысел обратиться к истории другого «бунта» — крупнейшей в России антифеодальной войны крестьян во главе с Е. И. Пугачевым. «Замечания о бунте» дают ценнейший материал для изучения последнего этапа работы Пушкина над «Историей Пугачевского бунта», для понимания сути, целенаправленности его замысла. Завершив в 1834 году свой труд, Пушкин направил Николаю I также

и свои «Замечания», которые по цензурным соображениям не могли войти в книгу. Позже, в 50-х годах XIX века, цензура разрешила напечатать лишь часть этих замечаний. Герцен и Огарев опубликовали десять из девятнадцати «Замечаний о бунте», затрагивавших наиболее острые для самодержавия проблемы. В них поэт касался истории дворцовых переворотов и самозванчества в XVIII веке, происхождения некоторых членов правящей династии, излагал свои мысли о значении «бунта» (протеста) в истории, о роли дворянства в обществе, обосновывал «необходимость многих перемен»...

Был издан Герценом и Огаревым и так называемый «дуэльный сборник» — двенадцать документов, касавшихся обстоятельств дуэли и смерти Пушкина. Сборник начал распространяться по России в рукописных списках вскоре после гибели поэта. Публикации документов из «дуэльного сборника» и других материалов помогали сделать явными те «адские козни», которые, по выражению П. А. Вяземского, окутали последние месяцы жизни великого поэта.

Два очерка посвящены истории публикации Герценом и Огаревым секретных материалов об императорской фамилии. В 1858 году «Полярная звезда» поместила так называемое «Письмо Александра Румянцева к Титову Дмитрию Ивановичу», которое содержало неизвестное до этого описание смерти сына Петра I царевича Алексея. Согласно этому документу, царевича по приказу царя Петра I задушили в Петропавловской крепости уже после суда, приговорившего его к смертной казни. Другой документ, появившийся в вольной прессе, — анонимная статья «О происхождении императора Павла» — также содержал данные, компрометирующие царскую фамилию. В статье излагалась версия о том, что сын Екатерины II в 1754 году родился якобы мертвым и его заменили сыном крестьянки — «чухонки». Потому Павел не был «настоящим» императором. К началу 20-х годов XIX века в Сибири объявился некий старец по имени Афанасий Петрович, якобы происходивший из семьи той же «чухонки» и, будучи похож на Павла I, как будто бы выдававший себя за дядю императора Александра I. Злоключения Афанасия Петровича и его незадачливая судьба, описанные Н. Эйдельманом по архивным источникам, хотя и не подтверждают упомянутой версии, но весьма недвусмысленно

демонстрируют, насколько высшая власть империи была в страхе перед раскрытием любой из ее «семейных тайн».

Последний очерк в книге рассказывает об участии князя-эмигранта П. В. Долгорукова в рассекречивании «потаенного» прошлого и о судьбе его заграничного архива. Автор хорошо показал, как издательская деятельность Герцена и Огарева постоянно «перекрещивалась» с выступлениями этого представителя одной из самых аристократических дворянских фамилий России, оказавшегося в оппозиции к самодержавию и заслужившего у некоторых современников прозвище «красного либерала». Живя в России, Долгоруков много занимался генеалогией, составил хорошо известную чetyрехтомную «Российскую родословную книгу». В частных дворянских архивах он собрал много секретных документов из прошлого России. Находясь в эмиграции, «князь-республиканец», превосходно зная многие тайны двора и обладая талантом публициста, занялся изданием разоблачительных документов, относящихся к разным периодам русской истории XVIII—XIX веков. Порой его критика самодержавия и правящих кругов Российской империи была даже более злой, чем в публикациях Герцена и Огарева. Революционеры-демократы Герцен и Огарев, хотя их идеологические и политические взгляды резко отличались от воззрений Долгорукова, иногда блокировались с князем в целях объединения усилий для борьбы с самодержавием, получали от него важные материалы. Нередко Долгоруков перепечатывал в своих газетах материалы, ранее увидевшие свет в «Колоколе». Долгоруков опубликовал новые документы о дворцовых переворотах 1762 и 1801 годов, о Денисе Давыдове, генерале А. П. Ермолове, воспоминания декабристов С. Г. Волконского, Е. П. Оболенского. Умирая, князь завещал архив сотруднику и другу Герцена польскому эмигранту С. Тхоржевскому. Герцен и Огарев назначались душеприказчиками; им поручалось следить за изданием документов архива. Материалы архива очень беспокоили Александра II и придворные круги. По приказу императора небезызвестное III отделение собственной его императорского величества канцелярии послало за границу специального агента, которому удалось обманом войти в доверие к Герцену и выкупить долгоруковские бумаги у нового владельца. Богатейшее собрание исторических документов П. В. Долгоруко-

ва оказалось похороненным в тайных архивах императорского двора и титулованных царедворцев (его судьба и сейчас не до конца еще ясна).

В книге Н. Эйдельмана нашли интересное решение вопросы, важные для изучения творческого наследия Герцена, Огарева, Пушкина и других представителей русской общественной мысли и культуры XVIII и XIX веков. В трактовке поставленных в монографии проблем автор опирается на достижения дореволюционных и особенно советских историков и литературоведов. Но Н. Эйдельман не ограничивается критическим использованием уже накопленного наукой материала. В поисках новых фактов он использует сведения, почерпнутые из многих фондов и коллекций, хранящихся в Москве, Ленинграде, Иркутске и других городах. В результате ему не только удалось уточнить трактовку ряда недостаточно изученных вопросов истории общественного движения в России, но и внести существенный вклад в изучение творческого наследия Герцена и Огарева, показать их крупные заслуги в освещении актуальных для того времени проблем истории России.

Думается, не будет преувеличением сказать, что с выходом в свет рецензируемой книги герцениана пополнилась новая содержательная работа. О творческом характере монографии свидетельствует и то, что ее автор ставит ряд важных вопросов истории общественного движения России, нуждающихся еще в дальнейшей углубленной разработке коллективными усилиями историков и литературоведов. К ним относятся: изучение герценовских оценок различных государственных и политических деятелей XVIII века; выяснение традиций дворянской оппозиционности XVIII века в движении декабристов; история других бесцензурных публикаций Герцена и Огарева по отечественной истории; судьба долгоруковского архива после его возвращения в Россию; исследование связей печатных органов Герцена и Огарева с бесцензурными изданиями князя П. В. Долгорукова и других эмигрантов и др.

Несомненное достоинство книги — ее стиль: она написана живо, содержит много метких и образных характеристик государственных, политических и общественных деятелей. Ее автор объединяет в одном лице ученого-исследователя и умелого популяризатора науки. Приятно отметить и пре-

восходное оформление художником А. Брантманом.

К сожалению, книга Н. Эйдельмана не свободна от некоторых недостатков. Известная уязвимость и неопределенность общих исходных установок автора обнаруживается даже, на наш взгляд, в постановке главной задачи исследования — представить «взгляд» Герцена и Огарева «на XVIII—XIX в. в. через материалы Вольных изданий». Но ведь многие исторические материалы печатались Герценом и Огаревым иногда даже безо всяких комментариев издателей. Очень важно соотнести отдельные темы, «сюжеты» отечественной истории, рассматриваемые в книге, с общими целями и методами политической борьбы, которую вели Герцен и Огарев, с их воззрениями на историю. В рецензируемой книге эти темы и сюжеты, история отдельных бесцензурных изданий не всегда соотносятся с историческими взглядами Герцена и Огарева, получившими более полное и глубокое раскрытие в других их сочинениях. Все это не могло не сказаться отрицательно на содержании некоторых очерков Н. Эйдельмана.

Приведем один выразительный пример такого рода. Третья глава посвящена истории публикации в «Полярной звезде» упоминавшегося уже выше так называемого «письма А. И. Румянцева к Д. И. Титову». Н. Эйдельман явно увлекся подробным изложением драматической истории бегства за границу царевича Алексея и его возвращения в Россию эмиссарами Петра I, среди которых был и гвардии капитан А. И. Румянцев. Но автор, несмотря на ряд остроумных гипотез, так и не смог, по нашему мнению, привести какие-либо новые аргументы, позволяющие опровергнуть разделяемое многими поколениями ученых мнение о подложном характере «письма Румянцева к Титову». Но за пространным изложением перипетий истории царевича Алексея и различных контроверз в пользу подлинности «письма» Н. Эйдельман упустил другой, не менее важный для его исследования, аспект «дела царевича Алексея»: соотношение разоблачения в Вольной печати «семейной тайны» царя Петра I с общей оценкой Петра как государственного деятеля. В этой связи уместно напомнить, что Герцен хотя и отмечал противоречивый характер исторически прогрессивных реформ Петра I, но сильно идеализировал личность этого царя, изображая его революционером на троне,

называя «коронованным революционером», «якобинцем и революционером-террористом»...

Некоторые возражения вызывает и то обстоятельство, что Н. Эйдельман, по сути дела, обошел в своей книге такой важный для изучения темы «Герцен-историк» вопрос, как научный уровень исторических публикаций Вольной печати. Судя по тому, что автор рецензируемой книги пытался опровергнуть мнение о «письме А. И. Румянцева к Д. И. Титову» как о фальсификации, проблема достоверности публикуемых Герценом и Огаревым материалов перед ним возникала. В этой связи остается лишь недоумевать, почему, подробно изложив в VI главе статью анонимного автора о происхождении Павла I, Н. Эйдельман создает у читателя впечатление, что «так могло быть», обосновывает «возможность описываемых в статье событий». Между тем даже сам Герцен недвусмысленно высказался о недостаточной достоверности этой публикации, основанной на слухах.

Наконец, нельзя не пожалеть, что в ряде случаев автор уделил недостаточно внимания источниковедческой стороне освещаемых в его книге «сюжетов» русской истории. Так, излагая историю появления в цензурной печати такого важного памятника общественно-политической мысли, как «Рассуждение о непременных государствен-

ных законах» Д. И. Фонвизина, он во многом опирается на записи М. А. Фонвизина, написанные им в ссылке, спустя много десятилетий после составления этого проекта. В литературе давно высказано обоснованное мнение о том, что в ряде случаев эти мемуары не могут быть надежным источником для выяснения интересующих Н. Эйдельмана вопросов. Однако автор рецензируемой книги, упомянув об этом, почему-то не привел каких-либо убедительных аргументов, опровергающих сомнения его предшественников в историографии, и, по сути дела, ограничился некоторыми предположениями да указаниями на то, что М. А. Фонвизин и в старости обладал «замечательной памятью».

Мы не будем останавливаться на менее существенных недочетах работы. Думается, что рецензируемая книга привлечет внимание как специалистов, так и людей, далеких по своим профессиональным занятиям от истории и литературоведения. Она не только воссоздает сложную историю бесцензурных изданий Герцена и Огарева, но и содержит яркий и увлекательный рассказ и о некоторых загадках прошлого нашей страны, и о нелегком труде ученых, занимающихся разгадкой этих тайн.

С. ТРОИЦКИЙ,
доктор исторических наук.



КОРОТКО О КНИГАХ



М. ГАЛЛАЙ. Третье измерение. М. «Советский писатель». 1973. 336 стр.

Автора «Третьего измерения» заслуженного летчика-испытателя, Героя Советского Союза Марка Галлая не нужно представлять читателям. Имя его широко известно, а книги «Через невидимые барьеры» и «Испытано в небе» читаются и пользуются успехом. После третьей книги можно уже говорить о творческом пути.

Когда Галлай начинал в литературе, легко было предположить, что он так и останется автором полумемуарной книги. Обычная судьба многих людей, проживших яркую жизнь и даже сумевших интересно рассказать о ней, но не ставших от этого писателями. Можно было предположить и другое: попробовав свои силы в очерковом жанре, Галлай начнет писать повести и рассказы о летчиках, а может быть, и не только о летчиках. Теперь уже ясно, что оба эти предположения были ошибочными. Галлай не стал ни мемуаристом, ни беллетристом, он пошел третьим путем и сформировался как совершенно своеобразный писатель.

Писатель вправе сам определять жанр, в котором он работает. «Третье измерение» имеет подзаголовок «документальная повесть, очерки». Но если составляющая сердцевину книги повесть «Первый бой мы выиграли» и может быть отнесена к документальному жанру, то с существенной оговоркой. В отличие от тех произведений, которые пишутся по документам, зачастую их прямо цитируя, повесть Галлая написана свидетелем и активным участником описываемых событий и документальна лишь в том смысле, что ее правдивость может быть документально подтверждена. И конечно, она сама документ, как всякое закреплённое на бумаге свидетельство.

При небольшом объеме эта повесть оказалась удивительно емкой и многоплановой. Один план — это волнующее повествование о том, как оборонявшая Москву авиация, несмотря на многие трудности и отсутствие достаточного опыта, успешно отразила массированные налеты фашистских бомбардировщиков. Попутно читатель узнаёт, как выиграл свой первый воздушный бой сам автор, — интереснейший экскурс в психологию начинающего воевать человека. Но есть и еще один план, может быть самый значительный: в повести многое сказано, причем сказано средствами искусст-

ва, и о том, почему страна выдержала первый натиск, а впоследствии пришла к победе.

Существуют различные точки зрения на право очеркиста, пишущего о современных ему событиях, дополнять факты вымыслом. Галлай — убежденный представитель крайней (и наиболее мне симпатичной) позиции, сурово запрещающей всякоевольное обращение с фактами, всяческое украшательство, более того — всякое лукавое умсложение.

В числе первых литературных наставников и советчиков Галлая был А. Т. Твардовский, и Галлай верен поэтически сформулированным заветам Твардовского (вспомним: «А всего иного пуще не прожить наверняка — без чего? Без правды сущей, правды, прямо в душу бьющей, да была б она погуще, как бы ни была горька»). Рассказывая о боевых подвигах истребительной авиации, писатель не только ничего не придумывает, но и не скрывает трудностей описываемого времени — усталости некоторых типов самолетов, недостаточности боевого и организационного опыта. До щепетильности строгое обращение с фактами создает то редко обманывающее ощущение подлинности, которое только усиливает наше восхищение героизмом летчиков, а вместе с ним и законное чувство патриотической гордости.

Возникает вопрос: если автор так сурово ограничивает себя, в чем же проявляется его фантазия художника? Всякое творчество сочетает в себе ограничение и свободу. У Галлая остается свобода отбора и сопоставления, свобода анализа и размышления, философского и поэтического осмысления подлинных событий. И еще одна, очень важная для писателя, свобода — быть самим собой, быть похожим на себя в жизни, писать так, как привык говорить и думать.

«Но, боже мой, до чего же отвратительное ощущение — когда в тебя стреляют! Трудно передать, как мне это не понравилось».

Можно ли представить себе этот абзац вставленным в любой официальный документ? Вслед за ним идет вполне серьезное, психологически тонкое рассуждение автора на нестареющую тему о воспитании боевых качеств. Рассуждение, характерное для автора. Но не менее характерен и приведенный абзац. В этом коротеньком аб-

заце легко узнается Галлай с его непосредственностью, юмором и отвращением к пышным словам.

Включенные в книгу очерки делятся на два основных раздела — «Встречи на аэродромах» и «Авиаторы об авиации». Тут также необходима оговорка. В отличие от большинства очеркистов Галлаю не приходилось искать встреч с интересными людьми. Он встречался с ними на аэродромах и космодромах, еще не зная, что будет о них писать. И с какими людьми: Чкалов, Королев, Лавочкин, Туполев, Гагарин... С большой любовью Галлай пишет о людях менее известных, о замечательном летчике-испытателе Юрии Гарнаеве и многих других собратьях по профессии. Не всегда это портреты (портрет предполагает большую законченность), иногда только зарисовки, но точные и выразительные. И если очерки о Марке Бернесе и Ираклии Андроникове не самые сильные в книге, то это не потому, что Галлай может писать только об авиации, а потому, что авиаторов он знает ближе и понимает глубже.

Вся книга написана просто и изящно, в тоне непринужденной беседы с читателем. Галлаю противопоказаны штампы, поэтому меня огорчили некоторые модные газетные приемы (именно приемы, а не обороты), как то — злоупотребление кавычками, частое и при этом не всегда точное пользование словом «буквально» и манерные, будто бы интригующие читателя многоточия в середине фразы. Все это раздражает даже в спортивных отчетах и совсем не к лицу художнику.

Марк Галлай — настоящий писатель, не пишущий летчик, а эссеист, публицист, которого авиация научила не только быстрее передвигаться, но и шире видеть.

Александр Крон.

★

СУРЕН ГАЙСАРЬЯН. В стране поэзии. Очерки. Портреты. М. «Советский писатель», 1973. 279 стр.

Книга С. Гайсарьяна бережно и естественно вводит читателя в мир современной советской поэзии. И сразу же скажем: понятие «образ автора», относимое обычно к прозе, здесь напрашивается само собою. Образ автора, человека большой культуры, умеющего сочетать художественную широту с гражданской, партийной ответственностью, практически цементирует эту книгу, формирует ее внутреннее единство.

Здесь стоят рядом строго научные изыскания и воспоминания, историко-литературные очерки и открыто личные то полемические, то лирические высказывания, слышится переключка поэтов разных эпох, различных национальных культур, в разговор — раскованный и доверительный — входят представители и восточных и западных литератур.

Автор, несомненно, осознавал, что иной читатель может увидеть в его работе мозаичность, излишнюю разноплановость.

Так появилось открывающее книгу слово «От автора», где критик пытается предвосхитить возможные вопросы читателя. Начинается книга с работы «Панорама армянской поэзии», в ней дан сжатый очерк многовекового пути армянского поэтического слова. Далее следует статья о «Давиде Сасунском», литературные портреты Саят-Новы, Раффи, Аветика Исаакяна, Египше Чаренца, Паруйра Севака, Амо Сагиана, Сильвы Капутикян. Книгу завершает статья «Мой Маяковский». Надо сказать, что во вступительном слове автор лишь контурно наметил свой исследовательский метод — соединение эссеистских заметок с историко-литературными экскурсами, анализ своеобразия поэта с обращением к текстологическим разысканиям. Сцементированы разноплановые компоненты книги методологическим единством критического подхода к искусству художественного слова.

Книга остро современна. Это, в частности, сказывается в органичности соединения вековой традиции с сегодняшней практикой литературы. В «Панораме» речь начинается с мидан, ассирийцев; последнее писательское имя, упомянутое здесь, — Грант Матевосян. В той же «Панораме» с гордостью говорится о величии художественной культуры армян, а завершается «Панорама» словами о конкретных творческих задачах, ожидающих сегодня своего решения. Поэзию С. Гайсарьян рассматривает в ее живых связях с другими искусствами, например архитектурой, высказывая ряд плодотворных теоретических суждений об эволюции искусства, о ее прерывности, о значении чужезычного опыта, о восточной и западной эстетических сферах. Вторая часть книги — «русская земля» в стране поэзии С. Гайсарьяна. А. Марченко верно писала в «Вопросах литературы», что эта часть «полнее раскрывает духовный мир автора и даже в какой-то мере объясняет «топографию» армянской части книги». Непонятно лишь, каким образом критик пришел к заключению о ее (то есть «русской» части) «недостаточной» связи с армянской. Не только современный армянский литератор, но любой литератор страны воспринимает русскую литературу как родную. Да и связана русская литература с любой другой советской. И самое главное: в «топографии» интернациональной «страны поэзии» С. Гайсарьяна «русская земля» неотрывна от армянской. Сам путь критика, сам его характер деятеля многонациональной советской литературы находит в этом органическое выявление.

Р. Бикмухаметов.

★

ИГОРЬ ЕФИМОВ. Лаборантка. Повесть. «Юность», 1974, № 2.

«Взрослую» прозу Игорь Ефимов публикует не часто. Его имя лучше знают, пожалуй, юные читатели, для которых он на-

писал несколько отличных книжек, полных юмора, озорства, «опасных» ситуаций и всяческих неожиданностей. Во «взрослой» прозе Ефимова действие разворачивается неторопливо, в спокойном будничном обрамлении, так что иногда и неясно поначалу, что же тут, собственно, считать главной линией действия. Инженер Троеверов в своем цехе, потом в командировке, потом на свадьбе у друзей — все это остро увиденная каждодневность, но что же происходит в повести «Лаборантка»? Может быть, это очередное бытописание с его дотошным правдоподобием разговоров, сцен, деталей? Нет. Подробности самого быта, обстановки тут явно «размыты», они не только не увлекают писателя, но он от них как-то настойчиво отталкивается... И вдруг опускает в повествовании целые куски, совершенно обязательные для традиционной «бытовой» прозы. Не странно ли: повесть «Лаборантка» завершается тем, что инженер уходит от своей жены; но как же все это окончательно сделалось — разрыв, уход из дома, — в каких обстоятельствах, подробностях? А неизвестно. Не важно. Совершилось — вот что важно, и вы видели главное, самый кризис отношений был на наших глазах. Ибо тема повести вовсе не та, что инженер любил свою жену, а потом полюбил лаборантку Леру. Тема ее — победы и поражения инженера Троеверова в его никому не видимом поединке с затягивающей машинальностью ежедневного бытия, с инерцией собственного сознания. И Ефимов рассказывает нам не о тысяча первой истории любви, а о трудном созревании нерешительного и не уверенного в себе человека и об опасности утраты своего собственного пути в стремительном темпе современной жизни.

Инженер Троеверов не юноша, обдумывающий жизнь, а вполне взрослый человек. Жизнь его движется как будто по давно накатанным рельсам. Специальность, завод, жена, квартира — все выбрано, кажется, удачно. Но вот однажды на вокзале Троеверов увидит юного курсантика, что-то рассказывающего девчонкам-старшеклассницам. И такая уверенность в этом безумном мальчишке, такой талант естественности, что инженера пронзает острое чувство зависти: бывает же!.. И этой завистью герой нам выдан с головой.

Оказывается, совсем не просто жить и быть Троеверову. Легко ему, кажется, лишь в те минуты, когда он стоит у компрессора и прислушивается к его шумам. Здесь он в своей стихии, здесь он хозяин. Со всем остальным куда как труднее. Троеверов постоянно ловит себя на том, что говорит (да и делает) то, чего ждут от него другие. Изо всех сил он старается адаптироваться на службе и дома, но и сам знает, что получается плохо. Он «для себя» и он «для других» — тут все время какое-то мучительное несоответствие, и чем более он старается его преодолеть, тем смешнее и нелепее выходит. С редкой пристальностью прослеживает писатель текущие, изменчивые ощущения и переживания

Троеверова, и наблюдения эти всегда так интересны, что можно сказать: психологический анализ — одно из основных достоинств письма Ефимова.

Повествование напоминает иногда стилистику кардиограммы: это запись взлетов, падений и всплесков сиюминутного состояния героя. Мы видим, как властно управляют им неосознанные толчки чувств, — кажется подчас, что он весь в их стихии, как щепка в бурном потоке.

Как пробуждается инженер Троеверов от своего машинального существования и к чему он оказывается пригоден, осмелившись наконец быть самим собой, — об этом и о многом еще другом повесть И. Ефимова «Лаборантка».

И. Кудрова.

Ленинград.



ТОМАС МОР. Эпиграммы. История Ричарда III. Серия «Литературные памятники». М. «Наука». 1973. 252 стр.

Приговор гласил: «Вернуть его при содействии констебля Уильяма Кингстона в Тауэр... там повесить его так, чтобы он замучился до полусмерти, снять с петли, пока он еще не умер, отрезать половые органы, вспороть живот, вырезать и сжечь внутренности. Затем четвертовать его и прибить по одной четверти тела над четырьмя воротами Сити, а голову выставить на Лондонском мосту».

Казнь состоялась через четыре дня — 6 июля 1535 года. Перед казнью осужденному передали, что король Англии Генрих VIII заменил ему мучительную смерть отсечением головы. Осужденный спокойно выслушал сообщение, поблагодарил короля за его «милость», а немного помолчав, произнес: «Избави, боже, моих друзей от такой милости». Взойдя на эшафот, он шуточно обратился к палачу: «Шея у меня коротка, целься хорошенько, чтобы не осрамиться». И уже в самую последнюю минуту, став на колени и положив голову на плаху, добавил: «Погоди немного, дай мне убрать бороду, ведь она никогда не совершала никакой измены». Вскоре голова казненного была выставлена для всеобщего обозрения и устрашения жителей города на Лондонском мосту.

Так погиб, или, точнее, так было совершенно убийство одного из величайших людей — Томаса Мора (1478—1535).

В нашей стране имя великого гуманиста, первого в длинном ряду имен предшественников научного социализма, давшего название целому направлению общественно-политической мысли — утопическому социализму, — широко известно. Эту известность ему принесла прежде всего его знаменитая «Золотая книга, столь же полезная, как и забавная, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия», написанная в 1516 году. Подвергая в «Утопии» резкой критике абсолютную монархию, представляющую собой соединение самых отвратительных черт — эксплуата-

ции, деспотизма, тирании и беззакония, Томас Мор противопоставил ей как наилучшую форму государственного устройства республику, где нет частной собственности и существует всеобщее равенство. Воображаемое государство он поместил на таком же воображаемом острове.

До последнего времени «Утопия» была единственной книгой Т. Мора, переведенной на русский язык, хотя его литературное наследство велико и многообразно. Теперь этот пробел ликвидирован. В издательстве «Наука» вышла новая книга избранных произведений Т. Мора «Эпиграммы. История Ричарда III». Следует отметить, что это название не совсем точно отражает действительное содержание книги, оно значительно шире. В разделе «Эпиграммы» (это название дано самим автором) собраны многочисленные (280) стихотворения Т. Мора, написанные им на латинском языке. Здесь и эпиграммы, и шутки, и послания, и басни, и нравоучительные стихотворения, и небольшие поэмы. Но все это настоящая поэзия, отличающаяся высокой гражданственностью, пронизанная гуманизмом и презрением ко всякого рода порокам и беззакониям.

Стихотворения Т. Мора высмеивают невежество, тупость и лицемерие духовенства, изобличают его путни. Достается всем: и простым священникам, и монахам, и епископам. Он безжалостно и страстно бичует многие пороки общества: пьянство, разврат, лицемерие, ложь, клевету, обман, подлость, мошенничество,— дает добрые советы, радуется, когда торжествует правда и справедливость.

Иные стихотворения носят автобиографический характер — Томас Мор рассказывает в них о себе, о детях, о семье. При чтении перед нами предстает человек высокой культуры и нравственной чистоты.

Не меньший интерес представляет и прозаическое произведение, включенное в сборник, — «История Ричарда III». Это не только историческое сочинение, содержащее резкое осуждение деспотизма и беззакония, но и высокохудожественное произведение. «История Ричарда III» была написана, когда мысль Т. Мора занимали вопросы о просвещенных и добрых монархах и об улучшении государственного устройства. В лице Ричарда III автор показал одну из самых одиозных фигур земных властителей. Его лицемерие, вероломство и жестокость принесли стране горе и слезы, стоили сотен тысяч человеческих жизней. Не много в мировой истории найдется имен, которые можно сравнить по жестокости и вероломству с Ричардом III. Именно против подобного деспотизма Т. Мор и боролся всю жизнь. В неравной борьбе с ним он и погиб.

Смелые социальные взгляды великого утописта, гуманизм, его стремление проникнуть в будущее, разглядеть, понять и улучшить его не могут не вызвать живого отклика у наших современников.

Книга снабжена подробным научно-справочным аппаратом. Это делает ее доступ-

ной не только специалистам — историкам, философам, филологам, — но и всем любителям поэзии и самому широкому кругу читателей, интересующихся историей общественно-политической мысли вообще и литературным наследием Томаса Мора в частности.

Д. Захаров.

Хвалынский,
Саратовская обл.



ЮРИЙ ОКЛЯНСКИЙ. Рождение книги. Жизнь. Писатель. Творческий процесс. М. «Художественная литература». 1973. 302 стр.

Книг по психологии творчества не много. Их легко перечислить, и для этого, пожалуй, не понадобится «нырять» в специальные библиографические справочники. Соотношение субъективного и объективного в процессе рождения образа — наименее исследованная область наших знаний о художнике, да и сама методика познания художественного мышления, можно сказать, еще не разработана. Вот почему работа Ю. Оклянского «Рождение книги» привлекает читательское внимание.

Ю. Оклянский решительно выступает против тех, кто требует от литературоведения полной независимости от «соседних наук», так как убежден, что «литературоведение, психология творчества (вместе с некоторыми разделами общей психологии) и эстетика создают зрительный фокус, когда многие взаимопревращения субъективного и объективного в процессе создания произведения открываются исследователю одновременно во всей их живой сложности и обобщающем значении». Ю. Оклянский изучает взятую проблему «на стыке» различных дисциплин, он настаивает на синтезе научных идей, связанных с ее разработкой, полагая, что в сфере изучения творческого процесса входит и его результат — художественное произведение, и сам меняющийся под его влиянием художник, и читательское восприятие, которое непременно учитывается автором произведения, и постоянно движущееся взаимодействие писателя с действительностью.

В книге пять объемных глав. Трудно кратко передать их содержание без риска что-то упростить. Но вполне возможно выделить наиболее интересное и принципиально важное. Следует, например, остановиться на главе «Еще раз о проблеме „изучения действительности“». Здесь «еще раз» поднимается вопрос о натуралистическом изучении действительности, которое высмеял еще Салтыков-Щедрин, «еще раз» — об истолковании той же проблемы в реалистической эстетике, у Л. Толстого прежде всего. Между тем в сопоставлении с формулой «не изучать, а просто жить» материал, подобранный Ю. Оклянским и относящийся к формам художественного постижения жизни, звучит и свежо и актуально. Глава внутренне полемична и дает, в конечном счете, современное понимание профессионального изучения писателем жизни с опорой на опыт не только Л. Толстого,

но и К. Федина, и Л. Леонова, и других советских писателей. Кстати, в приложении к книге опубликованы ценнейшие беседы автора с К. Феудиным, И. Эренбургом и Л. Леоновым. Эти беседы, оказывается, были целенаправленны. Ю. Окладский составил программу бесед, умело, на высоком уровне провел их, наконец, в работе своей дал им разностороннее истолкование. Отныне они безусловно будут служить первоисточником в ряду других документов, позволяющих заглянуть в лабораторию писателя, понять психологию его творчества.

Содержательна глава о «становлении концепции». Она вся построена на сопоставлении достижений общей психологии с практикой и теоретическими высказываниями многих писателей. Ю. Окладский подвергает критике и «фантазобезынь», и самодовлеющую точность в передаче виденного, и создание персонажа «по способу мозаики», он делает вполне обоснованный вывод, что «именно данные психологической науки многое проясняют в проблеме типизирующей деятельности воображения». Рождение художественной концепции тонко прослежено автором на анализе романа Л. Промет «Кто распространяет анекдоты?» и произведений Веры Пановой.

Книга Ю. Окладского касается острейших теоретических проблем современности. Отсюда ее полемический пафос, лишенный, однако, внешней броскости. Автор активно выступает против упрощенных представлений об искусстве и творческом процессе, против распространенной «привычности идей». Он не случайно пишет в своем заключении: «Безликость в искусстве — это всегда и прежде всего пустота содержания».

В книге есть спорные положения. Автор, надо полагать, и не претендовал на истину в «последней инстанции». Бесспорно одно: Ю. Окладский создал содержательную, своевременную и нужную книгу.

Н. Яновский.

Новосибирск.



ВИЛЬЯМ АЛЕКСАНДРОВ. Альфа Центавра. Повести. Ташкент. Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма. 1973. 222 стр.

Сборник Вильяма Александра «Альфа Центавра» — книга опытного литератора, из-под пера которого вышел уже не один десяток рассказов и повестей. Но когда читаешь произведения, включенные в книгу, возникает чувство, что написал их человек, сохранивший юношескую непосредственность восприятия. Важно, что при этом

писательская мысль в повестях «Блуждающие токи» и «Альфа Центавра», из которых составлена книга, нигде не выглядит назойливо-дидактичной, хотя многие коллизии повести (в центре которых люди современной науки) носят подчеркнутый обобщенный характер.

Центральная тема «Блуждающих токов» — борьба не столько за конкретную научно-техническую истину, сколько за подлинную человечность, за фаустовское стремление к истине. В интонации писателя присутствует чувство удивленного первопознания вещей. Когда он живописует, например, траву, то она у него всегда такая зеленая, точно ее, юную, минуту назад омыла гроза. Когда он рисует горы, то кажется, что они лишь вчера появились на свет.

Персонажи В. Александра независимо от степени авторской симпатии (или антипатии) к ним воспринимаются нами как «знакомые незнакомцы». Вот перед читателем нахрапистый, «пробивной» Федор Хатаев, «делающий» науку по методу макиавеллизма, может быть, из тщеславия, но еще как бы и из соображений общественной пользы («Блуждающие токи»). Или Инка, маленькая созерцательница звезд, которая во имя неразделенной любви становится целеустремленной разведчицей космоса («Альфа Центавра»).

О героях чистых и цельных, способных на безоглядный и бескорыстный порыв, бескорыстных рыцарях мечты В. Александров рассказывает с увлечением. Поэтому так обаятельны фигуры старого профессора Лаврецкого или молоденькой Жени, только-только пришедшей в науку («Блуждающие токи»). Инки и самого повествователя («Альфа Центавра»).

Романтик по мироощущению, В. Александров оказывается сдержанным реалистом в изображении событий. В основе его художественной стилистики — прежде всего правдивая, взвешенная подробность. Цветистость слога, вычурность метафоры, формальный изыск совершенно ему чужды.

Читатель, знакомый с книгой В. Александра, видимо, согласится с нами, что «Альфа Центавра» по выразительности авторской «живописи» уступает «Блуждающим токам». Отчего, например, образ Виктора, по-новому освещающий проблему «хатаевщины», получился несколько расплывчатым.

Прежние произведения В. Александра с одобрением встречались как критикой, так и читателями. Новая книга вполне подтверждает обоснованность его доброй писательской репутации.

А. Вулис,
доктор филологических наук.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

Л. И. Брежнев. О коммунистическом воспитании трудящихся. Речи и статьи. 559 стр. Цена 95 к.

Война, история, идеология (Буржуазная военная история на службе милитаризма). 383 стр. Цена 1 р. 56 к.

Н. Демочкин. В. И. Ленин и образование республик Советов. 255 стр. Цена 1 р. 14 к.

Историческая миссия рабочего класса и идеологическая борьба. Сборник статей. 278 стр. Цена 1 р. 16 к.

В. Колотов. Николай Алексеевич Вознесенский. Биографическая повесть. 351 стр. Цена 70 к.

В. Корионов. Соединенные Штаты Америки как они есть. 200 лет: возможности, обещания, действительность. 255 стр. Цена 66 к.

Трагедия Чили. Материалы и документы. Составитель Г. Боровик. 296 стр. Цена 95 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Алдан-Семенов. Красные и белые. Роман. Книга 2. 439 стр. Цена 84 к.

Е. Горбунова. Перед лицом новой действительности. Заметки о литературном взаимодействии. 397 стр. Цена 1 р. 7 к.

С. Городецкий. Стихотворения и поэмы. («Библиотека поэта. Большая серия. 2-е издание»). 638 стр. Цена 2 р. 97 к.

С. Данилов. Лиственница. Рассказы и повесть. Переводы с якутского С. Виленского. 246 стр. Цена 30 к.

Д. Данин. Перекресток. Писатель и наука. Сборник статей. 302 стр. Цена 71 к.

А. Дейч. Дыхание времени. Статьи, портреты, очерки. 438 стр. Цена 1 р. 32 к.

Д. Икрами и Х. Назаров. Приключения Сафора-Махсума. Роман. Перевод с таджикского Л. Кандинова. 287 стр. Цена 39 к.

А. Чаковский. Блокада. Роман. Книги 3 и 4. 575 стр. Цена 1 р. 31 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Анутагава Рюносэ. Новеллы. Переводы с японского. («Библиотека всемирной литературы») 703 стр. Цена 2 р. 23 к.

М. Геттуев. Стихотворения. Переводы с балкарского. 190 стр. Цена 55 к.

А. Доде. Тартарен из Тараскона. — Вестермарш. Переводы с французского Вступительная статья А. Пузикова. («Библиотека всемирной литературы») 527 стр. Цена 1 р. 74 к.

И. Кэбирли. Открытое сердце. Стихи. Переводы с азербайджанского. 190 стр. Цена 55 к.

Русская литература и ее зарубежные критики. Сборник статей. Под редакцией У. Гуральника. 390 стр. Цена 1 р. 18 к.

С. Сарганов. Хребты Саянские. Роман. В 3-х книгах. Книга 2. 431 стр. Цена 94 к. Книга 3. 494 стр. Цена 1 р. 4 к.

Г. Холопов. Избранные произведения. В 2-х томах. Т. 2. Две книги о войне. Мозаика. 479 стр. Цена 91 к.

Ю. Яновский. Мир. Роман. Перевод с украинского Т. Стах и П. Карабана. 302 стр. Цена 1 р. 16 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

М. Луконин. Пять книг. Стихи. 303 стр. Цена 1 р. 13 к.

М. Львов. Письмо в молодость. Стихи, рассказы, фронтовые записки. 192 стр. Цена 1 р. 5 к.

Нгуен Туан. Меж двумя веснами. Очерки. Перевод с вьетнамского. Составление, перевод и предисловие М. Ткачева. 144 стр. Цена 51 к.

Р. Островская. Николай Островский. («Жизнь замечательных людей») 236 стр. Цена 72 к.

Ю. Полухин. Посвящение в рыцари. Повесть и рассказы. 223 стр. Цена 33 к.

«СОВРЕМЕННОК»

У. Богазов. Быстрина. Роман. Перевод с осетинского А. Беляковой. 214 стр. Цена 58 к.

К. Лагунов. Одержимые. Роман. 400 стр. Цена 86 к.

Л. Корношин. Житейское поле. Рассказы и повести. 240 стр. Цена 65 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

П. Воронько. Четыре ветра. Стихи и сказки. 111 стр. Цена 1 р. 37 к.

С. Дангулов. Тропа. Рассказы. 303 стр. Цена 92 к.

А. Домбровский. Красная каска. Повесть. 159 стр. Цена 41 к.

А. Мошковский. Твоя Антарктида. Повести и рассказы. Послесловие И. Мотышова. 255 стр. Цена 59 к.

О. Смирнов. В отрогах Копет-Дага. Повесть. 144 стр. Цена 34 к.

Ю. Сотник. Вэвка Грушин и другие. Рассказы, повести, пьеса. Предисловие В. Шленко. 544 стр. Цена 1 р. 1 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Г. Березко. Несколько необязательных советов. «Секреты» художественности. («Писатели о творчестве») 143 стр. Цена 16 к.

М. Горчаков. Цена каждого шага. Камчатские записки. («Писатель и время. Письма с заводов истроек») 95 стр. Цена 12 к.

Д. Гранин. Прекрасная Ута. Очерки и воспоминания. 304 стр. Цена 63 к.

Р. Казанова. Помню. Стихи разных лет. 239 стр. Цена 81 к.

С. Шуртанов. Слово о хлебе. («Писатель и время. Письма из деревни»). 94 стр. Цена 12 к.

ВОЕНИЗДАТ

А. Егоров. С верой в победу. Записки командира танкового полка. («Военные мемуары») 222 стр. Цена 61 к.

А. Епишев. Идеологическая борьба по военным вопросам. 120 стр. Цена 37 к.
О. Кожухова. Двум смертям не бывать. Повести. Рассказы. 312 стр. Цена 59 к.
Ю. Стрехнин. Плацдарм за Эстергомом. («Героическое прошлое нашей Родины») 138 стр. Цена 17 к.

«ИСКУССТВО»

Л. Кручковский. Пьесы. — Статьи. Перевод с польского. Вступительная статья В. Хорева. 400 стр. Цена 1 р. 60 к.
Б. Лавренев. Пьесы. Послесловие А. Штейна. 374 стр. Цена 1 р. 13 к.
А. Лебедев. Драматург перед лицом критики. Вокруг А. И. Островского и по поводу его. Идеи и темы русской критики. Очерки. 190 стр. Цена 96 к.
Ю. Смуул. Пьесы. Перевод с эстонского. Послесловие А. Туркова. 454 стр. Цена 1 р. 29 к.

«ПРОГРЕСС»

П. Рид. Дочь профессора. Роман. Перевод с английской Т. Озерской. 285 стр. Цена 96 к.
П. Салудяну. Смерть манекенщицы. Повесть. Перевод с румынского И. Огородниковой. 164 стр. Цена 45 к.

«МЫСЛЬ»

А. Бланк. В сердце «третьего рейха». Из истории антифашистского Народного фронта в подполье. Авторское предисловие Г. Кукгоф. 237 стр. Цена 1 р.
М. Кочеткова. Георг Веерт — друг и соратник Маркса и Энгельса. 176 стр. Цена 57 к.
С. Меньшинов. Современный капитализм. Краткая политэкономия. 262 стр. Цена 1 р. 5 к.
Рабочий класс развитого социалистического общества. 276 стр. Цена 1 р. 29 к.
Теоретическое наследие В. И. Ленина и современная философская наука. Коллектив авторов. 390 стр. Цена 1 р. 51 к.

«НАУКА»

Э. Али-заде. Египетская новелла. Зарождение и формирование жанра. 151 стр. Цена 61 к.
Высокое напряжение. Рассказы африканских писателей. Перевод с английского. Предисловие М. Курганцева. 268 стр. Цена 85 к.

Б. Городецкий. Русские лирики. Историко-литературные очерки. 158 стр. Цена 53 к.

История Кореи (С древнейших времен до наших дней). В 2-х томах. Том 1. 470 стр. Цена 3 р. 5 к. Том 2. 480 стр. Цена 3 р.

Н. Пруцков. Историко-сравнительный анализ произведений художественной литературы. 203 стр. Цена 1 р. 12 к.

Русский язык в современном мире. Сборник. Ответственный редактор Ф. Филин. 301 стр. Цена 1 р. 6 к.

Фольклор и этнография. Обряды и обрядовый фольклор. Сборник статей. Ответственный редактор Б. Путилов. 275 стр. Цена 1 р. 31 к.

ПРОФИЗДАТ

В. Красильщиков. Вечный огонь. Роман. Послесловие Б. Григорьева. 256 стр. Цена 69 к.

П. Ногин. Мятенное подземелье. Роман. Перевод с украинского Л. Кедриной. Послесловие Д. Ткача. 271 стр. Цена 63 к.

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

А. Быков. Научно-техническая интеграция социалистических стран. 192 стр. Цена 65 к.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Вопросы борьбы с преступностью. Сборник статей. Вып. 20. 182 стр. Цена 60 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Ч. Аширов. Следопыт. Роман. Перевод с туркменского Г. Соловьева. Ашхабад. «Туркменистан». 294 стр. Цена 50 к.

А. Григорян. Художественный стиль и структура образа. Ереван. Издательство Академии наук Армянской ССР. 307 стр. Цена 1 р. 90 к.

М. Дудин. Гости. Новые стихотворения. Новые переводы. Лениздат. 75 стр. Цена 33 к.

С. Никитин. Медосбор. Рассказы и повести. Ярославль. Верхне-Волжское книжное издательство. 238 стр. Цена 55 к.

И. Рахило. Серебряный переулоч. Роман. Повесть. Рассказы. «Московский рабочий». 496 стр. Цена 1 р. 9 к.

И. Фоянков. Горсть. Стихи. Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. 207 стр. Цена 55 к.

Ю. Шамшаров. Свет. Роман. Перевод с узбекского Ю. Карасева. Ташкент. Издательство художественной литературы и искусства имени Гафура Гуляма. 359 стр. Цена 72 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. А. Косолапов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахни, О. П. Смирнов**
 (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.
 Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
 Почтовый адрес: 103006. Москва, К-6. Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 18/IX 1974 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 13/XI 1974 г.
 Формат бумаги 70×108/16. 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
 А 02390. Тираж 160.000 экз. Зак. 3122.

Отпечатано с матриц типографии издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР», Москва, Пушкинская пл., 5, в ордене Ленина типографии «Красный пролетарий», Москва, Краснопролетарская, 16. Зак. 4013.

Цена 70 коп.

70636